95+83

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[1] 2000

ГЛАВЫ ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ КНИГИ ГЮНТЕРА ГРАССА "МОЕ СТОЛЕТИЕ" / СЭМЮЭЛ БЕККЕТ – ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ / НОВАЯ ПЬЕСА СЛАВОМИРА МРОЖЕКА "ПРЕКРАСНЫЙ ВИД" / ВОСПОМИНАНИЯ МАРИО ВАРГАСА ЛЬОСЫ "РЫБА В ВОДЕ" / ФРАГМЕНТЫ РОМАНА АЛЕНА РОБ-ГРИЙЕ "АНЖЕЛИКА, ИЛИ ЧАРЫ" / СТИХОТВОРЕНИЯ КАЕТАНА КОВИЧА

Основан в 1891 году

Редакция “Иностранной литературы”
поздравляет с Новым 2000 годом
всех наших читателей, авторов, переводчиков,
а также те организации, которые в минувшем году
оказывали журналу финансовую поддержку.

Нам помогали:

ИНСТИТУТ “ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО”
БРИТАНСКИЙ СОВЕТ
ФОНД “ВЕНГЕРСКАЯ КНИГА”
МИД ФРАНЦИИ И ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В РОССИИ
ШВЕДСКИЙ ИНСТИТУТ
ЗАО КОНВЕРСБАНК
[спонсор ежегодных литературных премий]
АКАДЕМИЯ ЕПИСКОПАТА РОТТЕНБУРГ-ШТУТГАРТ
[спонсор премии имени отца А. Меня]

Мы также благодарим зарубежных авторов,
предоставивших нам права
на безвозмездную публикацию
на страницах журнала в 1999 году.
Свои произведения нам
и всем нашим читателям
подарили:

Алойз Ихан [Словения]
Радек Кнапп [Австрия]
Тадеуш Конвицкий [Польша]
Вислава Шимборская [Польша]
Ян Юзеф Щепаньский [Польша]
Джефф Эдмундс [США]

[1]
2000

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Гюнтер Грасс. *Мое столетие.* Фрагменты книги. Перевод с немецкого С. Фридлянд. Послесловие Евгении Кацевой

72 Каетан Кович. *Стихи.* Перевод со словенского Н. Горской. Вступление Жанны Гилёвой

78 Славомир Мрожек. *Прекрасный вид.* Представление в двух действиях. Перевод с польского Л. Бухова

116 *Стихи афганских поэтов.* Перевод Татьяны Бек. Вступление Дмитрия Рюрикова

120 Ален Роб-Грийе. *Анжелика, или Чары.* Фрагмент книги. Перевод с французского Ю. Розенберг. Вступление И. Кузнецовой

Из классики XX века

192 Карсон Маккалерс. *Кто увидел ветер.* Рассказ. Перевод с английского М. Кан. Послесловие А. Зверева

Документальная проза

211 Марио Варгас Льоса. *Рыба в воде.* Главы из книги. Перевод с испанского Н. Малыхиной

Портрет в зеркалах

256 СЭМЮЭЛ БЕККЕТ

Составление, вступление, перевод с французского Бориса Дубина

256 *От составителя*

259 Сэмюэл Беккет. *Мир и пара брюк*

266 Морис Бланшо. *Где на этот раз? Кто на этот раз?*

271 Людовик Жанвье. *Ключевые слова*

277 Эмиль Мишель Чоран. *Беккет*

Курьер "ИЛ" 282

Авторы номера 284

© "Иностраная литература", 2000

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература".С 1955 года –
"Иностранная литература"

Из общего тиража
в 13 500 экземпляров
Институт "Открытое
общество" ежемесячно
выкупает и безвозмездно
направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
3 850 экземпляров.

Ежегодные литературные
премии журнала
спонсирует ЗАО Конверсбанк
(Акционерный банк Конверсии).

Главный
редактор

А.Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н.А. Богомолова
*заведующая отделом критики
и публицистики*

Л.Н. Васильева
*заведующая отделом
художественной литературы*

А.В. Михеев
ответственный секретарь

Г.Ш. Чхартишвили
заместитель главного редактора

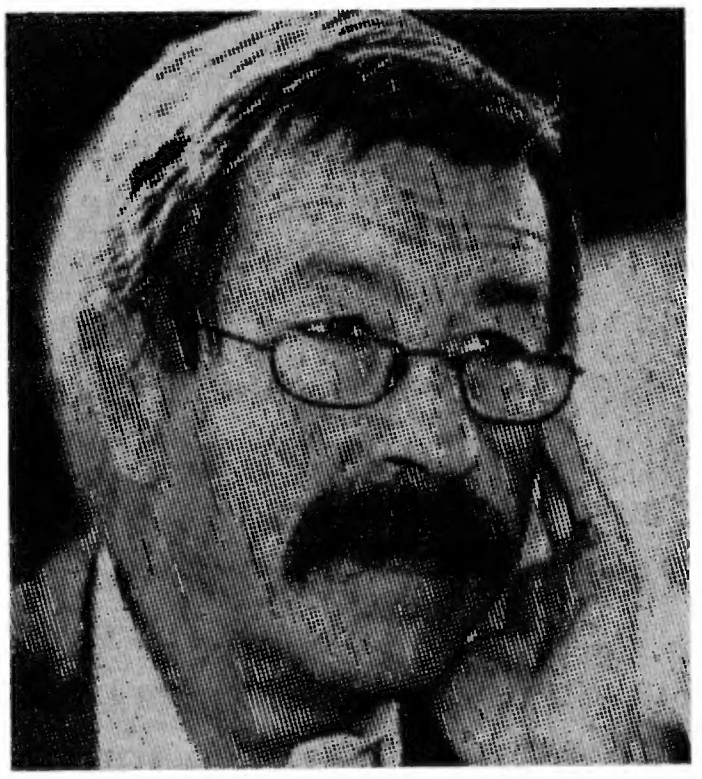
Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Малькольм Брэдбери
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:

С.С. Аверинцев
В.П. Аксенов
С.К. Апт
А.Г. Битов
П.Л. Вайль
М.Л. Гаспаров
Е.Ю. Гениева
А.А. Генис
В.П. Голышев
Т.П. Григорьева
Б.В. Дубин
А.Н. Ермонский
В.В. Ерофеев
Д.В. Затонский
А.М. Зверев
Вяч.Вс. Иванов
В.Б. Иорданский
Т.П. Карпова
А.С. Мулярчик
Д.Б. Рюриков
М.Л. Салганик
Е.М. Солонович
П.М. Топер
Н.Л. Трауберг
М.А. Федотов
Б.Н. Хлебников

Гюнтер Грасс



Лауреат
Нобелевской премии
1999 г.

Мое столетие

Фрагменты книги

Перевод с немецкого С. ФРИДЛЯНД

1900

Я ПОДМЕНЯЯ себя самого собой самим, неизменно, из года в год при этом присутствовал. Конечно же, не всегда на передовой линии: поскольку непрерывно шла какая-нибудь война, наш брат куда как охотно перемещался в ближний тыл. Правда, поначалу, против китайцев, когда в Бремерхавене формировался наш батальон, я стоял в первой шеренге среднего звена. Почти все мы были добровольцами, правда, из Штраубинга вызвался только я один, хоть и справил недавно помолвку с Рези, с моей Терезой, другими словами.

Перед погрузкой на корабль мы имели за спиной трансокеанское сооружение Северогерманского отделения Ллойда и солнце в глаза. Перед нами на высокой трибуне стоял кайзер и произносил вполне бойкую речь поверх наших голов. От солнца же нас защищали широкополые головные уборы нового образца, именуемые зюйдвестками. Словом, выглядели мы лихо. А вот на кайзере был особый шлем: мерцающий орел на голубом фоне. Он говорил о высоких задачах и о коварном враге. Речь его увлекала. Он сказал: "Когда вы приступите к операции, знайте: никакой пощады врагу, пленных не брать..." Потом он рассказал нам про короля Аттилу и про орды его гуннов. Гуннов он назвал достойными подражания, хоть и проявляли они себя с пугающей жестокостью. Из-за чего впоследствии наши соци публиковали наглые "письма гуннов" и нещадно глумились над речью кай-

© Steidl Verlag, Göttingen, 1999
© С. Фридлянд. Перевод, 2000
© Е. Кацева. Послесловие, 2000
Полностью книга выходит в харьковском издательстве «Фолио».

зера. Под конец своей речи кайзер дал нам свой кайзерский наказ: "Раз и навсегда откройте дорогу культуре!", а мы ответили ему троекратным "ура".

Мне, выходцу из Нижней Баварии, затяжное морское путешествие показалось ужасным. Пока наконец мы не прибыли в Тяньцзинь, где уже собрались все: британцы, американцы, русские, даже настоящие японцы и небольшие отрядики из стран помельче. Британцы — это, по сути говоря, были индусы. Поначалу наш отряд был довольно малочисленным, но зато у нас, по счастью, были новые 5-сантиметровые скорострельные пушки от Круппа. А американцы, те испытывали свой пулемет "Максим", дьявольская штучка, доложу я вам. Так что Пекин мы взяли в два счета. И когда подтянулась наша часть, дело выглядело так, будто все уже закончено, о чем мы, конечно, от души пожалели. Но некоторые боксеры по-прежнему не оставляли нас в покое. Их называли боксерами, потому что они основали тайное общество Ихэтуань, или, если перевести, что-то вроде "сражающиеся кулаками". Вот почему бриты первыми и заговорили о боксерском восстании. Боксеры ненавидели всех иностранцев, потому что те продавали китайцам всякую дрянь, а бриты, те больше всего приторговывали опиумом. Все и вышло по приказу кайзера: "Пленных не брать".

Для порядка всех боксеров согнали на площадь перед Небесными воротами как раз перед стеной, отделяющей Город маньчжуров от остального Пекина. Они все были связаны за косы, что выглядело очень забавно. Потом их стали либо расстреливать по группам, либо обезглавливать по одному. Но об этих ужасах я не написал своей невесте ни единого словечка, а писал я ей только про яйца, пролежавшие в земле сто лет, и про паровые клецки по-китайски. Бриты и мы, немцы, предпочитали быстро управляться с ружьями, тогда как японцы, обезглавливая боксеров, следовали старинной национальной традиции. Однако боксеры предпочитали быть расстрелянными, потому что боялись, как бы им не пришлось на том свете бегать со своей отрубленной головой под мышкой. Больше они ничего не боялись. Я наблюдал за одним китайцем, который прямо перед расстрелом жадно доедал рисовый пирог, обмакнув его в сладкий сироп.

На площади Тяньаньмынь задувал ветер, прилетавший из пустыни и поднимавший облака желтой пыли. Все вокруг становилось желтым, и мы тоже. Вот об этом я написал своей невесте и насыпал в почтовый конверт немного желтого песку. Но поскольку японцы отрезали китайцам косы, чтобы потом было сподручнее отрубить им голову, на площади в желтом песке часто лежали кучки отрезанных кос. Одну из них я поднял и отправил домой как сувенир. Вернувшись домой, я ко всеобщему удовольствию носил ее на карнавальных гуляньях до тех пор, пока моя невеста не сожгла мой сувенир. "Это привлекает в дом нечистую силу!" — сказала Рези за два дня до нашей свадьбы.

Впрочем, здесь уже начинается другая история.

1907

В конце ноября сгорел наш прессовочный завод. Дотла. А между тем дела у нас шли лучше некуда. Хотите верьте, хотите нет, но мы ежедневно выпускали на свет божий тридцать шесть тысяч пластинок. И поку-

патели рвали их у нас прямо из рук. Доходы от продажи нашего ассортимента составляли ежегодно двенадцать миллионов марок. Дела шли особенно хорошо, потому что мы вот уже два года как начали выпускать в Ганновере двухсторонние пластинки. Раньше такие были только в Америке. Много военного шума и грома. Мало такого, что соответствовало бы изысканным вкусам. Но потом Рапопорту – а Рапопорт это ваш покорный слуга – посчастливилось уговорить Нелли Мельбу, "великую Мельбу", прийти к нам на запись. Поначалу она жеманилась, как позднее – Шаляпин, который вообще до смерти боялся из-за этой дьявольщины, как он именовал нашу новейшую технику, потерять свой бархатный голос. Йозеф Берлинер, который на пару со своим братом Эмилем еще до конца века основал в Ганновере компанию "Немецкий граммофон", потом перенес ее в Берлин и, при двадцати тысячах марок основного капитала, пойдя тем самым на большой риск, в одно прекрасное утро сказал мне: "А ну, Рапопорт, укладывай чемоданы, тебе надо по-быстрому смотаться в Москву и выйти там на Шаляпина, только не задавай лишних вопросов".

И в самом деле: я не стал долго собираться и сел в первый же поезд, прихватив с собой наши первые пластинки с записями великой Мельбы, так сказать, в качестве подарка. Ну и поездочка же выдалась, доложу я вам! Вы знаете, что такое ресторан "Яр"? Высший класс! Долгая ночь в отдельном кабинете! Сперва мы просто пили водку из бокалов для воды, потом Федор осенил себя крестом и начал петь! Нет, не эту, коронную арию из "Бориса Годунова", а благочестивые напевы, их еще ведут монахи, глубокими такими басами! После этого мы перешли к шампанскому. Но лишь под утро он, плача и осеняя себя крестом, подписал договор. Поскольку я с детских лет прихрамываю, он, когда я заставлял его поставить свою подпись, возможно, видел во мне черта. Да и то сказать, он согласился лишь потому, что нам еще раньше удалось подловить Собинова, их великого тенора, и предъявить ему договор с Собиновым, так сказать, в виде образца. Во всяком случае, Шаляпин стал нашей первой граммофонной звездой.

Потом уж они все подвалили: Лео Слезак, Алессандро Мореччи, которого мы записали как последнего знаменитого кастрата. А уж потом мне в отеле "Ди Милано" удалось – вы даже и не поверите – как раз этажом выше той комнаты, где умер Верди, сделать первые записи Энрико Карузо, первые десять арий, ну, само собой разумеется, с эксклюзивным договором. Вскоре для нас уже пела Аделина Патти, и кто только еще не пел! Мы поставляли нашу продукцию во все страны. Английский и испанский королевские дома числились среди наших постоянных клиентов. А что до парижского дома Ротшильдов, то Рапопорту удалось с помощью некоторых махинаций оттеснить их американского поставщика. Однако мне, как торговцу пластинками, было совершенно ясно, что мы не должны всегда оставаться на таком эксклюзивном уровне, что главное – это массы и что нам необходимо произвести децентрализацию, чтобы с помощью новых прессовочных фабрик в Барселоне, Вене и даже в Калькутте сохранить свое место на мировом рынке. Вот почему и пожар в Ганновере не был для нас полной катастрофой. Хотя мы, конечно, были крайне озабочены, потому что нам пришлось начинать все снова, на Цельском шоссе, с братьями Берлинер. Правда, Берлинеры оба были гении, а я всего лишь торговец пластинками, но Рапопорт всегда понимал: с помощью

пластинки и граммофона мир воссоздает себя заново. Тем не менее Шаляпин перед каждой очередной записью все так же многократно осенял себя крестом.

1908

У нас в семье существует такая традиция: отец берет с собой сына. Уже мой дедушка, работавший на железной дороге и вдобавок член профсоюза, брал с собой продолжателя своего рода, когда Вильгельм Либкнехт выступал на Хазенхайде. И мой отец, тоже железнодорожник и тоже член партии, можно сказать, вдолбил в меня до известной степени пророческие слова касательно этих манифестаций, запрещенных, пока у власти находился Бисмарк: "Аннексия Эльзаса и Лотарингии принесет нам не мир, она принесет нам войну".

А теперь вот он начал брать с собой меня, не то девяти-, не то десятилетнего сорванца, когда сын Вильгельма, товарищ Карл Либкнехт выступал либо под открытым небом, либо, если запретят, в какой-нибудь продымленной пивной. Возил он меня и в Шпандау, где Либкнехт баллотировался на выборах. А в девятьсот пятом году я поехал с ним на поезде — отцу, как железнодорожнику, причитались бесплатные поездки даже и до Лейпцига, — потому что в Горном погребке в Плагвице выступал Карл Либкнехт, и он рассказывал про большую забастовку в Рурском регионе, о чем писали тогда все газеты до единой. Но Либкнехт не только говорил про горняков и не только агитировал против прусских землевладельцев и фабрикантов, главным образом и вполне пророчески он рассуждал о всеобщей забастовке как будущем средстве борьбы пролетарских масс. Он говорил без бумажки, словно ловил слова из воздуха. И вот он уже перешел к России и запятнанному кровью царизму.

Время от времени речь его прерывалась аплодисментами, а под конец единогласно приняли резолюцию, в которой собравшиеся — отец сказал, что их было никак не меньше двух тысяч — заявили о своей солидарности с героическими борцами в Рурской области и в России.

Может, народу в Горном погребке собралось не две, а целых три тысячи. Мне было видно больше, чем отцу, потому что я сидел у него на плечах, как он в свóе время сидел на плечах у своего отца, когда Вильгельм Либкнехт или товарищ Бебель говорили о положении рабочего класса. Так уж у нас было заведено. Во всяком случае, я, будучи еще мальчишкой, не только видел товарища Либкнехта с, так сказать, возвышенной позиции, но и слышал его речи. Он был оратор для масс. Никогда не испытывавший недостатка в словах. С особой охотой товарищ Либкнехт обращался к молодежи. Под открытым небом над головами десятков тысяч он восклицал: "За кем идет молодежь, за тем идет армия!" Что тоже оказалось пророчеством. Во всяком случае, сидя на плечах у отца, я не в шутку перепугался, когда товарищ Либкнехт закричал: "Милитаризм — это безжалостный исполнитель и железно-кровавый защитный вал капитализма!"

Недаром я и по сей день помню, что своими речами он поверг меня в ужас, когда говорил о внутреннем враге, с которым нужно бороться. Может, именно поэтому мне ужасно захотелось пи́сать, и я начал ерзать на плечах у своего отца. Но отец ничего этого не заметил, потому что пребывал в восторге. И тут я на своем возвышении не мог больше удер-

живаться. И в одна тысяча девятьсот седьмом году я сквозь штанишки с нагрудником напи́сал отцу прямо в затылок. Вскоре после этого товарищ Либкнехт был арестован, и пришлось ему по приговору имперского суда отсидеть в Глаце, в крепости, целый год, 1908-й, и еще дольше за то, что он распространял воззвание против милитаризма.

А вот мой отец, когда я, не вытерпев, замочил ему всю спину, снял меня с плеч и, не дожидаясь конца манифестации, пока товарищ Либкнехт еще продолжал агитировать молодежь, так отлупил, что я еще несколько дней спустя ощущал на своем заду его руку. Вот поэтому, только поэтому, когда позже все началось, я побежал на призывной участок и записался в добровольцы, и был впоследствии награжден за храбрость, и после второго ранения, одно под Аррасом, другое под Верденом, дослужился до унтер-офицера, хотя мне всегда, даже когда я возглавил ударную роту во Фландрии, было ясно, что товарищ Либкнехт, которого некоторые ребята из добровольческих отрядов позднее, уже много позднее застрелили вместе с товарищем Розой Люксембург и даже выбросили один из трупов в Ландверканал, сто, тысячу раз был прав, когда обращался со своими призывами к молодежи.

1914

После того как многократные усилия двоих коллег из нашего института остались безрезультатными, мне самой удалось в середине шестидесятых годов вырвать у обоих старцев согласие на встречу. Возможно, мне больше повезло, как молодой женщине, и к тому же я, как швейцарка, была освящена статусом нейтралитета. Мои письма хоть и излагали тему нашего исследования весьма конкретно, были, надо полагать, услышаны, как бывает услышан нежный, чтобы не сказать робкий, стук в дверь; словом, через несколько дней и почти одновременно я получила оба письменных согласия.

О занятной, "малость ископаемой" паре я поведала своим коллегам. Спокойные номера я для гостей зарезервировала в отеле "У аиста". Там мы и сидели, преимущественно в галерее Rotisserie[1] с видом на Лиммат, на расположенную как раз напротив Ратушу и на Дом гильдий Zum Rüden[2]. Господин Ремарк — ему шел тогда шестьдесят седьмой год — прибыл на это свидание из Локарно. Он, судя по всем приметам бонвиван, показался мне более хрупким, нежели бойкий господин Юнгер, который совсем недавно отпраздновал свое семидесятилетие и держался подчеркнуто спортивно. Постоянно проживая под Вюртембергом, он приехал через Базель, уже после того как пеший переход через Вогезы вывел его к Хартмансвайлеру, за который велись некогда столь кровопролитные бои. Наша первая беседа шла поначалу через пень-колоду. Мои собеседники, "живые свидетели", со знанием дела толковали про швейцарские вина, Ремарк хвалил тессинские сорта, Юнгер же отдавал предпочтение французскому доле. Оба явно старались мне понравиться, пуская в ход свой хорошо сохранившийся шарм. Забавное, хотя и несколько тягостное впечатление производили, однако, их попытки говорить со мной на швейцарском диалекте. Лишь когда я

1. Небольшой ресторан, который специализируется на жаренных в гриле мясных блюдах (*франц.*). (*Здесь и далее – прим.перев.*)
2. Клуб в Цюрихе, где собирались преимущественно дворяне.

процитировала первые строки весьма популярной во время первой мировой войны песни "Фландрская пляска мертвых": "Скачет смерть на коне вороном, черная маска перед лицом", песни, автор которой остался неизвестен, сначала Ремарк, а потом и Юнгер подхватили пугающе мрачную мелодию, причем оба помнили и последние, завершающие строчки: "Фландрия в беде, Фландрия в огне, смерть скачет по ней на черном коне". Потом оба устремили взоры на Кафедральный собор, башни которого превосходили высотой дома на Шифсленде.

Вслед за этой, прерываемой лишь легким покашливанием минутой задумчивости Ремарк сообщил, что осенью 1914-го – он еще сидел за партой, когда добровольческие полки уже истекали кровью под Бикшооте и на подступах к Ипру, – на него тоже произвела неизгладимое впечатление легенда о Лангемарке, согласно которой пулеметный огонь англичан люди встречали пением немецкого гимна. Вероятно, поэтому – и не без поощрения со стороны учителей – не один гимназический класс вызвался в полном составе добровольно идти на войну. А вернулось с войны не более половины ушедших. Те же, кто выжил, как, например, он, который, кстати, и не имел возможности учиться в гимназии, и по сей день не пришли в себя. Он, во всяком случае, считает себя "живым покойником".

Господин Юнгер, который удостоил школьные впечатления своего литературного коллеги – а было это явно всего лишь реальное училище – лишь тонкой усмешкой, хоть и назвал культ Лангемарка "квазипатриотическим жупелом", не мог, однако, не признать, что им еще до начала войны овладела жажда опасности, тяга к необычному, "пусть даже и в рядах французского Иностранного легиона".

– И когда дошло до дела, мы почувствовали себя как единый организм. Но даже после того как война показала нам свои когти, сама по себе она, как собственное переживание, до самых последних моих фронтовых дней на посту командира штурмовой группы меня воодушевляла. Признайтесь же, любезнейший Ремарк, что даже в "На Западном фронте без перемен", вашем превосходном первенце, вы не без умиления повествуете о великой фронтовой дружбе, которую может оборвать лишь смерть.

Ремарк отвечал, что упомянутая книга не описывает личные переживания, а собирает фронтовые впечатления брошенного в топку войны поколения.

– Моя служба в лазарете предоставила мне для этого достаточно материала.

Не сказать, что почтенные господа тут же затеяли спор, но они всячески давали мне понять, что по вопросам войны придерживаются несхожего мнения, придерживаются прямо противоположного стиля и вообще являются выходцами из разных лагерей. Если один до сих пор именовал себя "неисправимым пацифистом", другой желал, чтобы его считали "анархистом".

– Да что там говорить, ведь в ваших "Стальных грозах" вплоть до последнего наступления Людендорфа вы, как мальчишка-сорванец, искали приключений. По легкомыслию вы собрали под барабан штурмовой отряд, чтобы с помощью кровавой забавы быстренько захватить одного-двух пленных, а если повезет, то и бутылочку коньяка.

Потом, однако, Ремарк признал, что в дневнике коллеги Юнгера есть превосходные страницы, описывающие окопную и позиционную

войну и вообще характер машинной войны. Ближе к концу нашей первой беседы — господа успели тем временем осушить две бутылки красного — Юнгер опять вернулся к Фландрии.

— Когда мы два с половиной года спустя рыли траншеи в Лангемарке, нам попадались винтовки, портупеи и патронные гильзы из года четырнадцатого. Даже каски, в которых тогда выступали полки добровольцев.

1915

Наша очередная встреча проходила в Одеоне, том более чем почтенном кафе, где еще Ленин, вплоть до его происходившего под немецким патронажем путешествия в Россию, читал "Нойе цюрхер цайтунг" и всякие журналы, втайне вынашивая планы российской революции. Что до нас, то мы в отличие от Ленина не строили на будущее никаких планов, нас интересовало лишь прошлое. Впрочем, для начала мои собеседники предложили объявить первым пунктом нашего заседания завтрак с шампанским. Мне же они дозволили пить апельсиновый сок.

Как вещественные доказательства на мраморном столе между круассанами и сырным ассорти объектом ожесточенных споров лежали обе книги. К слову сказать, тираж "Стальных гроз" не шел ни в какое сравнение с тиражом "На Западном фронте без перемен".

— Верно, — сказал Ремарк, — получился бестселлер. А ведь моя книга после тридцать третьего, когда она была подвергнута публичному сожжению, целых двенадцать лет не появлялась ни на немецком книжном рынке, ни в переводах, тогда как ваш гимн войне, сколько я могу судить, можно было беспрепятственно приобрести в любое время.

Юнгер промолчал. Лишь когда я попыталась перевести разговор на позиционную войну во Фландрии и на известковых почвах Шампани, для чего разложила на освобожденной от следов трапезы столешнице вырезанные из большой карты участки данного театра военных действий, он, едва разговор зашел о наступлении и контрнаступлении на Сомме, подбросил в наш спор ключевое слово, и от этого слова уже невозможно было отвязаться.

— Пресловутый остроконечный шлем, которого вам, дражайший Ремарк, не пришлось носить, на нашем участке фронта уже с июня 1915 года заменили стальной каской. Речь идет об опытной партии касок, модель которой наперегонки с французами, тоже начавшими вводить стальные каски, окончательно и после множества неудачных попыток разработал капитан артиллерии по имени Шверд. Поскольку Крупп оказался не в состоянии производить подобный сплав хромовой стали, заказ был передан другим фирмам, и среди них — железоплавильному заводу в Тале. С января 1916-го каска была введена на всех участках фронта. Полки под Верденом и на Сомме снабжались ими в первую очередь, Восточному же фронту пришлось дожидаться дольше всех. Вы и представить себе не можете, любезнейший Ремарк, сколько лишней крови нам пришлось пролить, особенно в ходе позиционной войны, из-за этого дурацкого кожаного шлема, который ко всему еще, раз кожи не хватало, прессовали из войлока. Один прицельный выстрел — и человеком меньше, любой осколок пробивал его насквозь.

Потом он обратился непосредственно ко мне:

— Вот и ваш швейцарский шлем, который у вас до сих пор носит милиция, он ведь тоже, хотя и в несколько видоизмененной форме, сделан на основе нашего, даже и в том, что касается вентиляционных отверстий, в нем проделанных.

Мое возражение, что, к счастью, нашему шлему не пришлось доказывать свои преимущества в столь мощно описанных вами сражениях машинной войны, он пропустил мимо ушей, после чего обрушил на хранящего демонстративное молчание Ремарка дальнейшие детали: от противоокислительной защиты с помощью технологии матирования до удлиненной затылочной части и внутренней прокладки из конских волос или стеганого войлока. После этого он начал жаловаться на то, что при окопной войне этот шлем ограничивал кругозор, поскольку его фронтальная сторона должна была надежно защищать верхнюю часть лица до самого кончика носа.

— Вы ведь, конечно, знаете, что при операциях, проводимых ударными группами, этот тяжеловесный шлем очень мне мешал. Уж признаюсь вам честно, я по легкомыслию предпочитал свое привычное лейтенантское кепи, тем более что оно было на шелковой подкладке.

Затем он добавил еще кое-что, на его взгляд весьма забавное:

— Кстати, у меня на письменном столе лежит как сувенир шлем совсем другой формы, британский, сильно сплющенный и, разумеется, простреленный.

После длительной паузы — господа запивали теперь свой черный кофе сливовицей — Ремарк сказал:

— Для пополнения, которое в основном состояло из практически необученных новобранцев, стальные шлемы модификации М-16, а позднее М-17 были слишком велики. Они все время съезжали на нос. И из всего детского личика виден был только испуганный рот да дрожащий подбородок. Смешно и в то же время трагично. А о том, что снаряды и даже мелкая шрапнель все-таки пробивали сталь, я вам, пожалуй, могу и не рассказывать...

Он заказал еще сливовицы. Мне, как "барышне", был предложен еще один бокал сока из свежевыдавленного апельсина.

1916

После продолжительной прогулки по набережной Лиммата, мимо Хельмхауса, а потом по берегу Цюрихского озера — причем, как казалось, оба господина выдерживали предложенную мной паузу — мы по приглашению Ремарка, который благодаря экранизациям своих романов мог причислять себя к писателям весьма состоятельным, отправились ужинать в Кроненхалле, весьма почтенный ресторан, причем с художественными амбициями: подлинные импрессионисты, но также и Матисс, Брак, даже Пикассо висели там на стенах как собственность заведения. Мы ели рыбное филе, далее помфри с телячьим рагу и завершили — господа чашечкой эспрессо с арманьяком, а я шоколадным муссом.

После того как со стола было убрано, мои вопросы сосредоточились на позиционной войне вдоль линии Западного фронта. Даже не ссылаясь в подтверждение на свои книги, оба господина умели поведать о длящемся целыми днями и с обеих сторон ураганном огне, который

иногда поражал свои же оклы, о глубоко эшелонированной системе окопов с защитой для плеч, груди, спины, о саппах[1], о траншеях с ячейками, о заглубленных в землю ходах сообщения, о подземных коридорах, о подведенных почти вплотную к вражеским позициям ходах для прослушивания и минирования, о сплетении проволочных заграждений, но также и об осыпавшихся и осушенных окопах и ячейках. Они вспоминали о войне с нескрываемым энтузиазмом — видно было, что обоим хотелось выговориться, хотя Ремарк честно признал, что принимал участие лишь в шанцевых работах:

— Я не лежал в окопах, я только видел потом, что от них оставалось.

Но шанцевые ли работы, доставка ли еды или ночное возведение проволочных заграждений — все это надлежало извлечь из памяти. Их воспоминания были очень точны, и лишь изредка они отвлекались на анекдоты, например о разговорах из сильно продвинутых вперед сапп, которые вел Юнгер, с находившимися всего лишь в тридцати метрах от него "томми" или "французами", всецело полагаясь при этом на знания иностранных языков, полученные еще в гимназии. В ходе описания двух атак и контратак меня охватило такое чувство, будто я и сама там была. Далее разговор перекинулся на английские шаровые мины и их воздействие, на так называемые "трещотки", на бутылочные мины, шрапнель, неразорвавшиеся снаряды и на тяжелые снаряды с ударным взрывателем, с воспламенителем и взрывателем замедленного действия, на звуки, издаваемые летящими снарядами всевозможного калибра.

Оба джентльмена превосходно умели воспроизводить подобные пугающие концерты под названием "заградительный огонь". Это, вероятно, напоминало ад.

— И однако же, — промолвил господин Юнгер,— нам всем были присущи и некая живая стихия, которая и подчеркивала и наполняла духовным содержанием опустошающую дикость войны, и осязаемая радость от сознания опасности, и рыцарская готовность принять бой. Да, могу смело сказать: с ходом времени в огне этой непрекращающейся битвы выплавлялся все более чистый, все более отважный воинский дух...

Господин Ремарк рассмеялся своему собеседнику прямо в лицо:

— Да полно вам, Юнгер, вы рассуждаете как всадник гордый. Этот фронтовой сброд в сапогах не по размеру и с присыпанным землей сердцем просто озверел. В одном вы правы: робости они больше не ведали. Но смертельный страх — он присутствовал всегда. А что они вообще умели? Играть в карты, божиться, представлять себе женщин, которые лежат с раздвинутыми ногами, ну и вести войну, то есть убивать по приказу. Впрочем, они успели приобрести и специальные сведения, к примеру, они могли со знанием дела рассуждать на тему, в чем преимущество саперной лопатки перед штыком. Ведь лопаткой можно не только ткнуть под подбородок, но и ударить со всего размаху, наискось, между шеей и ключицей. Лопатка с легкостью рассекает грудь, тогда как штык может застрять между ребрами, и приходится упираться ногой в живот, чтобы его выдернуть...

Поскольку ни один из здешних кельнеров, более чем где-либо сдержанных, не осмеливался подойти к нашему чрезмерно шумному столу, Юнгер, избравший для нашего, как он сам это называл, "делового разговора" легкое красное вино, подлил его в рюмки и с демонстративной медлительностью отпил.

1. Саппа — подземный ход, прорытый в сторону вражеских позиций.

— Вы совершенно правы, дорогой Ремарк. Но я все-таки остаюсь при своем мнении: когда я видел в окопах своих ребят, застывших в каменной неподвижности возле винтовки с примкнутым штыком, видел, как при свете осветительной ракеты вспыхивал шлем подле шлема, клинок подле клинка, меня наполняло чувство неуязвимости. Да, сокрушить нас можно, но победить нельзя.

После некоторого молчания, которое ничем нельзя было заполнить — господин Ремарк вроде бы хотел что-то сказать, но потом явно передумал, — оба подняли рюмки и хоть и не глядя друг на друга, но, однако же, с синхронной точностью допили вино. Ремарк то и дело принимался теребить свой кавалерский платочек. Юнгер временами глядел на меня как на жука редкостной породы, которого явно недостает в его, юнгеровской, коллекции. Я же продолжала мужественно сражаться с остатками слишком большой порции мусса.

Затем господа заговорили, я бы сказала, заговорили вполне спокойным тоном и даже позволяли себе шутить над жаргоном "фронтового сброда". За слишком соленые выражения и словечки Ремарк, будучи истинным кавалером, всякий раз извинялся передо мной — перед "барышней", как он шутя меня называл. Под конец они взаимно вознесли хвалу наглядности своих фронтовых отчетов.

— Да кто вообще остался кроме нас? — вопрошал Юнгер. — Хотя да, у французов есть еще этот сумасшедший Селин...

1917

Сразу после завтрака, на сей раз вполне скромного, без шампанского — господа по моей рекомендации согласились на диетический фруктовый салат "Бирхер-мюсли", — мы продолжили наш разговор, в ходе которого оба обращались со мной до того бережно, словно перед ними сидит школьница и ее не следует пугать, и речь зашла о газовой войне, следовательно, о распылении хлора, о целенаправленном применении боевых отравляющих веществ из групп "Синий крест", "Зеленый крест" и, наконец, "Желтый крест", причем мои собеседники отчасти базировались на собственном опыте, отчасти — на чужих рассказах.

Разговор о боевых отравляющих веществах возник как-то сам по себе, после того как Ремарк упомянул весьма актуальную на период нашей встречи войну во Вьетнаме, назвав преступным как применение напалма, так и применение agent orange[1]. Он сказал:

— Кто сбросил атомную бомбу, у того уже нет больше внутренних тормозов.

Юнгер, со своей стороны, осудил систематическое уничтожение джунглей посредством коврового распыления гербицидов, охарактеризовав его просто как дальнейшую — после той войны — стадию применения боевых отравляющих веществ, но — и здесь он придерживался того же мнения, что и Ремарк, — "американец", несмотря на техническое превосходство, все равно проиграет эту "грязную войну", не допускающую более проявлений "солдатского духа".

— Впрочем, если честно, в апреле пятнадцатого года мы первыми применили под Ипром хлор против англичан.

И тут Ремарк закричал, да так громко, что находящаяся неподалеку

1. Ядохимикат для уничтожения растительности.

от нашего столика официантка сперва остановилась с перепугу, а потом умчалась прочь.

— Газовая атака! — закричал он. — Газ! Га-аз!

В ответ на его крик Юнгер с помощью чайной ложечки воспроизвел звук набатных колоколов, потом, словно по внезапному внутреннему приказу, стал вполне деловит и конкретен:

— Согласно предписанию мы начали незамедлительно смазывать машинным маслом стволы наших винтовок и вообще все металлические части. Затем надели противогазы. Потом уже, в Мончи — это было незадолго перед битвой на Сомме, — мы увидели множество отравленных газом, они стонали и давились, и слезы потоком текли у них из глаз. Но главным образом хлор раздражает и сжигает легкие. То же воздействие я мог наблюдать и во вражеских окопах. Вскоре после этого англичане попотчевали нас фосгеном, у которого такой сладковатый запах...

Тут опять взял слово Ремарк:

— В длящейся по нескольку дней непрерывной рвоте они по кусочкам выблевывали свои легкие. Всего хуже им приходилось, когда из-за непрерывного заградительного огня они не могли покинуть окопы, а газовое облако как бесформенная амеба расползалось по всем углублениям и рытвинам. Горе тем, кто слишком рано сорвал газовую маску... И всего хуже пришлось неопытному пополнению... Эти молоденькие растерянные парнишки... эти бледные, мучнистые лица... в не по размеру большом обмундировании... с их лиц еще при жизни исчезло какое бы то ни было выражение — как это можно наблюдать у мертвых младенцев... Когда мы при шанцевых работах подошли к нашей передней линии и наткнулись на ячейку, полную этих бедолаг, я увидел их... с синими лицами и черными губами... а в одной воронке они слишком рано сорвали маски... и харкали, харкали кровью, пока не умерли...

Оба извинились передо мной, что, мол, с утра пораньше это как-то чересчур... И вообще странно, чтобы молодая дама выказывала интерес к подобным зверствам, в которых неизбежно проявляет себя война. Я постаралась успокоить Ремарка, который превосходил по этой части Юнгера, почитая себя кавалером старой закваски. Я сказала, чтоб они со мной не считались. Исследовательский проект, порученный нам фирмой Бюрле, требует помимо прочего точности в деталях.

— Известно ли вам, какой калибр производили в Эрликоне на экспорт? — поинтересовалась я и попросила продолжить рассказ.

Поскольку господин Ремарк молчал и, отведя взор, разглядывал Ратхаусбрюкке — мост, ведущий к набережной Лиммата, меня начал просвещать господин Юнгер, производивший более уравновешенное впечатление. Он рассказал мне о совершенствовании противогаза, затем о боевом отравляющем веществе — горчичном газе, впервые примененном в июне семнадцатого года, с немецкой стороны, во время третьего сражения под Ипром. Речь шла о лишенных запаха, едва видимых газовых пеленах. Такой, знаете, стелющийся по земле туман, разрушающий клетки, причем действие его сказывается лишь через три-четыре часа. Дихлорэтилсульфид, маслянистое, распыленное на мельчайшие капли соединение, против которого не помог бы никакой противогаз.

Далее господин Юнгер объяснил мне, как благодаря обстрелу "Желтым крестом" были отравлены вражеские окопы, после чего их можно было брать голыми руками.

Еще он сказал:

— Но вот поздней осенью семнадцатого года англичанин захватил под Камбре большой склад газовых снарядов, начиненных ипритом, и применил их против нас же. Много ослепших... Послушайте, Ремарк, а не тогда ли поразило и величайшего ефрейтора всех времен и народов? После этого он еще, помнится, угодил в лазарет под Пазевальком... Там встретил конец войны... И решил сделаться политиком...

1918

После короткого рейда за покупками — Юнгер запасся сигарами, включая и сигары из Бриссаго, Ремарк же последовал моим советам и приобрел у Гридера шелковый шарфик для своей жены Полетт — я в такси доставила обоих господ к Главному вокзалу. Поскольку у нас еще оставалось время, мы наведались в вокзальный буфет. Я предложила выпить на прощанье легкого белого вина. Хотя по сути все уже было сказано, в течение оставшегося часа с лишним мной были еще сделаны некоторые записи. На мой вопрос, а довелось ли им в последний год войны свести знакомство с весьма часто применявшимися тогда в боях английскими танками, оба господина отвечали, что лично на них никакие танки не наезжали, хотя Юнгер со своей стороны утверждал, будто его часть в ходе контратак неоднократно натыкалась на эти "выгоревшие колоссы". Люди пытались защищаться от танков, кто с помощью огнеметов, кто связками гранат.

— Этот вид оружия тогда еще пребывал во младенчестве. Время быстрых, всеохватных танковых атак еще не наступило.

После этого выяснилось, что оба могли наблюдать воздушные бои. Ремарк припоминал пари, которые заключались в окопах и на марше:

— Порция ливерной колбасы или пять сигарет — такова была ставка, независимо от того, кто падал, распуская по небу дымовой хвост, "фоккер" или одноместный "спад". Количественное превосходство было все равно за ними. Под конец на каждый наш самолет приходилось пять английских или американских.

Юнгер подтвердил:

— По всем статьям материальное превосходство врага было подавляющим, особенно в воздухе. И однако же я не без зависти наблюдал за нашими ребятами в трипланах. Воздушные бои всегда протекали порыцарски. Беззаветная храбрость, когда одинокая машина, подлетая с солнечной стороны, выклевывала себе противника из вражеского соединения. Какой был тогда девиз у эскадрильи Рихтхофена? Ах да, девиз был такой: "Железно, но безумно!" И видит бог, они не посрамили свой девиз. Хладнокровие и благородство. Очень-очень стоит прочесть, дорогой мой Ремарк, "Красный пилот", хотя даже и сам господин барон ближе к концу своих весьма живо написанных воспоминаний не мог не признать, что не позже чем с шестнадцатого года представления о бодро-веселой войне иссякли. Внизу лишь грязь да поля в воронках. Все более чем серьезно, все с ожесточением. И однако же вплоть до конца, когда его самого тоже сняли с неба, он сохранял неизменную храбрость. А такая позиция оправдала себя и на земле. Да, техника превосходила! В бою же не побеждены — вот как об этом говорилось. Но за спиной у нас разгорался бунт. Если я начну пересчитывать свои ранения — по

крайней мере четырнадцать попаданий: пять — от винтовочных пуль, два — осколки снарядов, один — шрапнель, четырьмя я обязан гранатам и два — от разных прочих осколков, с входными и выходными отверстиями получается двадцать рубцов, — я неизбежно приду к выводу: а дело все-таки того стоило.

Этот подсчет он завершил звонким, сказать точнее, столь же старческим, сколь и юношеским смехом. Ремарк сидел с замкнутым выражением лица.

— Нет, здесь я вам не конкурент. Меня задело только один раз, когда я отрывал окоп. С меня и этого хватило. Нет и нет, геройскими подвигами я похвастаться не могу. Впоследствии я только служил в лазарете. Но уж там такого навидался и наслышался! Так что и с украшением, которое я вижу у вас на шее, мне не тягаться. "За заслуги" — "Pour le Merite". Но что мы были побеждены, это факт. В любом отношении. Просто у вас и вам подобных не хватило духа признать поражение. Причем нам его не хватает и по сей день.

Все ли было этим сказано? Нет. Юнгер подсчитал жертвы той эпидемии гриппа, которая в последние годы войны свирепствовала по обе стороны фронта.

— Свыше двадцати миллионов, примерно столько же, сколько погибло в результате военных действий, но павшие по меньшей мере знали, ради чего они пали.

И тогда Ремарк почти шепотом спросил:

— Боже милосердный, так ради чего же?

С некоторым смущением я положила на скатерть столь знаменитые книги обоих авторов и попросила у них автограф. Юнгер поспешил написать на своем романе: "Нашей храброй девочке"; Ремарк же начертал вполне недвусмысленную фразу: "Как из солдат получаются убийцы".

Вот теперь и впрямь было все сказано. Господа осушили свои рюмки. Почти одновременно — Ремарк чуть раньше — они поднялись с мест, едва заметно поклонились, но обошлись при этом без рукопожатия, а меня, которой каждый из них символически поцеловал ручку, попросили не следовать за ними на перрон, благо у обоих при себе только ручная кладь.

Пять лет спустя господин Ремарк умер, а вот господин Юнгер, судя по всему, вознамерился прожить наше столетие до конца.

1923

Сегодня эти бумажки выглядят очень даже красиво. И мои внуки охотно с ними играют. Покупают дома, продают дома, тем более что из времен перед падением стены я сберегла несколько бумажек с колосом и циркулем, правда дети ценят их меньше из-за того, что на них мало нулей, и в игре они выполняют роль разменной монеты.

Деньги времен инфляции я обнаружила уже после смерти моей матери в ее хозяйственной книге, которую задумчиво листала, так как все, что касается тогдашних цен и кулинарных рецептов, вызывает во мне грустные, но приятные воспоминания. Да, видит бог, маме приходилось нелегко. Мы, четыре дочки, хотя и против своей воли, причиняли ей множество огорчений. Я была старшая. И конечно же, тот кухонный

фартук, который, как я могу прочесть в книге, к концу двадцать второго года стоил три с половиной тысячи марок, был предназначен для меня, потому что я каждый вечер помогала маме накрывать на стол для жильцов, для которых она стряпала с такой изобретательностью. Платье в баварском стиле за восемь тысяч сносила моя сестра Хильда, хотя она решительно не желает вспомнить его красно-зеленый узор. Но Хильда, которая уже в конце пятидесятых перебралась на Запад и еще ребенком была ой-с каким характером, все равно в душе своей отреклась от всего, что было когда-то.

Ну да, так про что я хотела сказать? Верно, про эти к небу взмывающие цены. Мы при них выросли. И в Хемнице, хотя я уверена, что и еще где-нибудь, мы распевали считалку, которая и по сей день очень по душе моим внукам:

Раз, и два, и пять лимонов,
Мать наварит макаронов,
По десятку за обед,
Выйди вон, раз сала нет.

А еще три раза в неделю у нас были бобы либо чечевица. Поскольку бобовые, которые очень несложно хранить, становились все дешевле, если, конечно, мама их вовремя закупала.

То же можно было сказать и об американской тушенке, банки которой сотнями громоздились у нас в кухонном шкафу.

Итак, мама стряпала для трех наших постояльцев, которых из-за скачкообразного роста цен заставляла платить ежедневно. Она начиняла тушенкой голубцы из травы и сочники из теста. По счастью, один из нахлебников, которого мы, дети, называли дядя Эдди и который до войны служил стюардом на гордых океанских лайнерах, имел в запасе мешочек серебряных долларов. И поскольку после безвременной смерти нашего отца дядя Эдди стал очень близок маме, я обнаруживаю и в расходной книге подтверждение того, что поначалу американский доллар шел за семь с половиной тысяч, позднее и вовсе за двадцать миллиардов. А в самом конце, когда в мешочке у дяди Эдди сиротливо позвякивало лишь несколько серебряных монеток, стоимость одного доллара — хотите верьте, хотите нет — исчислялась в биллионах. Во всяком случае, это благодаря дяде Эдди у нас бывало и свежее молоко, и рыбий жир, и сердечные капли для мамы. А изредка — если мы хорошо себя вели — даже шоколадные медальки для нас.

Но мелким служащим и чиновникам, не говоря уж о тех, кто вообще зависел от благотворительности, приходилось из рук вон плохо. Будучи вдовой, мама навряд ли смогла бы прокормить нас с одной лишь вдовьей пенсии. И повсюду нищие и нищие инвалиды. Хотя, к примеру, господин Хайнце, который жил в нижнем этаже и на которого сразу после войны свалилось изрядное наследство, явно прислушавшись к чьим-то разумным советам, вложил все свои деньги в сорок гектаров посевной и пастбищной земли, а крестьян, которые обрабатывали его поля на правах аренды, заставлял вносить арендную плату натурой. Говорят, у него висели целые окорока. А потом, когда на денежных знаках остались сплошные нули и всюду вводили местные деньгозаменители, например, у нас, в Саксонии, ввели угольные деньги, он променял все свои окорока на ткани, на целые рулоны шерсти, габардина и тому подобное, так что позднее, когда ввели рентную марку, он в два счета основал собственное дело. О да, уж он-то исхитрился!

Но "выигравшим войну", как его обзывали люди, господин Хайнце все-таки не был. По-настоящему выигравшие носили другие имена. И дядя Эдди, который уже тогда был коммунистом, а позже кое-чего достиг в государстве рабочих и крестьян, у нас, в Карл-Маркс-штадт, бывшем Хемнице, мог бы перечислить по именам всех этих "акул в цилиндрах", как он обычно называл капиталистов. Так что и для него, и для мамы было, пожалуй, даже лучше, что они не дожили до введения западных денег. Тем самым им не пришлось и тревожиться о том, что будет дальше, когда окончательно введут евро.

1928

Можете все это спокойно читать. Я это записывала для своих правнуков, на потом. Сегодня ведь никто не поверит, что тогда творилось здесь, в Бармбеке, и вообще повсюду. Читается прямо как роман, но я все это пережила лично. Н-да, оказалась я с тремя детьми одна-одинешенька при крохотной пенсии, когда отец на Ферсмановском причале, перед складом № 25, где он служил грузчиком, угодил под плиту, груженную ящиками апельсинов. Хозяин сказал, что "по собственной неосторожности". И тут нечего было рассчитывать ни на единовременное пособие, ни на возмещение ущерба. А старшенький мой уже служил тогда в полиции, округ 46, вот, можете тут у меня прочесть: "Герберт хотя и не состоял в партии, но голосовал всегда по левому списку..."

Вообще-то говоря, мы были традиционно социалистами, уже мой отец и отец мужа. А Йохен, мой второй, вдруг, когда здесь началась вся эта заварушка со скандалами и поножовщиной, стал убежденным коммунистом, вошел даже в боевой союз "Рот-Фронт". Парень он вообще-то был толковый, раньше интересовался только что своими жуками да бабочками. Грузил в порту баржи и еще подрабатывал в Шпайхерштадт. И вдруг он ни с того ни с сего заделался фанатиком. Совсем как Хайнц, наш младшенький, который, когда у нас здесь проходили выборы в рейхстаг, точно так же вдруг заделался настоящим маленьким наци, не сказав мне перед этим ни единого словечка. Пришел, значит, домой в форме СА и начал держать речи. А парень был веселый такой, и все его любили. Он работал тоже в Шпайхерштадт, их фирма рассылала сырой кофе. Иногда он мне втихаря кое-что подбрасывал, чтоб обжарить. Аромат тогда стоял на всю квартиру, и на лестничной клетке тоже. И тут вдруг... Правда, поначалу все это выглядело у нас довольно мирно. Даже по воскресеньям, когда все трое сидели за кухонным столом, а я возилась у плиты. И эти двое друг друга поддразнивали. А когда, бывало, закричат слишком уж громко, мой Герберт бух кулаком по столу — это он так наводил порядок. Его оба младших слушались, даже в свободные дни, когда он не носил формы. А потом, значит, начались скандалы. Вот, можете прочесть, что я здесь написала про семнадцатое мая, когда два наших товарища — они были из социал-демократического шуцбунда, дежурили на собраниях и перед избирательным участком — оба погибли.

Одного убили в Бармбеке, другого в Аймсбюттеле. Товарища Тидемана коммунисты подстрелили прямо из своего агитационного автомобиля. А товарища Хайдорна — люди из СА, когда их застукали за расклейкой плакатов на углу Бундесштрассе и Хоэ Вайде, просто убили. Ну и крик стоял у нас за кухонным столом. "Нет! — кричал Йохен. — Сперва

эти социал-фашисты палили в нас и случайно подстрелили своего человека, этого Тидемана!" А Хайнц вопил: "Это была необходимая самооборона, чистейшей воды самооборона! И первыми полезли рейхсидиоты!.." И тогда мой старший, который был в курсе по донесениям полиции да вдобавок выложил на стол "Фольксблатт" — а в газете-то стояло, вот гляньте, я все сюда наклеила, что убитый Тидеман, столяр по профессии, был поражен пулей в переднюю часть головы сбоку и что при сопоставлении входного и расположенного ниже выходного отверстия становится ясно, что стрелявший стоял много выше...

Значит, становится ясно, что коммуна стреляла сверху и что в Аймсбюттеле СА начали первыми. Но все это ничуть не помогло. Спор за кухонным столом разгорелся еще пуще, потому что мой Хайнц начал разыгрывать из себя штурмовика и обозвал моего старшего польской свиньей, после чего вскочил именно мой средний и отдубасил что есть мочи моего Герберта, потому что тот и впрямь обозвал Хайнца нехорошим словом "социал-фашист". А мой старший сохранял полнейшее спокойствие, он и всегда был таков. Он только сказал то, что я здесь записала: "С тех пор как эти, в Москве, задурили вам голову своим коминтерновским решением, вы уже перестали отличать красное от коричневого". И еще он сказал, что, если рабочие будут убивать друг друга, капиталисты только обрадуются и будут весело хохотать. "Точно", — закричала я от своей плиты. В конце так оно все и вышло, я это и по сей день повторяю. По крайней мере, после кровавой ночи в Бармбеке и Аймсбюттеле весь Гамбург так больше и не успокоился. По крайней мере, у нас на кухне покоя больше не было. Лишь когда мой Йохен, еще до того как пришел Гитлер, показал коммунистам спину и потому сразу же потерял работу и перешел в Пиннеберг к СА, где снова нашел работу на элеваторе, у нас дома стало поспокойней. Мой младший, который так и остался внешне нацистом, становился с каждым днем все тише и больше ни капельки не был веселый до тех пор, пока, когда приспело время, не ушел на флот, в Эккернфёрде, где попал на подводную лодку да так с нее и не вернулся. А мой, значит, второй то же самое. Тот дошел до самой Африки, вот только назад не пришел. Его письма я тоже сюда вклеила. Все до единого. А вот старший так и остался при полиции. И уцелел. Но когда его вместе со всем полицейским батальоном послали на Украину, он там, верно, участвовал в чем-то очень нехорошем. Но об этом он никогда не рассказывал. И после войны тоже нет. Он не рассказывал, а я и не спрашивала. Я и так знала, что творится с моим Гербертом, до самого его конца, когда он, а было это осенью пятьдесят третьего, ушел из полиции, у него рак был, и ему оставалось всего несколько месяцев. А своей Монике, ну, моей невестке, он оставил трех детей, и все три — девочки. Девочки эти уже давно замужем, и у всех уже есть свои дети. Вот для них-то я все и записала, хотя от этого болит сердце, я хочу сказать, когда записываешь, как оно все когда-то было. Впрочем, читайте сами.

1932

Что-то должно было произойти. Дальше так продолжаться не могло, со всем этим чрезвычайным положением и выборами, непрекращающимися выборами. Но вообще-то говоря, до сих пор мало что изме-

нилось. Ну конечно, тогдашнее "не имеющий заработков" и теперешнее "безработный" звучит немножко по-разному. Тогда не говорили: "У меня нет работы", а говорили: "Я хожу отмечаться". "Отмечаться" звучит как-то активнее. Потому что никто не хотел признаваться, что ничего не зарабатывает. Это считалось позором. Вот я, к примеру, когда меня спрашивали в школе или его преподобие Вацек на занятиях по катехизису, говорил в ответ, что мой отец ходит отмечаться, а сегодня мой внук снова, причем без тени смущения, говорит, как они это теперь называют, что он "живет на пособие". Спору нет, когда у власти был Брюнинг, дошло до шести миллионов, так ведь и сегодня, если считать точно, уже подбирается к пяти. Из-за чего сегодня, как и тогда, экономят каждый грош и покупают только самое необходимое. Тут в принципе вряд ли что изменилось. Разве что в тридцать втором, когда пошла третья зима, отца лишили страховки и с каждым разом все сокращали и сокращали пособие. Теперь он получал в неделю аж три марки пятьдесят, а поскольку оба моих брата тоже ходили отмечаться и только сестра Эрика, которая работала продавщицей у Тица, приносила домой живые деньги, у матери в неделю не набиралось на хозяйство даже ста марок. Этого ну никак не хватало, впрочем, в наших краях так жили все. И горе тому, кто, бывало, подцепит грипп или что-нибудь в этом роде. Даже просто за больничный лист надо было выложить пятьдесят пфеннигов. Новые подметки пробивали в бюджете страшную брешь. Угольные брикеты стоили примерно две марки. Но в наших краях вырастал отвал за отвалом. Их, конечно же, охраняли, даже строго охраняли, с собаками и колючей проволокой. А всего хуже обстояло дело с запасами картофеля на зиму. И тут уж неизбежно должно было что-то произойти, потому что по всей системе побежали трещины. Впрочем, сегодня дело обстоит точно так же. Те же долгие часы ожидания в службе занятости. Один раз отец взял меня с собой. "Чтоб ты сам увидел, как это делается". Перед входом двое полицейских следили, чтобы никто не нарушал порядок, потому что люди стояли на улице в длинной очереди, но и внутри они тоже стояли, мест для сидения было очень мало, впрочем, и внутри и снаружи царило спокойствие, потому что все были заняты своими мыслями. В тишине очень хорошо было слышно, как стучат по бумаге штемпелем. Резкий такой стук. Штемпеля ставили не то в пяти, не то в шести окошках. И по сей день у меня стоит в ушах этот стук. И еще я по сей день вижу лица тех, кто получил отказ. "Сроки истекли!" или "Не все бумаги представлены!" Но отец принес все, что нужно: заявление, справку с последнего места работы, справку о тяжелом материальном положении и карточку выплат. Потому что с тех пор, как он не получал ничего, кроме пособия, материальное положение проверяли даже по месту жительства. Боже упаси, если у кого заведется новая мебель или радиоприемник. Ах да, и еще там пахло мокрой одеждой. Снаружи-то очередь стояла под дождем. Без шума и без толкотни, и даже без политики. Потому что всем и все уже осточертело и каждый думал про себя: так дальше продолжаться не может. Должно что-то произойти. А потом отец повел меня в Самопомощь для безработных. При Доме профсоюзов. Там висели плакаты и призывы к солидарности. И можно было кой-чего похлебать, из тарелки, чаще всего суп, одно блюдо. Но матери не следовало знать, что мы туда ходили. "Ничего, как-нибудь я вас прокормлю", — говорила она нам, а когда тонко намазывала

салом кусок хлеба в школу, смеялась, а когда никакого сала не было, говорила: "Если не с чего, ходим с бубей". Сегодня, конечно, не так худо, но вполне может стать. Тогда, во всяком случае, существовала трудовая повинность для живущих на пособие. У нас в Ремшайде их заставляли строить дорогу к плотине. Отца тоже заставляли, потому что мы жили на пособие. И поскольку конская тяга обошлась бы слишком дорого, двадцать человек запрягали в многотонный каток, кричали им "Н-но!", и работа начиналась. Но смотреть на это мне не позволяли. Отец, бывший некогда мастером по машинам, стеснялся своего сына. Зато дома я слышал, как он плачет, когда становилось темно и он лежал с матерью в постели. Вот мать, та никогда не плакала, только уже под самый конец, перед захватом власти, часто говорила: "Хуже просто быть не может". Ну, сегодня ничего такого с нами случиться не может, так я успокаивал своего внука, когда он хаял все что ни есть вокруг. "А ты в общем-то прав, — отвечал этот сорванец. — Хоть с работой дело обстоит хуже некуда, но акции-то все поднимаются и поднимаются".

1933

Известие о провозглашении достигло нас в середине дня, когда вместе с Берндом, моим юным коллегой, я собрался перекусить тут же, в галерее, а сам при этом вполуха слушал радио. Это значит, что я ничуть не был удивлен. После отставки Шлейхера все указывало на него и только на него. Речь могла идти только о нем. Перед его неукротимой жаждой власти склонился даже престарелый президент. Я попытался отреагировать шуточкой: "Ну, теперь маляр осчастливит нас как художник", но Бернд, которому, по его собственным словам, вся политика была до лампочки, увидел в свершившемся личную угрозу. "Надо сматываться, — сказал он, — нам надо сматываться отсюда".

Я же, хоть и посмеялся над такой чрезмерной реакцией, одновременно убедился в правильности принятых мною ранее мер: уже несколько месяцев назад я отправил в Амстердам часть тех картин, которые в предвидении возможного захвата власти могли быть сочтены особенно неблагонадежными: несколько Кирхнеров, Пехштейна, Нольде и тому подобное. В галерее осталось лишь кое-что из принадлежавшего кисти Мастера: поздние, в ярких красках садовые пейзажи. Все они наверняка не подпадали под определение "выродившееся искусство". Опасность грозила ему скорей как еврею и по той же причине его жене, хотя я всячески пытался уговорить Бернда и самого себя: "Ему далеко за восемьдесят. Они не посмеют ничего с ним сделать. Хотя, конечно, ему придется оставить пост президента Академии искусств. И то сказать, месяцев через четыре-пять весь этот бред все равно кончится".

Однако тревога не покидала меня и даже усиливалась. Мы заперли галерею, и после того как мне удалось хоть немного успокоить моего дорогого Бернда, который откровенно плакал, я ближе к концу дня отправился домой. Уже вскоре стало невозможно пробиваться сквозь толпу. Лучше бы мне сесть в электричку. Отовсюду стекались колонны. Уже начиная с Харденбергштрассе. Они вышагивали шеренгами, по шестеро, вверх по Аллее Победы, за одной группой штурмовиков следовала другая. Словно их засасывало в некую воронку, направленную к

Большой Звезде[1], каковая, судя по всему, и была их конечной целью. Едва колонна подтягивалась, тут же начинался шаг на месте, настойчивый, нетерпеливый — только не стоять, только не стоять. О, эта пугающая серьезность на молодых, отмеченных подбородочным ремнем лицах! И все больше, все больше зевак, толчея среди которых начала делать непроходимыми уже и тротуары. И надо всем этим согласное пение. Тут я в прямом смысле слова ушел в кусты, начал прокладывать себе дорогу через уже темный Тиргартен, причем оказался далеко не единственным из тех, кто, подобно мне, норовил продвигаться окольными путями. Наконец, уже неподалеку от цели своего пути, я обнаружил, что Бранденбургские ворота перекрыты. Лишь при содействии полицейского, которому я бог весть что наплел, мне было дозволено пройти на лежащий сразу позади ворот Паризерплац. Ах, сколько раз, полные ожиданий, мы проезжали здесь одним и тем же путем! Какой редкостный, хоть и хорошо знакомый адрес! Как много визитов в студию Мастера, какая высокая духовная атмосфера! А этот суховатый берлинский юмор хозяина! Перед респектабельным, буржуазного вида особняком, уже много лет принадлежавшим семейству, стоял, словно дожидаясь меня, управляющий домом. "Господа все на крыше!" — сказал он и повел меня вверх по лестнице. Тем временем уже, вероятно, началось словно много лет разучиваемое, во всяком случае рассчитанное по минутам факельное шествие, ибо, когда я поднялся на плоскую крышу, вопли народного ликования возвестили его приближение. И однако же нарастающий рев из множества глоток возбуждал. До чего отвратительна эта чернь! Сегодня я должен честно признаться, что был захвачен, пусть даже на мгновение.

Но почему он выставляет себя перед толпой? И сам Мастер, и его жена Марта стояли на краю крыши. Потом, перейдя в студию, мы услышали: стоя на этом самом месте, он уже наблюдал в семьдесят первом году возвращающиеся из Франции полки, потом, в четырнадцатом, уходящих на войну пехотинцев, на которых еще были остроконечные шлемы, потом, в восемнадцатом, вступление революционных матросских батальонов, вот почему он рискнул и теперь бросить последний взгляд сверху. По поводу чего можно наговорить много благоглупостей.

Но ранее, на плоской крыше, он стоял безмолвно, с погасшей "гаваной" во рту. Оба в шляпах, в зимних пальто, словно готовые к отъезду. Темные на фоне неба. Величественная пара. Вот и Бранденбургские ворота были лишь серой массой, которую время от времени выхватывали из тьмы полицейские прожектора. Потом факельное шествие приблизилось и разлилось во всю ширину улицы, лишь на короткое время разделенное колоннами ворот, чтобы затем снова слиться воедино, неотвратимое, неудержимое, торжественное, судьбоносное, освещая собой ночь, подсвечивая ворота до самой квадриги, до края шлема, до знака победы в руках у богини[2]. Даже мы, стоявшие на крыше либермановского дома, были озарены тем роковым блеском, но одновременно нас достигли дым и зловоние от сотен тысяч, а то и больше факелов.

Какой позор! С превеликим ужасом я должен признать, что это зрелище, нет, даже не зрелище, а картина грозного явления природы меня хоть и ужаснула, но в то же время глубоко взволновала. От нее исходи-

1. Скрещение нескольких улиц с Аллеей Победы.
2. Богиня держит на вытянутых руках венок и жезл.

ла некая воля, которой хотелось повиноваться. Этому возвышенному движению рока ничто не противостояло. Это был поток, который увлекал за собой. И ликование, поднимающееся снизу со всех сторон, вполне могло вызвать и у меня восторженный клич "Зигхайль", если бы Макс Либерман не сопроводил его тем словцом, которое позднее словно пароль шепотком пробежало по всему городу. Отвратив свой взор от исторической картины, как от увенчанного сверканием окорока истории, он с берлинским акцентом изрек: "Я просто не в состоянии столько сожрать, сколько мне хотелось бы выблевать".

Когда Мастер покидал плоскую крышу своего дома, Марта взяла его под руку. Я же начал подыскивать слова достаточно убедительные, чтобы уговорить престарелую чету бежать из Германии. Но ни одно из слов не казалось мне подходящим. Их нельзя было пересадить в другую почву, нельзя даже в Амстердам, куда я в самом непродолжительном времени бежал вместе с Берндом. Во всяком случае, для наших любимых картин — некоторые из них кисти Либермана — уже несколько лет спустя Швейцария послужила относительно надежным, хотя и не очень приятным убежищем. Бернд меня оставил... Ах... Впрочем, это уже другая история.

1934

Между нами говоря, это дело можно было провернуть и поаккуратнее. Я же сдуру пошел на поводу у чисто личных мотивов. А началась вся эта муть из-за слишком быстрой перемены дислокации, вызванной рёмовским путчем: мы были откомандированы из Дахау и 5 июля получили под начало концлагерь Ораниенбург, сразу после того, как целую шарагу людей СА сменили группой от лейбштандарта, к слову сказать, той самой, что несколькими днями раньше разделалась с рёмовской кликой в Висзее и в других местах. Все еще явно утомленные совершенной работой, они поведали о "ночи длинных ножей" и передали нам всю лавочку вкупе с несколькими унтерфюрерами, которые должны были помочь нам в осуществлении бюрократической части смены гарнизона, но оказались совершенно к этому не способны.

Один из этих амбалов с говорящим именем Шталькопф[1] выстроил передоверенных нам арестантов на перекличку, а находившимся среди них евреям приказал строиться отдельно.

Выстроилась от силы дюжина, из которых один сразу бросился мне в глаза. Во всяком случае, я тотчас узнал Мюзама[2]. Да и трудно было не узнать такую физиономию. Хотя этому бывшему представителю революционных советов в бранденбургской тюрьме ножом срезали бороду, да и кроме того изрядно насажали синяков, примет сохранилось более чем достаточно. Между нами будь сказано: анархист самой изысканной породы и вдобавок типичный завсегдатай кофеен, который в самом начале моего мюнхенского жития производил впечатление скорей забавное, выступая как агитатор и поэт абсолютной свободы и, само собой, в первую очередь свободной любви. А теперь передо мной стояло воплощенное несчастье, непригодное для разговоров по причине

1. Стальная голова (*нем.*).
2. Эрих Мюзам (1878—1934) — поэт, драматург, публицист. Вскоре после захвата власти нацистами убит ими в концлагере Ораниенбург.

глухоты. Чтобы обосновать свою глухоту, он указал на свои отчасти истекающие гноем, отчасти покрытые запекшейся кровью уши и хмыкнул с извиняющимся видом.

Как адъютант, я подал бригаденфюреру Айке рапорт, где назвал Эриха Мюзама человеком, с одной стороны, вполне безобидным, с другой — особенно опасным, потому что даже коммунисты побаивались его агитационных речей: "В Москве такого бы уже давно ликвидировали".

Бригаденфюрер Айке тогда сказал, чтобы я сам занялся этим делом, и порекомендовал особое обращение, что было понятно и без слов. В конце концов, не кто иной, как Теодор Айке, лично прикончил Рёма. Но сразу после переклички я допустил свою первую ошибку, решив, что грязную работу я вполне могу перепоручить Шталькопфу, упомянутому выше придурку из СА.

Между нами говоря, я побаивался связываться с этим евреем. Вдобавок он проявил удивительную выдержку во время допроса. На каждый задаваемый ему вопрос он отвечал строчками из стихов, явно собственных, но и шиллеровских тоже: "Und setzet Ihr nicht das Leben ein..."[1]. И хотя у него было выбито несколько передних зубов, цитировал он так, что хоть со сцены произноси. С одной стороны, это, конечно, было смешно, но вот с другой стороны... Вдобавок меня раздражало пенсне на его еврейском носу... Того пуще — трещины в обоих стеклах... И после каждой очередной цитаты он непременно улыбался. Как бы то ни было, я дал Мюзаму сорок восемь часов, а в придачу настоятельный совет собственноручно положить конец. Но этой услуги он нам, увы, не оказал. Тогда за дело принялся Шталькопф. И явно утопил его в сортире. Подробностями я не интересовался. Но потом, конечно, оказалось очень нелегко представить случившееся как самоубийство через повешение. Во-первых, нетипично стиснутые судорогой руки. Потом, нам так и не удалось вытянуть язык изо рта. Ну и узел на петле был вывязан слишком профессионально. Мюзаму бы ни в жисть так не вывязать. Мало того, этот болван Шталькопф допустил и еще одну глупость. На утренней перекличке он скомандовал: "Евреи! Для отрезания петли два шага вперед!", чем сделал всю историю достоянием общественности. Уж конечно эти господа, среди которых было двое врачей, сразу разгадали халтурную работу.

И конечно я немедля получил взбучку от бригаденфюрера Айке. "Что ж это вы, Эхард!? Видит бог, вы могли сделать это и поаккуратнее". Возражать было нечего, потому что, между нами говоря, это дело еще долго будет висеть на нас, ведь нам так и не удалось сделать глухого еврея еще и немым. Всюду говорили одно и то же... За границей Мюзама славили как великомученика... Даже коммунисты, и те... Пришлось нам ликвидировать концлагерь Ораниенбург, а заключенных распихать по другим лагерям. Сейчас я снова в Дахау, полагаю, с испытательным сроком.

1936

Недостатка в людях, вселяющих надежду, не было никогда. У нас, например, в лагере Эстервеген, достигшем определенной известности благодаря песне "Болотные солдаты", где в повторяющемся рефрене неиз-

1. *Фридрих Шиллер.* «Лагерь Валленштейна», явление XI: «Кто жизнь не поставит, как ставку, в бою...». Перевод В. Зоргенфрея.

менно используется рифма "солдаты – лопаты", с весны тридцать шестого ходили слухи, что перед началом Олимпийских игр всеобщая амнистия положит конец нашему жалкому прозябанию в Эмсланде на правах вредителей и торфодобытчиков. Слух этот покоился на благочестивом убеждении, будто Гитлер не может не считаться с заграницей, будто время устрашающего террора миновало и вдобавок торфорезка как исконно немецкое занятие должна быть передоверена добровольцам из Трудовой повинности.

Но потом вдруг пятьдесят заключенных, все сплошь профессиональные ремесленники, были откомандированы в Заксенхаузен, неподалеку от Берлина. Там мы под охраной эсэсовцев из военизированных объединений "Мертвая голова" должны были возвести гигантский лагерь площадью в тридцать гектаров, рассчитанный поначалу на две с половиной тысячи заключенных. Как чертежник-проектант я вошел в группу откомандированных торфорезов. Поскольку готовые части бараков поставлялись одной берлинской фирмой, мы получили возможность минимальных, в остальном строжайше запрещенных контактов с внешним миром и могли наблюдать некоторые проявления суеты, царившей в столице рейха перед самым началом Олимпийских игр: туристы со всего света заполонили Курфюрстендамм, Фридрихштрассе, Алекс и Потсдамерплац. Но больше сведений до нас не доходило. Лишь когда в караулку только что сооруженного барака комендатуры, где располагалось строительное начальство, провели радио, мы получили возможность изредка наслаждаться этим техническим усовершенствованием, с утра до позднего вечера передававшим исполненные пафоса репортажи с церемонии открытия, а потом и первые результаты состязаний. Поскольку я, когда один, а когда с другими, должен был довольно часто являться к строительному начальству, мы были более или менее в курсе того, что происходило в начале игр. А когда при объявлении первых результатов финальных состязаний аппарат врубили на полную мощность, так что громкости хватало и на весь аппельплац, и на соседние стройки, многие из нас могли собственными ушами услышать про дождь медалей. Кроме того, мы заодно услышали, кто там сидит на почетной трибуне: сплошные деятели из разных стран, в частности шведский наследный принц, итальянский кронпринц Умберто, британский статс-секретарь Вэнситтард, вдобавок целая свора дипломатов, среди них многие из Швейцарии. По этой причине мы надеялись, что от многочисленного зарубежного представительства не укроется сооружение гигантского лагеря подле Берлина.

Но миру не было до нас никакого дела. У спортивной "молодежи мира" хватало собственных забот. Наша судьба никого не волновала. Нас как бы вообще не было. Лагерные будни протекали своим чередом, если отвлечься от громкоговорителя в караулке. Ибо этот защитного цвета и явно заимствованный у военных прибор приносил нам сведения из мира, который существовал по ту сторону колючей проволоки. Уже 1 августа толкание ядра и бросание молота принесли нам две золотые медали. Мы с Фритьофом Тушинским, "зеленым", как его называли из-за цвета нашивки, которая полагалась уголовникам, были как раз в строительном управлении, чтобы внести некоторые коррективы в чертежи, когда по радио сообщили о второй золотой медали, что со всей возможной громкостью было отпраздновано эсэсовцами в соседнем помещении. Но когда Тушинский решил, что и ему тоже можно лико-

вать, на него упал взгляд руководителя работ, хауптштурмфюрера Эссера, который пользовался репутацией человека жестокого, но справедливого. Если бы я тоже принялся громогласно ликовать, это окончилось бы более суровым наказанием, чем для "зеленого", потому что я был политический, с красной нашивкой. Тушинского заставили сделать пятьдесят приседаний, тогда как мне благодаря чрезвычайной дисциплинированности удалось с видом внешне невозмутимым дожидаться указаний, хотя при этом я вполне мог про себя ликовать по поводу этой победы, как и всех дальнейших немецких побед, недаром же я всего лишь несколько лет назад был в магдебургском "Спартаке" активным бегуном на средние дистанции и даже одерживал победы на дистанции свыше трех тысяч метров.

Несмотря на запрещенные проявления радости — мы, как объяснил нам Эссер, были недостойны откровенно ликовать по поводу немецких побед, — во время игр нельзя было полностью избежать спонтанного сближения между заключенными и охранниками, когда, например, лейпцигский студент Лутц Лонг в прыжках в длину затеял захватывающее соревнование с чернокожим американцем Джесси Оуэном, победителем в беге на сто и двести метров, которое Оуэн в конце концов и выиграл, установив олимпийский рекорд по прыжкам в длину. Он прыгнул на восемь метров и шесть. А мировой рекорд на восемь метров и тринадцать и без того уже ему принадлежал. И однако же все, кто оказался неподалеку от громкоговорителя, ликовали по поводу серебряной медали Лонга: два эсэсовских унтершарфюрера, которых называли бешеными собаками, "зеленый" капо, который презирал нас, политических, и пакостил нам при всяком удобном случае, и я, среднего ранга функционер компартии, который пережил все это и многое сверх того, а сегодня вот пережевывает свои воспоминания плохо подогнанной челюстью.

Возможно, беглое пожатие руки многократно увенчанного негра, до которого снизошел Гитлер, и породило эту мимолетную общность. А потом снова была восстановлена дистанция. Хауптштурмфюрер подал рапорт. Дисциплинарные меры коснулись как арестантов, так и охранников. Незаконный громкоговоритель исчез, из-за чего мы и не могли больше следить за ходом игр. Только из слухов я узнал о неудаче наших девушек, которые в эстафете на четыреста метров при передаче эстафетной палочки выронили ее. А уж когда игры подошли к концу, для нас и вовсе не осталось никакой надежды.

1937

Игры, которые мы затевали в школьном дворе во время перемен, не кончались со звонком на урок, а продолжались за одноэтажным домиком для туалетов, именуемым нами "ссальня", после очередного звонка на перемену. Мы воевали друг против друга. "Ссальня", примыкавшая к спортзалу, была у нас замок Алькасар в Толедо. Правда, обыгрываемые события произошли уже примерно год назад, но в наших школьных мечтах фалангисты до сих пор героически защищали эти стены, а красные все время, хоть и без всякого результата, их атаковали. Впрочем, просчеты красных объяснялись и нашим отношением: никто не желал за них выступать, вот и я тоже не хотел. Все школьники, пылая

смертельной храбростью, сражались на стороне генерала Франко. Потом наконец некоторые шестиклассники заставили нас тянуть жребий, и вместе с другими я вытянул красное, даже и не подозревая, какое значение возымеет для меня в будущем эта случайность, ибо черты будущего уже явно намечаются на школьных дворах.

Короче, мы заняли туалет. Однако не без известного компромисса, поскольку дежурные учителя порадели о том, чтобы сражающиеся стороны во время положенного перемирия смогли отлить водичку. Одно из кульминационных событий происходящего составлял телефонный разговор между комендантом крепости Алькасар полковником Москардо и его сыном Луисом, которого красные взяли в плен и грозили расстрелять, если крепость не капитулирует. Хельмут Курелла, четвероклассник с ангельским личиком и соответственным голосом, играл Луиса. Мне же пришлось изображать комиссара красной милиции Кабалло, как тот передает Луису телефонную трубку. "Алло, папа!" — прозвенел его голос над школьным двором. На это полковник Москардо: "В чем дело, мой мальчик?" — "Ни в чем, просто они говорят, что расстреляют меня, если Алькасар не капитулирует". — "Если то, что ты говоришь, правда, то поручи свою душу Богу, выкрикни "Viva España" и умри как герой". — "Прощай, отец, целую тебя крепко-крепко".

Вот какие слова прокричал ангелоподобный Луис. А в ответ на это я, красный комиссар, которому один из выпускников перепоручил завершающий клич "Viva la muerte!", вынужден был расстрелять бесстрашного мальчика под цветущим каштаном.

Не могу твердо сказать, кто лично осуществил казнь, я или кто-то другой, но это вполне мог быть и я. После чего сражение продолжилось. На следующей перемене была взорвана крепостная башня. Взрыв мы осуществили чисто акустически. Но защитники крепости все равно не сдались. То, что впоследствии было названо "Гражданская война в Испании", разыгрывалось на школьном дворе Конрадовой гимназии в пригороде Данцига Лангфуре как единственное, неизменно повторяющееся событие. Конечно же, в конце концов победили фалангисты. Кольцо осады было прорвано снаружи. Ватага четвероклассников нанесла сокрушающий удар. Полковник Москардо приветствовал освободителей своим уже прославившимся лозунгом "Sin novedad", что означало примерно "Новостей нет". А потом уже ликвидировали нас, красных.

Таким образом, ближе к концу перемены туалет снова можно было использовать вполне нормально, но уже на другой день мы возобновили нашу игру. И продолжались эти сражения до летних каникул тридцать седьмого года. Вообще-то говоря, мы вполне могли сыграть и в бомбежку баскского города Герника. Немецкая "Вохеншау" показала нам эту проведенную нашими добровольцами операцию в качестве журнала перед основным фильмом. 26 апреля город был превращен в груду развалин и пепла. У меня еще до сих пор звучит в ушах музыка, сопровождающая рев моторов. Но увидеть я смог только наши "хейнкели" и "юнкерсы": подлет — пикирование — отлет. Выглядело так, словно это у них тренировка. И было совсем не похоже на героический подвиг, который можно повторить в школьном дворе.

1938

Неприятности с нашим учителем истории начались, когда все увидели по телевизору, как Берлинская стена вдруг неожиданно открылась и все, даже моя бабушка, которая живет в Панкове, могли перейти в Западный Берлин. И уж конечно господин штудиенрат Хёсле хотел как лучше, когда он не только начал говорить о падении стены, но и задал нам всем такой вопрос:

— А вы знаете, что еще происходило в Германии 9 ноября? Ну, к примеру, ровно пятьдесят один год назад.

Поскольку все знали что-то и как-то, но ничего точно, он рассказал нам про "Хрустальную ночь" германского рейха. Про рейх говорилось потому, что она проходила одновременно по всему рейху, причем вся принадлежащая евреям посуда была разбита вдребезги, в том числе и много хрустальных ваз. Вдобавок булыжником были разбиты витрины всех принадлежавших евреям магазинов. И вообще было перебито много ценных вещей.

Возможно, ошибка господина Хёсле заключалась в том, что он никак не мог остановиться и занял под свой рассказ много уроков истории, он зачитывал нам отрывки из исторических документов о том, сколько точно синагог было сожжено и еще, что был убит ровно девяносто один человек. Все сплошь очень печальные истории, а тем временем в Берлине, да нет, по всей Германии шло бурное ликование оттого, что немцы наконец-то снова объединятся. Но наш учитель знай себе поминал старые истории, с которых все началось. Ясно только одно: что он всех нас нервировал.

Во всяком случае, его, как говорилось, "помешательство на прошлом" было осуждено на родительском собрании почти единогласно. Даже мой отец, который, вообще-то говоря, любит рассказывать о прошлом, например о том, как он еще перед сооружением стены бежал из советской зоны и перебрался сюда, в Швабию, где долго оставался для всех чужим, даже он и то сказал господину Хёсле нечто в таком роде: "Само собой, трудно возражать против того, что моя дочь узнает, как скверно вели себя банды штурмовиков по всей стране и, к сожалению, здесь, в Эслингене, но только пусть она узнает это в подходящий момент, а не тогда, когда, как сейчас, появился повод для радости и весь мир поздравляет с этим немцев..."

Между прочим, школьники с большим интересом отнеслись к тому, что когда-то происходило в нашем городе, например в приюте для еврейских сирот, его еще называли именем Вильгельма. Оказывается, всех детей выгнали во двор. Все их учебники, молитвенники, свитки Торы — всё-всё побросали в одну кучу и подожгли. Плачущие дети, которым пришлось все это наблюдать, боялись, что вместе с книгами сожгут их самих. Но тогда лишь избили до полусмерти их учителя Фрица Самуэля, причем избили гимнастическими булавами из спортзала.

Слава богу, и в Эслингене нашлись люди, которые пытались помочь, например один таксист, который решил отвезти нескольких сироток в Штутгарт. Вообще, все, что рассказывал господин Хёсле, нас взволновало. Даже мальчики в нашем классе на этот раз внимательно его слушали, турецкие мальчики, ну и, само собой, моя подружка Ширин, чья семья приехала из Персии.

А на родительском собрании, как должен был признать и мой отец,

господин Хёсле очень хорошо защищался. Он, по словам отца, сказал родителям: "Ни один ребенок не может правильно воспринять падение стены, если не будет знать, где и когда началась несправедливость, в конце концов приведшая к разделу Германии". И тут почти все родители кивнули в знак согласия. Но от дальнейших бесед о "хрустальной ночи" господину Хёсле пришлось на время отказаться. Жаль, вообще-то говоря.

Но теперь мы все-таки знаем об этом немного больше. Знаем, к примеру, что почти все эслингенцы молча наблюдали или отводили глаза, когда случилось все это с домом для сирот. И поэтому несколько недель назад, когда наш курдский одноклассник Ясир должен был вместе с родителями быть выдворен обратно в Турцию, у нас возникла идея направить бургомистру письмо протеста. И все до единого под ним подписались. Но по совету господина Хёсле мы ни словом не упомянули судьбу еврейских детей в иудейском приюте "Попечение Вильгельма". Теперь мы все надеемся, что Ясиру разрешат остаться.

1939

Три дня на острове. После того, как нас заверили, что в самом Вестерланде и вокруг полным-полно свободных комнат, а большой вестибюль предоставляет достаточно простора для совместных бесед, я поблагодарил нашего хозяина, одного из бывших, который за минувшие годы занялся издательским делом и сколотил изрядное состояние, благодаря чему он и смог приобрести один из фризских домов, крытых камышом. Наша встреча проходила в феврале. На приглашение откликнулось больше половины приглашенных, среди них даже несколько звезд, которые держали теперь бразды правления на радио или – как по заказу – в качестве главных редакторов.

Заключались пари, на встречу и впрямь изволил собственной персоной прибыть шеф одного высокотиражного иллюстрированного еженедельника, пусть даже прибыл он с опозданием и ненадолго. Однако большинство из бывших добывали себе после войны хлеб насущный в редакционных клетушках для младшего состава или, подобно мне, занимались свободным творчеством. Им, как, впрочем, и мне, сопутствовал в виде легенды общепризнанный изъян, он же признак высокой квалификации – это как посмотреть, – заключавшийся в том, что все мы были военными корреспондентами при ротах пропаганды, по каковой причине я хотел бы здесь напомнить, что даже при грубом подсчете до тысячи наших товарищей нашли свою смерть, будь то при операциях над Англией в кабине ХЕ-111 или в качестве репортеров на передовой.

И вот у нас, уцелевших, с каждым годом все сильней становилось желание встретиться. После некоторых колебаний я взялся за организацию подобной встречи. Уговорились о весьма сдержанной информации. Чтоб не называть никаких имен, не сводить никаких личных счетов. Заурядная встреча фронтовых друзей, вполне сопоставимая с теми собраниями первых послевоенных лет, на которых сходились бывшие кавалеры рыцарского креста, воины той либо иной дивизии, но также и бывшие заключенные из концлагерей. Поскольку я по возрасту присутствовал с самого начала, то есть с польского похода, и никак не мог

быть заподозрен в канцелярской деятельности при министерстве пропаганды, ко мне относились с известным уважением. Вдобавок некоторые коллеги вспоминали мои первые репортажи, написанные сразу после начала войны, об участии 79-го саперного батальона второй танковой дивизии в боях под Бзурой, о возведении мостов под вражеским огнем и о прорыве наших танков почти до самой Варшавы, причем, по мнению простых пехотинцев, исход дела решали штурмовики. Да я, собственно, и всегда писал только про пехоту, про рядовых пехотинцев и про их неприметный героизм. Немецкий пехотинец! Его ежедневные марши по пыльным дорогам Польши, проза кирзовых сапог! Всякий раз непосредственно вслед за наступающими танками, покрытые засохшей глиняной коркой, опаленные солнцем, но всегда в отменном настроении, даже когда после очередной короткой схватки пылающая ярким пламенем деревня открывала перед ними истинное лицо войны. Или мой собственный и отнюдь не безучастный взгляд на нескончаемые колонны пленных, наголову разбитых поляков...

Видно, эта иногда задумчивая интонация в моих репортажах свидетельствовала об их правдоподобии. Хотя цензура кое-что выбрасывала. Например, когда я слишком уж в духе фронтового братания отобразил встречу с головными русскими танками у Вельке Мосты. Или когда я с благосклонной шутливостью описал бороды правоверных евреев. Во всяком случае, при нашей теперешней встрече многие из моих коллег заверили меня, что в своей правдивости мои польские репортажи ничуть не отличаются от тех, что я публиковал последнее время в одном процветающем еженедельнике, посвящая их Лаосу, Алжиру или Ближнему Востоку.

После того как были улажены вопросы размещения, между нами без всякого перехода завязался профессиональный разговор. Вот только погода не была к нам благосклонна. О прогулке по берегу в сторону островной отмели не приходилось и думать. И мы, привыкшие к любым превратностям климата, проявили себя страстными домоседами: сидели у горящих каминов, пили грог и пунш, которыми щедро потчевала нас принимающая сторона. Итак, мы обсудили польскую кампанию, блицкриг и восемнадцать дней[1].

Когда разговор зашел о падении Варшавы, превращенной в груду развалин, один из бывших, известный как собиратель произведений искусства — так о нем говорили — и вообще преуспевающий бизнесмен, заговорил патетическим тоном. Он начал потчевать нас цитатами из репортажей, написанных им на борту подводной лодки и опубликованных впоследствии отдельной книгой с предисловием адмирала и под общим заголовком "Охотники в Мировом океане": "Пятое орудие, огонь!", "Прямое попадание!", "Зарядить торпеду!" Уж конечно в этом оказалось куда больше героики, чем в моих запыленных пехотинцах на бесконечных польских проселках...

1. Речь идет о восемнадцати днях, прошедших с начала войны (1 сентября) до 17 сентября, когда польское правительство покинуло пределы страны.

Хотя наш гостеприимный хозяин держал себя как Бог Отец, он умел проследить за тем, чтобы все наши разговоры протекали в русле войны, отчего после Сталинграда и Эль-Аламейна речь пошла исключительно об отступлении, или, как это тогда называлось, о выпрямлении линии фронта. Большинство жаловалось на трудности, возникавшие не только из-за того, что цензура сокращала или извращала их тексты, но и на трудности общего характера: само собой, о сражениях в котле, о сокращении числа конвоев в Атлантике и о параде победы на Елисейских полях писать куда сподручнее, чем об отмороженных ногах, отступлении из Донбасса или капитуляции уцелевших африканских дивизий в Тунисе. Кое-что героическое можно было почерпнуть в обороне Монте-Кассино. "Ну ладно, допустим, освобождение дуче походило на лихую гусарскую вылазку, но в остальном?" Поэтому крайне тягостным, если не вообще неуместным, показался рассказ о подавлении восстания в Варшавском гетто, причем эту бойню надлежало представить как очередную победу.

Один из тех, кто до сих пор ни разу не открыл рта, круглый, с головы до пят облаченный в охотничье сукно господин, который, как я узнал позднее, исправно осчастливливал помешанную на охотничьих забавах публику фотографиями разных зверей и репортажами о сафари, присутствовал со своей "лейкой" и тогда, когда в мае сорок третьего на окруженной кирпичными стенами территории благодаря пушкам и огнеметам было ликвидировано до пятидесяти тысяч евреев. После чего варшавское гетто практически исчезло с лица земли.

Поскольку рассказчик принадлежал к роте военных пропагандистов, его направили туда как фоторепортера – но только на время зачистки. Кроме того – или, верней сказать, в свободное время – он оснастил своими снимками тот черный, переплетенный в тисненую кожу альбом, который был изготовлен в трех экземплярах и отправлен рейхсфюреру СС Гиммлеру, начальнику СС и полиции в Кракове Крюгеру и бригаденфюреру СС Юргену Штроопу. Впоследствии альбом был предъявлен как "Дело Штроопа" на Нюрнбергском процессе.

"Я отщелкал почти шестьсот кадров, – рассказывал он, – но только сорок четыре из них были отобраны для альбома. Все аккуратненько наклеены на бристольский картон. Вообще, убедительная работа, работа для старательных. Но подписи от руки только частично мои. Их навязал мне Калешке, адъютант Штроопа. А впереди как лозунг: "В Варшаве не осталось больше еврейских жилых кварталов". Это тоже придумал Штрооп. Поначалу речь шла только о зачистке гетто, якобы из-за угрожавших инфекций. Вот я и написал красивым почерком под своими снимками: "Прочь с предприятий!" Но потом наши люди встретили сопротивление: плохо вооруженные парни, и женщины тоже, причем среди них были некоторые из пресловутого халуцианского движения[1]. А с нашей стороны были задействованы части СС и саперный взвод вермахта, вооруженный огнеметами, были там еще и люди из деревни Травники[2], то есть добровольцы из Латвии, Литвы и Польши.

1. Так назывались существовавшие в гетто женские отряды сопротивления. Название «Haluzzen» образовано от «Халуц» – авангард (*иврит*).
2. Деревня в люблинском воеводстве (Польша), где в годы оккупации была учебная база эсэсовцев для обучения иностранцев.

Ну, мы, конечно, тоже понесли кой-какие потери. Но это я не заснял. И вообще на снимках у меня было очень мало убитых. Больше групповых снимков. Прославившийся впоследствии кадр назывался "Силой извлеченные из бункеров". И еще один, не менее знаменитый, — "По пути к пересылочному лагерю". Вообще-то их всех погрузили в товарные вагоны и доставили в Треблинку. Я тогда впервые услышал слово "Треблинка". Туда доставили примерно полтораста тысяч. Встречаются также снимки без подписи, потому что они говорят сами за себя. Есть один очень забавный, когда наши люди вполне дружелюбно беседуют с группой раввинов. Но всего больше прославился после войны снимок, на котором запечатлены женщины и дети с поднятыми руками. Чуть правей, на заднем плане, стоят наши ребята с пулеметом. А на переднем плане миленький такой еврейский мальчуган, в гольфах, и шапчонка у него набок съехала. Вы наверняка видели этот снимок. Его тысячи раз перепечатывали. У нас, за границей. Даже на книжной обложке. Из него просто сделали культ и делают до сих пор. А вот имя фотографа ни разу не упомянули... Я не получил за него ни единого гроша... В смысле авторских прав... Никакого гонорара... Я как-то раз подсчитал... Да получи я за каждую перепечатку хоть по пятьдесят марок, тогда ваш покорный слуга схлопотал бы за этот единственный снимок... А вот выстрела я не сделал ни единого. Зато всегда рвался вперед... Вам ведь это знакомо... И подписи под снимками тоже... Старомодные такие, готическим шрифтом... Как мы сегодня знаем — очень важные документальные свидетельства".

Он еще долго что-то бормотал. Но никто его больше не слушал. На улице погода стала наконец получше, и всем захотелось подышать свежим воздухом. Поэтому мы рискнули предпринять небольшую прогулку, кто группами, кто поодиночке, навстречу все еще сильному ветру. По тропинкам, через дюны. Я пообещал сыну привезти несколько ракушек и действительно сумел найти несколько.

1946

Кирпичная крошка, в воздухе, в одежде, между зубами и мало ли еще где. Но мы, женщины, на это ноль внимания. Главное, что наконец кончилась война. А нынче они даже хотят поставить памятник в нашу честь. Ей-богу, хотят. Даже существует такая гражданская инициатива: берлинские разборщицы развалин! Но в то время, когда повсюду торчали лишь остовы домов, а между протоптанными тропками лежали горы строительного мусора, нам платили 61 пфеннинг в час, я еще не забыла. Зато улучшенная продовольственная карточка, номер два, короче — рабочая карточка. Потому что домохозяйкам полагалось по 300 граммов хлеба ежедневно и по семь граммов жира. Вот и скажите мне, что можно сделать с такой жалкой кляксой.

Работа была нелегкая — разбирать развалины. И не с Лоттой на пару — Лотта это моя дочь, — нет, мы работали колонной Берлин Центр, а там почти все сровняли с землей. Лотта тоже все время присутствовала. С коляской. Мальчишку у ней звали Феликс, но он подцепил туберкулез, думается, от этой кирпичной пыли. Он уже в сорок седьмом у ней помер, еще до того, как ее муж воротился из плена. Вообще-то они почти и не знали друг друга. Это была военная свадьба с заочным венча-

нием, потому как он тогда воевал на Балканах, а потом на Восточном фронте. Да и не долго он продержался, этот брак. Потому что они были внутренне чужие люди. И помогать он ни грамма не хотел, даже чурбаки для печки из Тиргартена носить не хотел. А хотел он лежать на кровати, уставившись в потолок. Сдается мне, он много нехорошего навидался в России. И все причитал, словно для нас, женщин, ночные бомбежки были сплошное удовольствие. Только причитаниями ведь делу не поможешь. Вот мы поплевали на руки и взялись: лезь в развалины, вылезай из развалин! Иногда мы разбирали разбомбленные чердаки или целые этажи. Осколки в ведро, с полным ведром — с шестого этажа своим ходом, потому что транспортера у нас тогда не было.

А один раз — как сейчас помню — мы шуровали в полуразрушенной квартире. Там ничего не осталось, только клочья обоев свисали со стен. Но Лотта нарыла в одном углу плюшевого мишку. Он был весь в пыли, пока она его хорошенько не выбила. А потом он стал выглядеть как новенький. Но только мы все себя спрашивали: а что стало с тем ребенком, которому принадлежал мишка? И ни одна из нашей бригады не пожелала его взять, пока Лотта не решила отнести медведя своему Феликсу, потому как малыш тогда еще был жив. Но по большей части мы засыпали кирпичную крошку в вагонетки или сбивали остатки штукатурки с уцелевших кирпичей. Россыпь мы поначалу сбрасывали в бомбовые воронки, позднее отвозили на грузовиках к насыпной горе, которая тем временем вся покрылась зеленью и очень даже красиво выглядела.

Точно, точно, целые кирпичи мы складывали в пирамидку. Мы обе, Лотта и я, работали сдельно: на очистке кирпичей. Лихая у нас была бригада. Женщины, к примеру, которые явно видывали на своем веку лучшие дни, вдовы чиновников, а одна так и вовсе графиня. Я до сих пор помню: ее звали фон Тюркхайм. У ней раньше, по-моему, были земли на Востоке. А ка-ак мы выглядели! Штаны из старых армейских одеял, пуловеры из шерстяных очесов. И все в платках, туго обвязанных вокруг головы. Из-за пыли. И было нас в Берлине до пятидесяти тысяч. Нет, нет, все сплошь женщины, мужчин не было. Их и вообще было слишком мало. А которые и были, только болтались без дела либо суетились на черном рынке. Грязная работа — это было не для них.

Но как-то раз — до сих пор помню — пошли мы к такой горе, чтобы вызволить из нее железную балку, и вдруг я ухватила чей-то башмак. В самом деле, между балками было зажато тело какого-то мужчины. Ну, конечно, от него немного осталось, но повязка на рукаве его пальто дала нам понять, что он был из фольксштурма. А само пальто еще вполне прилично выглядело. Чистая шерсть, довоенный товар. Я его прихватила еще до того, как этого мужчину унесли. Даже пуговицы и те уцелели. А в одном из карманов лежала хонеровская губная гармошка. Гармошку я подарила зятю, чтоб хоть немного его подбодрить. Но зять не желал играть на гармошке. А когда и желал, то лишь грустные мелодии. Вот мы с Лоттой были совсем не такие. Ведь надо же было как-то жить дальше. Ну и жили, peu à peu[1]...

Верно, верно, я потом нашла работу в столовой при ратуше Шёнеберг. А Лотта — она в войну служила телеграфисткой — потом уже, когда с развалинами было покончено, выучила на курсах машинопись и стенографию. И тоже скоро нашла место и с тех пор, как развелась, работает вроде как секретаршей. А еще я до сих пор помню, как Рой-

1. Помаленьку (*франц.*).

тер — это был тогда наш бургомистр — нас всех хвалил. И я почти всякий раз участвую, когда встречаются прежние разборщицы развалин, под кофе с пирожными, у Шиллинга на Тауэнтциен. Там всегда бывает очень весело.

1947

Той не знающей себе равных зимой, когда мы страдали от более чем двадцатиградусных морозов, а доставка рурского угля по воде стала в Западной зоне невозможна из-за того, что все водные артерии — и Эльба, и Везер, и Рейн — замерзли, я, как сенатор, отвечал за энергоснабжение Гамбурга. Как подчеркивал бургомистр Брауэр в своих радиообращениях, еще никогда — даже и в военные годы — положение не было таким безнадежным. За период неослабевающих морозов у нас набралось до восьмидесяти пяти замерзших. А уж про то, сколько людей умерло от гриппа, вы меня лучше и не спрашивайте.

Небольшим подспорьем были воздвигнутые сенатом во всех частях города павильоны для обогревания, что в Аймсбюттеле или Бармбеке, что в Лангенхорне или Вандсбеке. Поскольку запасы угля, заготовленные нами еще с весны, были конфискованы британским оккупационным командованием в пользу армии, а у гамбургских электростанций угля оставалось всего на несколько недель, приходилось вводить драконовские меры экономии. Во всех районах города отключали электричество. Электричка ограничила свою деятельность, трамваи — тоже. Всем пивным полагалось закрываться в 19 часов, а театры и кино вообще прекратили работу. Более ста школ отменили занятия. А для заводов, не выпускавших жизненно необходимую продукцию, ввели сокращенный рабочий день.

Происходили — если уж быть точным — и более страшные вещи: отключение электричества распространилось даже на больницы. Комитет по здравоохранению счел необходимым приостановить рентгеновские исследования при отделе сывороток на Бреннерштрассе. Вдобавок из-за неурожая масличных культур и без того скудное снабжение продовольствием фактически осталось таковым только на бумаге: на человека в месяц приходилось 75 граммов маргарина. А поскольку желание Германии принять участие в международной китобойной экспедиции было отвергнуто британскими властями, не приходилось рассчитывать и на помощь местных маргариновых фабрик, принадлежавших голландскому концерну "Унилевер". Итак, помощи не было ниоткуда. И все страдали от голода и мороза.

Но если вы спросите меня, кому тогда пришлось всего хуже, я не без упрека по адресу тех, кому и тогда приходилось много легче, скажу: все это были жильцы разбомбленных домов, обитавшие в подвалах, а также беженцы с Востока, которые ютились на садовых участках и в кишевших вшами бараках. И не будь я даже сенатором именно по жилищным вопросам, я все равно не отказался бы от обязанности проверять эти наспех сооруженные из рифленой жести на бетонном основании времянки, равно как и садовое товарищество "Вальтерсхоф". Там разыгрывались ужасающие сцены. Хотя ветер свирепо задувал сквозь щели, большинство чугунных печек стояли нетопленными. Старики, те вообще не вылезали больше из постели. И стоило ли удивляться, что

нищие, которым из-за отсутствия вещей для обмена был недоступен черный рынок, где четыре брикета угля отдавали за одно яйцо или три сигареты, что эти самые нищие либо погружались в полное отчаяние, либо вступали на криминальный путь? Особенно активно грабили поезда с углем дети разбомбленных или изгнанных.

Должен признаться, что уже тогда я не мог вынести приговор в соответствии с инструкциями и предписаниями. В присутствии высоких полицейских чинов я мог наблюдать происходящее на товарной станции Тифштак: полуприкрытые ночной тьмой фигурки, которые не отступали ни перед какой опасностью, среди них подростки и дети. С мешками и тачками они стекались на станцию, используя каждое темное место и лишь изредка попадая в свет дуговых фонарей. Одни сбрасывали уголь с платформ, другие собирали. Глядь — а их уже и след простыл.

В результате я попросил тогдашнего начальника железнодорожной полиции не вмешиваться на сей раз в происходящее. Но облава уже началась, лучи прожекторов высветили территорию. Слова команды, усиленные мегафоном. Лают полицейские собаки. Я все еще слышу пронзительные полицейские свистки и вижу перед собой изможденные детские лица. Если б они по крайней мере плакали. Но даже и на это они уже были не способны.

Только, пожалуйста, не спрашивайте, каково было тогда у меня на душе. Но для вашей публикации хочу еще добавить следующее: наверно, по-другому просто было нельзя. Органам городского управления и полиции отдали приказ не бездействовать. И лишь в конце марта морозы начали ослабевать.

1951

Глубокоуважаемые господа из Управления заводов “Фольксваген”!

Я опять должна писать вам жалобу, потому что мы ни разу не получили от вас ответа. Уж не потому ли, что так сложилась судьба и мы проживаем теперь в Германской Демократической Республике? Причем наш домик находится под Мариенборном, у самой границы, через которую мы не имеем права переходить с тех пор, как, к сожалению, был сооружен защитный вал.

И очень несправедливо, что вы нам не отвечаете. Мой муж работал у вас с самого начала, я пришла несколько позже. Уже в тридцать восьмом он обучался в Брауншвайге на инструментальщика. Позже он стал сварщиком, а когда война подошла к концу, сразу начал разбирать развалины, потому что заводы были разбомблены почти наполовину. Позднее, когда к руководству пришел господин Нордхофф и по-настоящему начались монтажные работы, он даже стал контролером, а заодно был в производственном совете. На снимке, который я прилагаю, вы можете видеть, что он присутствовал 5 октября 1951 года, когда с конвейера сошел 250-тысячный “фольксваген” и у нас был большой праздник. И господин Нордхофф произнес очень красивую речь. А мы все столпились вокруг “жука”, его покрыли золотисто-желтой краской, как и миллионный, который мы отмечали четыре года спустя. Но второй праздник получился лучше, потому что в прошлый раз, когда с конвейера сошел 250-тысячный, не хватало рюмок и пришлось пить из ка-

ких-то пластиковых стаканов, отчего у многих гостей и сотрудников не на шутку разболелся живот и некоторых даже вырвало прямо в цеху. Но на сей раз подавали настоящие рюмки. Жаль только, что профессор Порше, который, по сути, и изобрел "фольксваген", а вовсе не этот Гитлер, скончался в том же году в Штутгарте и потому не мог праздновать вместе с нами. Уж он-то наверняка ответил бы нам, доведись ему увидеть наши прежние сберегательные карточки.

Сама я начала работать на "Фольксвагене" уже когда шла война, сразу после Сталинграда, когда призвали всех мужчин. Тогда, как вам, без сомнения, известно, еще не выпускали "жука", а выпускали огромное количество вездеходов для нашего вермахта. В прессовочном цеху, где я штамповала жесть, помимо наемных рабочих было еще множество русских женщин, но говорить с ними нам запрещалось. В этом цеху я пережила и бомбардировки. Когда работа снова возобновилась, меня перебросили на более легкий участок, к конвейеру. Тогда я и познакомилась со своим мужем. Но лишь в пятьдесят втором, когда умерла моя мать и оставила нам под Мариенборном домик с садом, я перебралась в советскую оккупационную зону. А мой муж проработал еще примерно с год, пока с ним не произошел несчастный случай на производстве. Может, мы напрасно так поступили, потому что судьба распорядилась так, что мы теперь оказались от всего отрезаны. Вы даже на наши письма не отвечаете, а это очень несправедливо!

А ведь мы своевременно подали заявление о вступлении в сберегательный договор с "Фольксвагеном" и выслали вам все необходимые документы. Во-первых, подтверждение, что мой муж Бернхард Айльсен с марта 1939 года каждую неделю вносил по меньшей мере пять марок и четыре года подряд наклеивал на сберегательную карту марки для получения иссиня-черной модели "крафт дурх фройде", как назывался "фольксваген" в те времена. В общей сложности мой муж накопил таким путем 1230 марок. Такова была тогда продажная цена, если получать непосредственно с завода. Далее, вам было отправлено подтверждение окружного президиума национал-социалистического объединения "Крафт дурх фройде". Но поскольку небольшое количество машин, которое производилось в войну, попадало к партийным бонзам, моему мужу так ничего и не досталось. По этой причине, а также потому, что он получил инвалидность, мы претендуем на модель "жука", иными словами, на "фольксваген-1500", цвета "липовый лист" и без особых усовершенствований.

Теперь, когда с конвейера уже сошло более пяти миллионов машин и вы даже выстроили дочернее предприятие для мексиканцев, должна найтись возможность удовлетворить и наши требования, пусть мы теперь постоянно проживаем в ГДР. Или мы вообще больше не считаемся немцами?

Поскольку ваш Федеральный суд в Карлсруэ недавно заключил договор с объединением бывших вкладчиков, нам причитается скидка в 600 марок. А остальное мы охотно заплатим в нашей валюте. Это ведь разрешается или как?

С глубоким уважением ждет вашего ответа

Эльфрида Айльсен

1956

В марте того печально сумрачного года, когда один из них умер в июле, справив перед этим свое семидесятилетие, другой же, не достигнув и шестидесяти, — в августе, после чего мир стал для меня пустым, а сцена голой, я, студент факультета германистики, усердно кропавший стихи под сенью двух гигантов, встретил обоих у могилы Клейста, в том уединенном местечке поодаль от Ванзее, где произошла уже не одна неслыханная встреча, все равно, случайная или по уговору.

Думается, они втайне, возможно с помощью своих жен-посредниц, согласовали и час, и место. А чисто случайно был там лишь я, студентик на заднем плане, и со второго взгляда я узнал обоих, одного — лысого и похожего на Будду, другого — хрупкого и уже отмеченного печатью болезни. Мне нелегко было сохранять необходимую дистанцию. Но поскольку морозный и ясный мартовский день был безветренным, до меня долетали их голоса, один — рокочущий, другой — ясный, с небольшим присвистом. Они не слишком много разговаривали, они позволяли себе паузы. Порой они стояли вплотную друг к другу, как на общем постаменте, потом вспоминали о предписанной им дистанции. Если один из них числился в западной части города литературным, то есть некоронованным, королем, то другой был усиленно цитируемой инстанцией в восточной его части. Поскольку в те годы между Западом и Востоком шла война, пусть даже холодная, их обоих натравливали друг на друга, и встреча их вне предписанных боевых порядков могла состояться лишь благодаря удвоенной хитрости. Моим идолам явно нравилось хоть на часок выйти за пределы навязанной роли.

Вот как это выглядело, вот какое впечатление производила их встреча. То, что я додумывал как цепочку фраз либо как полуфразы, отнюдь не содержало враждебности по отношению друг к другу. И то, что цитировали оба, ловило на слове отнюдь не цитирующего, а второго, то есть собеседника. Их выбор тешился двусмысленностью. Один знал наизусть короткое стихотворение "Рожденным позже" и прочел заключительные строфы с особым удовольствием, словно сам их написал:

> Когда будут утрачены последние иллюзии
> Тогда перед нами последним собеседником
> Воссядет Ничто

Тут другой процитировал из раннего стихотворения "Мужчина и женщина идут через раковый корпус":

> Похоже на распаханное поле
> Плоть превратилась в почву, пышет жаром
> Сочится изловчившись сок. Земля зовет

Так с видимым удовольствием цитировали друг друга эти знатоки. И не уставали между цитатами нахваливать друг друга, насмешливо разбрасывая вокруг себя слова, более чем привычные для нас, студентов.

"Вам удалось фенотипическое отчуждение", — восклицал один, а другой, пришепетывая: "Ваша западная мертвецкая монологически, как и диалектически, существует бок о бок с моим эпическим театром". И снова подковырки, к обоюдному удовольствию.

Потом они начали насмехаться над умершим в прошлом году Томасом Манном, пародируя его "недолговечные лейтмотивы". Затем настал черед Бехера и Броннена, чьи имена можно было неплохо

обыгрывать[1]. Что же до собственных политических грехов, то здесь они друг друга щадили. Так, например, один насмешливо процитировал две строчки из партийного славословия, сочиненного другим: "Великий бригадир советского народа Иосиф Сталин толковал про удобренья, засуху и просо...", другой же в ответ помянул былые восторги первого по адресу государственной диктатуры, выраженные в пропагандистском писании "Дорический мир", и увязал его с речью, произнесенной им же в честь фашистского футуриста Маринетти. В ответ первый насмешливо похвалил "Мероприятие" второго как "способ выражения истинного птолемейца", чтобы вслед за тем оправдать обоих собравшихся перед могилой Клейста грешников цитатой из большого стихотворения "Рожденным позже":

Вы, кто вынырнет вновь из потока
В котором мы пошли ко дну
Не забудьте
Рассуждая о наших слабостях
Про темное время
Которого вы избежали

Под "вы, кто" подразумевался, возможно, позже рожденный соглядатай, притаившийся в сторонке.

Мне вполне достало этого призыва, хотя, по правде сказать, я ожидал от своих идолов более глубокого толкования их поучительных заблуждений. Но больше я ничего не услышал. Натренированные в умолчании, оба перешли к проблемам своего здоровья. Один, как профессиональный врач, тревожился о здоровье другого, которому некий профессор Бругш еще совсем недавно порекомендовал на длительный срок лечь в "Шарите" и который объяснял это, ударяя себя кулаком в грудь. Первый также беспокоился по поводу "публичной суеты", которая предстоит ему в связи с его семидесятилетием: "А мне бы за глаза хватило рюмочки охлажденной", после чего другой озаботился вопросами завещания: никто, даже и само государство, не имеет права выставлять его для официального прощания. Никто не должен произносить речей над его могилой... И хотя первый вполне согласился со вторым, сомнения у него все же оставались: "Озабоченность вопросами завещания — это, конечно, очень хорошо, но вот кто защитит нас от наших эпигонов?"

И ни звука про политическую ситуацию. Ни слова о гонке вооружений в западном, ни слова о гонке вооружений в восточном государстве. Смеясь над последними остротами по адресу живых и мертвых, оба покинули могилу Клейста, так ни разу и не помянув и не процитировав лежащего в ней и осужденного на бессмертие поэта. На вокзале Ванзее один, проживавший в Шёнберге, неподалеку от Байришерплац, сел в электричку, другого же поджидала машина с поджидающим в ней шофером, который, как можно было предположить, собирался доставить его либо в Буков[2], либо на Шифбауэрдамм[3]. Позднее, когда наступило лето и оба умерли[4], почти сразу один за другим, я решил сжечь свои стихи, покончить с изучением германистики и впредь усердно осваивать машиностроение в Техническом университете.

1. Бехер (*нем.* Becher) означает «бокал, кубок», Броннен (*нем.* Bronnen или Brunnen) — «колодец».
2. Загородный дом Б. Брехта.
3. Адрес возглавляемого Брехтом театра «Берлинер ансамбль».
4. И Брехт, и Бенн скончались летом 1956 г.

Пусть даже сегодня это навряд ли кого-нибудь задевает и вообще для всех без интереса, я говорю себе: если вдуматься, для тебя это было самое хорошее время. На тебя был спрос, ты был востребован. Больше года ты вел очень рискованную жизнь, от страха сгрыз все ногти, подвергал себя опасности, не задаваясь вопросом, а не ухнет ли на это еще один семестр. Я как раз числился студентом Технического университета, меня уже тогда интересовала технология центрального отопления, как вдруг буквально за ночь поперек города выросла эта самая стена.

Ну и крику же было! Люди бегали на всякие манифестации, митинговали перед рейхстагом и в других местах. Я еще в августе перевез сюда свою Эльке, которая там у них изучала педагогику. Это было проще простого, с западногерманским-то паспортом, организовать который по части всяких паспортных данных и фотокарточки для нее не составило труда. Но уже к концу месяца нам пришлось нарисовать себе новые пропуска и работать погруппно. Я стал у них связным. С моим западным паспортом, выданным в Хильдесхайме, откуда я, собственно, родом, все прекрасно получалось до начала сентября. Потом нас обязали, покидая Восточный сектор, оставлять пропуска на контроле. Может, мы и пропуска сумели бы нарисовать, если бы кто-нибудь своевременно снабдил нас гербовой бумагой из зоны.

Но сегодня никто об этом и слышать не желает. Про моих детей и говорить нечего. Они просто отключаются либо заявляют: "Ладно, ладно, папа, вы тогда все были на порядок лучше, чем мы. Это и без тебя всем известно". Может, потом, внукам, когда я расскажу им, как я перевез сюда их бабушку, которая застряла там, на востоке, а после этого активно участвовал в товариществе "Бюро путешествий", как мы называли себя ради конспирации. У нас были высококлассные специалисты, которые подделывали печати и штемпеля с помощью крутых яиц. Другие, напротив, предпочитали переводить заостренными спичками. Почти все мы были студентами очень левых взглядов, но встречались среди нас и члены корпораций, бурши, и такие, которые вообще не интересовались политикой. Бегали голосовать на запад, правящий бургомистр Берлина выступал кандидатом от социалистов, но я не поставил свой крестик ни против Брандта со товарищи, ни против старого Аденауэра. Мы принимали в расчет только практическую деятельность. Мы должны были, как у нас это называлось, "перевешивать" паспортные фотографии также и в иностранные паспорта — шведские, голландские. Или через контактные группы организовывали паспорта со схожими фотографиями и данными — цвет волос, цвет глаз, рост, возраст. Далее мы собирали подходящие к случаю газеты, монетки, использованные билеты, словом, тот типичный хлам, который человек, к примеру одна молодая датчанка, мог иметь у себя в сумочке. Дьявольская была работа — и все даром, только с возмещением издержек.

Но вот сегодня, когда даром больше ничего не бывает, никто не желает мне верить, что мы, студенты, не брали денег за свою работу. Не спорю, попадались такие, которые, когда начали прорывать туннель, протягивали руку за вознаграждением. Вот и получился чистый идиотизм — я говорю про наш проект "Бернауэрштрассе". Это произошло, когда некая троица содрала с американской телегруппы за право

вести съемки в туннеле тридцать тысяч, а мы о том не ведали ни сном ни духом. Копали четыре месяца. Не что-нибудь, а бранденбургский песок! Труба была свыше ста метров в длину. И когда начались съемки — а мы тем временем вели по туннелю человек примерно тридцать, со старушками и детьми, на запад, — я подумал, что потом из этого получится настоящий документальный фильм. Но какое там потом, его сразу же пустили по телевизору, и весь наш туннель накрылся бы, если бы, несмотря на дорогую отсасывающую установку, не ушел под воду незадолго до того. Но мы продолжили свое дело в другом месте.

Нет и нет, жертв у нас не случалось. Уж я-то знаю. Это все больше выдумки. Все газеты пестрели сообщениями, когда кто-нибудь проживавший в пограничном доме прыгал из своего окна на четвертом этаже и падал на мостовую буквально рядом с брезентом, который натянули пожарники. Или годом позже, когда Петер Фехтер хотел перебраться на ту сторону через Checkpoint Charlie[1], его подстрелили и, поскольку никто не мог прийти к нему на помощь, он истек кровью. Попотчевать публику такими рассказами мы не могли, наш девиз был: стопроцентная надежность. И тем не менее я мог бы порассказать вам такие истории, которым уже и тогда не все соглашались верить. Например, как много народу мы перевели по сточным каналам. И как ужасно в этих каналах воняло мочой. Один из маршрутов побега из Центра в Кройцберг назывался у нас "Глокенгассе 4711"[2], потому что всем, и беглецам и нам самим, приходилось шагать по колено в нечистотах. Позднее я стал замыкающим и, едва в канал спускалась вся партия, ставил на место крышку канализационного люка, потому что последние беглецы всегда очень паниковали и по большей части забывали об этом. Так случилось и в канале для стока дождевой воды под Эспланаденштрассе на севере города. Некоторые, едва осознав, что они на Западе, подняли страшный шум. От радости, само собой. Но тогда чины Народной полиции, которые дежурили с той стороны, смекнули, что к чему. И побросали в канал бомбы со слезоточивым газом. Или эта история с кладбищем, ограда которого входила составной частью в стену. Мы прорыли к нему в песке низкий туннель, чтобы ползком — прямо к колумбарию, и наша клиентура, все сплошь люди самого безобидного вида, с цветами и прочими приношениями, вдруг исчезала. Раз и другой все сошло благополучно, но потом одна молодая женщина, которая надумала бежать с ребенком, оставила возле снова закрытого люка пустую детскую коляску, что, конечно, сразу бросилось в глаза.

Но такие неудачи нельзя было исключить. А теперь, если желаете, история совсем другого рода, в которой все произошло удачно. Или довольно? Я уже привык, что слушать долго никто не хочет. Несколько лет назад, когда стена еще стояла, все было по-другому. Порой коллеги, с которыми я работал вместе на теплоцентрали, утром в воскресенье, после первого стаканчика, меня спрашивали: "Улли, а как это было? Расскажи, как вы все делали, когда ты перетаскивал на Запад свою Эльке..." Но сегодня никто не желает об этом слушать, тем более здесь, в Штутгарте, потому что эти швабы, они и в шестьдесят первом почти ничего не поняли, когда ни с того ни с сего поперек Берлина... А когда стены — и тоже ни с того ни с сего — не стало, они поняли и того мень-

1. Один из самых известных пограничных переходов между Восточным и Западным Берлином.
2. Название известной парфюмерной фирмы в Кёльне.

ше... Они даже, пожалуй, предпочли бы, чтоб она все еще стояла, потому как с них не брали бы тогда деньги на солидарность, которые им приходится выкладывать с тех пор, как стены не стало. Вот я и не говорю больше об этом, хотя это было лучшее время моей жизни, когда мы по колено в нечистотах продвигались через туннель... Или ползком через другой туннель... Во всяком случае, моя жена права, когда говорит мне: "Тогда ты был совсем другой, тогда мы действительно жили".

1962

Вот как нынче Папа, когда куда-нибудь отправляется, чтоб повидать своих людей в Африке или там в Польше и чтоб с ним при этом ничего не случилось, так и главный транспортный диспетчер, когда предстал перед нашим судом, тоже сидел в такой клетке, только у него она была закрыта лишь с трех сторон. А с той стороны, которая обращена к господам судьям, его стеклянная клетка была без стены. По предписанию службы безопасности я и застеклил ее особым стеклом, дорогим, пуленепробиваемым, лишь с трех сторон. В результате небольшого везения этот заказ достался моей фирме, потому что мы всегда обслуживали клиентов с нестандартными запросами. Банковские филиалы по всему Израилю и ювелирные магазины на Дицценхофштрассе, которые выставляют напоказ в своих витринах драгоценности и потому хотят быть гарантированы от вторжения. Но уже в Нюрнберге – а Нюрнберг был когда-то очень даже красивый город, где раньше проживала вся наша семья, – мой отец возглавлял стекольную фирму, которая поставляла свои изделия даже в Швайнфурт и Ингольштадт. Работы хватало, до тридцать восьмого, тогда много чего разлетелось вдребезги, вы сами знаете почему. Боже праведный, ну и ругался же я мальчишкой, потому что отец у меня был очень строгий и мне изо дня в день приходилось работать даже по ночам.

Нам обоим повезло, и мы выбрались, мой маленький брат и я. Только мы двое. Все остальные, уже когда началась война, напоследок – обе мои сестры и все кузины попали сперва в Терезиенштадт, а потом уж и не знаю куда, то ли в Собибор, то ли в Освенцим, не знаю, не знаю. Одна только мама загодя, вполне естественным путем, как это называют, умерла от сердечной недостаточности. А разузнать что-нибудь более точно даже Герсон – Герсон это мой брат – тоже не смог, хотя потом уже, когда наконец наступил мир, расспрашивал и разыскивал повсюду, в Франконии и вообще всюду. Вызнал он только даты, когда отправлялись транспорты, точно, день в день, потому что из Нюрнберга, где проживала наша семья, поезда всегда уходили переполненные.

А теперь вот он, которого во всех газетах называли "транспортник смерти", сидел в моем стеклянном коробе, и был этот короб непробиваемый для пуль. Извините, мой немецкий уже нехороший, потому что я был девятнадцать, когда с младшим братом поплыл в Палестину на корабле, но этот, который сидел в стеклянном коробе и подкручивал свои наушники, тот говорил еще хуже, как я. И господа судьи, которые все хорошо говорили по-немецки, то же сказали, когда он наговаривал длинные, как солитер, фразы, через которые не пробьешься. Но я сидел среди обычных слушателей и мог лишь понимать, что он все делал только по приказу и что много еще таких, которые все делали только

по приказу, только они везунчики, вот и бегают теперь на свободе. И зарабатывают они неплохо, один из них даже статс-секретарь при Аденауэре, с которым нашему Бен Гуриону пришлось вести переговоры насчет денег.

И тогда я сам себе сказал: слушай в оба уха, Янкеле! Тебе, значит, надо было сделать сто, нет, тысячу таких клеток. Со своей фирмой, и нанять еще пару людей, и все бы прекрасно сделал, хотя и не за один раз. Как назовут новое имя, ну, допустим, Алоиз Брюннер, ему совсем маленькую клетку, надписать имя и так символически поставить его клетку между клеткой Эйхмана и скамейкой для судей. На особый стол. Скоро бы весь стол заполнился.

Об этом много писали в газетах, про все ужасы, и еще — что это немножко банально. Только когда его подвесили за шею, писать стали меньше. Но пока процесс не кончился, все газеты были полны. Только Гагарин, этот советский человек в своем космическом корабле, из-за которого все так ликовали, составил конкуренцию нашему Эйхману, и американцы все узавидовались. А я себе тогда сказал: а ты не думаешь, Янкеле, что оба в общем-то находятся в одинаковом положении? Каждый заперт в своем корабле. У Гагарина одиночество еще больше, ведь Эйхман все время видит людей, с которыми он может поговорить, после того как наши люди приволокли его из Аргентины, где он разводил курей. А говорить он любит. Больше всего он любит говорить, как был бы рад отправить нас, евреев, не в газ, а на Мадагаскар, и что вообще он ровным счетом ничего против евреев не имеет. И даже восхищается нашей идеей сионизма, потому что такую прекрасную идею можно очень хорошо организовать, это он так сказал. И если б ему не приказали заботиться о транспортах, евреи, может, сегодня сказали бы ему спасибо, потому что он лично позаботился бы о массовой эмиграции.

И тут я себе сказал: ты, Янкеле, тоже должен поблагодарить этого Эйхмана за свою капельку счастья, потому что Герсон — это мой младший братик — смог уехать с тобой в тридцать восьмом году. А вот за остальное семейство благодарить не надо, за отца, и за всех теток, и за всех дядей, и за всех сестер, и за хорошеньких кузин — человек двадцать будет. Вот об этом я с ним поговорил бы, он ведь в курсе про станцию назначения всех этих транспортов и куда попали мой строгий отец и мои сестры. Но нельзя мне было с ним разговаривать. Свидетелей и без меня хватало. И еще я был рад, что мне разрешили позаботиться о его безопасности. Может, ему понравилась его клетка из бронированного стекла. Мне таки кажется, что он улыбнулся, чуть-чуть, но улыбнулся.

1964

Да, конечно, обо всем страшном, что произошло и что еще с этим связано, я узнала слишком поздно, точнее — когда нам надо было поторопиться со свадьбой, потому что я была уже в положении, и мы сыграли свадьбу по всем правилам, но в Рёмере, той части Франкфурта, где оформляют браки, мы самым настоящим образом заблудились. Ну понятно, волнение, много лестниц. Потом они нам и говорят: "Вы не туда попали. Это двумя этажами ниже. А здесь идет процесс". "Какой такой процесс?" — спросила я. "Ну, против виноватых в Освенциме. Вы что, газет не читаете? Газеты только об этом и пишут".

Мы тогда снова спустились вниз, где уже дожидались нас приглашенные нами свидетели. Моих родителей там, правда, не было, потому что они поначалу возражали против нашей свадьбы, но зато пришла мать Хайнера, очень взволнованная, и еще две моих подруги с телефонной станции. А потом мы все перешли в Пальмовый сад, где Хайнер заказал для нас столик, и мы по-настоящему отпраздновали событие. Но после свадьбы я никак не могла отвязаться от этих мыслей, ходила туда снова и снова, даже когда была уже на четвертом или пятом месяце, а юстиция перенесла слушание на Франкеналлее, там, в Бюргерском доме в квартале Галлус, был довольно большой зал и в нем больше места для зрителей.

Хайнер со мной ни разу не ходил, даже когда на товарной станции, где он работал, ему выпадала ночная смена, так что он вполне мог бы. Но я ему рассказывала все, что можно рассказать. Все эти ужасы и еще цифры, которые уже составляли миллионы, — понять трудно, потому что всякий раз назывались как точные совсем другие цифры. В общем, иногда их было три, иногда всего два миллиона отравленных газом или уничтоженных каким-нибудь другим способом. Но остальное, о чем тоже говорили на суде, выглядело ничуть не лучше, может, даже гораздо хуже, потому что это было вполне наглядно, и я могла рассказывать об этом Хайнеру, пока он наконец не сказал мне: "Хватит об этом рассказывать, когда все это происходило, мне было четыре, от силы пять лет. А ты вообще только-только родилась".

Это правда. Хотя отец Хайнера и его дядя Курт, вообще-то очень симпатичный человек, они ведь оба были солдатами, где-то в глубине России, как мне однажды рассказывала мать Хайнера. Но после крестин Беаты, когда вся семья собралась вместе и я пыталась рассказать им о процессе в квартале Галлус и еще про Кадука и Богера, я в ответ всякий раз слышала одно и то же: "Об этом мы ничего ровным счетом не знали. Когда, ты говоришь, это произошло? В сорок третьем? Ну, тогда мы только и знали, что отступать..." А дядя Курт добавил: "Когда нам пришлось оставить Крым и мне наконец дали отпуск с фронта, нас здесь всех разбомбили. А про террор, который развязали против нас англичане и американцы, почему-то никто не вспоминает. Ну ясное дело, победили они, а в таких случаях всегда бывают виноваты другие. И довольно об этом, слышишь, Хайди!"

Но Хайнеру, тому приходилось слушать. Я его просто заставляла, ведь не случайно же мы, когда должны были расписаться, заблудились в здании ратуши и попали на этот самый Освенцим и, что еще хуже, Биркенау, где стояли эти самые печи. Поначалу Хайнер даже не хотел верить, что один из обвиняемых приказал одному из заключенных утопить родного отца, после чего заключенный сошел с ума, и поэтому, только поэтому обвиняемый должен был на месте пристрелить его. Или о том, что происходило в маленьком дворике между блоком 10 и блоком 11 у черной стены. Там расстреливали. Тысячи людей. Когда об этом зашла речь, оказалось, что точной цифры никто не знает. Вообще, с воспоминаниями дело продвигалось туго. А вот когда я рассказала Хайнеру про качели, названные в честь Вильгельма Богера — тот придумал такое устройство, чтобы заставить заключенных говорить, — Хайнер поначалу вообще ничего не мог понять. Поэтому я нарисовала для него на бумаге модель, которую один из свидетелей демонстрировал судьям на заседании. На поперечной перекладине висела кукла, ну, заключен-

ный в полосатой арестантской одежде, причем он был так связан, что этот самый Богер мог бить его точно между ног, всякий раз по мошонке. Да, да, точно по мошонке. "Ты только представь себе, Хайнер, — сказала я ему, — когда свидетель все это объяснял суду, Богер, который сидел на скамье подсудимых чуть правей позади свидетеля, улыбался, по-настоящему улыбался уголками губ..."

Верно, верно, я и сама себе задавала такой вопрос: разве это человек? И однако нашлись свидетели, которые утверждали, будто этот Богер вел себя очень корректно и даже взял на себя заботу о цветах в комендатуре. По-настоящему он ненавидел только поляков, а евреев он совсем не так сильно ненавидел. Правда, все такое про газовые камеры и крематорий в головном лагере и в Биркенау, где среди прочего содержалось в особых бараках множество цыган и все погибли в газовых камерах, понять было труднее, чем про эти качели. О том же, что этот самый Богер имел известное сходство с дядей Хайнера Куртом, особенно когда у него делался добродушный взгляд, я, конечно, Хайнеру рассказывать не стала. Это было бы подло по отношению к дяде Курту, который вполне безобидный и вообще само добродушие во плоти.

Но вот это самое про качели и другие факты, они застряли в голове и у меня и у Хайнера, и всякий раз, когда мы отмечали годовщину свадьбы, мы вспоминали обо всем, еще и потому, что тогда я ходила беременная Беатой, и говорили: "Будем надеяться, что на ребенке это не отразилось". Но прошлой весной Хайнер вдруг сказал: "Если мне летом дадут отпуск, может съездим в Краков и Катовице. Мать тоже давно об этом мечтает, она ведь сама из Верхней Силезии. Я уже наводил справки в "Орбисе". Это польское турбюро".

Впрочем, лично я не знаю, хорошо ли это для нас и выйдет ли из этого что-нибудь, хотя получить сейчас визу проще простого. Кажется, от Кракова недалеко и до Освенцима. Туда можно съездить на экскурсию. Так сказано в проспекте...

1970

Моя газета в жизни не возьмет у меня этот материал. Для них нужно рассусоливать примерно в таком духе, что, мол, "взял всю вину на себя", или что "внезапно канцлер упал на колени...", или, еще гуще, "коленопреклонение от имени Германии!"

Так вот, насчет "внезапно". Все было продумано до мельчайших деталей. Без сомнения, этот пройдоха, ну этот его посредник и доверенное лицо, который исхитряется здесь, дома, представить позорный отказ от исконных немецких земель как великое достижение, нашептал ему эту эксклюзивную идею. И тут его шеф, этот пьяница, повел себя как правоверный католик: он упал на колени. Сам-то он, между прочим, вообще неверующий. Устроил шоу. Хотя для обложки — если судить с журналистской точки зрения — получился хит. Как удар бомбы. Тихонько так, вне протокола. Все-то думали, что все пойдет обычным путем: возложить венок из гвоздик, поправить ленты на венке, отступить на два шага, склонить голову, снова вскинуть подбородок и неподвижным взглядом посмотреть вдаль. После чего с синими мигалками в замок Виланов, в роскошную резиденцию, где уже дожидается бутылка коньяка и коньячные рюмочки. Но не тут-то было! Он позволяет себе такую

эскападу, причем не на первой ступеньке, что едва ли было бы рискованно, а прямо сразу, на мокрый гранит, не опираясь ни на одну, ни на другую руку, он умело сгибает колени, руки судорожно сжимает перед причинным местом, принимает постную мину, все равно как на Страстную пятницу, словно он больший католик, чем Папа, потом ждет, пока банда фоторепортеров отщелкает затворами, далее — и опять не самым безопасным образом, чтобы сперва одна нога, потом другая — он рывком поднимается с колен, словно много дней подряд тренировался перед зеркалом, р-раз — и встал, стоит и глядит, будто ему явился святой дух во плоти, глядит поверх наших голов, будто ему нужно доказать не только Польше, но и всему свету, как фотогенично при желании можно покаяться. Умело, ничего не скажешь. Даже чертова погода ему подыграла. Но в таком виде, с легким бренчанием на клавесине цинизма, моя газета никогда у меня это не возьмет, даже при том что весь руководящий этаж нашей газеты был бы рад-радехонек, если бы этот коленопреклоненный канцлер вообще сгинул, и чем скорей, тем лучше, сгинул, пусть свергнутый, пусть переизбранный, лишь бы сгинул.

Итак, я делаю новый заход и переключаю регистры своего органа: где некогда находилось варшавское гетто, с бессмысленной жестокостью уничтоженное и стертое с лица земли в мае 1943 года, перед мемориалом, где изо дня в день, даже и в такой вот промозглый декабрьский, из двух бронзовых канделябров рвутся растрепанные ветром языки пламени, в одиночестве, выражая раскаяние за все злодеяния, совершенные именем немецкого народа, упал на колени немецкий канцлер и тем взвалил на свои плечи великую вину, он, который лично не был ни в чем виноват, упал на колени...

Вот, пожалуйста. Уж это кто хочешь напечатает. Носитель великого бремени, человек великой скорби. Может, еще подпустить немножко местного колорита? Парочку реверансов. Это не повредит. Например, про отчуждение поляков, потому что высокий государственный гость упал на колени не перед памятником Неизвестному солдату, который у них здесь считается национальной святыней, а именно перед евреями. Надо слегка поспрашивать, надо порыться, и тогда всякий настоящий поляк непременно проявит себя антисемитом. Прошло совсем немного времени с тех пор, как польские студенты надумали побуйствовать, точь-в-точь как у нас или в Париже, но тогда местная милиция с Мочаром, министром внутренних дел, во главе, велела разогнать дубинками этих, как он выразился, "сионистских провокаторов". Несколько тысяч партфункционеров, профессоров, писателей и прочих из духовной элиты, по большей части евреев, просто выгнали за дверь. Они уложили чемоданы и уехали — в Швецию, в Израиль. Но про это здесь больше никто не говорит. А вот валить всю вину на нас — это у них считается хорошим тоном. Чего-то они там талдычат "о католической морали, которая живет в сердце каждого истинного поляка", когда этот предатель родины, который в мундире норвежской армии сражался против нас, немцев, заявляется сюда с целой свитой, где и крупповский менеджер Байц, и пара писателей левого толка, и еще несколько духовных величин, и подносит полякам на тарелочке нашу Померанию, нашу Силезию, Восточную Пруссию, а потом, на бис, как в цирке, еще и плюхается на колени.

Но это не имеет смысла. Все равно не напечатают. Моя газета лучше просто отмолчится. Сообщение агентурных агентств — и хватит. И

вообще какое мне дело? Я сам из Крефельда, я наделен рейнским задором. И чего я нервничаю? Бреслау, Штеттин, Данциг? Да плевать я на них хотел. Напишу просто что-нибудь для воссоздания атмосферы: как поляки прикладываются к ручке, как хорош Старый город и что Дворец Виланов и еще несколько памятников архитектуры восстановлены, хотя, куда ни глянь, видно, что экономическое положение хуже некуда, пустота в витринах и очереди перед каждой мясной лавкой... В связи с чем вся Польша надеется получить миллиардный кредит, который этот коленопреклоненный тип наверняка посулил своим коммунистическим дружкам. Эмигрантишка! Господи, до чего ж я его ненавижу! Нет, нет, не потому, что он — внебрачный ребенок, такое бывает... Но вот в остальном... И вся его манера держаться... А когда он вдобавок упал на колени... В эту изморось! Смотреть противно... Не-на-ви-жу!

Ничего, пусть только вернется домой, он такое увидит... Да его все газеты в клочья разнесут и восточные договоры заодно с ним. Не только моя газета. Но ничего не скажешь: на колени он и в самом деле упал здорово...

1974

Что это за чувство такое, когда человек сидит перед ящиком и воспринимает себя двояко? Кто привык двигаться по двойной колее, того это, по сути дела, не должно бы волновать, коль скоро он встречается со своим "я" лишь в исключительных случаях. Просто бываешь слегка удивлен. Не только в суровые годы профессиональной подготовки, но и на практике тебя обучали как-то ладить с этим двояким "я". Потом уже, когда ты отсидел шесть лет в исправительном заведении Рейнбах и лишь спустя эти шесть лет после длительного процесса, согласно решению малой судебной палаты, получил право пользоваться персональным телевизором, раздвоенность собственной личности стала для тебя вполне очевидна, но раньше, в семьдесят четвертом, когда ты находился в тюрьме Кёльн-Оссендорф на правах подследственного и высказал желание получить телевизор в камеру на время одной из игр мирового первенства, события на экране во многих отношениях просто разрывали тебя на части, причем разрывали в разных смыслах этого слова.

И не в том дело, что поляки под проливной дождь продемонстрировали фантастический класс, и не в том, что мы выиграли у Австралии и что даже во встрече с Чили добились ничьей, нет, все случилось, когда Германия играла против Германии. За кого ж я тогда болел? За кого болел я или опять-таки я? Чьим успехам имел право радоваться? Что именно, какой внутренний конфликт возник во мне, какие силовые поля начали рвать меня на части, когда Шпарвассер забил свой гол?

За нас? Против нас? Поскольку меня каждое утро возили на допрос в Бад-Годесберг, в Федеральном криминальном управлении должны бы знать, что мне не чужды такого рода проверки на прочность. Впрочем, это вовсе и не была проверка на прочность, скорее это было чувство, подчиненное германской раздвоенности, и следование ему было двойным долгом. До тех пор, пока я как надежнейший референт канцлера и вдобавок как собеседник в часы одиночества имел возможность двоякого самоутверждения, я вполне выдерживал это напряжение, тем более что не только канцлер был вполне доволен моей работой, но и бер-

линский Центр через связных давал мне понять, что мною весьма довольны и что моя деятельность удостоилась похвалы на самом верху. Можно было не сомневаться, что между ним, воспринимавшим себя как "канцлер мира", и мной, который в силу своей миссии выступал как "разведчик мира", существовало продуктивное согласие. Хорошее было время, когда даты жизни канцлера гармонировали с датами его референта в деле мира. Короче, я работал с огоньком.

И вот тут, когда 22 июня свисток судьи возвестил шестидесяти тысячам зрителей о начале матча ФРГ – ГДР на гамбургском стадионе "Фолькспарк", вдруг возникло ощущение, будто тебя рвут на части. Правда, первый тайм не принес гола, но когда маленький, шустрый Мюллер на сороковой минуте чуть не вывел вперед команду ФРГ, но угодил в штангу, я едва не заорал: "Гол, гол, го-ол!", едва не пришел в экстаз и не вознес у себя в тюремной камере хвалу преимуществам западного государства, как подобным же образом собирался бурно ликовать, когда Лаук, чисто переигравший Оверата и позднее в ходе игры убравший самого Нетцера, все же пробил мимо ворот Западной Германии.

Я чувствовал себя словно под контрастным душем. Даже решения судьи из Уругвая сопровождались пристрастным комментарием, полезным то для одной, то для другой Германии. Я чувствовал себя несобранным и, так сказать, расколотым. Хотя утром того же дня, когда меня допрашивал главный полицейский комиссар Федерау, мне удавалось ни на йоту не отступить от заданного текста. Речь шла о моей деятельности в сверхлевом округе СДПГ Гессен-Юг, где меня считали хоть и деятельным, но крайне консервативным однопартийцем. Я с легкостью признался, что принадлежу к правому, более прагматичному крылу социал-демократов. Потом мне устроили очную ставку с конфискованными у меня принадлежностями из моей фотолаборатории. В таких случаях уводят в сторону, ссылаются на прежнюю деятельность профессионального фотографа, демонстрируют привезенные из отпуска фотографии – остатки прежнего хобби. Но потом на свет божий явилась для обозрения моя мощная узкопленочная камера "Супер-8" и еще две кассеты с очень крутым и высокочувствительным материалом, предназначенная, как говорилось, специально для агентурной деятельности. Это, конечно, еще не было доказательством, но вот уликой... Поскольку, однако, мне удалось не отступить от предписанного текста, я вполне успокоенный вернулся к себе в камеру и порадовался предстоящему матчу.

Ни здесь, ни там никто бы не заподозрил во мне футбольного фаната. До сих пор я даже не знал, что у себя дома Юрген Шпарвассер успешно выступает за Магдебург. А тут я увидел его, увидел, как на семьдесят восьмой минуте он с хамановского паса принял мяч на голову, пронесся мимо Фогтса, этого крепкого парня, сделал статистом и Хёттеса и вогнал в сетку ворот уже неподвластный Майеру мяч.

Итак, 1:0 в пользу Германии. Какой Германии? Ну да, я ревел у себя в камере: "Гол, гол, го-ол!", но в то же время меня удручал проигрыш другой Германии. И когда Беккенбауэр несколько раз пытался перейти в атаку, я подбадривал своими криками западногерманскую команду. И моему канцлеру, которого, конечно же, сверг не я – свергли-то его Нолау, а того пуще – Венер и Геншер, – моему канцлеру я написал на открытке слова соболезнования по поводу такого результата игры, как

писал и впоследствии каждое 18 декабря, в день его рождения. Но он мне не отвечал. Впрочем, я не сомневаюсь, что и он со смешанными чувствами воспринял гол, забитый Шпарвассером.

1976

Где бы нам ни приходилось встречаться в Берлине, мы всякий раз были твердо уверены, что нас подслушивают. И всюду: под штукатуркой, в люстре, даже в цветочных горшках — мы подозревали аккуратно вмонтированные жучки, а потому иронически высказывались о заботливом государстве и его неутолимой тяге к безопасности. Отчетливо артикулируя и медленно, чтобы можно было записать, мы вскрывали подрывной по определению характер лирики и приписывали заговорщические цели нарочитому употреблению сослагательного наклонения. Мы давали фирме — как доверительно именовали государственную безопасность республики рабочих и крестьян — совет попросить о профессиональной поддержке западных конкурентов (в Пуллахе или в Кёльне) на случай, если окажется, что наши интеллектуальные придумки и декадентские метафоры можно разгадать только при тесном сотрудничестве обеих Германий. Мы высокомерно поддразнивали госбезопасность и подозревали — наполовину всерьез, наполовину для смеха, — что среди нас есть по меньшей мере один агент, причем дружески заверяли друг друга, что подозревать в принципе можно каждого.

Два десятилетия спустя Клаус Шлезингер, который тщательно отсортировал в той инстанции, что носит фирменный знак "Гаук"[1], все лично его касающиеся доказательства стараний госбезопасности, послал мне несколько агентурных донесений, посвященных нашим конспиративным сходкам середины семидесятых годов. Но в этих донесениях можно было прочесть только, какая именно личность и с какой встречалась перед книжной лавкой у вокзала Фридрихштрассе, кто кого поцеловал при встрече и кто передавал подарки, к примеру бутылки в пестрой обертке, сообщалось также, на чьем "трабанте" (следует государственный номер) и куда отвезли упомянутых людей, в каком доме (улица, номер дома) скрылись все упомянутые личности и когда — после шести часов наружного наблюдения — они вновь покинули названный "объектом" дом, чтобы разойтись по разным направлениям, в частности прибывшие с Запада — к пропускному пункту, причем некоторые с громкими разговорами и смехом, обусловленным, вероятно, употреблением большого количества алкоголя.

Итак, никаких жучков. И никаких агентов среди нас. И ни звука про наши упражнения в чтении новых произведений. Ни-че-го — какое разочарование! — про взрывной заряд рифмованной и нерифмованной лирики. Никаких указаний на подрывную болтовню за кофе с тортом! Так и осталось невыясненным, что изволила сказать личность с Запада про сенсации, содержащиеся в фильме "Белая акула", который недавно начали показывать в одном из кинотеатров на Кудамм. Рассуждения по поводу проходящих в Афинах процессов над черными полковниками отзвучали, так и не подслушанные. А когда мы — причем я хорошо знал данную местность — поведали друзьям о сражениях вокруг атом-

1. Управление Гаука, созданное после 1990 г. для ознакомления с материалами госбезопасности ГДР.

ной электростанции Брокдорф, во время которых полиция впервые и с большим успехом пустила в ход уже испробованную в Америке "химическую дубинку", чтобы затем с помощью низко летящих вертолетов гнать по равнинным пашням Вильстермарша десятки тысяч протестующих граждан, восточные власти опять-таки упустили возможность отметить эффективность действий западной полиции.

А может, в нашем кругу и не заходил разговор о Брокдорфе? И нельзя ли предположить, что мы просто щадили своих изолированных за стеной коллег, боялись нарушить их вполне радужное представление о Западе, избавили их от удручающего рассказа о полицейских, избивающих всех подряд, даже женщин и детей? Нет, я скорей допускаю, что Борн, или Бух, или я сумели с подчеркнутой деловитостью, к слову, помянуть этот труднопроизносимый газ (хлорацетофенон), которым были наполнены пущенные в ход под Брокдорфом прыскалки, в его связи с тем газом, который под названием "Белый крест" был применен уже в ходе первой мировой войны, и что после этого Сара или Шедлих, Шлезингер или Райнер Кирш выразили мнение, что покамест уровень технической оснащенности Народной полиции еще не столь высок, но что это положение непременно изменится, как только страна будет располагать большим количеством валюты, ибо в принципе то, что делает Запад, может оказаться достойным подражания и на Востоке.

Бесплодные размышления. Ни слова на эту тему мы не обнаружим в шлезингеровских бумагах из госбезопасности. А чего нет в бумагах, то никогда не существовало. Зато каждый факт, который с указанием времени, места и описанием личности запечатлен на бумаге, является фактом, приобретает вес, сообщает истину. Так, например, из подарка Шлезингера — он сделал фотокопиии — я мог узнать, что во время одного прослеженного до входной двери приезда в Восточный Берлин меня сопровождала некая особа женского пола, рослая и белокурая, каковая, согласно дополнительным сведениям, полученным от пограничного контроля, родилась на балтийском острове Хиддензее, носит с собой вязание, но до последнего момента была совершенно неизвестна в литературных кругах.

Вот так Ута попала в отчеты. И теперь она не может больше отобрать у меня ни один из моих снов. Ибо в дальнейшем мне уже не приходилось метаться отсюда и туда, в зависимости от того, где на данный момент над домом нависло неблагополучие. Более того, под ее надежной защитой я писал "Камбалу", выписывал главу за главой по каменистой коже и продолжал зачитывать друзьям, едва мы соберемся снова, будь это нечто готическое о "Сконской сельди", будь это барочная аллегория о "Бремени недобрых времен". Но то, что Шедлих, Борн, Сара и Райнер Кирш или я на самом деле читали в различных, меняющихся местах, не присутствует в бумагах от Шлезингера, а стало быть, и не является фактом, а стало быть, не имеет благословения ни от госбезопасности, ни от Управления Гаука. Во всяком случае, можно предположить, что я, когда Ута стала реальным фактом, читал продолжение сказки "Другая правда", а Шедлих уже тогда или, может быть, только в следующем году попотчевал нас началом своего "Тальхофера" — повести о бессмертном тайном агенте.

Это имело последствия. Но что тогда не имело последствий? Террор, придумавший себе на потребу антитеррор. И вопросы, которые так и не были закрыты. Вот я и по сей день не знаю, как это два револьвера и соответственно две пули, из которых Баадер и Распе якобы застрелили друг друга в Штамхайме, удалось пронести в охраняемую зону. И как это Гудрун Энслин ухитрилась повеситься на радиошнуре.

Это имело свои последствия. Но что их не имеет? К примеру, весной лишают гражданства барда Вольфа Бирмана, и впредь — когда он выступал уже на западногерманской сцене — ему недоставало резонатора, которым служило ранее плотно окруженное стеной государство рабочих и крестьян. До сих пор я вижу его перед собой в Фриденау на Нидштрассе, как он в ходе разрешенного на государственном уровне визита сперва весело толковал о себе, об истинном коммунизме и опять о себе, а потом в моей студии перед небольшой публикой — Ута, множество детей и их друзья — обкатывал программу предстоящего большого, всемилостивейше дозволенного концерта в Кёльне, как день спустя мы снова наблюдали его в прямой трансляции, ибо все, каждый выкрик против произвола правящих классов, каждый издевательский смешок, который провоцирует в нем всенародная система слежки, каждый всхлип по поводу преданного руководящими товарищами коммунизма, каждый мучительный стон, вплоть до подступающей хрипоты, вплоть до повторения спонтанных посулов, каждый взмах ресниц, каждое клоунское и каждое страдальческое выражение лица, говорю я вам, было опробовано и обкатано, много месяцев, много лет, покуда строгий запрет на выступления заставлял его молчать за пределами его берлоги (как раз напротив "Постоянного представительства"), он обкатывал все свое большое выступление, номер за номером, ибо все то, что потрясало слушающих его зрителей в Кёльне, ему днем ранее вполне удалось перед малой публикой. Так богат он был заученными намерениями. Так заботился о точности попадания. И таким отрепетированным выглядело его мужество на сцене.

Едва его лишили гражданства, мы все предполагали, что такое мужество не может остаться без последствий, что теперь оно будет опробовано на Западе. Но дальше было очень немного. Едва рухнула стена, он был крайне оскорблен тем обстоятельством, что все произошло без его содействия. Незадолго до этого он был удостоен национальной премии.

После того как Бирмана лишили гражданства, мы в последний раз встретились на востоке города. В доме Кунерта с великим множеством кошек мы сперва (как заведено) читали друг другу, потом собрались некоторые из тех, кто публично протестовал против изгнания Бирмана, теперь же пытался ужиться с результатами своего протеста. Одним из результатов было то, что многие (хотя и не все) сочли себя вынужденными подать заявление на выезд. Кунерты уехали вместе со своими кошками. С детьми, книгами и домашней утварью уехали Сара Кирш и Йохен Шедлих.

Вот и это имело последствия. Но что их не имеет? Позже у нас у всех умер Николас Борн. А еще позже, уже много позже, оборвались дружеские связи: издержки объединения. Однако наши рукописи, из которых мы раз за разом зачитывали друг другу отрывки, попали на книжный

рынок. Вот и камбала пустилась в свободное плавание. Ах да, а еще ближе к концу семьдесят седьмого года умер Чарли Чаплин. Просто-напросто вразвалочку затрюхал к горизонту, просто взял и ушел, не отыскав наследника.

1978

Ну конечно, ваше преосвященство, мне надо было раньше прийти и выговориться. Но я была твердо уверена, что с детьми все как-нибудь обойдется. Мой муж и я, мы оба не сомневались, что у них есть решительно все, мы дарили им свою любовь. И с тех пор как мы живем на вилле у моего свекра, чего он, между прочим, сам хотел, нам всем казалось, будто они счастливы или, по крайней мере, довольны. Просторный дом. Большая усадьба, заросшая старыми деревьями. И хотя мы жили несколько в стороне, вы же знаете, ваше преосвященство, это было все-таки недалеко от центра. Их часто навещали школьные товарищи. Праздники в саду проходили у нас на редкость весело. Даже мой свекор, горячо любимый детьми дедушка, и тот радовался этой веселой возне. И вдруг оба разом резко изменились. Началось с Мартина. Потом Моника решила, что должна переплюнуть брата. Мальчик вдруг появился наголо остриженным, если не считать клока над самым лбом. А девочка выкрасила свои красивые белокурые волосы частью в лиловый, а частью в ядовито-зеленый цвет. Ну, на это еще можно было как-то закрыть глаза — мы и закрывали, — но когда оба появились перед нами в этих ужасных лохмотьях, мы оба, я даже больше, чем он, были шокированы. Мартин, который до сей поры имел даже несколько снобистский вид, вдруг вырядился в рваные джинсы, подвязанные ржавой цепью. Для ансамбля полагалось носить черную куртку, всю в заклепках и с ужасным навесным замком, скрепляющим ее на груди. А наша Мони вдруг предстала в истертом кожаном одеянии и сапогах на шнуровке. Прибавьте к этому музыку, которая доносилась теперь из обеих комнат, если такой агрессивный грохот вообще можно назвать музыкой. Стоило им вернуться из школы, как тотчас начинался этот грохот. Не считаясь с дедушкой, который после выхода на пенсию строго соблюдал тишину, как полагали мы тогда, еще ни о чем не догадываясь...

Да, ваше преосвященство, эта пытка для ушей называлась именно так или похоже. "Sex pistols". Вы, должно быть, в этом разбираетесь. Ну конечно же, мы все перепробовали. Уговаривали по-хорошему. Пробовали строгостью. Мой муж — вообще-то он воплощенное терпение — наказывал их лишением карманных денег. Ничего не помогало. Дети все свободное время проводили вне дома и в ужасном обществе. Их школьные товарищи, все сплошь из хороших семей, к нам, разумеется, приходить перестали. Это было ужасно, потому что теперь они начали приводить с собой этих типов, панки их называют. И от них нигде не было спасения. Они сидели на коврах. Располагались в курительной комнате, причем даже в кожаных креслах. Добавьте ко всему этот их жуткий язык. Вот так все выглядело, ваше преосвященство. Все время эти разговоры No-future, до тех пор, пока у нашего дедушки, уж и не знаю, как это поточнее назвать, пока у нашего дедушки не поехала крыша. Что называется, за ночь, внезапно. Ибо мой свекор...

Вы ведь его знаете, это изысканный, ухоженный господин, вопло-

щенная скромность, наделен стариковским шармом, тихое, никого не обижающее остроумие, после ухода из банковского дела он жил лишь любовью к классической музыке, почти не покидал своих комнат, лишь изредка сидел на террасе, погрузясь в раздумья, и словно навсегда расставшись с положением высокопоставленного финансиста — вам ведь небезызвестно, ваше преосвященство, что он принадлежал к числу ведущих деятелей Немецкого банка, — он, который никогда не говорил о себе и своей деятельности, воплощенная скромность в полосатом костюме... Ибо когда я, вскоре после свадьбы, спросила у него о подробностях его профессиональной деятельности во время этих ужасных военных лет, он в своей обычной манере, с тихой иронией, ответил: "А это пусть останется банковской тайной", и даже Эрвин, который тоже пошел по банковской части, мало что знает об этапах своего детства, того меньше — о профессиональной деятельности своего отца, которого вдруг, как я уже вам говорила, словно подменили.

Вы только себе представьте: за завтраком он удивляет, нет, он потрясает нас ужасным прикидом. Свои красивые седые волосы, густые, несмотря на преклонный возраст, он сбрил, оставив лишь среднюю, дыбом стоящую полосу, причем эти жалкие остатки он к тому же выкрасил в огненно-рыжий цвет. Вполне под стать этой прическе он надел китель, втайне сшитый из отдельных черно-белых лоскутов, а к этому лоскутному кителю — штаны от Штреземана, которые он в свое время наверняка надевал на заседания правления. Выглядел он как арестант. Причем решительно все: и лоскуты, и даже ширинка на штанах — было скреплено английскими булавками. Соответственно — уж и не спрашивайте меня, как он это сделал, — свекор продел в мочки ушей две очень большие булавки. А вдобавок он раскопал где-то наручники, но их он надевал только для выхода.

Ну конечно же, ваше преосвященство, его никто не мог удержать. Он все время где-то пропадал, он выставлял себя на посмешище не только здесь, в Рате, но и, как нам рассказывали люди, в центре, даже на Кёнигсаллее. Скоро вокруг него начала собираться целая орда этих самых панков, в обществе которых он заставлял трепетать всю округу до самого Герресхайма. Нет, ваше преосвященство, даже когда Эрвин ему выговаривал, ответ неизменно гласил: "Господин Абс должен сейчас уйти. Господин Абс должен принять руководство богемским Унионбанком и венским кредитным учреждением. Вдобавок господину Абсу необходимо провести в Париже и Амстердаме ариизацию известных торговых домов... Господина Абса просили, как это уже имело место с банковским домом Мендельсон, действовать по возможности деликатно. Господин Абс славится своей деликатностью и просил бы избавить его от дальнейших расспросов..."

Все это и даже больше этого нам приходилось выслушивать изо дня в день, изо дня в день. Да, да, ваше преосвященство, вы правы. Он явно идентифицировал себя с господином Германом Йозефом Абсом, которому в свое время дозволялось давать финансовые консультации самому бундесканцлеру, то есть идентифицировал себя со своим прежним шефом, с которым предположительно был очень близок не только во время послевоенного восстановления, но и раньше, в годы войны. Заходит ли речь об этих опостылевших вопросах возмещения убытков, адресованных "ИГ Фарбениндустри", или о дальнейших требованиях Израиля, ему всегда кажется, будто именно он должен вести перегово-

ры по поручению господина Аденауэра. И тогда он говорит следующее: "Господин Абс отвергает эти требования, господин Абс приложит все усилия для сохранения нашей кредитоспособности". Причем эти ужасные панки тоже его так называли, едва он выходил за ворота виллы. "Папа Абс!" — кричали они. Нас же он с улыбкой заверял: "Не беспокойтесь, господин Абс всего лишь намерен предпринять маленькую служебную поездку".

Дети? Вы не поверите, ваше преосвященство, они исцелились буквально за день, так потрясло их поведение дедушки. Моника выкинула в мусорный бак свой кожаный прикид и эти ужасные сапоги на шнуровке. Готовится сдавать экзамены на аттестат зрелости. Мартин снова вернулся к своим шелковым галстукам. Как говорил мне Эрвин, мальчик хотел бы уехать в Лондон и там поступить в колледж. Собственно говоря, если, конечно, отвлечься от трагических последствий, мы все должны быть благодарны старику за то, что его внуки снова пришли в себя.

Ну разумеется, ваше преосвященство, нам очень нелегко далось это, как я понимаю, выглядящее очень жестоким решение. Бесконечными часами мы вместе с детьми искали выход. Да, теперь он в Графенберге. Да, да, вы ведь сами говорите: у этого заведения отличная репутация. Мы регулярно его навещаем. Ну конечно, и дети тоже. Он ни в чем не испытывает недостатка. Вот только до сих пор он выдает себя за господина Абса, но, как нас заверил один санитар, он весьма охотно общается с другими пациентами. Недавно, как говорят, он вообще сдружился с пациентом, который весьма удачным образом выдает себя за господина Аденауэра. Обоим даже разрешают играть в боччию.

1984

Да знаю я, знаю! Слишком уж бездумно к нам обращаются с пресловутым призывом "Помните о погибших", однако на самом месте события требуется множество организационных усилий. Поэтому со все большим энтузиазмом и не в последнюю очередь благодаря тому символическому рукопожатию, которым обменялись президент и канцлер достопамятного 22 сентября 1984 года перед хранилищем для костей, прокладываются все новые и новые туристские тропы на бывшем поле сражения под Верденом, причем наш брат всячески стремится по мере сил помочь хотя бы двуязычными указателями в направлении Mort-Homme, что означает "Мертвый человек", тем более что там, неподалеку от пропитанного кровью Вороньего леса (Bois de Corbeaux), до сих пор еще попадаются в земле мины и неразорвавшиеся снаряды в успевших зарасти травой кратерах воронок, по каковой причине уже наличествующее французское предостережение "Не ходить" было дополнено нашим "Ходить строго воспрещается". Далее следовало бы без долгих размышлений в некоторых местах, там, например, где еще можно угадать остатки деревушки Флёри и часовня взывает к примирению, как, впрочем, и на высоте 304 (Côte 304), которую между маем и августом 1916 года неоднократно штурмовали и захватывали в ходе контратак, сдержанно напомнить о том, что здесь, равно как и на многих маршрутах, была бы вполне уместна недолгая остановка для размышлений.

Такое напоминание не лишено известной назойливости, ибо с тех

самых пор, как наш канцлер посетил наше солдатское кладбище Консенвю, не преминув затем посетить и французское кладбище на территории форта Дуамон, каковое посещение завершилось историческим рукопожатием с президентом республики, поток туристов все время растет. Прибывают переполненные автобусы, причем слишком уж туристское поведение некоторых групп дает повод к неудовольствию. Так, например, хранилище костей, чья башенка повторяет формы артиллерийского снаряда, зачастую воспринимается как страшный аттракцион, из-за чего перед стеклянными окошечками, которые, вообще-то говоря, открывают взгляду лишь ничтожную часть костей и черепов от ста тридцати тысяч павших французов, нередко слышится смех и пошлые остроты. А порой можно услышать и крепкие словечки, которые недвусмысленно дают понять, что великое дело примирения между нашими народами, содействовать которому мнили канцлер и президент своими выразительными жестами, еще весьма далеко от завершения. Так наши — и не без оснований — испытывают неудовольствие, когда видят то бросающееся в глаза обстоятельство, что память пятидесяти тысяч павших французов почтили белыми крестами с надписью "Mort pour la France" и высаженными перед каждым крестом розами, тогда как нашим павшим достались лишь черные кресты без единой надписи и без единого цветочка.

Должен прямо сказать, что нам нелегко отвечать на такого рода замечания. Одновременно мы испытываем растерянность, когда нам задают вопрос о числе погибших. Долгое время существовало мнение, что каждая сторона потеряла по 350 тысяч человек. Говорить о миллионе жертв на 35000 квадратных километров мы считали преувеличением. Пожалуй, в общем и целом наберется полмиллиона — то есть от семи до восьми павших на один квадратный метр, — которые расстались с жизнью во время ожесточенных боев за форт Дуамон, за форт Во, под Флёри, на высоте 304 и на "Холодной земле" (Froideterre) с ее скудными глинистыми почвами, характерными для всего поля сражения. В военных кругах прибегают к термину "война на уничтожение".

Однако, как ни велики были потери, наш канцлер и президент Франции подали знак поверх всех подсчетов, когда рука об руку стояли в хранилище костей (Ossuaire). И хотя сам ты принадлежал к расширенному составу делегации, в состав которой входил также и Эрнст Юнгер, сей седовласый писатель и живой свидетель бессмысленного жертвоприношения, обоих государственных мужей мы могли видеть только со спины.

Позднее они совместно посадили горный клен, для чего пришлось заранее побеспокоиться, чтобы это символическое действие не произошло на до сих пор заминированном участке. Данная часть программы понравилась решительно всем. Но вот происходящие одновременно и по соседству немецко-французские маневры не привлекли сердца. Наши танки на дорогах Франции и наши "торнадо" на бреющем полете над Верденом — такое здесь наблюдают без всякого удовольствия. Наверняка выглядело бы гораздо символичнее, если бы вместо упомянутых маневров наш канцлер проследовал по размеченной туристской тропе, скажем, к развалинам того укрепленного пункта, который называется "Четыре трубы" (Abri de quatre Cheminées) и за который баварские полки и французские альпийские части сражались 23 июня 1916 года столь же ожесточенно, сколь и кровопролитно. За пределами вся-

ческой символики здесь была бы более чем уместна задумчивая пауза, допущенная нашим канцлером, возможно даже, за рамками протокола.

1985

Дорогая моя девочка,

ты хотела бы узнать от меня, как мне жилось в восьмидесятые годы, поскольку такого рода личные впечатления очень важны для твоей магистерской работы, которая должна будет называться "Повседневная жизнь лиц пожилого возраста". Буду рада тебе помочь. Но ты мне пишешь, что в числе прочего мне следует пожаловаться на "ограниченные возможности потребления". Вот тут я мало чем могу тебе помочь, потому что особенно твоей бабушке жаловаться не на что. Если не говорить о твоем дедушке, лучшем человеке на свете, которого мне, естественно, уже никто никогда не заменит, я больше ни в чем не испытываю недостатка. Поначалу я еще довольно хорошо ходила, подрабатывала по полдня в срочной химчистке и даже немножко прислуживала в церковной общине. Но если ты спросишь, как я проводила свободное время, я, чтобы быть честной, должна буду признаться, что все восьмидесятые годы я отчасти убила, отчасти приятно провела перед "ящиком". Особенно с тех пор, как ноги начали сдавать, я вообще редко выходила из дома, а что до компаний всякого рода, то, как тебе наверняка подтвердят и твои дорогие родители, к этому у меня никогда душа не лежала.

В остальном же ничего такого важного и не происходило. А уж в политике, про которую ты очень настойчиво меня расспрашиваешь, вообще ничего. Всё эти обычные посулы. Тут мы с моей соседкой фрау Шольц всегда держались одного мнения. Кстати, все эти годы она просто трогательно обо мне заботилась, причем, уж скажу тебе прямо, больше, чем родные дети. Не исключая, к сожалению, и твоего дорогого отца. Положиться я могла только на фрау Шольц. Иногда, если она работала на почте в утреннюю смену, она уже после обеда заявлялась ко мне и приносила собственную выпечку. И мы устраивались очень удобно, и сидели до позднего вечера, и смотрели все, что нам показывают. Помнится, это был "Даллас" и еще "Шварцвальдская клиника". Ильзе Шольц нравился профессор Бринкман, а мне так не очень. Когда же с середины восьмидесятых годов начали показывать — и до сих пор не кончили — "Линденштрассе", я ей сразу сказала: "Это совсем другое. Прямо как из жизни. Вот так идет обыкновенная жизнь. Вечная неразбериха, порой веселая, порой печальная, со спорами и с примирением, но и со множеством забот и огорчений, все равно как здесь у нас, на Гютерманштрассе, пусть даже Билефельд — это не Мюнхен, а пивная у нас на углу уже много лет как стала ресторанчиком, и принадлежит она вовсе не греку, а одному итальянскому семейству, которое очень хорошо ее содержит. Зато вахтерша у нас такая же сварливая, как Эльза Клинг из дома номер три по этой самой Линденштрассе. Она без устали пилит своего безответного мужа и иногда ведет себя очень подло. Зато матушка Баймер — это воплощенная доброта. Всегда готова выслушать другого человека, ну совсем как моя соседка фрау Шольц, у которой и без того хватает забот с собственными детьми и дочь которой, эта самая Ясмин, совсем как баймеровская Марион, состоит, если

уж говорить честно, в не совсем благовидной связи с каким-то иностранцем.

Во всяком случае, мы начали смотреть с первой передачи, когда запустили эту серию, в декабре по-моему, и уже во время рождественской передачи разгорелся спор между Генри и Францем из-за облезлой рождественской елки. Но потом они как-то поладили. А у Баймеров Святой вечер хоть и прошел невесело, потому что Марион со своим Василием обязательно хотела уехать в Грецию, но потом господин Баймер привел двух сироток. А еще они пригласили одинокого вьетнамца, и в результате получился очень даже неплохой праздник.

Порой, когда мы с фрау Шольц смотрели "Линденштрассе", я вспоминала первые годы своего замужества, когда мы с твоим дедушкой смотрели в маленьком ресторанчике, где уже тогда был телевизор, серию "Семейство Шорлеман". Черно-белую, конечно, а значит, где-то в середине пятидесятых годов.

Но ты хотела для своей работы узнать, что еще было интересного в восьмидесятые годы. Верно, как раз в том году, когда Марион, дочь фрау Баймер, слишком поздно вернулась, да еще с разбитой головой, началась эта история с Борисом и Штефи. Вообще-то я теннисом не увлекаюсь – мечутся, мечутся по площадке, – но мы все равно смотрели, иногда часами подряд, когда эта девица из Брюля и парень из Лайма, как их называли, достигали все больших и больших высот. Фрау Шольц вскоре начала разбираться, как там у них получается с подачей и возвратом. Что такое тай-брек, я лично так и не могла понять, и мне часто приходилось спрашивать. Когда проходил Уимблдон и наш Борис одержал верх над одним из Южной Африки, а на следующий год – то же самое против чеха Лендла, которого все считали непобедимым, я прямо вся дрожала от страха за моего Борика, которому тогда всего-то и сравнялось семнадцать. Я даже молилась за него. А как он в восемьдесят девятом, когда в политике снова что-то зашевелилось, опять в Уимблдоне против шведа Эдберга одержал победу после трех сетов, я прямо разрыдалась и моя дорогая соседка тоже.

Вот Штефи, которую фрау Шольц называла "фройляйн Форханд", я так и не смогла полюбить, а ее папашу, этого налогового афериста, тем более. Но вот Борик, этот был несгибаемый, он мог показать себя дерзким, мог даже нахальным. Нам только не понравилось, что он не любит платить налоги и ради этого даже переехал в Монако. "Неужели это было ему так нужно?" – спрашивала фрау Шольц. А потом уже, когда и его звезда, и звезда Штефи начала клониться к закату, он даже начал рекламировать нутеллу. Конечно, у него все выглядело очень мило, когда он в телевизоре облизывал нож, с лукавой такой улыбочкой, но какая в этом надобность, когда он все равно заработал больше, чем может в своей жизни истратить.

Хотя нет, все это происходило уже в девяностые, а ты, моя дорогая девочка, хочешь знать, как оно все было в восьмидесятых. С нутеллой мне приходилось иметь дело уже в шестидесятых, когда все наши дети требовали, чтобы им мазали на хлеб эту сладкую замазку, которая, по-моему, выглядит как сапожный крем. Спроси у своего отца, помнит ли он до сих пор, какие схватки разыгрывались у него каждый день с младшими братьями. Ну и шум у нас стоял! Почти как в этой "Линденштрассе", которая, к слову сказать, все еще не кончилась.

Мы, жители Оберпфальца, как все считают, редко выходим из себя, но уж это было слишком. Сперва, значит, Ваккерсдорф, где они собирались хранить эту мерзость, а потом еще на нашу голову свалился Чернобыль. До самого мая над всей Баварией висело облако. И над Франконией тоже, и мало ли где еще оно висело, только к северу поменьше. А к западу, как говорят французы, оно остановилось как раз над границей.

Ну конечно, кто хочет, тот верует, есть даже люди, которые уповают на святого Флориана. А у нас в Амберге судья из гражданского суда всегда был против этой самой УПП, а если без сокращений, оно называется "Установка по переработке". Вот почему молодых ребят, которые расположились за забором этой самой установки и колотили железными палками по забору, о чем писали в газетах под заголовком "Иерихонские трубы", судья по воскресеньям обеспечивал настоящим обедом, что дало повод Бекштайну из окружного суда, который всегда был порядочной скотиной, почему и сделался впоследствии министром внутренних дел, говорить такую вот гнусность, будто "людей, подобных судье Вильгельму, надлежит уничтожать как явление".

И все из-за Ваккерсдорфа. Я тоже туда ходил. Но только когда приплыло облако из Чернобыля и нависло над Оберпфальцем и над нашим прекрасным Баварским лесом. Точнее сказать, мы отправились туда всей семьей. В моем-то возрасте, как они все говорили, мне вроде бы об этом и тревожиться нечего, но поскольку мы — это у нас такая семейная традиция — каждую осень привыкли ходить по грибы, надо было теперь проявлять бдительность, я даже так скажу: надо было бить тревогу. А раз это подлое вещество, которое называется цезий, дождь смыл с деревьев и страшно пропитал радиоактивностью всю землю в лесу, все равно, мох, или палую листву, или хвою, я тоже вдруг проснулся, взял пилу для металла и отправился к забору, а внуки все кричали мне вслед: "Уймись, дед, это не для тебя!"

Может, они и правы, потому что, когда я затесался среди этих молодых людей с криком "Кухня для плутония! Кухня для плутония!", водометы, которые специально прислали эти господа из Регенсбурга, просто сбили меня с ног. А к воде они примешали еще какой-то раздражитель, какой-то подлый газ, хотя, конечно, он не такой страшный, как этот цезий, который приплыл к нам в облаке из Чернобыля, и стекает на наши грибы, и завис, и не уходит.

Вот почему позднее в Баварском лесу и в лесах, что вокруг Ваккерсдорфа, проверили все грибы, а не только лакомый зонтик и дождевики, потому как зверье в лесу, оно ведь тоже ест всякие сыроежки, которые даже не всегда не едят люди, стало быть, и зверье травится. А раз мы все равно собирались идти по грибы, нам всё замерили и показали на таблицах, что каштановый гриб, который появляется только в октябре и бывает вкусный до невозможности, вобрал в себя больше всего цезия. А меньше всего цезия оказалось в опятах, оно и понятно, опята растут не на земле, а как паразиты — на древесных пнях. И навозник, а он бывает очень вкусный, пока молодой, вот и его тоже пощадило. А сильно заражены, как я до сих пор повторяю, оказались рогатики, дубовики крапчатые, сосновые рыжики, которые любят расти под молодыми елочками, и даже подберезовик, вот подосиновики, те меньше,

но, к сожалению, здорово нахватались кантарелии, их еще называют лисичками. А всех тяжелей пострадал боровик, его еще называют белый гриб, который, если его найдешь, можно смело считать милостью божьей.

Ну, в результате вся эта история с Ваккерсдорфом так ничем и не кончилась, потому что господа из атомной промышленности вполне могут осуществить переработку во Франции, причем дешевле, чем здесь, и шума такого там не будет, как в Оберпфальце. Теперь у нас снова установилось спокойствие, и даже про Чернобыль и про чернобыльское облако никто больше не вспоминает. Но моя семья все как один, внуки тоже, перестали ходить по грибы, что нетрудно понять, хотя, конечно, из-за этого оборвалась наша семейная традиция.

Лично я хожу до сих пор. Там, куда дети сдали меня в дом для престарелых, кругом лес. Там я и собираю все, что ни найду: булочки, подосиновики, белые — прямо среди лета, а когда подойдет октябрь, даже каштановые грибы. Жарю я их в кухонной нише, для себя и для некоторых других стариков, которые уже плохо ходят. Всем нам давно перевалило за семьдесят, так что какое нам, в конце концов, дело до цезия, когда дни наши уже и без того сочтены.

1988

...но еще раньше, за год до того, как зашаталась стена и повсюду, прежде чем люди почувствовали себя чужими, царила огромная радость, я начал потихоньку рисовать то, что неизбежно бросалось в глаза: упавшие сосны, лишенные корней буки, мертвый лес. Уже несколько лет, как о чем-то второстепенном, говорили об "умирании леса". Одни научные обзоры вступали в противоречие с другими. Снова — и так же безуспешно — выдвинули требование свести верхний предел скорости до ста километров, поскольку выхлопные газы наносят лесам непоправимый ущерб. Я освоил новые слова и выражения: кислотные дожди, больные побеги, загнивание корешков, выгорание хвои... А правительство ежегодно выпускало отчет про нанесенный лесам ущерб, каковой через небольшое время переименовывался в более безобидный "Отчет о состоянии леса".

Поскольку я верю лишь в то, что можно зарисовать, я поехал из Гёттингена в Верхний Гарц, остановился в полупустом отеле для отдыхающих летом и бегающих на лыжах зимой и сибирским углем для рисования — в принципе тоже древесный продукт — зарисовал весь валежник на склонах и гребнях гор. Там, где лесничество уже устранило следы бедствия и вывезло упавшие деревья, остались вплотную один к другому торчать пни, которые в прихотливом кладбищенском порядке занимали огромные площади. Я дошел до запретительных табличек и увидел, что гибель леса перешагнула границу, оставив позади проволочную изгородь, бегущую по горам и долам, и заминированную полосу — этот пресловутый, разделяющий не только Средний Гарц, но и всю Германию, и не только Германию, но и всю Европу "железный занавес", — перешагнула бесшумно, без единого выстрела. Облысевшие горные вершины открывали простор взгляду.

Я никого не повстречал на своем пути — ни ведьм, ни одинокого углежога. И ничего не произошло. Ибо все уже свершилось. Ни чтение

Гёте, ни чтение Гейне не подготовило меня к этому путешествию на Гарц. Единственным материалом, который я имел в своем распоряжении, была зернистая бумага для рисования, ящичек, полный кривых угольных стержней, и два баллончика с закрепителем, без этого ужасного фреона, тем самым не причиняющих вреда природе.

Оснащенный таким образом, я, хотя и несколько позже, но все еще в те времена, когда действовал приказ открывать огонь, поехал с Утой в Дрезден, куда сумел получить въездную визу благодаря письменному приглашению. Наши хозяева, вполне серьезный художник и веселая балерина, вручили нам ключ от довольно удобной избушки в Рудных горах. Неподалеку от чешской границы я, словно мало до тех пор нагляделся, начал рисовать умирающий и там лес. На склонах вперемешку лежали стволы — как упали, так и легли. Ветры надломили на уровне человеческого роста мертвые стволы, растущие по гребням гор. И здесь тоже ничего не происходило, разве что в избушке дрезденского художника Гёшеля плодились и множились мыши. В остальном все уже свершилось. Выхлопные газы и оседающие на просторной территории отходы двух народных предприятий довели свою работу до конца по обе стороны границы. Покуда я изрисовывал один лист за другим, Ута читала, но уже не Фонтане.

Примерно через год на плакатах демонстрантов в Лейпциге и других местах будет написано: “Спилите бонз и защитите деревья”. Но до этого еще пока не дошло. Государство, хоть и не без труда, еще удерживало своих граждан. И перешагнувшая границу гибель леса еще казалась непреоборимой.

Вообще-то говоря, нам понравилось это место. Дома в деревнях среди Рудных гор были крыты гонтом. Здесь долгие годы царила бедность. А деревни назывались Фюрстенау, Готтгетрой и Хемшу. Через ближний пограничный переход у Цинвальда проходила транзитная дорога на Прагу. По этой используемой не только туристами трассе двадцать лет назад августовским днем, выполняя приказ, проследовали моторизованные части Национальной народной армии; а вот пятьдесят лет тому назад, в октябре 1938 года, в том же направлении проследовали части германского вермахта, так что чехи могли вспоминать, как оно все было и в тот, и в другой раз. Повтор: двойная доза насилия. История любит такие повторы, хотя прошлый раз все было совсем по-другому, ну, например, леса еще стояли нетронутые...

1989

Когда мы, возвращаясь из Берлина в Лауэнбург, включили третью программу, потому что мы ее абонируем, новость по авторадио, хотя и с опозданием, достигла наших ушей, и тогда я, как, вероятно, десятки тысяч остальных людей, от радости и испуга завопил “С ума сойти!”, после чего утонул в мыслях о будущем и о прошлом, как и Ута, которая вела машину. А один наш знакомый, который проживал и работал по другую сторону стены, где как прежде, так и теперь охраняет в архиве Академии искусств всевозможные творческие наследия, тоже получил эту благую весть с опозданием, как бомбу с часовым механизмом.

Согласно его рассказу, он, обливаясь потом, вернулся из Фридрихсхайна после пробежки. Удивительного в этом ничего нет, ибо восточ-

ные берлинцы за последнее время тоже увлеклись этим видом самоистязания американской выпечки. На перекрестке Кете-Нидеркирхнер и Бёцовштрассе он повстречал одного знакомого, который точно так же пыхтел и потел после пробежки. Все еще переступая с ноги на ногу, оба уговорились встретиться позже за кружкой пива и немного спустя уже сидели в просторной гостиной того знакомого, работа которого, как он выразился, протекала в сфере "производства материальных ценностей", почему нашего знакомого и не удивило, когда он обнаружил в квартире у своего знакомого свеженастеленный паркет, ибо ему, который, сидя в своем архиве, только и знал что перекладывать бумажки с места на место и, по сути, отвечал лишь за примечания, такие расходы были явно не по карману.

Выпили одно пильзенское, потом другое, потом перешли к Нордхойзерской горькой. Говорили о прежних временах, о подрастающих детях и об идеологических барьерах на родительских собраниях. Мой знакомый — он родом из Рудных гор, где я в прошлом году рисовал мертвый лес на горных хребтах, — собирался, о чем и сказал своему знакомому, будущей зимой взять жену и поехать туда кататься на лыжах, но у него не все в порядке с "вартбургом", резина совсем лысая, хоть на передних, хоть на задних колесах, то есть протекторов почти не осталось. Теперь же он надеется при содействии своего знакомого разжиться новыми зимними покрышками. У того, кто при реально существующем социализме может за свой счет настелить новый паркет, наверняка есть доступ и к специальным покрышкам с надписью "Г+С", что означает "Грязь плюс снег".

В то время как мы, осененные радостной вестью, приближались к Белендорфу, в так называемой "берлинской комнате" знакомого нашего знакомого работал телевизор с почти вырубленным звуком. И покуда оба за пивом и водкой обсуждали проблему замены покрышек, причем владелец нового паркета высказал мысль, что для новых покрышек нужны "настоящие деньги", но вызвался, однако, раздобыть для "вартбурга" две новые выхлопные трубы, хотя в остальном ничего не обещал, мой знакомый бросил беглый взгляд на безмолвный экран, где явно шел какой-то фильм и где по ходу действия этого фильма молодые люди карабкались на стену, садились на нее верхом, а пограничная полиция праздно наблюдала за этими невинными развлечениями. На подобное неуважение к пограничному валу знакомый моего знакомого отреагировал следующей репликой: "Типичные западные штучки!" Потом оба взапуски принялись комментировать безвкусицу на экране: "Не иначе какой-то фильм про холодную войну!", потом снова возобновили прерванный разговор про скверные летние покрышки и недостающие зимние. Об архиве и хранящихся там наследиях более или менее значительных писателей речи вообще не было.

Когда мы уже жили в осознании надвигающегося бытия без стены и, едва вернувшись домой, врубили телевизор, по другую сторону стены прошло еще известное время, прежде чем знакомый моего знакомого наконец-то совершил несколько шагов по свежевыложенному паркету и на полную мощность включил звук. И с этого мгновения не было произнесено больше ни единого слова про зимние покрышки. Уж этуто проблему должно было решить новое летосчисление, "настоящие деньги". Допиты остатки водки — и бегом к Инвалиденштрассе, где уже образовалась изрядная пробка, множество машин, причем "трабантов"

больше, чем "вартбургов", пробка, потому что все стремились к пограничному переходу, который чудесным образом был сегодня открыт. А кто вдобавок внимательно слушал, тот мог услышать, что каждый, почти каждый, кто пешком или в "трабанте", хотел попасть на Запад, громко или шепотом повторял: "С ума сойти", точно так же, как немногим ранее воскликнул я перед Белендорфом, после чего, однако, снова отдался ходу своих мыслей.

Я только забыл потом спросить у своего знакомого, как и когда и за какие деньги он обзавелся наконец новыми покрышками. Еще я был бы рад услышать от него, встретил ли он вместе со своей женой, которая в ГДР-овские времена была довольно известной фигуристкой, Новый, девяностый год в Рудных горах. Потому что так ли, иначе ли, но жизнь продолжалась.

1991

— А покойников не видишь. Только координаты и попадание, говорят, прямо в точку. Получается вроде как детская игра....

— Ну ясное дело, недаром Си-эн-эн откупила права на показ этой войны и уж заодно на следующую и на следующую за следующей.

— Но горящие нефтяные поля прекрасно видно...

— Потому что главное для них нефть, только нефть...

— Это даже уличные мальчишки знают. Все школы опустели, все тронулись в путь, чаще без учителей, в Гамбурге, Берлине, Ганновере...

— Даже в Шверине и Ростоке та же картина. Со свечами, как у нас было повсюду два года назад.

— А мы до сих пор талдычим про шестьдесят восьмой и как мы лихо выступали тогда против войны во Вьетнаме и против напалма...

— А сегодня не можем оторвать задницу от сиденья, и только дети...

— Это и сравнивать нельзя. У нас по меньшей мере была перспектива, было какое-то подобие революционной концепции, а эти знай себе со свечками...

— Но вот сравнивать Саддама с Гитлером — это, выходит, можно? Привести обоих к общему знаменателю, чтобы все заранее знали, что хорошо и что плохо?

— Ну это была вроде как метафора, но вот вести переговоры, вести длительные переговоры — это было нужно, и оказывать давление с помощью экономического бойкота, как в Южной Африке, потому что с войной...

— Ну какая это война? Это шоу, устроенное на пару Пентагоном и Си-эн-эн и предъявленное потребителю на экране телевизора, фейерверк специально для гостиной. Чистенько, аккуратненько, без убитых... Можно смотреть как фантастику и при этом грызть соломку.

— Но ведь видно, как горят нефтяные прииски, и как падают на Израиль ракеты, и как людям приходится сидеть в бомбоубежище, натянув противогаз...

— А кто, спрашивается, годами вооружал Саддама против Ирана? То-то и оно. Американцы и французы...

— ...и немецкие фирмы. Целый список поставок: сколько угодно высококачественных товаров. Оснастка для ракет... всевозможные яды с рецептом изготовления...

— ...вот почему этот самый Бирман, которого я всегда считал пацифистом, тоже поддерживает войну... Он даже говорит...

— Говорить-то он ничего не говорит, но поливает помоями всех, кто не заодно с ним...

— ...а детей со свечками, которые за мир, он называет сопливыми плаксами...

— ...они ведь не видят перед собой общественной цели, у них нет перспективы и нет аргументов, а мы-то в их годы...

— Ну почему? "Не проливать кровь ради нефти" — это ведь что-нибудь да значит...

— Мало этого, мало, вот когда мы... против войны во Вьетнаме...

— Хо-Хо-Хо Ши Мин — это ведь тоже не бог весть какой аргумент...

— Во всяком случае, все дети сейчас вышли на площади и улицы. Вот уже и в Мюнхене, и в Штутгарте. Свыше пяти тысяч. Даже из детских магазинов. Устраивают марши молчания с перерывом на рев... "Мне страшно, мне страшно!" — ревут они. Этого ведь никогда еще не было, чтобы здесь, в Германии, кто-нибудь открыто признался, будто... У меня такое мнение...

— Говно все твои мнения. Вы лучше поглядите на нашу малышню. Понизу "Адидас", поверху "Армани". Избалованные сопляки, которые вдруг испугались за свой прикид, а мы-то в шестьдесят восьмом, и еще поздней... когда речь шла о взлетных полосах... и еще поздней, против Першингов-II в Мутлангене и в других местах... Нелегкие были времена... А тут заявляются младенцы со своими свечками...

— Ну и что с того? Разве в Лейпциге не так все начиналось? Я и сам был, когда мы каждый понедельник, вполне мирно, от Николаикирхе... Каждый понедельник, представь себе, пока те там, наверху, не испугались...

— С тем, что сегодня, и сравнивать нельзя. Но Гитлер и Саддам. Оба на одной почтовой марке. Это, выходит, можно, так, что ли?..

— А нефтяные прииски знай себе горят...

— А в Багдаде одно бомбоубежище, в котором было полно гражданского населения...

— Си-эн-эн, между прочим, показывает совсем другую хронику...

— Да пойми же ты наконец. Таково будущее. Еще до начала войны права на телепоказ уступают тем, кто больше предложит.

— Сегодня можно даже загодя отснять войну, потому что скоро начнется очередная. То ли в другом месте, то ли опять в Персидском заливе.

— На Балканах, где сербы и хорваты, войны наверняка не будет...

— А будет там, где нефть...

— Убитых тогда тоже не будет...

— А страшно, по-настоящему страшно будет только детям...

1992

Из Виттенберга я прибыл в некотором изумлении, потому что пригласили меня немолодые господа, которые ранее состояли на службе у рухнувшего режима. В случае, если речь пойдет о духовном попечении, я, будучи священнослужителем, весьма понаторел в зондировании моральных бездн, которые с недавних пор разверзлись по всей стране. Вскоре после падения стены я тоже высказался за то, чтобы обнародо-

вать плоды усилий госбезопасности, теперь на меня тем самым ложилась двойная ответственность.

Подлежащий рассмотрению случай "муж годами доносит на собственную жену" был мне известен из прессы, и не только по заголовкам. Но отнюдь не супруги, которых постигло несчастье, а вернее сказать, наследие государственной безопасности, просили у меня совета. Нет, нет, совета просили их родители, которые, с одной стороны, искали помощи, с другой же – усердно заверяли меня по телефону, что никак не связаны с религией, я же в свою очередь заверил их, что отправляюсь в Берлин, отнюдь не обуянный миссионерским пылом.

Пригласившая меня чета сидела на софе, другая пара родителей, подобно мне, разместилась в креслах. "Мы, – услышал я, – просто не можем поверить тому, что написано в газетах. Но ни один из задетых этой ситуацией не желает с нами говорить". "Больше всего, – сказала мать женщины, за которой следил собственный муж, – страдают дети, потому что они особенно привязаны к отцу". Все родители несчастной пары сошлись в том, что их сын и соответственно зять всегда был для своих детей терпеливым, добрым отцом. Кроме того, меня заверили, что дочь и соответственно невестка всегда была сильней, всегда доминировала в семье, однако критические замечания по адресу партии и, позднее, по адресу государства высказывались обоими супругами и в полном единодушии. Они не желали принимать в расчет, что, как им не уставали повторять, столь многим обязаны государству рабочих и крестьян. Никогда ни он, ни она, как дипломированные ученые, не занимали бы таких высоких постов, не заботься о них социалистическое государство.

Поначалу я только слушал и таким путем узнал про обоих сватов, что один из них был признанный специалист по фармакологии, другой – он же отец дочери – до самого конца подвизался в государственной безопасности, а именно в сфере подготовки кадров. Теперь, оставшись без работы, бывший офицер госбезопасности сожалел о том, что его зять запутался в этой системе, ибо знал ее не снаружи, а изнутри: "Если бы он вовремя сказал мне хоть словечко. Я бы отсоветовал ему ввязываться в эту двойную игру. Ибо, с одной стороны, он хотел из чувства лояльности по отношению к государству быть ему полезным в качестве информатора, с другой стороны, он, верно, хотел защитить от возможных мер со стороны государства свою критически настроенную жену, которая была слишком эмоциональной и совершенно не умела сдерживаться. Это представляло для него огромную проблему, а он, наверно, был слишком слаб, чтобы жить в таком напряжении. Уж я-то знаю, о чем говорю. Мне уже делали замечание в одной вышестоящей инстанции, потому что я после первой провокации, устроенной моей дочерью в Панковской церкви, отказался прекратить с ней все и всяческие контакты, что означало бы порвать с ней. Нет, нет, я до самого конца оказывал ей финансовую поддержку, хотя на службе у меня ее все время презрительно называли "жаба".

Точно так же звучали и жалобы заслуженного деятеля науки. Сын ни разу не попросил у него совета. Он, известный антифашист и давний член партии, который со времен эмиграции хорошо знает, как обходиться с уклонистами и какие к ним принимать жесткие меры, настоятельно советовал своему сыну принять то либо иное решение. Сын, однако, мечтал о каком-то третьем пути.

Матери, они же свекровь и теща, говорили мало и то лишь тогда, когда представлялась возможность пожаловаться на беспокойство за внуков и восхвалить отменные качества женатого агента как отца. Мать дочери, за которой была установлена слежка как за диссиденткой, сказала: "Вот на этой самой софе всего еще несколько месяцев назад они сидели вместе с детьми. А теперь все сдвинулось..."

Как человек, привыкший слушать, я до поры до времени воздерживался от комментариев. Подавали кофе с печеньем, западным, к слову сказать, от Бальсена. В числе прочего я услышал, что конец Республики был воспринят не без внутренней грусти, хотя и не выглядел неожиданным. Удивительным мне показалось лишь то, что сын и зять, вопреки или благодаря своей двойной роли, считал "наше государство" поддающимся реформированию, то есть до самого конца считал доступным для перемен. Точно так же и дочь, она же невестка. В тот момент, когда ведущие руководители уже сдались, она была готова пойти на баррикады во имя "хоть сколько-нибудь демократического социализма". Все это можно было воспринимать только как лишнее доказательство наивности обоих супругов. "Нет! — вскричал оставшийся без работы офицер госбезопасности. — Мы потерпели поражение не из-за оппозиционности наших детей, мы потерпели поражение из-за нас самих". Во время паузы, когда желающим подливали кофе, я еще услышал: "Самое позднее с восемьдесят третьего года, когда моя дочь и мой зять единодушно — так это, во всяком случае, тогда выглядело — участвовали в создании в Готе "церкви снизу", партии и государству следовало положительно оценить этот критический импульс и учредить на его основе "Партию снизу".

Тут посыпались самообвинения. И я, который, несмотря на сомнения церковного начальства, точно так же принадлежал к этой "церкви снизу", постарался скрыть свое торжество по поводу столь позднего прозрения. Потом, однако, заслуженный фармаколог упрекнул наставника кадров для госбезопасности за то, что они слишком тщательным хранением папок с делами отдали на растерзание Западу и без того ущемленное в своих правах население Востока. И тесть информатора признался, что тут они и в самом деле совершили большую ошибку, упустив возможность защитить добросовестно заблуждающихся агентов, в том числе и членов собственной семьи, путем своевременного уничтожения отчетов и анкетных данных. "Надо было, надо было об этом побеспокоиться. А как по-вашему, господин пастор?"

Не зная, что ему ответить, я сказал: "Да, да, конечно, но ведь и Запад должен был сообразить, какая бомба с часовым механизмом лежит на Норманненштрассе. Надо было на длительный срок закрыть доступ в Главное управление. Лет, скажем, на двадцать. Но Западу, видно, мало показалось одной только материальной победы... Хотя бы даже исходя из христианской морали... Или чтобы, как в вашем случае, защитить детей..."

После этих моих слов мне предъявили альбом с фотографиями. На некоторых снимках я увидел диссидентку, приобретшую в последние годы большую известность, и ее теперь уже не менее известного мужа. Между ними — дети. Сфотографированное семейство сидело на той софе, на которой сидели теперь родители дочери как дед и бабка заслуживающих жалости внуков. И лишь теперь я узнал, что супруги собираются развестись. Все сваты единогласно поддерживали их намерение.

"Как-нибудь все утрясется", — сказали одни, "Что ж тут поделаешь", — сказали другие родители. Потом все вместе поблагодарили меня за то, что я так терпеливо их выслушал.

1993

Как низший чин в полиции, чувствуешь себя бессильным против этого. Не то чтобы в принципе, потому что несколько лет назад, когда все дороги на Запад еще были закрыты и наши государственные органы гарантировали то, что обещали, то есть заботились о нормальном порядке, такого у нас не было, чтобы сразу пять-шесть сотен этих бритоголовых, все сплошь праворадикальные элементы, с бейсбольными битами, которые начинают колотить, сразу начинают, едва лишь завидят хотя бы и тень негра. Ну разве что так, самую малость, у нас ворчали насчет поляков, которые к нам просачивались и скупали у нас из-под носа все, что только можно было скупить. Но чтоб настоящие наци, по-военному организованные, под военным флагом рейха и тому подобное, нет, эти появились перед самым концом, когда и без того не осталось даже следов порядка, а наши руководящие товарищи наложили полные штаны. Ну, там, на Западе, они были уже давно, там это считалось вполне нормальным, но когда и у нас, сперва в Хойерсверде началось то же самое, а потом в Ростоке-Лихтенхагене, потому что центральный пункт по приему беженцев, сокращенно ЦППБ, а рядом с пунктом жилой дом для вьетнамцев мешали местным жителям, мы себя почувствовали совершенно бессильными, нас и числом было мало, и руководство у нас было нерешительное. Сразу же прозвучали слова: "Типичный Восток" и еще: "Полиция просто смотрит сквозь пальцы..." Да, и такое нам приходилось слушать. Нас подозревали в тайном, а то и в откровенном сочувствии бандитам. Лишь теперь, когда за последние годы был поджог в Мёльне, с тремя жертвами, и еще недавний поджог в Золингене, тоже с жертвами, которых на этот раз было пять, лишь теперь мы говорим, что по всей Германии террор прокладывает себе дорогу и постепенно становится нормой, и теперь больше не услышишь слов "Такое бывает только на Востоке", пусть даже у нас в Ростоке, где прежде было трудящееся население, а теперь их всех выставили за ворота, короче, теперь они все безработные, и никогда раньше они ничего не имели против иностранцев, так вот, у нас в Ростоке все очень довольны, потому что после беспорядков все дома для беженцев были очищены, все негры, а заодно и вьетнамцы исчезли, нет, не исчезли, просто они теперь в другом месте и, значит, не бросаются в глаза.

Все верно, только это было очень нехорошо и не облегчило нашу задачу, когда в Лихтенхагене, как раньше в Хойерсверде, люди высовывались из окон, чтоб посмотреть, а некоторые даже аплодировали, когда бритоголовые своими битами гнали этих бедолаг, среди них были и люди с Балкан, гнали, колотили и вообще здесь творилось черт знает что. Мы из последних сил старались спасти несколько вьетнамцев от самого страшного. И убитых у нас не было, а вот, как я уже говорил, на Западе, в Мёльне и в Золингене, — полно. Это были турки. У нас их здесь почти нет. Но все еще может измениться, если эти типы на Западе всерьез решат, будто могут сбагрить к нам своих турок и вообще всех, кого заносит сюда к нам с Балкан: боснийцев, албанцев, настоящих мусуль-

манских фанатиков, — просто-напросто сбагрить, потому что у нас, видите ли, еще полно места. Если такое случится, ты как рядовой полицейский окажешься совершенно бессилен, когда придут эти бугаи с битами и займутся тем, что в нормальных условиях должна бы осуществлять политика, закрыть границы и очистить территорию, пока не будет слишком поздно. Но господа, которые сидят наверху, они горазды только языком молоть, а всю грязную работу они передоверяют нам.

Как, как вы сказали? Свечи? Сотни тысяч людей, которые с горящими свечами в руках протестовали против враждебного отношения к иностранцам? Что я об этом думаю? Тогда я сам вас спрошу: а что это дало? Причем у нас это тоже было. Огромное количество свечей. Всего лишь несколько лет назад. В Лейпциге, даже в Ростоке. Ну и?.. Что из этого вышло? Да, да, прекрасно, стены больше нет. А еще что, я вас спрашиваю? Что здесь вдруг объявилась уйма праворадикальных экстремистов? И с каждым днем их становится все больше. Цепи горящих свечей? Они что, помогут? Не смешите. Спросите лучше у людей, они раньше все работали на верфи или еще где-нибудь, спросите у них, какого они мнения об этих свечах и что это значит, когда тебя вдруг выставляют за ворота. И спросите у моих коллег, только не у тех, что в Гамбурге, — этих не успели к нам переправить, как тут же в два счета отозвали обратно, едва тут начались очередные события. Нет, спросите здешних, которые набирались опыта еще в Народной полиции, какого они мнения о всех этих фокусах со свечками и тому подобными мирными демонстрациями. Как, как? Нашим соседям по Европе был дан отчетливый сигнал нашего позора, потому что вот уже опять в Германии коричневая нечисть...

И тогда я как маленький полицейский хотел бы скромно задать вопрос: а во Франции оно как, по-другому выглядит? Или, к примеру, в Лондоне? Они что, надевают лайковые перчатки, чтобы заняться своими алжирцами или пакистанцами? А американцы — когда имеют дело со своими неграми? Вот то-то и оно. А под конец скажу вам совсем уж откровенно: то, что происходило здесь, в Лихтенхагене, а потом в Мёльне и Золингене приняло крайние формы, конечно, вызывает сожаление, но в принципе вполне может быть расценено как норма. Точно так же, как и мы, немцы — а сейчас я говорю с вами от лица всей Германии, — вполне нормальный народ, как, скажем, французы, англичане, да и янки тоже. Что вы говорите? Ну хорошо, хорошо, по мне, можете назвать его до отвращения нормальным.

1994

Говорят, что я жесткая, как булыжник. Ну и пусть говорят. Прикажете мне демонстрировать слабость лишь потому, что я женщина? Тот, кто все это записывает, вообразив, будто обязан выдать мне характеристику "социальная ущербность", должен, прежде чем представлять мои неизменно успешные результаты как провалы, принять во внимание, что все, решительно все комиссии по расследованию я прошла, сохраняя отменное здоровье, иными словами, без малейшего для себя ущерба, и даже в 2000 году, когда будет проходить "ЭКСПО-2000", я смогу потягаться со всеми слабаками и бездельниками. Если же мне суждено пасть, потому что верх к тому времени возьмут эти романтики — соци-

алисты, я совершу мягкое приземление и удалюсь в свое фамильное гнездышко с видом на Эльбу, которое перешло ко мне, когда моего папочку, одного из последних великих банкиров, подтолкнули к банкротству. Тогда я скажу: "Подумаешь, важность какая!" – и переключу свое внимание на суда, особенно на танкеры: как они плывут вверх по течению, к Гамбургу, и как потом, глубоко осев, поскольку тяжело груженные, держат курс к устью Эльбы, навстречу морям, навстречу множеству морей. И когда на закате возникнет нужное настроение, а река заиграет всеми мыслимыми цветами, я размякну, я подарю свое внимание этим расплывающимся картинам, я вся буду одно сплошное чувство.

Ну и что? Я люблю поэзию, хотя люблю и финансовую дерзость, даже и не поддающуюся предварительному учету, как в свое время управление "Тройханд"[1], которое под моим, если вникнуть, исключительно под моим руководством ворочало миллиардами и провело в рекордно короткие сроки тысячи банкротств, расчистив тем самым место для нового, в связи с чем этот господин, который явно носится с мыслью, сопоставив мои достижения в области высочайших окладов для сотрудников с убытками, неизбежными при санации предприятий, написать роман гигантских размеров, по ходу которого он намерен сравнить меня с одной фигурой из произведения писателя Фонтане по той лишь причине, что некая госпожа Женни Трайбель умела так же, как и я, увязывать деловую сторону жизни с поэтической...

Ну и пожалуйста. Пусть меня впредь не только называют "Госпожа Тройханд", она же "Железная леди", но и причисляют к истории литературы. Ох уж эта социальная ненависть и зависть по отношению к тем, кто больше зарабатывает! Как будто я сама себе подыскивала род занятий! Нет, всякий раз меня призывал мой долг! Всякий раз это совершалось по призыву, все равно, в Ганновер ли, на пост министра экономики, или позже, в Большой дом на Вильгельмштрассе, после того как моего предшественника в этом доме просто-напросто подстрелили – интересно, кто бы это мог быть? – в результате чего управление"Тройханд" какое-то время страдало от недостатка кадров. Вот и "ЭКСПО-2000"... Мне это просто навязали, и навязали потому, что я не боюсь риска, потому, что я послушна одному лишь рынку и могу мириться с потерями, поскольку делаю долги, и еще потому, что я в любой ситуации бываю твердой, как кремень, чего бы это мне ни стоило.

Не спорю, появились безработные, есть они и до сих пор. Господин, который меня описывает, хочет обвинить меня в сотнях тысяч... Эка важность – говорю я себе. Безработные все еще могут понежиться в социальном гамаке, тогда как я, не ведая ни сна, ни отдыха, бросаюсь на выполнение все новых и новых задач, ибо когда к 1994 году "Тройханд" довело до конца свое бесподобное свершение и стерло с лица земли остатки планового коммунистического хозяйства, мне пришлось без минуты промедления пускаться в новые приключения – готовить всемирную выставку. А что значит "готовить"? Это значит прыгнуть в седло скачущей галопом лошади. Вдохнуть жизнь в еще смутную и неоформленную идею. Хотя я, право же, предпочла бы, став до известной степени безработной, лениво покачаться на государственный счет в подобном гамаке, улучшенном разумеется, на террасе нашей семейной виллы с видом на Эльбу, которым я, увы, могу лишь очень редко наслаж-

1. Учрежденное после 1990 г. управление, ставящее себе целью изъять и денационализировать государственную собственность ГДР и передать ее в частные руки.

даться, да и то после захода солнца, потому что "Тройханд" все еще на мне висит и даже угрожает мне очередным расследованием, ибо этот господин, что хочет заприходовать меня под рубрикой "1994", вдруг вознамерился предъявить мне совсем уж большой счет: оказывается, это я — а не западногерманская калиевая промышленность — обрекла на банкротство Бишоффероде с несколькими тысячами горняков, я — а не, скажем, Крупп — погубила сталелитейный завод в Ораниенбурге, я — а никак не швайнфуртские Кугельфишеры[1] — привела все шарикоподшипниковые заводы из седых ГДР-овских времен на грань банкротства; именно меня обвиняют в афере, из-за которой государственные деньги, выделенные для Востока, вдруг поступили в распоряжение захудавших западных предприятий — к примеру, бременской верфи "Вулкан" — и содействовали их новому расцвету, именно я, госпожа Тройханд, именуемая также Женни Трайбель, устроила образцово-показательную аферу, благодаря которой к моим рукам прилипли миллиарды марок за счет беспомощно барахтающихся человечков.

Нет и нет, мне никто ничего не дарил. Мне все приходилось брать самой. Никакая размазня с социальным подтекстом не подталкивала меня к действию, на это годились лишь грандиозные задачи. Ну что тут поделаешь, я люблю риск, а риск любит меня. Но в один прекрасный день, когда смолкнут все эти пересуды о якобы слишком высокой безработице и о бесследно — подчеркиваю: бесследно — исчезнувших денежных суммах, когда после 2000 года никто не будет открывать рот по поводу финансирования входных билетов на выставку и по поводу подобных благоглупостей, люди поймут наконец, что благодаря беспощадной ликвидации "Тройханд" высвободило огромные пространства и что все мыслимые убытки, которые, вероятно, повлечет за собой всемирная выставка, можно без колебаний записать в актив, да-да, в актив нашего совместного будущего. Я же смогу наконец любоваться с террасы нашей фамильной виллы водами Эльбы, наслаждаться поэзией делового потока и бесплатно любоваться заходами солнца, разве что меня снова востребуют для выполнения новых, дерзких задач. Так, к примеру, мне представляется небезынтересным занять руководящий пост, чтобы возглавить обмен марки на евро, хоть в банкнотах, хоть в монетах.

Ну и что, скажу я тогда себе и с должной, при надобности даже с каменной твердостью возьмусь за дело. И никто на свете, даже и вы, господин хороший, вознамерившийся меня описать, не сможет уберечь женщину, которой неведома слабость, от той формы банкротства, которая имеет масштабы и хотя бы по одной этой причине может быть приравнена к успеху...

1999

Не то чтобы он меня заставил, но уж уговорить-то наверняка уговорил, хитрец эдакий. Впрочем, уговаривать он всегда умел, и уговаривал до тех пор, пока я наконец не сказала "да". Сказала, а теперь якобы продолжаю жить, разменяла уже вторую сотню и на здоровье не жалуюсь. Уговаривать он всегда умел, еще малышом. Умел врать как по-писаному

1. Георг Шефер Кугельфишер — родоначальник шарикоподшипниковой и прокатной промышленности в Германии.

и давать прекрасные обещания: "Вот когда я стану большой и богатый, мы с тобой поедем, куда ты захочешь, можем даже в Неаполь". Но потом пришла война, потом нас изгнали, сперва в советскую зону, потом мы перебежали на Запад, где рейнландские крестьяне отвели нам под жилье ледяную, холодную кормокухню, да еще злобно подковыривали при этом: "Не нравится — убирайтесь откуда пришли". А ведь были католической веры, как и я.

Но уже в пятьдесят втором, когда у нас с мужем давно была своя квартира, выяснилось, что у меня рак. Впрочем, и после этого, покуда мальчик изучал в Дюссельдорфе свое малодоходное искусство и один бог знает, с чего жил, я продержалась целых два года, пока наша дочь не кончила учиться на конторщицу, хотя в остальном забыла все свои прежние мечты, бедная наша Мариэль... Мне даже до пятидесяти восьми не удалось дотянуть. А теперь, потому что он непременно желает наверстать то, что я, его бедная мать, упустила в жизни, предстоит мой сто такой-то и такой-то день рождения.

Мне даже нравится то, что он втайне придумал. Он и всегда был слишком заботливым, когда, как говаривал мой бедный муж, хотел достать луну с неба. Но "Августинум" — дом для престарелых с видом на море, где я нахожусь в соответствии с его пожеланием, тут уж не поспоришь. У меня две комнаты, одна большая, другая очень маленькая, плюс ванна, кухонная ниша и балкон. Еще он привез мне цветной телевизор и еще такое устройство для этих новых пластинок серебристого цвета, такие, с оперными ариями и опереттами, которые я всегда любила слушать, раньше еще из "Царевича", ну, эта ария "Стоит солдат на волжском берегу". К тому же он проделывает со мной большие и малые путешествия, вот недавно мы съездили в Копенгаген, а на следующий год, если здоровье мне позволит, наконец-то съездим на юг, в Неаполь.

Теперь же я должна рассказать, как все было раньше и еще раньше. Так я ведь уже говорила: была война, все время война с небольшими перерывами. Мой отец — он был слесарь и работал на оружейной фабрике — погиб сразу, под Танненбергом. А потом два брата — во Франции. Один рисовал, а у другого даже стихи печатали в газете. Мой сын наверняка унаследовал все это от них двоих, потому что третий мой брат был простым кельнером, и хотя зашел далеко, но под конец и его где-то задело. Верно, заразился от кого-нибудь. Должно быть, одна из этих венерических болезней, я даже не хочу говорить какая. А моя мать, еще до того, как пришел мир, взяла и ушла вслед за своими мальчиками, умерла с горя, и я осталась вместе с маленькой сестричкой Бетти, нашей баловницей, одна-одинешенька на всем белом свете. Хорошо еще, что я была продавщицей в "Кофе от Кайзера" и заодно освоила бухгалтерию. Поэтому нам и удалось, когда мы с Вилли уже были женаты, сразу после инфляции, когда в Данциге ввели гульден, открыть магазин колониальных товаров. Поначалу все у нас шло очень хорошо. И вот в двадцать седьмом году родился мальчик, а три года спустя — маленькая Мариэль.

Помимо лавки в нашем распоряжении были еще две комнаты, так что у мальчика был свой уголок в нише под окном — для книг, и для ящика с красками, и для пластилина. Ему вполне хватало этого места. Вот он и придумывал всякую всячину, а теперь заставляет меня снова жить, балует меня — "мамуля да мамуля" — и навещает меня в доме для престарелых со своими внуками, которые непременно хотят считаться мои-

ми правнуками. Вообще, очень милые дети, только порой довольно нахальные, так что я даже облегченно вздыхаю, когда эти сорванцы, среди них есть и двойняшки — чудные мальчики, но очень уж шумные, — внизу, на аллее, на таких штуках, которые похожи на коньки, но только безо льда, и если написать по-английски их название, на бумаге получится что-то похожее на "скат", но мальчики называют их "скейты", и вот на этих скейтах они гоняют туда и сюда. Я со своего балкона могу видеть, что один всегда обгоняет другого...

Скат, скат — вот во что я любила играть при жизни. По большей части со своим мужем и своим кашубским кузеном, который служил на польской почте и поэтому, едва опять началась война, был сразу же застрелен. Очень было плохо. И не только для меня. Но такое тогда было время. И то, что Вилли вступил в партию, а я состояла в женском клубе, потому что там можно было заниматься гимнастикой, причем бесплатно, а мальчик вступил в юнгфольк и носил такую красивую форму... Потом в скате у нас стал за третьего мой свекор. Но господин столяр очень уж горячился за игрой, часто забывал снести прикуп, на что я незамедлительно объявляла "контру". Да я и сейчас, раз уж мне пришлось жить дальше, играю очень охотно, причем играю со своим сыном, когда он приводит с собой свою дочь Елену, которую назвали в честь меня. Девочка играет довольно рисково и лучше, чем ее папаша, которого я хоть и приучила к скату, когда ему было не то десять, не то одиннадцать, но до сих пор он заказывает игру как новичок. Играет свою любимую черву без прикупа, и это когда у него бланковая десятка.

А покуда мы так играем, все играем и играем, а мой сын все время перехваливается, внизу по аллеям парка при "Августинуме" носятся на своих скейтах мои правнуки, да так, что просто душа уходит в пятки. У них, впрочем, на всех местах приспособлены такие защитные подушечки — на коленках, на локтях, даже на ладонях, — и еще у них самые настоящие шлемы, чтобы не случилось беды. Все ужасно дорогое! Как вспомню я про своих братьев, которые погибли уже в первую войну или умерли на другой лад, вот они, когда были маленькие, еще во времена кайзера, раздобыли в лангфурской пивоварне отслужившую свой срок бочку, разобрали ее на клёпки, подвязали эти клёпки снизу к башмакам, намазали жидким мылом и, как взаправдашние лыжники, отправились в йешкентальский лес, где без устали съезжали с горы и влезали на гору. Это ничего не стоило, но все-таки получалось...

Потому что когда я вспоминаю, во что мне как хозяйке мелочной лавки могло обойтись приобретение настоящих лыж, с зажимом и с винтами, да еще для двоих... Потому что в тридцатые годы торговля шла ни шатко ни валко... Слишком многие брали в долг, да еще эта конкуренция... А потом девальвация гульдена... Правда, люди весело напевали "В мае вновь зазеленеет трава, и из каждого гульдена станет два...", но жить было трудновато. У нас в Данциге ходили гульдены, потому что мы были вольный город, а потом, когда началась следующая война, фюрер вместе со своим гауляйтером, его еще звали Форстер, обратно принял нас в рейх. И с тех пор вся торговля пошла на рейхсмарки, только товару становилось все меньше. А когда мы закрывали лавку, я еще долго расклеивала продовольственные талоны на старые газеты. Иногда мне помогал мальчик, пока и его не заставили надеть мундир. И лишь после того, как на нас нагрянули русские, а потом и поляки забрали все, что еще оставалось, после чего начался отъезд со всеми его бедами, я

снова получила своего мальчика. Ему тем временем исполнилось почти девятнадцать, и он казался себе вполне взрослым. Успела я пережить и денежную реформу. Каждый из нас получил по сорок марок новых денег. Нелегкое было начало для беженцев с Востока... У нас же ничего больше не было. Я только и смогла спасти, что фотоальбом да альбом с марками... А потом, когда я умерла...

Но теперь, потому что этого пожелал мой сын, я еще должна пережить евро, когда его начнут выдавать наличными. Но еще до евро он желает непременно отпраздновать мой день рожденья, сто третий, если быть точной. Ну пусть, раз ему так хочется. Он уже и сам разменял восьмой десяток и давно уже сделал себе имя. Но никак не может бросить свои истории. Некоторые мне даже нравятся. Из других я бы просто вычеркнула некоторые места. Но семейные праздники со скандалами и примирениями я всегда любила, потому что, когда мы, кашубы, справляли праздники, люди смеялись и плакали. Поначалу моя дочь, которой уже тоже под семьдесят, не желала праздновать со всеми, потому что затея ее братца снова оживить меня для ради своих новых историй показалась ей какой-то жутковатой. "Да будет тебе, – сказала я ей, – не то он и похлеще что-нибудь придумает". Вот такой он у нас... Придумывает самые немыслимые вещи и всегда переходит какие-то границы. Читаешь – и не веришь...

И все-таки моя дочь согласилась приехать в конце февраля. И я уже загодя радуюсь, что увижу всех своих правнуков, как они будут носиться по парку на своих скейтах, а я буду смотреть с балкона. И еще я рада, что на подходе двухтысячный год. Посмотрим, посмотрим, что будет... Если только опять не начнется война... Сперва там внизу, на юге, а потом везде...

Знаменитым проснулся Гюнтер Грасс еще в 1959 году, сразу же после выхода романа «Жестяной барабан», вызвавшего большой переполох в прессе и перепалку в критике. Со временем, однако, этот роман был признан одним из лучших в XX веке. Пожалуй, лучшим и из всех последующих книг самого Грасса, появление которых неизменно порождало яростные споры, лишь подогревающие его славу. Предпоследняя его книга, «Широкое поле» (1995), вызвала и вовсе настоящий скандал, многократно повысивший спрос на отнюдь не легко читаемые восемьсот страниц романа.

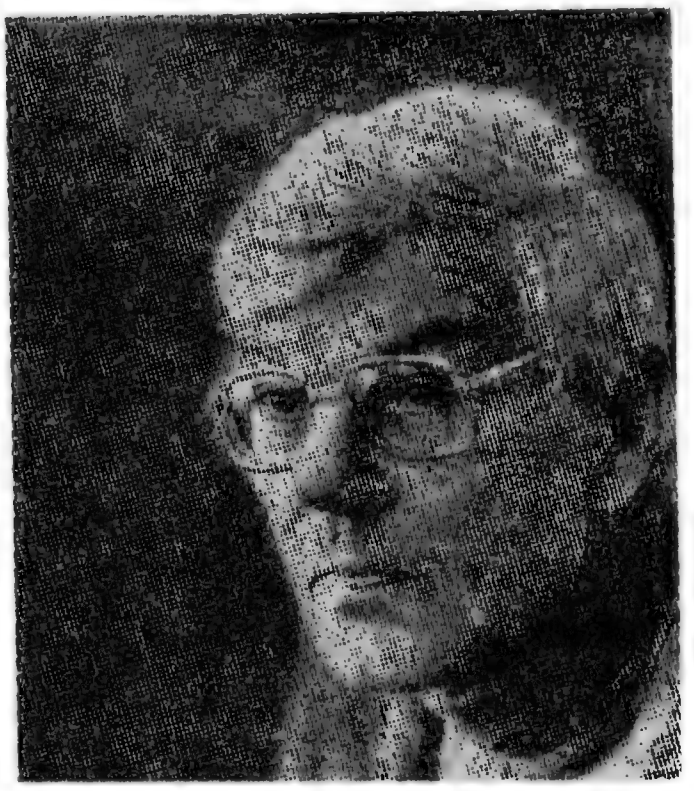
Книги, которые выходили между этими произведениями, также не оставались незамеченными. Главные из них: «Кошки-мышки», «Собачьи годы» (вместе с «Жестяным барабаном» составившие так называемую «Данцигскую трилогию»), «Под местным наркозом», «Из дневника улитки», «Палтус», «Крысиха», «Встреча в Тельгте». Есть и еще повести, пьесы, рассказы, стихи, статьи, речи, речи и речи — на самые жгучие темы дня, резкие, полемические, нонконформистские, нередко заставляющие поеживаться власти предержащие. Да что там нередко — чуть ли не постоянно. Ведь максимальным приближением к политическому идеалу для Грасса был Вилли Брандт — недаром он так активно участвовал в предвыборной кампании Брандта, повествованию о чем посвящена блистательная, остроумная, сатирическая, лирическая, очень поучительная для всякой избирательной кампании, в том числе, разумеется, и для нас, беспрестанно шагающих к урнам, автобиографическая книга «Из дневника улитки». Да еще он скульптор, график, художник, сам иллюстрирующий свои книги.

У нас Гюнтера Грасса не то чтобы совсем не знали, но по имевшимся публикациям наши читатели вряд ли могли отвести ему достойное место в своем культурном багаже. Достаточно сказать, что «Жестяной барабан» мы знали только по великолепному фильму Фолькера Шлёндорфа.

Почти три десятилетия спустя перед нами впервые полностью предстал и «Жестяной барабан» с «Собачьими годами», и целый ряд других произведений Гюнтера Грасса в изданном в 1997 году «заграничным» издательством «Фолио» (Харьков) 4-томном собрании сочинений. Этому предшествовало несколько публикаций в журнале «Иностранная литература»: «Кошки-мышки» («Кошка и мышь»), «Встреча в Тельгте», «Жестяной барабан» (Книга первая), «Собачьи годы» (в сокращении), «Стихи из трех романов» с предисловием А. Карельского, переписка Гюнтера Грасса с Кэндзабуро Оэ и др. С XX веком Грасс попрощался в вышедшей летом 1999 года книге «Мое столетие», своеобразной исторической хронике. Это сто блистательных новелл, по одной на год. Во главе угла каждой из них — важное историческое событие, или воспоминание, или встреча. Перед читателями предстают люди разных социальных слоев, различного возраста, непохожих взглядов и характеров. И из всего этого складывается XX столетие во всем своем неповторимом ужасе и блеске.

Евгения Кацева

Каетан Кович



Стихи

Перевод со словенского Н. ГОРСКОЙ

Словенский поэт и прозаик Каетан Кович начал публиковать стихи еще подростком, а первая значимая публикация относится к 1953 году, когда увидела свет книга "Стихи четырех", все участники которой впоследствии стали известными поэтами. Сборник был хорошо принят, и уже тогда К. Кович обратил на себя внимание как автор глубоких по мысли и строгих по форме стихотворений. Успешный дебют определил дальнейшую судьбу писателя. Окончив философский факультет Люблянского университета по специальности "сравнительное литературоведение", К. Кович работал какое-то время журналистом, затем стал редактором художественной литературы в Государственном издательстве Словении, а с 1985 по 1992 год возглавлял его. Сейчас К. Кович — действительный член Академии наук и искусств Словении.

За книгой "Стихи четырех" последовали сборники "Ранний-ранний день", "Корни ветра", "Огневодье", "Анемоны", "Лабрадор", "Страны", "Лето", "Времена года", "Сибирский цикл". Каждый новый сборник — это новые темы и мотивы, новые выразительные средства, и тем не менее его излюбленными стихотворными размерами остаются ямб или хорей, чаще всего трех- или четырехстопный.

К. Кович известен также как прозаик, автор романов "Ни Бог, ни зверь", "Состязание", "Дорога к Тренте", сборника рассказов "Поиски Катарины", кроме того, он автор нескольких бестселлеров, сюжеты которых придумал для своих детей и которые с удовольствием читают дети в Англии, Германии, Греции, Италии и других странах. Переведены на иностранные языки и проза, и лирика К. Ковича. На родине поэта в 1978 году его творчество было отмечено престижной премией Прешерна.

К. Кович много переводил и переводит. В 1998 году в Словении вышла антология мировой поэзии "Песнь Орфея", где словенские поэты представляли по десять любимых стихотворений. К. Кович выбрал стихи Гейне, Бодлера, Пушкина

© Kajetan Kovič, 1992
© Н. Горская. Перевод, 2000
© Ж. Гилёва. Вступление, 2000

и особенно близких ему Рильке и Пастернака. "Отдельные строки, как ключ, открывают мне ощущения, таившиеся в памяти" — так пояснил К. Кович свой выбор.

"Сибирский цикл" поэт писал, ни разу не побывав в Сибири и все же полюбив ее — в его воображении она соединилась с именем Бориса Пастернака, с образами его героев, с его романом. Ничто не выдает в этих стихах иностранного автора — может быть, сказалось славянское родство душ, позволившее словенскому поэту прочувствовать суровость и красоту сибирского пейзажа, драматизм нашей истории и передать все это в стихах с ясностью и простотой.

Жанна Гилёва

Из цикла "ЗИМА"

Конец века

Небо в звездах бело-льдистых.
На тропе скрипучий снег.
Зайцы спят под грудой листьев.
К рубежу идет наш век.

В печке тлеют ветви груши.
Крики филина слышны.
В горнице хранятся ружья —
для охоты и войны.

Замок, словно призрак страшный,
снежным саваном одет.
И всю ночь в оконцах башни
не к добру мерцает свет.

Мухоморы

Зябкость. Инея узоры.
Бор пожухший, луг сожженный.
Как пылают мухоморы,
вплавленные в мох зеленый!

С желтизной уходит лето.
Листьев кончилось горенье.
Мухоморы — сгустки света
в дебрях смерти и забвенья.

Тишина. Вороны кружат,
предвещая день метельный.
Скоро реки занедужат.
Мухоморы — яд смертельный.

Деревня

Стужа колкая, сухая
гнет седой осот к земле.
Над жильем воронья стая
вьется, кружится во мгле.

Зимний траур. Сон великий.
Тонкий колокольный звон.
Свечи тают, меркнут блики
на окладах без икон.

Облако на небе стынет.
Отчужденьем пахнет ночь.
Человек бредет в пустыне,
а куда — понять невмочь.

Живаго

Прочитал стихи Живаго снова.
За окошком — сумерки, метель.
Как рождается за словом слово?
В монастырь уйти?.. Пойти в бордель?..

Мир жестокий разлюбить нет мочи.
Гефсиманский сад был наяву.
Ты пошли мне смерть благую, отче,
потому что болью я живу.

Иерусалим мне ныче снится —
там я пил горчайшее вино.
Светлый отче, все в твоей деснице,
и судить тебя мне не дано.

Свет свечи — наперекор ненастью.
Новая глава, иной конец.
Пусть последней рифмой будет счастье,
ибо день — творения венец.

Из "СИБИРСКОГО ЦИКЛА (с комментариями)"

Охотник

Идет он сквозь тайгу под небом блеклым —
какая сила вдаль его влечет?..
И ни души вокруг, жилье далеко,
и дням давным-давно потерян счет.

Мелькает соболь в негустом подлеске,
меж чахлых сосен бродит лось порой.
Ночами, глушь тревожа звуком резким,
лисица лает где-то под горой.

Года ледком похрустывают колким,
а он идет, и нет пути конца.
И ждет в пространстве опустелом, голом
одна ловушка зверя и ловца.

Чужие

Ночные поезда, снега кругом,
разъезд, домишко ветхий, закопченный.
Толпа валом валит из эшелона —
чужие люди здесь находят дом.

Дыханья пар и ветер за стеной,
карбидной лампы тусклое горенье.
Усталость, перебранка, примиренье
и — ощущенье тыла всей спиной.

Стаканчик водки, самокрутки дым...
Но радость рушится постройкой хрупкой.
Вновь эшелон, окопы, мясорубка —
войны конвейер неостановим.

Солдаты

Из прошлого возникнув, батальоны
порой являются в кошмар ночной.
По воле Бога, Партии, Короны
они всю ночь шагают в мир иной.

Идут юнцы, рабочие, крестьяне,
им до военной славы дела нет.
У них одна задача — выживанье,
в постели встретить смерть на склоне лет.

Но всех солдат в одну положат яму —
пропахший хлоркой их последний дом.
А позже траурную панораму
история прикроет кумачом.

Женщины

Приходят в церковь женщины под вечер –
война, великих испытаний час.
Роняют красноватый отблеск свечи
на тускло-золотой иконостас.

Молитву шепчут матери и жены.
А Богородица лицом темна...
– Спаси, Заступница! – кладут поклоны.
Не дай нам горюшка испить до дна!

От ран незримых постепенно тая,
они всё стерпят, хоть терпеть невмочь.
И ангел смерти, мимо пролетая,
мужей и сыновей уносит прочь.

Весна

По небу с юга птицы потянулись,
внизу, разлившись, плещется река.
На поле – выстрел первого ростка.
В душе надежды новые очнулись.

Толпа людская мнит себя крылатой,
свободой и теплом опьянена.
И поднимает знамя новизна,
ошибки старые прикрыв заплатой.

Весны рисунок, сотканный из света,
растает, как над чашкой чая пар.
За птицами вослед – без вешних чар –
уже идет безрадостное лето.

Комментарий 1

Своя природа у стихосложенья.
Слова приходят к нам из тайников,
но явь видна сквозь ткань воображенья:
пережитое – матрица стихов.

Рожденье – непростой процесс, нескорый.
Немало надо, чтоб росток пророс.
Должна ночами громко лаять свора,
чтоб только раз в стихах залаял пес.

Летит душа к небесному чертогу,
пройдя коралловый глубинный лес.
Так рукотворный храм стремится к Богу
и купола возносит до небес.

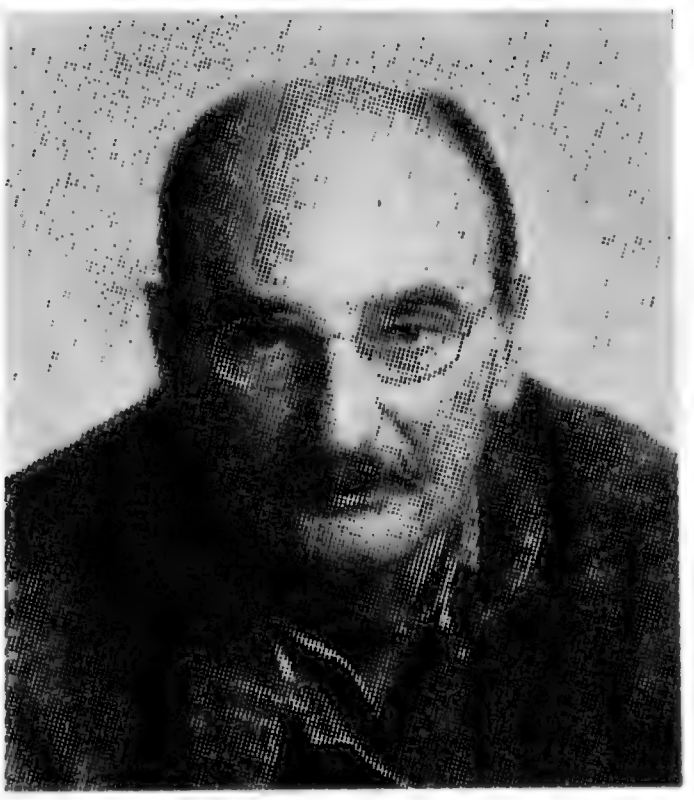
Комментарий 2

Тоскливы избранных трудов архивы,
бутылка с джинном пылью заросла.
Отжившее уже не будет живо —
не дрогнет ветвь, не зажужжит пчела.

Нам фактов суть не до конца известна,
не воскресишь того, что было встарь.
Слова всегда недостоверны, пресны,
у каждого к тому же свой словарь.

Пути иные, разные стремленья.
Разъятое нельзя соединить.
Быть может, связывает поколенья
лишь боли тоненькая нить.

Славомир Мрожек



Прекрасный вид

Представление в двух действиях

Перевод с польского Л. БУХОВА

Действие I

Отпуск

Действующие лица:

Он *и* **Она**, *оба не первой молодости.* **Она** *несколько моложе, чем* **Он**.

Костюмы:

Она *и* **Он** *прибыли на место действия, проделав долгий путь на автомобиле, в жару, так что одеты они соответственно.* **Она** *– в брюках и хлопчатобумажной рубашке,* **Он** *– приблизительно так же.*

Сцена:

Комната, которая некогда была одним из помещений монастыря, ныне – номер в гостинице. В глубине большое супружеское ложе под балдахином, с портьерами, в данный момент раздвинутыми. Воображаемая ванная расположена за второй левой кулисой, воображаемый вход – за второй правой. Все определения – "левая сторона", "правая сторона" – с точки зрения зрителя. Авансцена представляет собой лоджию, то есть крытую террасу, которая для простоты будет называться балконом. Вид с балкона – это вид на зрительный зал. Бывший монастырь, теперь гостиница, построен на склоне крутой скалы, и каждый, кто окажется на балконе лицом к зрительному залу, видит перед собой огромное небо, морской горизонт, море, пристань и плоские крыши городка.

Таким образом, место действия мы видим как бы с точки зрения колибри (из всех птиц только колибри способна неподвижно висеть в воздухе как вертолет), заглядывающей внутрь комнаты. Видны также листва и

© Diogenes Verlag, Zürich, 1999
© Л. Бухов. Перевод, 2000

цветы бугенвиллеи, которая вьется, подобно винограду, по стенам и покрывает обрамление сцены, то есть ее арочный свод, балюстраду, если таковая имеется, и колонны, поддерживающие по бокам арку свода.

На балконе стоят низкий овальный столик и два плетеных кресла, повернутых передней стороной к зрителям.

Время года – поздняя весна. Погода солнечная и жаркая. Время – ранний вечер.

Действие:

На балконе с левой стороны, то есть на максимальном расстоянии (по диагонали комнаты) от воображаемого входа, неподвижно стоящая женщина всматривается в ландшафт, то есть в зрительный зал. Стоит Она так долго, что это начинает вызывать тревогу. И только тогда за правой кулисой раздается грохот и короткий крик боли. Женщина бежит в ту сторону. Почти сталкивается с мужчиной в очень темных очках. Он несет, с заметным усилием, два чемодана.

Онл. Что случилось?

Он. Споткнулся на лестнице.

Онл. Упал?

Он. Да что ты.

Она. Но ты ничего себе не повредил?

Он. Ничего. Ну и как тебе здесь? (*Садится на ложе, снимает ботинок-мокасин и растирает себе щиколотку.*)

Она. Больно?

Он (*уклончиво*). Терпимо. Красиво здесь, правда?

Она. Тогда почему ты морщишься?

Он. Я?

Она. А кто? Кроме тебя и меня, здесь никого нет, а я точно не морщусь.

Он. Не морщишься?

Она. Разумеется нет, у меня нет ни малейшей причины морщиться, как раз наоборот – здесь просто чудесно!.. Так что морщишься, наверное, ты?

Он. Да, логично. Ну, тогда... должно быть, я. Но уже перестал. (*Скалит зубы в диснеевской улыбке, нарочно кривляясь.*)

Она. Улыбка вампира. (*Опускается перед ним на колени и трогает его стопу.*) Покажи.

Он. Что показать?

Она. Ногу. Я хочу посмотреть.

Он. Нет у меня никакой ноги.

Она. Сними носок.

Он. Не сниму.

Она. Тогда я сниму.

Он. Не прикасайся!

Она. Значит, все-таки больно.

Он. Не в том дело, просто носок довольно неаппетитный.

Она. Но я же не собираюсь его есть.

Он. Негигиеничный.

Она. Пастеризованных носков я пока что не встречала.

Он. Но этот — особенно негигиеничный. Это уже не носок, а бактериологическое оружие.

Она. Разреши.

Он. Ни за что! Неужели ты думаешь, что я не сумею защитить любимую женщину от пропотевшего носка?

Она. Придется применить силу. (*Стягивает носок с его правой ноги.*)

Он. Подчиняюсь насилию.

Она. Пошевели пальцами.

Он (*поднимает руки и шевелит всеми десятью пальцами*). Пианист готов. Где клавиатура?

Она. Пальцами ноги!

Он. Ноги? Я же сказал — у меня ее нет.

Она. Пожалуйста, веди себя серьезно.

Он. Слушаюсь. (*Наклоняется над ней и целует ее в кончик носа.*)

Она. И это ты называешь — серьезно?

Мужчина берет ее лицо в обе ладони и снова целует, на этот раз уже не так шутливо, и встречает с ее стороны готовность ответить на ласку. Спустя минуту женщина кладет ладонь ему на грудь и отталкивает его, деликатно, но решительно.

Она. Серьезно, но не до такой степени. (*Предостерегающе.*) Сиди спокойно!

Он. Спокойно? Когда в моей душе бушует страсть?

Она (*прикасается к большому пальцу его правой ноги*). А здесь больно?

Он. Здесь? Нет. Мне больно в другом месте. Меня терзает безответное чувство.

Она. А здесь?

Он. Тоже нет.

Она. Ушиб, но перелома нет. (*Отпускает его ногу.*)

Он (*подсовывает ей ногу*). Еще, пожалуйста.

Она (*поднимается с колен*). Я принесу твои шлепанцы.

Он. Шлепанцы? Какая проза. Позволь хотя бы помечтать.

Она. Наденешь шлепанцы. Ты нездоров.

Он. О да! Умираю. (*Падает навзничь на кровать.*)

Женщина открывает один из чемоданов и выкладывает на пол разные вещи, в частности купальный халат и косметичку.

Он (*садится на кровати*). Всё из-за средиземноморского колорита.

Она (*занятая поисками вещей в чемодане*). Что?

Он. Этот мой смертельный номер с чемоданами. В Средиземноморье, из-за обилия солнечного света, принято делать небольшие оконные проемы. Результат: темнота на лестницах.

Она. Ах, вот как? Кто еще виноват?

Он (*садится на край кровати*). Монастырские каноны. Оконные проемы, и без того малые в светских постройках, в монастырях еще меньше. Допускаю, что причины тут идеологические. Налицо стремление изолировать монахов от внешнего мира.

Она. Интересно как теория. И это все?

Он. Нет. Далее, кретин-архитектор, который переделывал монастырь в гостиницу, перестарался со стилизацией и в окнах установил

витражи. Ему очень хотелось, чтобы турист почувствовал себя святым Бенедиктом, а потом сломал себе ногу. Резюмирую: на лестнице ничего не видно.

Женщина находит домашние туфли, в данном случае обыкновенные сандалии – один широкий ремень, под который всовывают стопу, – и кладет их к его ногам. Потом снимает с его носа темные очки.

Она. А сейчас ты видишь лучше?

Пауза.

Он. Поразительно.

Она. Ну?

Он (*встает и осматривается*). Просто не могу поверить...

Она. Ну так как?

Он. Лучше, значительно лучше, спасибо, доктор.

Она. Почему ты не снял темные очки, когда поднимался по лестнице?

Он. Не мог.

Она. Признайся, что без меня это не пришло тебе в голову.

Он. Конечно же пришло, но я нес два чемодана, и обе руки были заняты.

Она. Как прикажешь тебя понимать?

Он. Что я не мог.

Она. Потому что нес два чемодана, не так ли?

Он. Вот именно.

Она. Ага. А если бы ты путешествовал в одиночку, то нес бы сейчас только один чемодан, рука была бы свободна, ты бы снял темные очки, не споткнулся на лестнице, не расшиб большого пальца правой ноги, не страдал бы, так что, выходит, во всем виновата я!

Он. Об этом я как-то не подумал.

Она. Не подумал, но сказал.

Он. Я сказал?

Она. А разве нет?

Он. Что же я такое сказал?!

Она. Что все это из-за меня!

Он. Не припоминаю ничего подобного...

Она. А кто сказал, что нес два чемодана? Я этого не говорила, я вообще не ношу чемоданов!

Пауза.

Он. Я весьма сожалею.

Она. И правильно делаешь.

Он. Хочешь, я отнесу их обратно?

Она. Нет нужды.

Пауза.

Но почему, собственно, нес чемоданы ты...

Он. Потому что внизу не было никого, кто бы это сделал.

Она. Как так – никого, там всегда кто-нибудь есть.

Он. Но на этот раз – никого.

Она. Я же сама видела...

Он. Только тот старик инвалид. А молодых и здоровых — ни единого.

Она. И потому ты потащил их сам?

Он. Разумеется. Надеюсь, ты не думаешь, что это мой любимый вид спорта.

Она. Извини.

Он. Ничего страшного. Мне пришлось задержаться, потому что старик забрал у меня паспорта, а потом куда-то звонил.

Она. Я же не знала.

Он. А когда вернулся, то потом снова ушел и еще раз звонил.

Она. Какая досада... Знай я все это, подождала бы внизу.

Он. Откуда ты могла знать, ты же спешила подняться.

Она. Но если бы знала, помогла бы тебе нести чемоданы.

Он. Тогда почему не подождала?

Она. Потому что не знала. (*Подходит и гладит его по голове.*) Бедненький...

Он. И вовсе не бедненький, ведь мне это нравится. А когда он вернулся, то снова ушел и снова звонил.

Она. Не надо больше об этом. Где здесь ванная?

Он. В часовне.

Она. Я серьезно. Ты не хочешь помыться?

Он. Здесь все перестроено из монастыря, так что ванная должна быть в часовне. Архитектор потрудился на славу.

Она. Не ворчи. Здесь правда очень красиво. Пойдем.

Он. Куда?

Она. Пойдем, я тебе кое-что покажу. (*Берет его за руку и выводит на балкон.*) Разве это не прекрасно?

Он. Прекрасно.

Она. Не ожидала ничего подобного.

Он. А я что говорил?

Она. Небо, море, крыши городка, кипарисы... А я будто взмываю в небесный простор.

Он. Полностью разделяю твои впечатления.

Она. Словно ангел.

Он. Это уж слишком.

Она. Просто неслыханно.

Он. Значит, мы довольны?

Она. Я счастлива.

Повернувшись друг к другу, они обнимаются. Пауза.

Она (*высвобождаясь из его объятий*). Подожди... (*Улыбнувшись ему, покидает балкон. Поднимает с пола купальный халат и косметичку и выходит в ванную.*)

Мужчина ждет на балконе. Закуривает сигарету. В какой-то момент, поднося сигарету к губам, видит что-то, чего не замечал раньше. Концентрирует внимание на том, что увидел, забыв о сигарете. Вдруг бросает сигарету на пол, притаптывает ее ногой, выходит с балкона, подбегает к чемодану, который еще не распакован, открывает его и достает бинокль. Возвращается на балкон, подносит бинокль к глазам, наводит на резкость, смотрит в бинокль.

Она (*в ванной*). Нет горячей воды!

Мужчина продолжает смотреть в бинокль.

*(*Она *выходит из ванной; голова обернута полотенцем).*

Нет горячей воды.

Мужчина кладет бинокль на столик, уходит с балкона, садится на кровать и надевает сандалии.

Он. А холодная?

Она. Никакой нет.

Он. Дирекция стремится создать соответствующее настроение. Ведь монахи никогда не мылись.

Она. Мне не до шуток. Как я теперь помою голову?

Он. Возможно, это временное ограничение в связи с засухой.

Она. Значит, я должна ждать, пока пойдет дождь?

Он. Или пока опять включат воду. Вряд ли это затянется надолго.

Она. У меня в волосах полно пыли.

Он (*встает*). Ясно. Надо было закрыть окно в машине, когда я тебя об этом просил.

Она. Надо было починить кондиционер, когда я тебя об этом просила.

Он. Это требовало от меня сверхъестественных способностей. Я не умею одновременно вести машину и чинить кондиционер.

Она. Можно было поехать другой дорогой.

Он. Другой дороги нет.

Она. Конечно нет — если нет желания поискать.

Он. Дорога была тяжелая, согласен. Но не мог же я предвидеть танки.

Она. Да ведь они не стреляли! Ты мог их обогнать!

Он. Военные не любят, когда их обгоняют. Особенно на поворотах.

Она. А я не люблю, когда у меня полно пыли в волосах!.. Что же мне теперь делать?

Он. Подумаем. Сначала... (*Берет ее за руку.*) Сядем. (*Подводит ее к кровати.*) Вот так. (*Садятся рядом.*) А затем... Проанализируем.

Пауза.

Она. Всё?

Он. Дай сосредоточиться. (*Обнимает ее одной рукой.*) Это мыслительный процесс...

Пауза.

Она. Уже проанализировал?

Он. Да! (*Падает навзничь, увлекая ее за собой.*)

Она. И ты это называешь — мыслительный процесс!

Он. Да, это был мыслительный процесс!

Она. Но мы собирались просто посидеть!

Он. Изменение программы, сокращенный вариант! *(Оборачивается к ней, обнимает ее обеими руками, она обнимает его.)* Такое впечатление, что на этот раз дело может зайти дальше.

Она (*замирая*). Вспомнила!

Он. Что?

Она. Dry Shampoo!

Он. Что, что?

Она. Шампунь в порошке, употребляется без воды.

Он. Чтоб его черти взяли.

Она. У меня ведь было еще немного... (*Срывается с кровати и подбегает к открытому чемодану. Присев на корточки, перерывает его содержимое.*)

Он (*поднимается и садится на краю кровати*). Бывают в жизни человека такие минуты...

Она. Если только я не оставила его в Триесте...

Он. Где бы ни остался, пусть там и остается.

Она. Ах, ну почему ты такой противный.

Он. А мне все равно. (*Упершись локтями в колени, прячет лицо в ладонях.*)

Она. Вот он! (*Вынимает из чемодана шампунь и направляется в сторону ванной. Проходя мимо мужчины, останавливается.*) О чем ты задумался?

Он. О самоубийстве.

Она (*понимая, что это шутка, но все-таки встревоженно*). Это уже чересчур.

Он. Ладно. (*Отнимает ладони от лица.*) Я просто придумываю метод.

Она. Какой еще метод...

Он. Метод, который позволит мне пригласить мою спутницу на ужин...

Она. Прекрасно!

Он. ...не возбуждая подозрений относительно моих сексуальных намерений.

Она. О, это будет нелегко.

Он. Именно поэтому я раздумываю над методом. Может, тебе какой-нибудь известен?

Она. Нет такого метода.

Он. Вот и я не знаю. И потому — рискну. Я тебя приглашаю.

Она. Приглашение принято! (*Садится рядом с ним на край кровати.*) Куда пойдем?

Он. Выбор невелик. А если честно, выбора вообще нет. Есть только один ресторан. При гостинице, что упрощает проблему, поскольку гостиница здесь одна.

Она. Опять эта гостиница. А романтичная прогулка при свете луны...

Он. Знаю. По берегу, к тихой рыбацкой пристани. И тоже тихий рыбацкий кабачок, от легкого бриза слегка колышутся скатерти в местную, бело-красную клетку, местное вино в почти местных стаканах...

Она. Вот, вот.

Он (*встает*). Ничего этого нет. Есть только бар с лампами дневного света и телевизором, по которому показывают футбольный матч, а на площади трое подростков в бейсболках гоняют по кругу на мотоцикле без глушителя.

Она. Не надо нервничать.

Он. Все трое на одном, ведь страна-то бедная. А рыбаки отсутствуют, поскольку все они работают на фабрике полистирола, ее сточные воды отравляют море и рыбу и потому они не могут вернуться к рыбной ловле. А раз так, все они работают на фабрике, сточные воды которой... И так без конца.

Она. Ты утрируешь.

Он. Слегка. Но если бы и не утрировал, мы все равно не можем пойти в бар, так как со вчерашнего дня он закрыт.

Она. Откуда ты знаешь?

Он. От старика портье. Предвидя твои пожелания, я собрал подробную информацию. Бар на пристани закрыт.

Она. Но почему?

Он. Не спрашивал. Мне хватило того, что он закрыт.

Она. И ты почувствовал облегчение.

Он. Признаюсь, что да, но клянусь, что говорю правду. Ради тебя я был бы готов на все, но не стану скрывать, что почувствовал облегчение.

Она. Жаль.

Он. Жаль, что мне стало легче?

Она. Нет, что закрыто.

Он. Какая разница!

Она. Ты знаешь, как мне нравятся экзотические ресторанчики.

Он. А я не люблю пьяных матросов. Но тут я не виноват, не я закрыл бар.

Она. А ты не мог бы его открыть?

Он. У меня есть другое предложение, не менее романтичное. Вот послушай. (*Садится на кровать рядом с ней.*) Легкий бриз колышет огоньки свечей в канделябрах. На белоснежной скатерти коралловый лангуст... то есть не прямо на скатерти, а на блюде, но косвенно на белоснежной скатерти. Отражение свечей в серебряном ведерке, где хрустит лед и стынет шампанское, придает жемчужный оттенок лебединой шее и округлым плечам... Кстати, ты захватила платье без бретелек?

Она. Захватила, но неплохо бы погладить.

Он. Итак... придает жемчужный оттенок округлым плечам красивой женщины...

Она. Почему округлым, разве я поправилась?

Он. Не упрощай. ...придает жемчужный оттенок округлым плечам красивой женщины и не столь красивого, правда, но тем не менее весьма привлекательного мужчины...

Она. Как, и у тебя округлые плечи?

Он. Не прерывай, ты разрушаешь образ. ...подчеркивает благородные морщины его изборожденного страданиями лица на мускулистом торсе.

Она. А шеи нету?

Он. Есть шея. К тому же весь его облик исполнен таинственной силы, а взгляд, прикованный к Прекрасной Даме, выражает восхищение, верность и преданность. Что скажешь?

Она. Это означает, что мы не пойдем на прогулку?

Он. Пойдем, но только по вертикали. Ресторан внизу, в трапезной.

Она. И ты называешь это прогулкой?

Он. Даже неплохой — шесть этажей по винтовой лестнице.

Она. По *этой* лестнице!

Он. Я отнесу тебя вниз и внесу в ресторан на руках.

Она. Большое спасибо!

Стук в дверь.

Она. Меня нет! (*Вскакивает на кровать и задергивает портьеру.*)

Мужчина выходит за кулису, чтобы открыть воображаемую входную дверь.

Пауза. Женщина высовывает голову из-за портьеры, прислушиваясь.

Пауза. Мужчина входит, неся корзину, прикрытую полотняной салфеткой в бело-красную клетку (шахматную).

Кто это был?

Он. Старик портье.

Она. Чего хотел?

Он. Принес сообщение и корзину.

Она. Какое сообщение?

Он. Сообщение, что по причинам, как он выразился, независящим, ресторан внизу будет закрыт.

Она (*спрыгивает с кровати, оставляя портьеру задернутой*). А что за корзина?

Он. С продуктами. Чтобы клиенты не остались голодными, дирекция приносит извинения и шлет аварийный запас питания.

Она. Очень мило с ее стороны.

Он. Правда? Не хватает только канделябров, оркестра и легкого бриза с моря. Зато есть свечи.

Она. Свечи? А зачем?

Он. На случай, если выключат электричество.

Она. Почему должны выключить свет?

Он. Этого он не сказал. Зато предупредил, чтобы свечи экономили, так как неизвестно, когда он сумеет доставить новые.

Женщина берет корзину, идет на балкон и ставит корзину на столик. Достает из нее бутылку.

Шампанское?

Она. Сам посмотри. (*Подает ему бутылку.*)

Он (*разглядывая бутылку*). Здешнее, местное, колоритное вино. Точно такое, как ты желала. (*Отдает ей бутылку, она ставит ее на столик и продолжает опорожнять корзину.*)

Она. Салями...

Он. Тоже местная.

Она. И хлеб.

Он. Вернее, лепешки. Традиционные балканские. Еще что?

Она (*заглядывая в корзину*). Только два бокала, штопор и нож.

Он. И больше ничего?

Она. Это все.

Он. Так я и думал.

Она. Я хочу есть.

Он. Потерпи, это предназначено на ужин!

Она. Но мы не обедали.

Он. Монахи ели только раз в день.

Она. Знаешь что? Давай устроим пир так, как *ты* хотел.

Он. Без канделябров?

Она. Без бриза, без оркестра, но зато в вечерних туалетах.

Он. Вечерних? В пять пополудни?

Она. Да. Я надену то платье без бретелек.

Он. По правде или только обещаешь?

Она. По правде. Вот только утюга нет.

Он. Ерунда! То, что для меня важнее всего, не нуждается в утюжке. Прекрасная идея!

Она. Пойду переоденусь.

Он. А я тем временем накрою на стол!

Женщина уходит в ванную, захватив по дороге чемодан, тот, что уже наполовину распакован. Мужчина, дождавшись, пока она уйдет, отодвигает портьеру и открывает кровать под балдахином. Снимает с кровати покрывало, проверяет простыни, поправляет подушки. Снова задвигает портьеру. Затем переносит с балкона столик и оба кресла. Расстилает на столике салфетку, ставит на нее бутылку и два бокала, кладет салями и лепешку. Берет со стола бинокль.

Входит женщина: она в черном облегающем платье без бретелек. Впрочем, это зависит от физических данных актрисы. Так же хороша может быть блузка с глубоким вырезом и юбка-клеш, затянутая в талии.

Он (*не сводя с нее глаз, очарованный, машинально кладет бинокль на столик*). Наконец-то!

Она. Тебе нравится? (*Демонстрирует ему себя, как манекенщица на показе мод.*)

Он. Нравится? Не то слово. Я... я просто... Слов не нахожу.

Она. Аж так?

Он. Женщина в брюках — это тоска пустыни, а женщина в платье — океан.

Она. О!

Он. Закончился штиль, и первый легкий порыв ветра шевелит паруса. Замершее судно оживает, паруса радостно наполняются ветром, и корабль вновь, рассекая волны, устремляется к новым горизонтам.

Она. А когда видишь женщину в брюках, ощущаешь себя верблюдом.

Он. Нет. Кораблем без мачты.

Она. Тебе это не грозит.

Он. Ахой! (*Издав матросский возглас, он отдает честь. Затем отвешивает ей глубокий поклон и церемониальным жестом приглашает к столу.*)

Она. А почему здесь, в уголке...

Он. На балконе может быть прохладно.

Она Прохладно? В такую жару?

Он. Вот именно. Жара — штука предательская.

Она. У тебя какая-то странная мания. Сначала не разрешаешь открывать окна в машине, а потом запираешь меня в монастыре. Почему мы не можем посидеть на свежем воздухе?

Он. Здесь тоже свежий воздух.

Она. А вид? Где вид?

Он. Там... На балконе.

Она. Так в чем же дело?

Он. На балконе мы будем не одни, нас может кто-нибудь увидеть.

Она. Кто? Чайки? Жаворонки? Луна?

Он. Может прилететь вертолет.

Она. Ты невропат.

Мужчина переносит столик обратно на балкон. Возвращается за креслами и ставит их между столиком и зрительным залом, повернув спинками к залу.

Она. Спиной к пейзажу?

Он. Все равно скоро стемнеет.

Она. Что с тобой?

Он. О чем ты?

Она. Ты считаешь, что ведешь себя нормально?

Мужчина ставит кресла по противоположным сторонам столика, на этот раз повернув их передом к зрительному залу, но только на три четверти. Потом берет со стола бинокль.

Не убирай, оставь.

Он. Что?

Она. Да бинокль этот!

Он. Ах, этот... Он мешает.

Она. Но я тоже хочу посмотреть!

Он. После ужина.

Она. Когда стемнеет, да?

Он. Он неисправен. (*Выходит с балкона и запирает бинокль в чемодане.*)

Она. Ты правда иногда очень странный.

Он. Принимаю это за комплимент. (*Открывает бутылку.*)

Женщина разламывает лепешку и нарезает салями.

Она. Принесу салфетки. (*Уходит в ванную.*)

Пользуясь ее отсутствием, мужчина переставляет кресла так, что теперь они повернуты сиденьями к столику, то есть в полный профиль относительно зрительного зала. Затем наполняет оба бокала, садится и ждет.

Женщина возвращается из ванной с коробкой косметических бумажных салфеток. Мужчина берет оба бокала и встает.

Он (*с напускной торжественностью*). За здоровье матушки настоятельницы! (*Протягивает к ней руку с бокалом.*)

Она. Ах, прекрати.

Он (*ставит оба бокала обратно на столик*). Я только хотел поднять настроение.

Она (*разворачивает салфетки*). Ну и как, удалось?

Он. Не слишком. Из-за недостатка взаимопонимания.

Она. Думаешь, это остроумно? Ты становишься скучным.

Он. Да, признаю, острота не удалась. Теряю форму.

Она. Что-нибудь случилось?

Он. Насколько мне известно, пока ничего.

Она. Плохо себя чувствуешь?

Он. Нет, но немного устал. Десять часов за рулем.

Она. Только из-за этого?

Он. Разумеется.

Женщина внимательно смотрит на него.

Не веришь?

Она. Чему не верю?

Он. Не знаю. Так спрашиваю, на всякий случай.

Женщина встает, подходит к нему, берет за подбородок и притягивает его голову к себе.

Она. Посмотри мне в глаза.

Мужчина выполняет ее желание.

Совсем красные.

Он. Это от пыли.

Женщина берет коробку с косметическими салфетками, вынимает одну, подходит к мужчине, вытирает ему лоб и осторожно, как тампоном, осушает кожу вокруг глаз.

Она. Зато теперь можно отдохнуть.

Он. О да!

Она (*отходит от него и отбрасывает салфетку*). Мы уже никуда не спешим. Здесь идеальное место для отдыха.

Он. Пожалуй, только немного высоковато.

Она (*лицом к залу*). Но зато какой вид, какая тишина... (*Вдруг обеспокоенно.*) А почему так тихо?

Он. Тихо?

Она. Да, не слышно никаких голосов.

Он. Это естественно. Маленький городок, жара...

Она. Ни единой живой души.

Он. На юге все спят после обеда.

Она. Так долго?

Он. Наверное, заспались.

Она. А дети?

Он. Дети тоже люди.

Она. Всегда столько детей, играют во дворах, на улицах, а сейчас — ни одного.

Он. Возможно, уехали в летние лагеря. Да не обращай внимания, давай наслаждаться тишиной. Ведь мы тоже на отдыхе.

Она. Ты прав. (*Садится.*)

Пауза.

Он. Хорошо бы соли.

Она. Соль повышает холестерин.

Он. Все равно пригодилась бы.

Она. Для чего, для салями?

Он. Нет, но был бы хоть какой-то признак цивилизации.

Она. Вечно ты недоволен. А если уж зашла речь о цивилизации, то цивилизация началась с хлеба и вина. Так что возвращаемся к истокам.

Он. Но я бы предпочел что-нибудь менее допотопное.

Она. Что может быть лучше простого деревенского хлеба.

Он. Лангусты.

Она. Наслаждайся минутой. В том, что мы едим и пьем, есть нечто библейское, античное...

Он. О да! Греция, Рим... Албания...

Она. Неужели ты совсем не настроен на античность?

Он. Нет, зато сожалею, что не говорю по-албански.

Она. Это еще почему?

Он. Мог бы подскочить в Албанию и попросить соли. Тут рядом.

Она. Постмодернистская ирония. Неужели не надоело?

Он. Чрезвычайно.

Пауза.

Она. Солнце... Я сыта по горло тучами, дождем, холодом... Как ты думаешь, у нас опять дождливо?

Он. Скорей всего. Когда мы выезжали, шел дождь.

Она. Как мне осточертел наш северный мрак. Хочу остаться здесь навсегда.

Он. В этой гостинице без лифта?

Она. Мы бы могли купить дом.

Он. Я не тороплюсь на пенсию.

Она. Но подумать об этом можно уже сейчас.

Он. Время терпит.

Она. Время проходит быстро. Почему бы нам уже сейчас что-нибудь не приискать. Коли уж мы здесь...

Он. Проходит, почему бы, коли уж мы...

Она. Значит, решено! Переселяемся!

Он. Немного повременим. Пока викинг возвращается на родину.

Она. А может, викинг вернется, а его жена останется.

Он. Викинг охотно выпил бы еще.

Она. А жена викинга закурила бы.

Мужчина подает ей сигарету, щелкает зажигалкой. Наполняет оба бокала, свой выпивает и тоже закуривает. Оба удобно устраиваются в креслах.

Пауза.

Она. Какая тишина...

Пауза.

И это небо...

Он. И твое океаническое платье.

Она. У тебя навязчивая идея.

Он. Что делать, я раб чувств. Но к свободе не стремлюсь. Хочу служить на галерах, прикованный к веслу.

Она. У тебя сегодня ярко выраженные маринистские ассоциации.

Он. Не только.

Она (*кладет ногу на ногу*). Я даже не хочу знать какие.

Он. Словами этого не выразить.

Она. Жаль. (*Гасит сигарету.*)

Он. Без иллюстрации не получится.

Она (*вытягивается в кресле, сплетя руки на затылке*). Иллюстрации... это может быть интересно.

Он (*гасит сигарету*). А вернее... без демонстрации. (*Становится позади ее кресла, кладет руки ей на плечи.*)

Пауза, заполненная соответствующими действиями, по усмотрению и желанию актеров.

Она (*замирает, прерывая действие*). Там кто-то есть...

Он. Где?

Она. На крыше.

Он. Тебе показалось.

Она. Да нет же, я его ясно вижу.

Он. Где?!

Она. Между антенной и белой простыней на веревке, стоит, опустившись на одно колено, перед балюстрадой.

Пауза.

Он. Я ничего не вижу.

Она. Где бинокль...

Мужчина приносит бинокль. Женщина берет его и подносит к глазам. Смотрит.

Не двигается. (*Отдает ему бинокль.*)

Мужчина смотрит в бинокль.

Пауза.

Видишь его?

Пауза.

Он. В самом деле.

Она. Что он делает?

Он. Ничего.

Она. Смотрит?

Он. Не в нашу сторону.

Пауза.

(*Опуская бинокль.*) Нам нечего волноваться.

Она. Но кто это?

Он. Снайпер.

Она. Кто?

Он. Специально обученный стрелок для выполнения особых заданий. Вооружен винтовкой с оптическим прицелом. Охотится из засады.

Она. И ты говоришь — нечего волноваться?

Он. Конечно же нет. Он не на нас охотится.

Она. А на кого?

Он. На кого-то, кто пройдет по улице с другой стороны дома, потому он и притаился. (*Смотрит в бинокль.*) Это же ясно, он стоит к нам спиной. (*Опускает бинокль.*) Мы его не интересуем.

Она. А кто?

Он. Не знаю, но он наверняка знает.

Она. Что будем делать?

Он. Ничего, не будем вмешиваться. (*Кладет бинокль на столик.*)

Она. Но ведь он кого-нибудь убьет!

Он. Несомненно.

Она. И ты говоришь это так спокойно?

Он. А как мне говорить? На то он и снайпер.

Она. Нужно его предостеречь.

Он. Кого? Снайпера? Он прекрасно знает, чем рискует.

Она. Не его, а того, кто будет проходить.

Он. А откуда нам знать, кто будет проходить. Пройти может кто угодно.

Она. Как это — кто угодно?

Он. Мусульманин, католик, православный, молодой, старый, грек, турок, славянин или полукровка. Это гражданская война.

Она. Какая война...

Он. Я тоже не знаю точно какая. Никто не знает. Когда мы выезжали, нас никто не предостерегал. Война начинается неизвестно когда и как. Они сами не знают.

Она. Война... А как же наш отпуск?

Мужчина не отвечает.

Уезжаем отсюда!

Он. Пока еще ничего не происходит. Мы можем переночевать и выехать на рассвете.

Она. Ты хочешь тут ночевать?!

Он. Да.

Она. А этот — на крыше?

Он. Кровать стоит вне зоны обстрела. Скорее уж здесь, на балконе, небезопасно.

Пауза.

Можем сразу же лечь в кровать.

Пауза.

Что скажешь?

Пауза.

Она (*приближается к нему, останавливается*). Я подумаю. (*Улыбается и протягивает к нему руку.*)

Мужчина приближается к ней.

Выстрел, многократно повторенный горным эхом.

Мужчина останавливается.

Он. Слишком поздно.

Действие II

Гости Авраама

Действующие лица:

Ник *и* **Мэри-Лу**, *оба не первой молодости.*

Сцена:

Комната, которая некогда была одной из комнат дворца, ныне – музея. Задняя стена, параллельная авансцене, правая и левая кулисы. Воображаемый вход в комнату находится за левой кулисой, то есть с правой стороны, если смотреть из зрительного зала. Поэтому все определения – "левая сторона", "правая сторона" – с точки зрения зрителя.

Авансцена представляет собой лоджию, то есть крытую террасу, которая для простоты будет называться балконом. Вид с балкона – это вид на зрительный зал. Бывший дворец построен на склоне крутой скалы, и каждый, кто окажется на балконе, видит перед собой огромное небо, морской горизонт, море, пристань и плоские крыши городка. Таким образом, место действия мы видим как бы с точки зрения колибри (из всех птиц только колибри способна неподвижно висеть в воздухе как вертолет), заглядывающей внутрь комнаты. Видны также листва и цветы бугенвиллеи, которая вьется, подобно винограду, по стенам и покрывает обрамление сцены, то есть ее арочный свод, балюстраду, если таковая имеется, и колонны, поддерживающие по бокам арку свода.

В глубине комнаты, у задней, параллельной авансцене стены, стоит боком к стене узкая кровать с коваными узорчатыми решетками в изголовье и изножье. Мотивы узоров – средиземноморские (листья аканта, розетки, меандры, монеты, спирали). Кровать покрыта дешевым одеялом, на нем несвежая подушка. На одеяле, в майке и трусах, спит мужчина средних лет с проседью в длинных, нечесаных волосах, заросший многодневной щетиной. У изголовья, рядом с початой бутылкой красного вина, лежит на полу синяя фуражка с галуном по околышу и лакированным козырьком. Такие фуражки носят сторожа, охранники автостоянок, посыльные, иные служащие, неизвестно чем занимающиеся, и вообще лица, в той или иной степени официальные либо желающие таковыми казаться.

Под кроватью – пара кроссовок. На авансцене с левой стороны стоит стул, обращенный к зрителям, то есть к пейзажу. На стуле лежит клетчатая рубашка чрезмерно яркой расцветки и линялые джинсы. Второй стул стоит посередине между авансценой и задней стеной.

Время года – поздняя весна, время – середина дня, погода – солнечная. Средиземноморская жара.

Действие:

Снизу, то есть с первого этажа – комната находится на самом верхнем этаже, – слышен звонок, напоминающий звон колокольчика прислужника в церкви или председателя собрания. Мужчина просыпается, вскакивает с кровати, торопливо надевает фуражку и подбегает к стулу. Начинает надевать брюки, но, натянув одну штанину, смотрит на часы, а потом, уже не спеша, снимает брюки, бросает их обратно на стул, подходит к кровати, снимает фуражку, кладет ее на пол рядом с бутылкой вина, ложится и засыпает.

Снова звучит звонок, теперь более нетерпеливый. Мужчина поворачивается на левый бок, лицом к стене, намереваясь спать дальше.

Звонят в третий раз, уже с бешенством. Мужчина накрывает голову подушкой.

Долгая пауза.

С правой стороны входит женщина. Она очень красива, правда уже отцветающей красотой. Хорошо одета: рю Сент-Оноре, Пятая авеню, Гуччи и Феррагамба. Соломенная шляпа, блузка с длинными рукавами и кружевными манжетами, на шее – миниатюрный фотоаппарат новейшей модели. В руке у нее небольшой колокольчик с деревянной ручкой.

Ошеломленная видом спящего, она на мгновение останавливается, потом решительно подходит к кровати и очень энергично звонит прямо над его головой. Мужчина срывается с кровати, садится, видит даму и, оценив ситуацию, хватает край свисающего до пола одеяла и набрасывает его на нижнюю часть своего тела, прикрывая ее.

Она. Где "Гости Авраама"?

Он не отвечает, все еще стараясь осознать происходящее.

Я, кажется, ясно спрашиваю!

Он указывает на авансцену, где на стуле лежат его рубашка и брюки.

Повторить еще раз?

Он опять указывает в направлении стула – тем же жестом протянутой руки и вытянутого указательного пальца, но еще более выразительно.

(*Столь же выразительно.*) Где "Гости Авраама"?

Он. Там...

Она идет в указанном направлении и останавливается перед стулом.

Она. Я вижу только чьи-то брюки.

Он. Мои.

Она. Это меня не интересует. (*Отходит от стула.*)

Он. Но без брюк я не могу ответить на ваш вопрос.

Она. Почему?

Он. Потому что без брюк я не могу выполнять служебные обязанности.

Она. Вы и так их не выполняете, хоть и обязаны.

Он. В брюках смогу.

Она. Я звоню уже четверть часа!

Он. Да уж не меньше. А зачем вы звоните?

Она. Как это – зачем? Я звоню потому, что внизу висит объявление: "В отсутствие смотрителя просьба звонить".

Он. Знаю. Сам его написал.

Она. На трех языках.

Он. Разумеется. Сюда приходят только иностранцы.

Она. Так это вы – смотритель?

Он. Я.

Она. Почему же вы не пришли, когда я звонила?

Он. Не вижу связи.

Она. Внизу объявление: "В отсутствие смотрителя..."

Он. "...просьба звонить". Но это вовсе не означает, что смотритель придет.

Она. Зачем же тогда звонить?

Он. Потому что он мог бы прийти.

Она. Вы шутите?

Он. Отчасти, но не в том смысле, как вы думаете. Вы туристка. А пожили бы здесь чуть подольше, перестали бы удивляться.

Она. А вы местный?

Он. Нет.

Пауза.

Она. Мне сразу так показалось. Вы говорите без акцента.

Он. Разумеется. (*Протягивает ей руку, как бы представляясь.*) Билл Клинтон, Соединенные Штаты.

Она (*не принимая протянутой руки, немного обескураженно*). Хай!

Он (*вместо рукопожатия дружески покачивает ладонью и изображает широкую, "пластиковую" улыбку*). Хай!

Она (*отходит, садится на стул с правой стороны сцены и ставит колокольчик на пол*). В таком случае... что ты здесь делаешь?

Он. Я же сказал. Работаю смотрителем.

Она. Здесь?

Он. Здесь очень красиво, прошу взглянуть, какой вид! (*Указывает на зрительный зал, то есть на пейзаж.*)

Она. И давно ты здесь?

Он. Десять лет, может, больше, а может, меньше. Смотря с кем разговариваю.

Она. А если со мной?

Он. Останемся при десяти.

Она. Десять лет здесь?!

Он. Боже упаси! Не здесь, в Европе. Раньше я был в Хельсинки, Амстердаме, Роттердаме, Гааге и Копенгагене. Ну и еще там и сям.

Она. Как смотритель?

Он. По-разному. Покурить не найдется?

Она. Весьма сожалею, я не курю.

Он. Я не про сигареты.

Она. Тоже нету.

Он. Жаль. У меня как раз кончились запасы.

Она. Сочувствую.

Он. Ничего страшного. Добро пожаловать в Народни Збрско!

Она. Что это означает?

Он. Вроде бы что-то балканское. (*Наклоняется за бутылкой.*) А как насчет выпить?

Она. Спасибо, я не пью.

Он. И правильно делаешь. А мне позволишь? (*Не дожидаясь ответа, отпивает глоток из бутылки.*) Для начала, Мэри-Лу, тебе следует знать, что...

Она. Я не Мэри-Лу.

Он. Ничего, я тоже не Билл Клинтон.

Она. А как тебя зовут?

Он. Уже забыл. Я поменял столько имен, что все они перепутались. Но по мне, ты смахиваешь на Мэри-Лу. Можно я буду тебя так называть?

Она (*усмехаясь*). Только при условии, что тебя я буду называть Ник.

Он. Как угодно. Так вот, Мэри-Лу, тебе следует знать, что после полудня здесь не работают.

Мэри-Лу. А когда же?

Ник. Поначалу я тоже задавал себе этот вопрос, но со временем перестал. Во всяком случае — уж точно не после полудня. После полудня здесь спят.

Мэри-Лу. Никогда бы не подумала.

Ник. И это очень хорошая традиция, советую ее соблюдать. Сколько ты здесь пробудешь?

Мэри-Лу. Только до вечера.

Ник. В таком случае можешь не соблюдать. А вот мне приходится. Впрочем, без особых усилий. Музей — на первом этаже, а моя приватная квартира здесь, наверху. Пять этажей сверху вниз и снизу вверх — это немало, особенно пополудни. Ник утомился. А ты с корабля? (*Указывает на авансцену, то есть на зрительный зал.*)

Мэри-Лу. Да.

Ник. Сразу видно. Туристы с корабля — лучшие клиенты, не то что эти... с рюкзаками. Когда приходит корабль, всё Народни Збрско радуется. Ты одна?

Мэри-Лу. То есть?

Ник. Без сопровождения?

Мэри-Лу. В каком смысле?

Ник. Да ни в каком особом! Просто спрашиваю, пришла ли ты в музей одна.

Мэри-Лу. Одна.

Ник. Странно.

Мэри-Лу. Почему странно?

Ник. Туристы никогда не ходят поодиночке, особенно те, с корабля. Всегда — минимум вдвоем, тем более — в музей.

Мэри-Лу. Так получилось.

Ник. Да, разве что так получилось. Понятно. У меня тоже всегда что-нибудь да получается. Ты не поверишь, до какой степени.

Мэри-Лу. А этот музей большой?

Ник. Был — перед войной.

Мэри-Лу. Перед какой войной?

Ник. Последней.

Мэри-Лу. А я читала в путеводителе, что музей большой.

Ник. Путеводитель тоже довоенный. Сохранились только "Гости Авраама".

Мэри-Лу. Мне достаточно.

Ник. Что ж, тогда пошли смотреть. (*Надевает фуражку, встает и заворачивается в одеяло.*)

Мэри-Лу. Без... (*Показывает на его рубашку и брюки, лежащие на стуле.*)

Ник. Без брюк? Извини, Мэри-Лу, но не стану же я одеваться в твоем присутствии. В конце концов — я джентльмен.

Мэри-Лу. С каких это пор?

Ник. С тех пор как постарел.

Мэри-Лу. Тогда я выйду на балкон и отвернусь, а ты оденешься.

Ник. Где-то я уже это видел...

Мэри-Лу. В кино. Много лет назад.

Ник. Одри Хепбёрн...

Мэри-Лу. ...и Гари Купер[1].

Ник. Хочешь, чтобы мы сыграли эту сцену?

Мэри-Лу. Гари Купер был очень красив.

Ник. Неужели тебе кажется, что я настолько стар?

Мэри-Лу. Конечно.

Ник. А ты?

Мэри-Лу. No problem, Одри Хепбёрн было тогда двадцать лет.

Ник. Я бы предпочел сыграть за Дугласа.

Мэри-Лу. Кёрка?

Ник. Нет, Майкла, его сына.

Мэри-Лу. На мой вкус, Кёрк более привлекателен. (*Выходит на балкон, бросает Нику его брюки и рубашку и поворачивается лицом к зрительному залу.*)

Ник (*надевая брюки*). Я всегда предпочитал Кэтрин Хепбёрн.

Мэри-Лу (*оборачиваясь*). Почему?

Ник. Прошу не оборачиваться.

Мэри-Лу. Извини. (*Снова смотрит в зрительный зал.*)

Ник. Одри была слишком молода.

Мэри-Лу. Ой, врешь, Ник.

Ник. Не вру. Допустим, слегка корректирую.

Мэри-Лу. Что?

Ник. Приспосабливаю историческую правду к конкретным обстоятельствам.

Мэри-Лу. Ага, и мне предстоит стать ключевой фигурой этих самых обстоятельств. И часто это случается?

Ник. Корректировка?

Мэри-Лу. Обстоятельства.

Ник. Случается, только не в Народни Збрско. Здесь я веду жизнь Симеона Столпника.

Мэри-Лу. Кто это такой?

Ник. Святой отшельник. (*Заканчивает застегивать рубашку и надевает кроссовки.*) Готово, можем идти!

Мэри-Лу продолжает всматриваться в зрительный зал.

Мэри-Лу?

Пауза. Ник подходит к Мэри-Лу и останавливается у нее за спиной.

Мэри-Лу. Там, около пристани...

Ник становится рядом с ней.

...на площади перед баром... Видишь?

Ник. Ага...

Мэри-Лу. Знаешь его?

1. Имеется в виду фильм режиссера Билли Уайлдера «Любовь после полудня», США, 1957 г. (*Прим. перев.*)

Ник. Нет.

Мэри-Лу. Он не местный?

Ник. Местного я бы знал.

Мэри-Лу. Ты уверен?

Ник. Конечно уверен, я здесь всех знаю. Это, наверное, кто-нибудь с корабля.

Мэри-Лу. Да, наверняка с корабля. (*Уходит с авансцены.*)

Ник (*продолжая смотреть в зрительный зал*). Сидит себе перед баром и пьет пиво. Что в этом странного?

Мэри-Лу. Ничего.

Ник. Тогда пошли.

Мэри-Лу. Знаешь, я, пожалуй, не пойду.

Ник. Но ведь я уже оделся!

Мэри-Лу. Извини...

Ник. Что-нибудь случилось?

Мэри-Лу. Очень жарко.

Ник. А я что говорил?

Мэри-Лу. Говорил, но я тебе не поверила. А теперь вижу, что ты был прав. В самом деле, слишком жарко, чтобы идти осматривать музей.

Ник (*снимает фуражку и бросает ее на пол*). Странные люди туристы. Говоришь им, предупреждаешь, а они ничему не верят, пока сами не убедятся. Но тогда уже поздно. Падают в обморок в музеях, и приходится их выносить. Ну, что будем делать?

Мэри-Лу. Я останусь здесь. (*Садится на стул, стоящий на сцене справа.*)

Ник. Здесь?

Мэри-Лу. Если позволишь. (*Снимает шляпу и кладет ее на пол рядом со стулом.*)

Ник. Я?

Мэри-Лу. Если ты не против. (*Закидывает ногу на ногу.*)

Ник. Поздравляю, прекрасная идея! Как туристка ты ничего не потеряешь, мы будем восторгаться ландшафтом! (*Берет ее за руку, поднимает со стула и тянет к авансцене.*) Взгляни, какой отсюда прекрасный вид. Море, пристань, на пристани кто-то сидит, пьет пиво...

Мэри-Лу (*сопротивляясь*). Лучше я останусь в тени.

Ник. Правильно, на балконе слишком много солнца. Тогда проведем осмотр в другом месте. (*Ведет ее в противоположную сторону, то есть к кровати.*) ...Вот здесь!

Мэри-Лу. На кровати?

Ник. А почему нет? На кровати очень удобно.

Мэри-Лу. Но что можно увидеть на кровати?

Ник. Сейчас узнаешь. Садись.

Мэри-Лу. Это еще зачем?

Ник. Если не предпочтешь лечь.

Мэри-Лу. Весьма благодарна, но лучше я сяду на стул.

Ник. Пожалуйста. (*Переносит стул с правой стороны авансцены на середину сцены.*)

Мэри-Лу садится на стул. Пауза.

Мэри-Лу. И что дальше?

Ник. Ничего.

Мэри-Лу. Мы же собирались провести осмотр...

Ник. Ах, правда. Минутку, дай подумать. (*Пауза.*) Придумал! (*Поднимает с пола форменную фуражку, надевает ее и отходит от Мэри-Лу. Хлопает в ладоши.*) Все уже собрались?

Мэри-Лу. Кто — все?

Ник. Итак, господа, переходим к "Гостям Авраама". Прошу за мной. (*Меняет положение.*) Перед вами мозаика тринадцатого века, византийская школа. На ней представлена библейская сцена из Ветхого Завета, Первая книга Моисеева, Бытие, глава восемнадцатая... Господа, убедительно прошу не толкаться, каждый сможет увидеть.

Мэри-Лу. Ник!

Ник (*к Мэри-Лу*). Мадам, я занят. (*К группе.*) Что мы видим? Три одинаковые фигуры, расположенные по центру. Это Ангелы. (*К воображаемому туристу.*) Нет, сударь, открыток с видом Везувия пока нет. К тому же Везувий находится в Неаполе.

Мэри-Лу. Как хочешь. Не стану тебе мешать.

Ник. Справа от Ангелов коленопреклоненный Авраам. По сравнению с Ангелами он очень мал, что отвечает реальному положению вещей, поскольку Ангелы были чрезвычайно рослыми. Авраам очень стар.

Мэри-Лу. Могу я задать только один вопрос?

Ник (*к Мэри-Лу*). Прошу вас.

Мэри-Лу. Сколько ему было лет?

Ник. Сто пять.

Мэри-Лу. Невероятно.

Ник. Как видите, мадам, Гари Купер был не так уж и стар.

Мэри-Лу. Я этого не говорила.

Ник. Но дали понять.

Мэри-Лу. Беру свои слова обратно.

Ник (*с поклоном*). Благодарю. (*К группе.*) В шатре, справа от Авраама, стоит Сарра, его жена. Прошу обратить внимание — она еще меньше, чем Авраам.

Мэри-Лу. Почему?

Ник (*к Мэри-Лу*). Потому что женщина должна быть меньше мужа.

Мэри-Лу. Женоненавистник.

Ник. Мадам, я выражаю не свои взгляды, а взгляды тогдашней эпохи, отраженные художником. Я за него не отвечаю.

Мэри-Лу. Извините.

Ник. Ничего страшного. (*К группе.*) Как видите, господа, Сарра не опустилась на колени, а стоит, поскольку формально ее пока нет, и ей не нужно преклонять колена.

Мэри-Лу. Как это — формально?

Ник (*к Мэри-Лу*). Это означает, что Ангелам и Аврааму она пока не видна. Она только подслушивает, укрывшись в шатре. И еще подсматривает в щель между полотнищами. На ее лице заметна ироническая улыбка.

Мэри-Лу. А чему она улыбается?

Ник. Известию, которое Ангелы как раз передали Аврааму. А именно: что Авраам вскоре наградит ее младенцем.

Мэри-Лу. Неудивительно, что это ее развеселило. В его-то возрасте...

Ник. Действительно, у нее имелись основания для скепсиса. Тем более что и ей самой было тогда сто три года.

Мэри-Лу. Правда?

Ник. Вы не находите, что для женщины это критический возраст?

Мэри-Лу. С этим утверждением я готова поспорить.

Ник. Мадам, я воздержусь от комментариев. (*К группе.*) В отдалении, с левой стороны вы видите стены Содома и Гоморры, куда затем направились Ангелы, чтобы исполнить свою следующую миссию. Но эту тему мы затрагивать не будем.

Мэри-Лу. Почему?

Ник (*к Мэри-Лу*). Потому что там возник конфликт между Ангелами и местным сексуальным меньшинством, которое было в большинстве. Будучи меньшинством, составляющим большинство, они с демократической точки зрения были правы, хотя Ангелы тоже были правы, поскольку в те времена парламентский строй еще не существовал. Так что, учитывая ситуацию, мы воздержимся от комментариев.

Мэри-Лу. Значит, у вас нет четкой нравственной позиции?

Ник. Есть, но я не хочу потерять работу.

Мэри-Лу. Это приспособленчество.

Ник. Несомненно. (*К группе.*) Конец осмотра.

Мэри-Лу аплодирует.

Те, кто желает приобрести сувениры на память о Народни Збрско, найдут их в киоске. Прощайте. (*Подходит к Мэри-Лу.*)

Мэри-Лу. Браво, Ник, ты был великолепен. (*Фотографирует его анфас, со вспышкой.*)

Ник. А для кого фотография?

Мэри-Лу. Для меня, разумеется.

Ник. Вот уж не ожидал.

Мэри-Лу. Туристы всегда фотографируют.

Ник. "Гостей Авраама", но не меня.

Мэри-Лу. Не любишь своих фотографий?

Ник. Обожаю! В особенности портретные. (*Снимает фуражку и выбрасывает ее за кулисы.*) Я присяду, если позволишь.

Мэри-Лу. Ну конечно! Наконец-то мы сможем поговорить.

Ник (*переносит стул с балкона на середину сцены и ставит его рядом с Мэри-Лу.*) Может, выпьем чего-нибудь?

Мэри-Лу. С удовольствием. (*Кладет фотоаппарат на пол рядом со стулом.*)

Ник (*берет бутылку, стоящую на полу*). Но у меня только аперитив.

Мэри-Лу. То, что надо.

Ник (*приносит бутылку. Садится*). Стаканов нет.

Мэри-Лу. Обойдемся.

Ник. Ну, тогда... (*Подает ей бутылку.*)

Мэри-Лу (*пьет из горлышка, очень умело*). Почему ты так смотришь?

Ник. Думал, ты поперхнешься.

Мэри-Лу (*отдавая ему бутылку*). Как видишь, ничего со мной не случилось.

Ник отпивает свою порцию и ставит бутылку на пол, между собой и Мэри-Лу.

Пауза.

Ник. Вот это сюрприз.

Мэри-Лу. Думал, не справлюсь?

Ник. Нет, не ожидал, что найдется с кем выпить.

Мэри-Лу. А что, не с кем?

Ник. Да, я пью в одиночку.

Мэри-Лу. Ты же говорил, что всех здесь знаешь.

Ник. Но ни с кем не пью.

Мэри-Лу. И никто тебя здесь не навещает?

Ник. И я — никого.

Мэри-Лу. Отчего же?

Ник. Так уж получается.

Мэри-Лу. И всегда так было?

Ник. Только здесь, в Народни Збрско.

Мэри-Лу. А раньше?

Ник. Где раньше?

Мэри-Лу. В Роттердаме, Амстердаме, Гааге, Копенгагене, а потом там и сям...

Ник. Это было давно.

Мэри-Лу. Вовсе не так уж и давно.

Ник. Ты откуда знаешь?

Пауза.

Для меня давно. Скучно мне в этом Народни Збрско.

Мэри-Лу. Тогда зачем ты здесь торчишь?

Ник. Поговорим лучше о тебе. С каких пор ты стала туристкой?

Мэри-Лу. С тех пор, как тут появилась.

Ник. А до этого?

Мэри-Лу. Что — до этого...

Ник. Ты никогда не была в Копенгагене?

Мэри-Лу. Там я как раз не была.

Ник. И в Амстердаме не была?

Мэри-Лу. Ни в Амстердаме, ни в Гааге, ни в Копенгагене.

Ник. А где была?

Мэри-Лу. Не нравятся мне такие вопросоы.

Ник. И давно?

Мэри-Лу. С детства. Мой отец был прокурором.

Ник. Федеральным?

Мэри-Лу. Нет. Домашним. Такой уж у него был характер.

Ник. Прокурорский?

Мэри-Лу. Вот именно. И потому я не люблю, когда мне задают вопросы.

Ник. Понимаю. Не спрашивай, и тебя не спросят. Я тоже придерживаюсь этого принципа. (*Берет бутылку и отпивает из нее. Передает бутылку Мэри-Лу.*)

Мэри-Лу отрицательно качает головой. Ник отхлебывает еще глоток и ставит бутылку на место.

Пауза.

Мэри-Лу. Ник?

Ник. Слушаю.

Мэри-Лу. Можно задать тебе вопрос?

Ник. Опять?!

Мэри-Лу. Только один.

Ник. О боже! Совсем как твой отец. Это, должно быть, наследственное.

Мэри-Лу. Последний.

Ник. Что ж, ладно. Но — последний.

Мэри-Лу. Как далеко отсюда до пристани?

Ник. С полкилометра.

Мэри-Лу. А сколько идти?

Ник. Десять минут.

Мэри-Лу. Всего лишь?

Ник. Потому что под гору. В гору идти дольше.

Мэри-Лу. А сколько идти в гору?

Ник. От пристани сюда? Двадцать минут. Ты кого-нибудь ждешь?

Мэри-Лу. Осторожно. Это уже вопрос.

Ник. Имею право на реванш. Будет один—один и ничья.

Мэри-Лу. Нет, я никого не жду.

Ник. Тогда почему тебя это интересует?

Мэри-Лу. Смотри, будет один—два, и ты проиграешь. Хочешь взять ход назад?

Ник. Хочу продолжать игру.

Мэри-Лу. Меня это интересует на случай, если бы я захотела сюда вернуться.

Ник. В Народни Збрско?

Мэри-Лу. В музей.

Пауза.

Ник. Тебе настолько понравились "Гости Авраама"?

Мэри-Лу. Безмерно.

Ник. Зачем тогда уезжать и возвращаться? Корабль отплывает только вечером.

Мэри-Лу. Но я боюсь опоздать к отплытию.

Ник. Отсюда до пристани всего десять минут ходу.

Мэри-Лу. У меня нет часов.

Ник встает, поднимает ее левую руку и отгибает кружевную манжету. На сгибе руки Мэри-Лу видны часы. Ник опускает манжету, деликатно кладет руку Мэри-Лу обратно и отходит.

Пауза.

Ник. Послушай, Мэри-Лу. Ты уверена, что пришла сюда одна?

Мэри-Лу. Как видишь.

Ник. А за тобой следом никто не шел?

Мэри-Лу. Кто мог бы за мной идти и зачем?

Ник. Я-то всего лишь предполагаю, но ты, может, знаешь...

Мэри-Лу. Ты о чем?

Ник. О том, который на пристани.

Мэри-Лу. О ком таком на пристани...

Ник. О том, который перед баром.

Мэри-Лу. Но ведь я его не знаю...

Ник. Верю, что не знаешь, но, возможно, тебе известно, почему он тобой интересуется.

Мэри-Лу. С чего ты взял, что он мной интересуется?

Ник. Проверил, когда вытаскивал тебя на балкон.

Мэри-Лу. Он смотрел?

Ник. Еще как!

Мэри-Лу. Заметил меня?

Ник. Не успел — ты ведь не позволила себя вытащить. Но он надеялся увидеть.

Мэри-Лу. Тогда как ты можешь знать, что он интересуется именно мной?

Ник. Не мной же.

Мэри-Лу. Откуда тебе известно, что не тобой?

Ник. Да мной никто уже не интересуется. Во всяком случае — никто из тех, кто мог бы интересоваться тобой.

Мэри-Лу. Так, может, его вообще никто не интересовал?

Ник. Я неплохо разбираюсь в таких... кто интересуется. Потому и жив еще. Почему ты от него прячешься?

Мэри-Лу. Ни от кого я не прячусь.

Ник. Прячешься. С той минуты как увидела его, боишься выйти на балкон. Боишься спуститься на первый этаж и боишься отсюда выйти.

Мэри-Лу (*встает*). Очень невежливо так разговаривать с женщиной. (*Идет в направлении выхода. Поднимает с пола свою соломенную шляпу. Надевает ее.*) Благодарю за гостеприимство.

Ник. Куда ты идешь?

Мэри-Лу. Это мое дело.

Ник (*загораживая ей дорогу*). Ты останешься, пока мы не выясним все до конца.

Мэри-Лу (*возвращается на прежнее место, садится, усмехается*). Понятно. Ты ревнуешь.

Ник. Как я могу ревновать к кому-то, кого ты не знаешь.

Мэри-Лу. Можешь. А что, если он мне нравится?

Ник. Незнакомец?

Мэри-Лу. Такое случается, неужели ты не слыхал? В твоем-то возрасте...

Ник. И ты прячешься от человека, который тебе нравится? Нет, Мэри-Лу, или ты его знаешь и потому от него прячешься, или не знаешь, но тогда тебе незачем прятаться. Либо одно, либо другое, но не одно и другое одновременно. Если только нет чего-нибудь третьего.

Пауза.

Мэри-Лу. Ну хорошо. Я его знаю.

Ник. Кто же это?

Мэри-Лу. Мой муж.

Пауза.

Все очень просто, Ник. Знаю, ты не поверишь мне, но все это очень просто. Я близорука и плохо вижу с такого расстояния. Я его увидела, но не была уверена, что это он. И тогда спросила у тебя, знаешь ли ты этого человека. Если бы оказалось, что знаешь, я была бы уверена, что ошиблась. Теперь тебе известно все.

Ник. И ты не носишь очки?

Мэри-Лу. Нет, Ник. Я еще не в том возрасте, чтобы признаваться, что уже его достигла.

Ник. Ты с ним поссорилась?

Мэри-Лу. Насмерть. Он безумно меня ревнует. Вообразил, что я его собственность. Совсем как ты. Или Авраам.

Ник. Тогда почему он разрешил тебе одной сюда прийти?

Мэри-Лу. Ничего он мне не разрешал, я просто убежала. Мы поссорились сразу же, на пристани, ну и я сбежала.

Ник. Как?

Мэри-Лу. Он зашел в бар купить сигареты, а когда вернулся, меня и след простыл.

Ник. И он тебя не искал?

Мэри-Лу. Как? В этих улочках? Я же могла пойти в любую сторону. Он выбрал самый лучший метод: сидит перед баром и ждет. Знает, что я должна вернуться перед отплытием. Вот тогда он со мной поговорит.

Ник. А ты тем временем осматриваешь музей.

Мэри-Лу. Я увидела его только здесь, наверху, когда пришла к тебе. Но все время боялась, что он будет меня искать и что найдет тут. И сейчас боюсь.

Ник. Не переживай, если он даже и придет, то не позвонит.

Мэри-Лу. Почему?

Ник. Потому что внизу нет колокольчика. Колокольчик здесь.

Мэри-Лу. Ник, мне сейчас не до шуток.

Ник. Я всего лишь логически рассуждаю...

Мэри-Лу. Лучше перестань. Ты его не знаешь. Да он сквозь стену пройдет.

Ник. Да? И что тогда сделает?

Мэри-Лу (*закрывает лицо ладонями*). Убьет меня! (*Всхлипывает.*)

Ник. Ну, ну, успокойся. (*Снимает с нее шляпу, бросает на пол и гладит ее по голове.*) Он ведь меня тоже не знает.

Мэри-Лу. Ты не представляешь, каким он бывает со мной жестоким ... (*Плачет.*)

Ник. Тогда его следует наказать.

Мэри-Лу (*падая в его объятия*). Да, да! Мы его накажем!

Ник (*высвобождается из объятий Мэри-Лу, отходит в сторону и восклицает воинственно*). Если хочешь, я его убью!

Мэри-Лу (*сдержанно, удивляясь, даже слегка упрекая*). Ник, я уже сказала: мне сейчас не до шуток!

Ник. Какие еще шутки. Я его застрелю.

Мэри-Лу (*поникнув*). Из чего?

Ник. Из огнестрельного оружия.

Мэри-Лу. С такого расстояния?

Ник. Ерунда, у меня винтовка с оптическим прицелом.

Мэри-Лу (*заинтересованно*). Откуда она у тебя?

Ник. Одолжил.

Мэри-Лу. У кого?

Ник. У трупа. Вышел я как-то раз прогуляться и наткнулся на мертвого снайпера. Ему винтовка больше не нужна.

Мэри-Лу (*со все большим интересом*). Ты умеешь стрелять?

Ник. Когда-то тренировался...

Мэри-Лу. Где?

Ник. В Бейруте, Ливии, Йемене...

Пауза.

Мэри-Лу. У меня была приятельница, уже давно. Она уехала в Европу, и след ее потерялся. А потом ее судили в Мюнхене.

Ник. Почему в Мюнхене?

Мэри-Лу. Потому что в Афинах она захватила самолет Люфтганзы. На процессе говорили, что она проходила подготовку в Бейруте.

Ник. Вот видишь...

Пауза.

Мэри-Лу. Ник, неужели ты... тоже?

Ник. Тоже, только у меня это лучше получается.

Мэри-Лу. Ник, почему...

Ник. Почему лучше? Потому что я классный специалист.

Мэри-Лу. ...почему ты мне все это рассказываешь?

Ник. Хочу тебе доказать, что у меня высшее образование. Попасть человеку между глаз, в переносицу, с расстояния пятьсот метров для меня не проблема. С моей-то квалификацией...

Мэри-Лу. Теперь я поняла. Ты — террорист и...

Ник. ...и терроризирую.

Мэри-Лу. ...и теперь боишься, что тебя поймают.

Ник. Кто?

Мэри-Лу. Мы.

Ник. Ты?

Мэри-Лу. Антитеррористы.

Ник. Ты работаешь на Интерпол?

Мэри-Лу (*считает по пальцам*). Силы реакции. Капитализм. Сионисты. Империалисты.

Ник. ...Уолл-Стрит, И-эм-эф, Эф-би-ай, Си-ай-эй, Би-би-си и моя тетка. Нет, этого я не боюсь.

Мэри-Лу. Но почему, ты ведь должен бояться.

Ник. Я не боюсь, потому что меня нет в живых.

Мэри-Лу. Для меня ты абсолютно живой. Даже слишком.

Ник. Но не для них. Я погиб три года назад, при нападении на посольство в Каире. Подорвался на мине, и меня разнесло в клочья. Но мой труп был опознан.

Мэри-Лу. Каким образом?

Ник. Этого я тебе не скажу. Могу только сказать — кем.

Мэри-Лу. Кем же?

Ник. Кем положено. А вот новую биографию мне соорудили профессора моей высшей школы. Они возлагали на меня большие надежды.

Мэри-Лу. Значит, ты не погиб?

Ник. Погиб — но только в определенном смысле.

Мэри-Лу. А в другом смысле?

Ник. А в другом смысле — остался жив. До такой степени, что сумел воспользоваться тем самым определенным смыслом, то есть своим статусом покойника, — и исчез.

Мэри-Лу. А это в каком смысле?

Ник. Самом обыкновенном. Сбежал. Просто дезертировал.

Мэри-Лу. И теперь уже не боишься?

Ник. Напротив, только это и делаю, потому что...

Мэри-Лу. ...потому что теперь боишься профессоров твоей высшей школы. Правильно?

Ник. Correct! Они мне этого никогда не простят. И если меня отыщут...

Мэри-Лу. Что тогда?

Ник. Тогда я погибну во всех смыслах.

Пауза.

Мэри-Лу. Зачем же ты дезертировал?

Ник. Век идеологии закончился, дорогая, наступает третье тысячелетие. Я через все это прошел. Сначала была Beautiful Америка, потом Green Америка, потом Black, Blue, Yellow и Red Америка, иными словами — задница павиана. А если подробнее, то есть в моем конкретном случае, сначала было peace and law, потом law and peace, потом law без peace, потом уже только fuck без ничего, а теперь — есть как есть. Ребенком я с молоком матери впитывал Эйзенхауэра и держал руки поверх одеяла. Когда подрос, держал руки под одеялом и — прочь от Вьетнама. Мой старший брат поехал в Гонолулу в качестве Peace Corps, а его младший брат, то есть я, — в Палестину, освобождать священную арабскую землю от империалистических евреев. А если подворачивался случай, то и от христиан — во Франкфурте, Милане и квартале Сен-Жермен. Пока все это — Эйзенхауэр, Кинг-Конг и Мартин Лютер Кинг, руки поверх, руки под, руки прочь — мне до такой степени не осточертело, что я очутился в Народни Збрско, где наконец могу держать руки в карманах.

Мэри-Лу. Потные.

Ник. Почему потные?

Мэри-Лу. От страха.

Ник (*оглядывая свои руки*). Что, очень заметно?

Мэри-Лу. Невооруженным глазом.

Ник садится на стул. Сидит сгорбившись, положив руки на колени, всматриваясь в растопыренные пальцы.

Пауза.

Ник, почему ты не спустился вниз, когда я звонила?

Ник. Было очень жарко. И жара не спадает.

Мэри-Лу. Ты часто не спускаешься вниз?

Ник. Все реже.

Мэри-Лу. Значит, спускаешься все чаще.

Ник. Нет, наоборот, я редко спускаюсь, а не спускаюсь часто.

Мэри-Лу. Ты это называешь — наоборот?

Ник. Что-то у меня все перепуталось.

Мэри-Лу. По-моему, ты не в лучшей форме.

Ник. А в какой я должен быть? Нашлась умная. В форме! Не в лучшей! Ты! Психиатр странствующий. Мама Тереза, Красный Крест, сестра милосердия обтирает кровавый пот с гордого чела борца за свободу. Мэрилин Монро на броненосце "Потемкин". Коронный номер циркачки: вынуть из груди шута цветную капусту и вложить взамен сердце льва. О, fuck! *(Хватает бутылку, выпивает вино до дна и заканчивает – неожиданно трезво и спокойно.)* Ты права, я не в лучшей форме.

Мэри-Лу. Почему ты не уезжаешь?

Ник. Куда?

Мэри-Лу. Куда угодно. В Индию, Камбоджу, Австралию... Как можно дальше от... Как это произносится?

Ник. Народни Збрско.

Мэри-Лу. ...От Народни Зыбрыско.

Ник. Для меня "дальше" уже не существует.

Мэри-Лу. Где-нибудь найдется.

Ник. Только не для меня. Наступает момент, когда человеку больше не хочется убегать. Когда он уже сыт по горло.

Мэри-Лу. И что он тогда делает?

Ник. Лежит на кровати, пялится в потолок и ждет.

Мэри-Лу. Чего?

Ник. Когда найдут.

Мэри-Лу. Но ведь тогда его убьют!

Ник. Верно, но пока ему незачем убегать.

Мэри-Лу. Он хочет умереть?

Ник. Да ты что, он жить хочет.

Мэри-Лу. Это какой-то парадокс.

Ник. Это-то и позволяет надеяться.

Пауза.

С пристани доносится звук корабельной сирены.

Мэри-Лу. Мне, наверное, уже пора идти?

Ник. Это первый гудок. Будет еще второй и третий.

Мэри-Лу. Почему ты мне все это рассказал?

Ник. Мне казалось, тебе было интересно.

Мэри-Лу. Тебе не следовало этого делать.

Ник. Три года одиночества. Я должен был с кем-нибудь поделиться.

Мэри-Лу. И ты не боишься, что...

Ник. ...что теперь ты знаешь обо мне все? Нет, не боюсь.

Мэри-Лу. Испытываешь ко мне доверие?

Ник. Я бы это иначе сформулировал.

Мэри-Лу. Не доверяешь мне, но не боишься.

Ник. Вот именно. Хоть ты и не ответила, работаешь ли на Интерпол.

Мэри-Лу. А если работаю?

Ник. Не работаешь. Интерпол вычеркнул меня из списка живых. Если тебя сюда и прислали, то не Интерпол.

Мэри-Лу. Думаешь, кто-то другой?

Ник. Есть только две возможности. Первая: ты туристка, случайно выслушавшая мою исповедь, и тогда мне нечего опасаться. Вот если бы ты была одинокой женщиной, жаждущей острых ощущений, — каких угодно, лишь бы в твоей жизни что-то происходило, — о! вот это другое дело. В таком случае даже наш с тобой гипотетический роман мог быть для меня опасен, потому что для тебя — если бы вдруг, по каким-то своим женским причинам, ты надумала меня шантажировать — он стал бы подарком судьбы. Но — ты не одинокая женщина. На пристани тебя поджидает ревнивый муж, и в том, что касается сильных переживаний, ты всегда можешь на него рассчитывать. Впрочем, кто знает, возможно, его ревность оправданна. Ты слишком привлекательна, чтобы у него не возникало поводов для ревности. Из сказанного явствует, что в смысле развлечений ты можешь рассчитывать не на одного только мужа. Скорее у тебя столько возможностей, что ты сама не знаешь, что с ними делать.

Мэри-Лу. Знаю.

Ник. Догадываюсь.

Мэри-Лу. И заблуждаешься. Я произвожу селекцию.

Ник. Если учесть количество кандидатур, тоже, должно быть, хлопотное занятие.

Мэри-Лу. Нисколько. Сейчас объясню почему.

Ник. Не будем отвлекаться. Остается еще вторая возможность.

Мэри-Лу (*иронически, явно задетая нежеланием Ника отвлечься*). Любопытно узнать какая.

Ник. А та, что эта самая твоя подруга вовсе не захватывала самолет "Люфтганзы" и, тем более, ее не судили в Мюнхене, хоть я и могу поверить, что она тренировалась в Бейруте, правда не на том факультете, где обучался я. Во всяком случае, она сейчас не сидит в тюрьме, поскольку не была под судом, так как не захватывала самолета. Зато вполне возможно, что в данный момент она занята совершенно другим делом. Хочешь знать каким?

Мэри-Лу. Разумеется, хочу, ведь она была моей подругой.

Ник. Она находится в Народни Збрско и осматривает музей.

Мэри-Лу. Вот как? Что же из этого следует?

Ник. Что ты, скорее всего, опоздаешь на корабль.

Мэри-Лу. Потому что у меня нет часов?

Ник. Потому что я тебя убью.

Мэри-Лу (*смеется*). Скорее всего, ты не успеешь.

Ник. Отчего же? У меня есть время.

Мэри-Лу. Оттого, что я тебя опережу. Неужели ты думаешь, что сюда могут прислать кого-то менее проворного, чем ты? Про тебя же все известно. Нет, Ник, я знаю, в чем ты меня подозреваешь, но не знаю, на каком основании. А паранойя — не основание.

Ник. Я узнал того человека на пристани.

Мэри-Лу. Ты знаешь моего мужа?

Ник. Не отклоняйся от темы. Не только антитеррористы располагали нашими досье. У нас тоже имелись досье антитеррористов.

Мэри-Лу. И мой муж-антитеррорист подмигнул тебе с расстояния в пятьсот метров, чтобы предупредить, что его жена-террористка, то есть в некотором смысле твоя коллега, зашла в музей. Ник, ты и впрямь в плохой форме.

Ник. Он не мог мне подмигнуть, поскольку не знает меня, хоть я его знаю. Именно для того я три года назад и подорвался на мине, чтобы мое досье, благодаря которому он меня знал, стало бесполезным. С тех пор как я взлетел на воздух, я изменился до неузнаваемости.

Мэри-Лу. В таком случае он подмигнул незнакомцу. Ник, ты в еще худшей форме, чем я предполагала.

Ник. Твой муж, который сидит на пристани, никому не подмигивает, потому что никакой он тебе не муж.

Мэри-Лу. А кто?

Ник. Не знаю, кто твой муж, если он вообще существует, а если и существует, то неизвестно, подмигивает ли, а если подмигивает, то я не представляю кому. Зато уверен, что ты знаешь этого человека на пристани не хуже меня и боишься его так же, как я его когда-то боялся. К тому же этот человек не твой муж.

Мэри-Лу. А зачем мне и тут еще врать?

Ник. Чтобы иметь алиби.

Мэри-Лу. Для чего? Думаешь, мне нужно алиби, чтобы посетить музей?

Ник. Как туристке — нет. Но как туристке, которая боится человека на пристани, — нужно.

Мэри-Лу. Стало быть, по-твоему, мало того, что у меня нет мужа, так я вовсе и не туристка?

Ник. Нет, не туристка.

Мэри-Лу. Тогда что я здесь делаю?

Ник. Выполняешь задание. Профессорам моей высшей школы теперь тоже нелегко меня узнать. Они меня знали в промежутке между тем, как я взлетел на воздух, и моим дезертирством, и то недолго, ведь я удрал при первом удобном случае. А когда уже дезертировал, тоже не стал тянуть время и поспешил изменить внешность. Сейчас меня могут опознать, только прислав кого-нибудь, кто сумеет со мной познакомиться и завязать дружбу, хорошо бы — интимную, а лучше всего — совсем интимную. Следовательно, нужна женщина, хорошо бы — красивая, а самое лучшее — очень красивая. Причем такая, которая попадает в музей случайно, то есть в роли туристки. Муж, ожидающий на пристани, — алиби непредвиденное, но действенное, дополнительно возникшее благодаря твоей находчивости. Наши профессора могут тобой гордиться.

Мэри-Лу. Великолепно, Ник, великолепно. Ты тоже можешь собой гордиться.

Ник. Спасибо. Я — всего лишь скромный отчаявшийся человек.

Мэри-Лу. Публика, которая тобой восхищается, просит перейти к финалу. А потом — только крики "браво", цветы и овация.

Ник. Тебе мало того, что ты услышала?

Мэри-Лу. Да. Расскажи еще, что делает в Народивом Зыбрыдиско мой муж, который мне не муж.

Ник. Идет по следу террористки, которая идет по следу бывшего террориста, разыскиваемого террористами с целью покарать его за дезертирство. Фальшивый муж, кстати, об этой цели ничего не знает, поскольку ничего не знает о бывшем террористе и, следовательно, о его дезертирстве.

Мэри-Лу. Ну, тогда выйди на балкон, позови его, все ему расскажи и попроси, чтобы он взял тебя за ручку. Уверена, он тебе не откажет.

Ник. Значит, ты признаешься?

Мэри-Лу. В чем?.. Нет, я сдаюсь.

Ник. Это означает, что ты призналась.

Мэри-Лу. Это означает, что я ухожу. Нет у меня больше сил находиться в обществе параноика.

С пристани доносится двукратный пароходный гудок.

Тем более что мне пора возвращаться к мужу. (*Берет с пола фотоаппарат и встает.*)

Ник. И ты думаешь, тебе это удастся?

Мэри-Лу. Разумеется. Он меня ждет. Всегда ждал, и я всегда к нему возвращалась.

Ник. На этот раз не дождется.

Мэри-Лу. Почему?

Ник. Потому что на этот раз ты не вернешься. Ни к нему, ни вообще куда бы то ни было.

Пауза.

Мэри-Лу. Рассмотрим имеющиеся возможности, Ник. Ты ведь очень любишь рассматривать разные возможности, правда? Это твоя страсть. По-видимому, единственная.

Ник. Ближе к делу.

Мэри-Лу. Возможность номер один: я агент и пришла, чтобы тебя ликвидировать. Но ты решил ликвидировать меня, прежде чем я осуществлю свои намерения. А ведь тебе нет нужды делать это собственноручно. Достаточно позволить мне уйти, а уж человек на пристани все сделает за тебя. Так я буду ликвидирована без твоего участия и безо всяких для тебя последствий. Верно?

Ник. А вторая возможность?

Мэри-Лу. Я всего лишь обычная туристка, и встретились мы случайно. Тогда с моей стороны тебе ничто не угрожает. Наш гипотетический роман, которого ты так опасался — и столь научно изложил мне эти свои опасения, — не состоялся и никогда уже не состоится. Я все поняла, уйду, вернусь к мужу и исчезну. Ни в первом, ни во втором случае ты, позволяя мне уйти, ничем не рискуешь и ничего не теряешь. А в первом случае можешь даже выиграть.

Ник. В первом — возможно, но не во втором.

Мэри-Лу. Почему же?

Ник (*встает*). Если правда, что ты обыкновенная туристка и на пристани тебя ожидает муж, то правда и то, что твой муж работает в Эм

дробь шестнадцать.

Мэри-Лу. Это еще что такое?

Ник. Неофициальный Специальный отдел в Департаменте по делам Ближнего Востока. Занимается ликвидацией террористов без арестов, судов и всяких там прав человека. Официально подчиняется Министерству иностранных дел. Неофициально — кое-кому другому.

Мэри-Лу. Я знаю, что он работает в министерстве, но не знала, что в Эм дробь шестнадцать. Я его делами не интересуюсь, а он меня в них не посвящает. Особенно когда мы в отпуске.

Ник. Все равно. Возможность номер два может оказаться небезопасной для меня.

Мэри-Лу. Боишься, что я расскажу ему о тебе?

Ник. А где гарантия, что ты этого не сделаешь?

Мэри-Лу. Гарантия в том, что ревнивому мужу не рассказывают о человеке, с которым проводишь полдня в двусмысленной ситуации.

Ник. Для меня это не гарантия.

Мэри-Лу. Мое терпение на пределе, Ник. Ты начинаешь мне надоедать, а как раз этого я хотела бы избежать. До сих пор мне с тобой ни секунды не было скучно. Несмотря ни на что, я прекрасно провела время, и мне хотелось бы сохранить о тебе только приятные воспоминания. Гарантии? Неужели я похожа на человека, от которого требуют гарантий? Я женщина, Ник. Пока ты силился разобраться, где я говорю правду и где лгу, между нами все было так, как обычно бывает между мужчиной и женщиной. Я прощала твою извечную мужскую озабоченность из-за пустяков, меня это даже трогало. Все это принадлежало нам и нас связывало, мы были вместе в одном повествовании. Но сейчас ты перешел на монолог и выкинул меня из текста. И как бы ты в дальнейшем ни распорядился своей жизнью, меня в ней уже не будет.

Ник. Обиделась?

Мэри-Лу. Идиот.

Ник. Что плохого в том, что я спросил о гарантиях?

Мэри-Лу. Хочешь получить гарантию, что я перестану о тебе думать? (*Отбрасывает фотоаппарат.*) Пожалуйста, нет ничего проще. (*Приближается к нему, останавливается и смотрит ему в глаза.*) Убей меня.

Пауза.

Ну, чего же ты ждешь... Ликвидируй, ты же хотел.

Ник обнимает ее – все крепче, поскольку она ему отвечает полной и страстной взаимностью. Происходит сцена, которая в терминологии "корриды", ошибочно переводимой как "бой быков", называется "el momento de la verdad", то есть – "момент истины". И лишь благодаря решительному сопротивлению Мэри-Лу, которое стоит ей немалых усилий, сцена остается незавершенной.

Ник. Останешься?

Мэри-Лу. Нет.

Ник. Останься.

Мэри-Лу. Зачем?

Ник. Но ведь...

Пауза.

Мэри-Лу. Сам не знаешь?

Пауза.

Спасибо, это тоже ответ. А теперь докажи, что ты джентльмен, и подай мне шляпу.

Ник – мужчина, испытавший облегчение оттого, что ему уже не нужно отвечать на "главный" вопрос женщины, а нужно всего лишь выполнить ее поручение практического свойства, – с готовностью поднимает с пола соломенную шляпу, потом фотоаппарат и несет к ней оба предмета. Подает ей шляпу.

Мэри-Лу надевает шляпу, не обращая внимания на аппарат. И только когда Ник протягивает ей аппарат, Она машинально его берет.

Ник – мужчина, чувствующий за собой вину, поскольку не ответил на "главный" вопрос – стремится теперь проявить по отношению к женщине максимум внимания, втайне надеясь, что при случае это, возможно, к чему-нибудь и приведет и не все еще потеряно. Чем приводит женщину в бешенство.

Ник. Ты не боишься?

Мэри-Лу. Чего?

Ник. Возвращаться.

Мэри-Лу. Куда?

Ник. К нему.

Мэри-Лу. К кому?

Ник. Ну, к твоему мужу!

Мэри-Лу. И что...

Ник. Я спрашиваю, не боишься ли ты к нему возвращаться.

Мэри-Лу. А почему я должна бояться?

Ник. Да ведь он психопат!

Мэри-Лу. В самом деле?

Ник. Он терзает тебя, преследует, бьет... Тиран и мучитель. Скотина!

Мэри-Лу. А почему тебя это волнует?

Ник. Я бы не хотел, чтобы с тобой что-нибудь случилось.

Мэри-Лу. Как мило, что ты обо мне беспокоишься. Если хочешь, пойдем вместе.

Ник. Вместе?

Мэри-Лу. Да, вместе. Ты меня проводишь и защитишь от него.

Ник. Это только ухудшит твое положение. Он рассвирепеет, когда меня увидит.

Мэри-Лу. Тогда дай мне ключи, я переночую внизу.

Ник. Не имеет смысла. Когда он поймет, что ты не вернулась, начнутся поиски.

Мэри-Лу. Может, у тебя есть другая идея?

Ник. Нет, но мы могли бы вместе подумать.

Мэри-Лу. Спасибо, мой рыцарь, но не стоит обо мне волноваться. Ничего со мной не случится.

Ник. Но ведь он изверг!

Мэри-Лу. Мой муж — самый мягкий человек из всех, кого я знаю.

Ник. Он? Этот киллер из Эм шестнадцать? Мягкий?

Мэри-Лу. Со мной он добр. А как поступает с террористами, мне плевать. Террористы меня не интересуют.

Ник. Но ведь ты плакала!

Мэри-Лу. Что-то не припомню.

Ник. Плакала! Здесь, на моих глазах! Боялась, что он тебя убьет.

Мэри-Лу. Запомни наконец, Ник: женщины способны изобразить все, что только захотят, если им это для чего-нибудь нужно. Я не исключение и делаю это совсем неплохо.

Ник. О да! Очень неплохо.

Мэри-Лу. Тебе стоило бы еще поучиться, а не носиться по пустыне с "калашниковым".

Ник. Значит, все, что ты о нем рассказала, — вранье?

Мэри-Лу. Все. За исключением того, что мы с ним поссорились.

Ник. Хоть что-то.

Мэри-Лу. Не спеши радоваться. Поссорилась с ним я, а не он со мной. Сам он никогда со мной не ссорится.

Ник. А из-за чего вы повздорили?

Мэри-Лу. Не мы, а я. он желает, чтобы мы постоянно были вместе, а мне иногда хочется побыть одной. И сегодня как раз такой день. Я могла бы с ним договориться, но это ведь тоже зависимость, для этого нужны двое. Я же временами просто нуждаюсь в одиночестве, без всяких договоренностей. И я еще не встречала мужчины, который бы это понимал.

Ник. И потому ты убежала?

Мэри-Лу. К сожалению.

Ник. Почему — к сожалению?

Мэри-Лу. Мне его жаль. Он огорчился, не застав меня перед баром.

Ник. Еще повёзло, что перед баром. Мог сразу же выпить.

Мэри-Лу. Мне самой было неприятно. Но это сильнее меня. Просто я должна время от времени побыть одна.

Ник. Чтобы встречаться с такими, как я?

Мэри-Лу. Не говори глупости, Ник. Не изображай из себя мужчину, который убежден, что все мы нимфоманки. Или становимся ими, как только он появляется на горизонте. Встреча с тобой — случайность. Не могла же я знать, что о "Гостях Авраама" мне расскажешь именно ты.

Ник. И он тебя не ревнует?

Мэри-Лу. Ревнует, но не подает виду.

Ник. Почему?

Мэри-Лу. Потому что любит меня.

Ник. Ты ему изменяешь?

Мэри-Лу. В общем, нет, потому что не имею серьезных оснований. Во всяком случае, до сих пор не имела.

Ник. А несерьезные?

Мэри-Лу. Случаются.

Ник. И как он реагирует?

Мэри-Лу. Понимает меня и прощает.

Ник. Счастливчик. Даже сейчас ему повезло больше моего. От него ты

убежала, а меня обманула.

Мэри-Лу. Ты бы предпочел, чтобы было наоборот?

Ник. Сыграла со мной комедию.

Мэри-Лу. Это вовсе не значит, что я тебя обманула.

Ник. Врала, что несчастлива с ним.

Мэри-Лу. Потому что нуждалась в тебе. А это не было обманом.

Ник. Зато теперь уже не нуждаешься.

Мэри-Лу. Нуждаюсь. К сожалению.

Ник. Опять — к сожалению.

Мэри-Лу. Ничего не могу поделать. Я в тебе нуждаюсь и, что еще хуже, никогда не перестану нуждаться.

Пауза.

Ник. Ты... ты вернешься ко мне?

Мэри-Лу (*очень устало*). Не знаю, Ник. Это зависит не только от меня.

Ник. От кого же? Ага, разумеется от мужа.

Мэри-Лу. Еще минуту назад твоя ревность порадовала бы меня. А сейчас мне только грустно.

Третий гудок парохода, троекратный.

Я уже должна идти.

Ник. Прежде чем уйдешь...

Мэри-Лу (*с оживлением*). Хочешь мне что-то сказать?

Ник. Только кой о чем спросить.

Мэри-Лу (*ее оживление длилось всего пять секунд*). А-а, если только спросить... (*Отворачивается и направляется к выходу.*)

Ник. Если твой муж столь добр, столь терпим, готов тебе все простить...

Мэри-Лу (*остановившись*). То что?

Ник. ...то ты, следовательно, можешь рассказать ему обо мне, не опасаясь, что он тебя приревнует.

Пауза.

Мэри-Лу (*обернувшись и глядя ему в глаза*). Могу.

Ник. Всё?

Мэри-Лу. Всё.

Ник. И расскажешь?

Мэри-Лу. Возможно.

Ник. Значит ли это, что у меня нет никакой гарантии?

Мэри-Лу. Никакой.

Пауза.

Ник. У меня к тебе просьба.

Мэри-Лу (*возвращаясь к нему, оживленно*). Какая?

Ник. Отдай мне мое фото.

Мэри-Лу (*по-прежнему с оживлением, но уже совсем другого характера*). Ну разумеется! Зачем тебе не спать по ночам и потеть от страха. Мне оно ни к чему. (*Отдает ему фотоаппарат.*)

Ник. Только негатив. (*Намеревается вынуть пленку из аппарата.*)

Мэри-Лу. Нет, нет, не нужно, оставь себе всё. То был первый снимок, который я сделала в... Как, собственно, называется этот городишко?

Ник. Народни Збрско.

Мэри-Лу. ...в Народоне Зыбрыско, и хочу, чтобы он был последним.

Ник. Мне очень жаль...

Мэри-Лу. Ничего страшного.

Ник. Я...

Мэри-Лу (*прикрывает ему рот ладонью*). Тсс... Знаю, что ты хотел сказать. Ты хотел сказать: "Не знаю, что и сказать". Не говори этого. (*Отнимает ладонь от его рта.*) И прежде всего — не провожай меня. (*Идет к выходу, останавливается.*) Да, и еще одно. Не стреляй мне в спину, когда я дойду до пристани. Окликни меня, и я обернусь. Смогу еще раз тебя увидеть. Да и для тебя это не лишнее. Иначе никогда уже не увидишь моего лица — это твой последний шанс. Ты же никогда его не видел, ты, великий снайпер. (*Выходит.*)

Пауза.

Ник (*бежит к выходу, останавливается*). Мэри-Лу!

Пауза.

Ник возвращается на середину сцены. Останавливается.

(*Тихо, про себя.*) Мэри-Лу...

Замечает колокольчик, оставленный на полу. Кладет фотоаппарат на пол и берет колокольчик. Подносит его к уху, наклоняет голову и прислушивается, как бы желая услышать шум моря в пустой раковине. Не услышав, несколько раз звонит, с интервалами ударяя язычком о колокольчик, тихо и деликатно. Ставит колокольчик на пол.

Ложится на кровать. Лежит на спине, заложив руки под голову.

Смотрит на часы на запястье. Встает.

Опускается на колени рядом с кроватью и достает из-под кровати продолговатый черный футляр. Открывает его. Достает из футляра винтовку типа "маузер" с оптическим прицелом. Поднимается с колен. Идет на середину сцены, останавливается и передергивает затвор винтовки. Затем смотрит на часы. С винтовкой в правой руке, с часами на запястье левой и теперь уже не спуская взгляда с часов – ждет.

Пауза.

Идет к авансцене до самого края сцены, останавливается и смотрит в одну точку над головами зрителей. Поднимает винтовку к глазу, целится долго и старательно.

Пауза.

Внезапная темнота, одновременно раздается грохот выстрела.

Неборов, июль и октябрь 1998

От автора:

Пьеса "Прекрасный вид" была написана по заказу варшавского театра "Вспульчесны". Работа над ней велась в Неборове, в бывшем дворце князей Радзивиллов, ныне филиале Национального музея. Хозяевам и всем сотрудникам Неборова, как нынешним, так и теням прежних, я низко кланяюсь и благодарю за гостеприимство и заботу.

С.М.

Стихи афганских поэтов

Перевод ТАТЬЯНЫ БЕК

Далекий тенистый Пагман

В начале XX века судьба, казалось, хранила Афганистан от больших бед. В 1919 году победой закончилась недолгая война с англичанами, в конце 20-х простолюдин Бачаи Сакао (Сын Водоноса) без особого кровопролития изгнал короля Амануллу-хана и некоторое время занимал его дворец, пока не прогнали его самого. Больше войн не было, если не считать племенных мятежей и междоусобиц. Бывали землетрясения, засухи, но это не людских рук дела. Не слишком затронула Афганистан и вторая мировая война.

После нее до середины 70-х годов в стране было спокойно. Строились дороги, мосты, водохранилища и оросительные каналы, разбивались новые сады, собирались добывать найденные в горах ценные металлы. Весной афганцы выезжали в предгорья собирать тюльпаны — казалось, каменистые склоны покрыты красными и желтыми коврами. В выходные тысячи кабульцев устремлялись на собачьи бои, в сады, к арыкам. В самое жаркое время многие любили приезжать в тенистый, прохладный Пагман, бывший королевский парк неподалеку от Кабула.

При сложившемся веками разделении труда и власти каждый народ и народность занимались своей работой и имели свою долю в государственных делах. Кто обрабатывал землю, кто перевозил ее плоды, кто ткал ковры, кочевал, торговал, кто служил в армии или по чиновничьей части, кто лечил, кто обучал детей. У каждого народа и народности были свои люди в правительстве, банках, в науке. Министры, послы, генералы, директора, ученые покровительствовали своим землякам во всем, в том числе и в искусстве.

Конечно, Афганистан оставался страной фольклора — сохранившихся в неприкосновенности древних обрядов, песен, танцев. Однако культурная жизнь Кабула 70-х годов была оживленной. В Кабуле были писатели, поэты, художники высокого класса. Признанным мастером слова был остад[1] Халиллула Халили.

И все же где-то тлели угли раздора. В апреле 1978 года разгорелся пожар, пылающий до сих пор. За антиправительственную демонстрацию в Кабуле было арестовано руководство Народно-демократической партии Афганистана, в ответ преданные НДПА молодые офицеры афганской армии свергли власть тогдашнего президента Мухаммеда Дауда. Пролилась кровь, времена покоя кончились, страна покатилась к гражданской войне. За событиями наблюдали извне многие заинтересованные силы, которые поддерживали и поддерживают сегодня ту или иную сторону в этой войне. И после ухода советских войск до сегодняшнего дня в Афганистане продолжается небывалое саморазрушение — никаких вестей, не считая военных, оттуда не поступает. К ним добавляются вести о землетрясениях.

Но, несмотря ни на что, жизнь в стране продолжается. Афганцы писали и пишут стихи на пушту, дари и других языках. Некоторые из них оказались в эмиграции в Иране, Франции, Италии, Америке, в лагерях беженцев в Пакистане. Среди таких вынужденных скитальцев был и Халиллула Халили, не только знаменитый персоязычный поэт, но и автор многих научных трудов по истории и культуре Афганистана. Кроме того, за свою долгую жизнь (он родился в 1905 году) остад Халили не раз занимал высокие посты — в 70-х годах был послом Афганистана в

© Т. Бек. Перевод, 2000
© Д. Рюриков. Вступление, 2000

1. Мастер, учитель.

Саудовской Аравии и других арабских странах. После апрельских событий 1978 года он жил некоторое время в Америке, потом переехал во Францию, а последние годы провел в Пешаваре (Пакистан), где и умер в 1987 году. Его стихи переводились на русский, узбекский, турецкий и ряд других восточных языков. Два последних сборника его стихов вышли в Пакистане и Иране.

В Пакистане, как и сотни тысяч его соотечественников, живет и поэт более молодого, чем Х. Халили, поколения — Мухаммед Асеф Самим, пишущий на пушту. Там выходят его стихотворные сборники и исследования по классической и современной пуштуязычной литературе. Оба поэта — Халили в классической форме, Мухаммед Асеф Самим в форме верлибра — пишут о бедах своей родины, о непрекращающемся кровопролитии и теперь уже далеком тенистом Пагмане.

Дмитрий Рюриков

Халиллула Халили

С языка дари

Четверостишия

1

В сердцевине атома мудрый видит мир,
Различая звезды, солнце, небосклон...
Нынешний ученый абсолютно слеп:
Видит в недрах атома только трупы он.

2

Старцев всегда окружает большой почет,
Не потому что раньше на вздох они появились тут,
Но оттого что, почета вкусив, они
Раньше на вздох из этого мира уйдут.

3

О глины кусок, откуда гордыня твоя?
Взгляни на себя однажды: да что ты есть?
Две чашки крови и жалкая горсть костей —
То скрытность глухая, то нараспашку весь.

4

Жалко, что жизнь по природе своей трагична,
Слезы из глаз, а на сердце — без краю тоска...
Либо насилье насильника претерпевать ежедневно,
Либо насиловать слабого и бедняка!

5

Жизни цветник уделил тебе только колючки:
Боль, и злосчастье, и горьких обид клубок...
Лишь расцветало желанье — печаль его ела:
Вот что останется, коль подвести итог.

6

Даже безгрешно-чистый знает ошибок муть:
Путается, страдает, тонет во тьме бездонной...
Каждый из нас — как белой бумаги лист,
Карандашами цветными весь испещренный.

7

Нищий нашел лепешку, а его ребятенок
Халат откопал на свалке — и, знаете, сей момент
Сравним по блаженству с мигом, когда победитель-воин,
Армию возглавляя, целый взял континент!

8

Злые честолюбцы сбились сворою
И давай людей по-волчьи грызть —
Тыщи жизней затоптав и выбросив,
Дабы ублажить свою корысть!

9

Уничтожить человечество — это, мол, и есть политика.
Это, дескать, философия — испоганить мир дотла.
О, во имя добродетели сколько заговоров создано,
Сколько разума потрачено на преступные дела!

10

Несколько злобных, глупых и недостойных лиц
Сделали мир похожим на беспредельный ад...
Дабы прославить имя лишь одного из них,
Мокла в крови до нитки наша земля стократ.

11

Источник счастья, мне живящий душу,
Откуда ты, могучий и немой, —
Как слезы, мною пролитые втайне,
О тихий мой, о безголосый мой?..

12

Высшее счастье в мире — дружеская беседа.
Смерть меня ужасает тем, что в разлуке — друзья.
Но и земля сырая станет нам общим кругом,
И посему от жизни смерть отделить нельзя.

13

О ветерок предутренний, как там, скажи, Пагман?
В добром ли настроении юный цветок в саду?
Что там пьяная, бурная, бешеная река:
Мечется иль успокоилась — с миром опять в ладу?

Когда б судьба мне юность воротила,
Тебя б в объятьях стиснул я, моля
О том, чтоб грани не было отныне
Меж нами, ненаглядная моя...

Мухаммед Асеф Самим

С языка пушту

Кабул

Сердце Кабула
Обезлюдело и опустело.
Точно
Во имя великой цели
Вытекла, испаряясь, из сердца
Влага —
По слезинке,
По капельке.
...Превращаясь в водоворот кровавый.

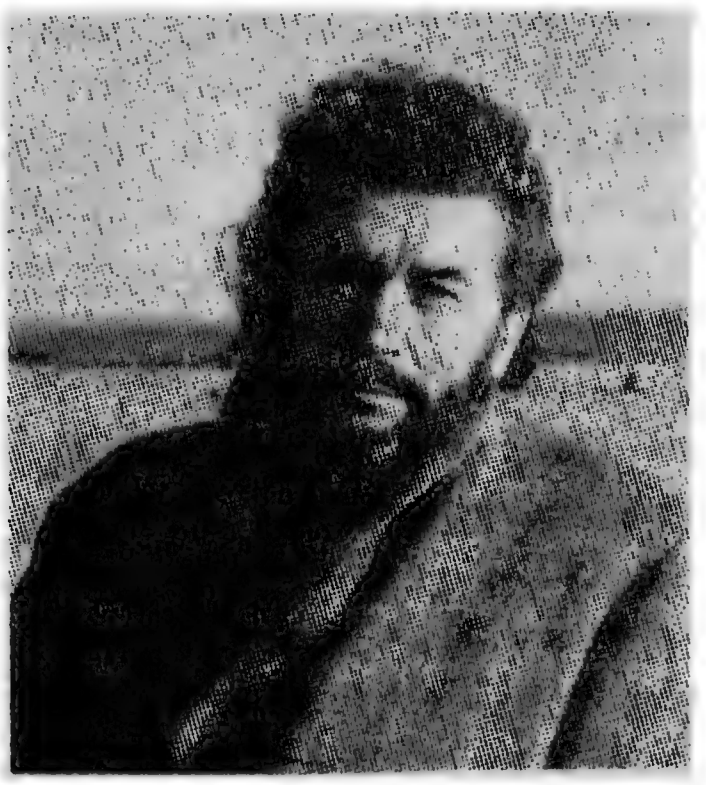
Начало и конец

В мир пришел.
Был малышом.
Стал молодым.
Многое понял —
Одного лишь не понял:
Зачем пришел?
Бреду...
Но что мною сделано
И с чем иду?

Красный Кабул

Красный Кабул.
Зеленый Кабул...
Кабул, пока был красный,
Весь
        был
                зеленым!
Но, стоило стать зеленым,
Покраснел настолько,
Что красные изумились.

Ален Роб-Грийе



Анжелика, или Чары

Фрагмент книги

Перевод с французского Ю. РОЗЕНБЕРГ

Принимая летом в нашей редакции Алена Роб-Грийе, знаменитого "отца нового романа" (хотя Набоков и утверждал в одном из интервью, вошедшем в книгу "Сильные мнения", что никакого "нового романа" нет, а есть один великий французский писатель — Роб-Грийе), мы попросили его рассказать о своей автобиографической трилогии "Романески", в которую входят книги "Возвращающееся зеркало" (1985), "Анжелика, или Чары" (1988) и "Последние дни Коринфа" (1994).

"Я пишу потому, что не понимаю, кто я есть. Филипп Лежён[1] говорит, что нельзя браться за автобиографию, если не понимаешь смысла прожитой жизни. По-моему, это абсурд. Я потому и пишу, что не понимаю, иначе мне было бы неинтересно. Лежён говорит: писатель имеет право ошибаться, но не имеет права лгать. Однако сознательно лжет только тот, кто верит, что тут может существовать некая истина. Если же я не понимаю, кто я, и не знаю правды о себе, то не могу и знать, лгу я или не лгу.

В "Возвращающемся зеркале" есть такая фраза: "Если бы я мог понять, кто такой Анри де Коринф, я бы мог объяснить и кто я". Это программная фраза. Человек по имени Анри де Коринф существовал на самом деле, но в моих книгах это образ, вымышленный от начала до конца. Он нужен мне, чтобы строить повествование. Могу пояснить это на чужом примере. Однажды сын Маргерит Дюрас нашел старый альбом с фотографиями времен Индокитая, где ей лет четырнадцать-пятнадцать. Он предложил фотографии издателю, который выпускает фотоальбомы. Тот сказал: "Если там будут одни фотографии, никто не будет поку-

© Les Éditions de Minuit, 1987
© Ю. Розенберг. Перевод, 2000. Полный текст перевода готовится к публикации в научно-издательском центре «Ладомир».
© И. Кузнецова. Вступление, 2000

1. Филипп Лежён — французский писатель и критик, на протяжении многих лет занимающийся проблемами автобиографии. Его статьи готовятся к печати в одном из ближайших номеров «ИЛ», посвященном французской документальной прозе. (*Прим. автора.*)

пать. Пусть Маргерит Дюрас напишет к ним текст". Маргерит смотрит на фотографии и пишет огромный текст. Издатель снова отказывается: "Твоя мать ненормальная. Я просил подписи к фотографиям, а она накатала сто страниц". Потом книга попадает к нам, в издательство "Минюи", Жером Лендон, глава издательства, ее читает и восторгается. "Будем печатать, только вот фотографии ни к чему, они здесь лишние". Но любопытно вот что. Когда Дюрас разбирала эти фотографии, она вдруг сказала: одной не хватает. Идея в ее духе: отсутствующая фотография, вокруг которой строится все. И вот появляется вымышленная фигура — китаец-миллионер в роскошной машине с опущенными шторками. И вся книга выстраивается вокруг этого иллюзорного центра. Так стоит ли затевать полицейское расследование: был ли китаец и т. д.?

Я думаю, что не только имею право, но и попросту должен лгать, рассказывая о себе. Лишь с помощью вымысла я могу приблизиться к чему-то подлинному. Между прочим, сам по себе этот факт тоже воссоздает некую реальность, мою собственную. И если бы мне предложили назвать образцовую автобиографию, я бы назвал "Замогильные записки" Шатобриана, где нет ни слова так называемой истины, а книга великолепна! Я нахожу идеи Лежёна интересными, но они прямо противоположны тому, что думаю я сам.

Вообще-то мои романы не бестселлеры, а, так сказать, "лонгселлеры". Но к "Возвращающемуся зеркалу" успех пришел почти сразу, и этим книга обязана своей автобиографической части — истории моего детства, моей семьи. Семья у меня была довольно колоритная и необычная: очень бедная, но при этом крайне правых взглядов. Все привыкли, что бедные — всегда левые, а богатые — правые. А тут наоборот. Для широкой публики такие вещи гораздо интереснее, чем мои литературные теории. В биографическом плане каждый из томов трилогии охватывает какой-то определенный период или определенную сторону моей жизни. В "Зеркале" — это детство, отрочество, война. В "Анжелике" — мои сексуальные влечения, довольно... шокирующие. В "Последних днях Коринфа" — история "нового романа", моя работа в издательстве "Минюи", отношения с писателями. Вымысел от тома к тому приобретает все большее значение. В "Анжелике", например, он преобладает, и иногда кажется, будто война 1914 года происходит в каком-то заколдованном лесу из бретонских легенд о рыцарях Круглого стола.

Вся моя трилогия построена, в сущности, по тому же принципу, что книга Пруста "Против Сент-Бёва", где переплетаются автобиография, вымысел и суждения о литературе. У меня тоже три пласта: автобиографический, художественный и, условно говоря, теоретический, где я размышляю о кино, о литературе.

Выбирая фрагмент для журнальной публикации, вы, разумеется, можете взять его из любого пласта. Но мне хотелось бы, чтобы в нем была смесь всех трех".

И. Кузнецова

ВУЗОРАХ на окружающих меня неживых, неподвижных предметах мне вечно чудятся человеческие лица: они медленно проступают, формируются, постепенно обретают четкие очертания, затем на краткий миг застывают, а потом начинают пристально смотреть на меня и корчить рожи. Но, как мне сказали, в подобной предрасположенности моего сознания и взгляда нет ничего необычного, практически каждый ловит себя на том, что распознаёт в прожилках и узловатых узорах древесины (на дубовых дощечках паркета, на каповом на-

росте секретера или бюро из вяза, на запятнанной чернилами столешнице орехового письменного стола) или в паутине трещинок на потолке, шелушащемся лепестками сероватой штукатурки над высокими окнами, но чаще всего – в переплетении цветочных гирлянд на обоях, когда-то красивых и ярких, а теперь выцветших и поблекших, на стенах моей погружающейся во мрак грядущей ночи комнаты то явственные очертания носа с горбинкой, то тонкие усики, то замечает направленный на себя взгляд глубоко посаженных глаз, правда расположенных несколько асимметрично на воображаемом лице, или видит сведенный судорогой рот, кривящийся то в мучительном крике, то в жутком хохоте, то раздираемый зевотой, то искаженный горестной складкой или гримасой отчаяния. Ибо те лица, что различает каждый из нас, никогда не бывают обычными человеческими лицами, нейтральными и спокойными, нет, всегда или почти всегда мы имеем дело с лицами в высшей степени экспрессивными, взирающими либо прямо на нас, либо обращенными к нам вполоборота, реже в профиль, – лицами столь своеобразными, странными, что они наводят на мысль об уродцах с провинциальных ярмарок, о жертвах войны, изуродованных "огнем и мечом", просто о карикатурах из какой-нибудь газетенки. Однако выражение этих лиц таит в себе некоторую двойственность и может быть истолковано совершенно различно, в зависимости от времени суток, освещения или настроения человека, их рассматривающего.

Иногда мне удается определить, чей лик проступает в сплетении трещин на потолке или узоров на обоях: то это знаменитый артист с очень характерными чертами лица; то политический деятель, долгое время служивший мишенью для атак падкой на скандалы прессы; то кто-то из моих родственников или друзей, близкий знакомый, человек моего круга. Иногда, правда очень-очень редко, в переплетении листьев и неясно очерченных соцветий вдруг робко проступает волнующий улыбчивый ротик хорошенькой девушки, почти неуловимый, зыбкий, готовый вот-вот исчезнуть среди столь же зыбких, смазанных, дрожащих контуров гирлянд и букетиков, полустертых временем, выцветших, как бы подернутых дымкой, в особенности в тех местах, куда попадает дневной свет и где солнечные лучи уже почти разрушили старинный, можно даже сказать древний, узор, например вон там, слева от письменного стола из темного узловатого ореха, за которым я обычно сижу, склонив голову набок, и на разбросанных в беспорядке черновиках пишу чуть подрагивающей рукой имя Анжелики... Почему это имя все еще преследует меня? Почему, ну почему ты покинула меня, мой маленький огонек, и оставила одного, озябшего и оцепеневшего то ли от холода, то ли от горя, одного под потоками дождя и порывами ветра?

Тени умерших проносятся быстро, подстегиваемые налетающим шквалом, они проносятся на серых скакунах изорванных в клочья туч по зыбкому, постоянно меняющему цвет небу – небу близкой весны, первой, которая станет и последней. Тени умерших проносятся быстро. Они следуют друг за другом непрерывной вереницей. Когда-то их звали Ивейн, Тристан из Леонуа, Парсифаль, Ланселот Озерный, король Артур... Они несутся галопом, подпрыгивают в плохо закрепленных седлах, рискуя в любую минуту свалиться с коней, ибо их тела, закованные в блестящие латы, то опасно отклоняются назад, то резко клонятся влево, то столь же резко вправо. В любую минуту можно ожидать, что перед твоими глазами возникнет ужасная картина: сброшен-

ный с седла рыцарь в грохочущих доспехах, рыцарь, чья нога так и осталась в стремени, бьется головой о землю, а его обезумевший скакун несется с уже неживым седоком по полям и лесам... Судьба Мазепы и королевы Австразии Брунгильды[1]... Но эскадрон призраков продолжает свой путь, уносимый западным ветром, что порывами налетает в течение уже трех дней. За первым эскадроном вскоре появляется и второй, в котором я узнаю Ричарда Глостера, Гламисского тана Макбета, Йозефа К., Сарториса, Ивана Карамазова и его брата Дмитрия, Бориса — цареубийцу и узурпатора, Эдуара Маннере[2], Николая Ставрогина... За ними следуют и другие тени. Потоки воздуха и порывы ветра то и дело разрывают на части этих бурно жестикулирующих облачных марионеток, скручивают их, треплют, как флаги на полях сражений, рассеивают, чтобы из этих клочков и лохмотьев создать новые кавалькады призраков.

Прямо внизу, между оголенными ветвями выстроившихся в четыре ряда толстых буков, образующих весьма внушительную подъездную аллею, возвышается Черный дом[3], освещенный призрачным, пронизанным предчувствием близкого ненастья светом конца зимы, предвесенья. Он возвышается как нечто бесполезное и неколебимое, стойкое, прочное, похожий, пожалуй, на стоящий у мола старый военный корабль, лишенный пушек и парусов, на который обрушиваются столь же упорные, как и он сам, волны. Корабль, на который все падает и падает снег: снег детства и детских страхов, снег сновидений и грез, снег столетий, снег вечности, снег воспоминаний. Я припоминаю, что после выхода в свет моего романа "В лабиринте", первого из моих романов, за которым в большой печати признали некоторые достоинства, Ролан Барт, напротив, упрекал меня в том, что я уделил слишком большое внимание этому назойливому снегу, медленно засыпавшему городок, осажденный противником после поражения в битве при Рейхенфельсе, той самой, в ходе которой подполковник де Коринф, как я уже имел честь вам рассказывать, отличился и прославился, из удальства прогарцевав на виду у неприятеля во главе своих драгун. Как утверждал Барт, чрезмерная "прилагательность" этих снежинок и хлопьев, неумолимо обволакивавших саваном обезлюдевший городок, сообщала им метафоричность, каковую мы с ним незадолго до того дружно осудили, ибо она влечет за собой образование на любой вещи или предмете своеобразной липкой корочки, которая в итоге лишает их наглядности и даже реальности.

Сегодня, как и прежде, я ничего не описываю, если не вижу явственно свой объект, если он не предстает перед моим внутренним взором почти материально. Вот так превращается в нечто вечное сейчас, в эту минуту, размеренное, монотонное падение белых неосязаемых пятнышек: они движутся сверху вниз, все с одинаковой скоростью, безмятежно, спокойно, как будто чья-то невидимая рука разбрасывает их по поверхности театрального занавеса, еще только создаваемого другой невидимой рукой, которая мягко и бесшумно движет уток с нитями, на-

1. Брунгильда (ок. 534–613) — франкская королева, с 575 г. фактически управляла Австразией. Потерпев поражение в борьбе с королем Нейстрии, подверглась жестокой казни: ее привязали к хвосту необъезженной лошади. *(Здесь и далее – прим. перев.)*
2. Борис, Эдуар Маннере — персонажи романов А. Роб-Грийе.
3. Так А. Роб-Грийе называет дом своего детства в Бретани.

правляя его откуда-то сверху, из-под колосников, находящихся вне поля зрения. Однако довольно толстый слой снега, покрывающий безлюдный пейзаж, притихшие пустые улицы, палубу покинутого экипажем судна, мой письменный стол, несмотря на бесконечное падение снежинок, почему-то почти не увеличивается.

Два прилагательных с первых страниц так и просятся на кончик пера: "зыбкий" и "чрезмерный". Я уже употреблял их. И произошло это отнюдь не случайно и отнюдь не из-за преступного недосмотра. Чрезмерность эффекта присутствия, когда предметы словно застывают, замирают на миг (этот снег, что падает сейчас, неподвижен, он как бы завис над зимним пейзажем в рамке окна — пустого кадра, чистого экрана, белой страницы), может сравниться в своей обманчивой ясности только с зыбкостью связей, объединяющих картины и образы между собой — образы странствующих рыцарей или затонувших кораблей, — чтобы придать этим картинам и образам некие возможные случайные значения, впрочем постоянно подвергаемые сомнению, ибо они похожи на хлопья пены, что выносит на берег волна, приподнимает на мгновение и грозит тотчас же поглотить, настолько они хрупки, мимолетны и зависят от прихотливой игры случая.

Итак, снова Черный дом после настоящего потопа из мокрого, полурастаявшего снега. Облака быстро несутся с запада на восток, и само небо словно расколото, разбито на мелкие куски: темные, очень темные тучи со свинцовым отблеском чередуются с сероватыми просветами, озаренными по краям золотистым сиянием. В свете этого промокшего и продрогшего предвесенья все предметы открывающейся моему взору картины поблескивают как-то уж слишком ярко, даже подозрительно: порыжелые прошлогодние листья, почти неповрежденные, с четкими контурами, образуют плотный мокрый ковер на земле по обе стороны от центральной аллеи, раскисшей до состояния жидкой грязи, где каким-то чудом сохранились отпечатки лошадиных копыт; замерзшие капельки превратились в хрустальные подвески на стеблях уцелевших кое-где злаков, иссушенных зимними холодами и согнутых в дугу, и, наконец, надо всем возвышаются голые, воздетые вверх ветви огромных старых буков, находящихся сейчас как раз против света, так что каждая чернильно-черная ветвь этой сложной запутанной системы не теряется, а подчеркивается особо.

Там, в глубине, мрачный фасад большого дома кажется еще более темным, он буквально размок от потоков воды, придающей влажному граниту угольный оттенок, отчего еще отчетливее выделяются на втором этаже высокие окна, словно подобия разбитых зеркал, чьи шероховатые стекла отражают блики, отбрасываемые изменчивыми, лохматыми тучами, и сами посылают им свои собственные. Отчасти это похоже на то, как будто "кони бледные" нападают или светлые волосы развеваются, улетают в поднебесье и там исчезают. Но внезапно, во время краткого интервала между двумя просветами, небо перестает отражаться в оконных стеклах и уступает место тому, что находится за стеклом, то есть в глубине одной из комнат, и в окне появляется лицо мужчины — тонкие усики, нос с горбинкой, глубоко посаженные глаза, — в котором припозднившийся гость без труда, несмотря на приличное расстояние и искаженные оконным переплетом черты, узнает суровый, строгий, даже жесткий лик Анри де Коринфа, застывшего у окна и словно подстерегающего кого-то или настороженно ожидающего чего-то.

Граф Анри, видимо, встал из-за письменного стола, чтобы взглянуть, что творится в природе и какова погода, не находя себе места от тревоги и нетерпения, в надежде увидеть в конце аллеи приближающегося курьера с известием, которого ждут сегодня вечером. Однако взгляд его, похоже, обращен вовсе не вниз, на грязную, раскисшую центральную аллею, а вверх, к столь похожим на призрачных рыцарей облакам, проносящимся там, в вышине, с развернутыми стягами и штандартами и с развевающимися длинными волосами. Потом граф обращает свой взор на рассыпанные по всей поверхности письменного стола бумаги, белые прямоугольники обычного формата, сплошь испещренные записями, сделанными тонким почерком. Записи велись ручкой с черными чернилами и изобилуют помарками и подчистками. Это черновики рукописи, работе над которой он в течение долгих лет посвящает бóльшую часть своего свободного времени. Единственный экземпляр этой рукописи, окончательный вариант ее, уничтожит впоследствии, при невыясненных до сих пор обстоятельствах, известный парижский издатель (как я уже сообщал в первом томе этих мемуаров), вынудив таким образом наследников предпринять весьма тяжкий труд, с сомнительной надеждой на успех, по восстановлению рукописи на основе разрозненных и противоречивых отрывков, незаконченных и очень многочисленных, однако их изобилие отнюдь не гарантирует, что в них есть все необходимые части и детали, напротив, именно эта множественность и таит в себе опасность утраты важных подробностей, а то и основополагающих фрагментов.

Рядом с письменным столом, покрытым разбросанными в беспорядке листками, образующими кое-где довольно плотный ковер, возвышается массивный зеркальный шкаф, и в его зеркале отражаюсь я сам, столь плохо различимый в полумраке комнаты, что мне в первый момент даже кажется, будто в противоположном углу я вижу какого-то незнакомца, чужака, бесшумно и незаметно проникшего ко мне, пока я стоял повернувшись лицом к окну. Кстати, когда любой посетитель впервые видит гладкие, сложенные из плотно пригнанных друг к другу серых гранитных плит стены моей усадьбы, простые, лишенные всяких украшений и излишеств, он, с какой бы стороны ни приблизился к массивному сооружению, бывает поражен его видом, причем главным образом из-за очень высоких окон, через которые во внутренние помещения должно было бы проникать вполне достаточное количество света. Таково, по крайней мере, первое впечатление посетителя. Но как только он оказывается внутри, входит в одну из комнат или служб, так тотчас же бывает, напротив, поражен полумраком, что вечно царит здесь даже днем, даже в хорошую погоду, даже в те весенние дни, когда стоящие совсем близко к дому буки еще не покрылись листвой.

Долгое время я полагал, не отдавая себе в том отчета, что название "Черный дом" происходит именно из-за того, что почти все комнаты были постоянно погружены в какой-то необъяснимый полумрак, за исключением небольшого пространства, непосредственно примыкающего к окнам, хотя и внушительным с виду, но в общем-то бесполезным именно из-за того, что свет через них почему-то не проходит. Теперь я склоняюсь к убеждению, что речь здесь скорее идет о приблизительном переводе местного названия, звучащего по-бретонски как "Ker an dû", встречающегося у нас довольно часто и обозначающего скорее "Дом черного", то есть жилище либо действительно черного человека, либо

человека злого, либо обиталище какой-то темной силы. Кстати, в данный момент мое собственное лицо и фигура испытывают на себе влияние удивительного эффекта черноты, ибо из темных глубин зеркала только что проступило именно мое изображение (каковое меня удивило своим неожиданным присутствием и непривычным видом; ибо я увидел себя стоящим под иным углом, чем привык себя видеть обычно). Да, из темных глубин зеркала, занимающего всю ширину одностворчатой дверцы (к тому же в виде исключения приоткрытой) большого, тяжелого, массивного шкафа, сделанного местным краснодеревщиком еще для моего прадеда Марселена Перье из обломков ценной древесины, выброшенных на берег после кораблекрушения, только что проступило мое лицо.

Я подхожу к шкафу, чтобы притворить дверцу, обычно поскрипывающую в конце этой процедуры, и таким образом получаю возможность рассмотреть себя получше, с близкого расстояния, причем я могу рассматривать свое отражение, проступающее из мрачных глубин зеркала, сколько мне хочется, в свое удовольствие. Густые растрепанные черные кудрявые волосы, в которых едва начала пробиваться седина, скрывают лоб почти по самые глаза (какого-то неопределенного цвета, цвета бурых морских водорослей). Правда, своеобразной преградой, отделяющей кудри от глаз, служат густые мохнатые брови, изломанные домиком, причем непокорный длинный пучок волосков правой брови как-то залихватски поднимается к виску, что придает моему лицу такое же выражение, какое можно увидеть на японских эстампах у корчащих грозные рожи самураев. Усы и большая, тоже довольно густая борода, где седины совсем немного, меньше, чем в шевелюре (кроме одного четко очерченного посеребренного участка, подчеркивающего линию подбородка слева), скрывают почти все остальные части лица, и из этой буйной растительности торчит очень заметный нос, выпуклый, с большой горбинкой, доставшийся мне от матери и фигурирующий в семейных преданиях под названием “нос Перье”.

Семейная летопись хранит также краткое изложение истории, связанной с паспортом, который моя мать выхлопотала себе, чтобы отправиться в начале тридцатых годов в Марокко (ее многодневное путешествие по железной дороге через весь неизвестный ей юго-запад Франции, Пиренеи, Испанию и Гибралтар были в наших глазах тогда подвигом первооткрывателя), и все это она проделала для того, чтобы провести несколько дней с закадычной подругой, переместившейся вместе со своим зубоврачебным кабинетом из Бреста в Рабат и оплатившей матери билет на поезд. “Нос с горбинкой, резко выступающий, глаза желтые” — гласила запись в официальном документе, и эта отнюдь не льстившая внешности матери формулировка была тотчас же раз и навсегда принята папой на вооружение, ибо ему казалось, что она наилучшим образом описывает демоническую хищную птицу — образ, который он охотно приписывал супруге в бурных комических сценах, изображая, будто боится ее.

Время от времени, когда я ощущаю необходимость — для “выхода в свет” или для встречи с кем-либо — привести в порядок свою внешность, которой я обычно придаю мало значения, я высвобождаю из волосяного плена губы (асимметричные, как у отца), прибегая всякий раз к помощи ножниц и бритвы, а также оголяю верхнюю часть щек, над

скулами и чуть ниже. Но сейчас, надо признать, я пренебрегал этой скучной и неприятной обязанностью на протяжении более чем трех недель, как это часто со мной случается, когда я живу в одиночестве за городом и только пишу или работаю в саду. В те дни, когда я все же совершаю эту процедуру и смотрю на свежевыбритые участки лица, которые у обычного человека гладко выбриты всегда, я отчетливо различаю слева под нижней губой маленький шрам, оставленный мне на память чехословацкой полицией, — тонкую искривленную линию разрыва тканей, произошедшего от ударов кулаками, трещину, похожую на разлом горной породы, пока еще не слишком заметную, но становящуюся все более явной с возрастом.

Все с той же левой стороны как раз под скулой я различаю след от другой раны, который долгое время был очень ярким: этим шрамом я обязан уху деревянной лошадки, полвека тому назад буквально проткнувшему мне щеку, но этот шрам бледнеет год от года и вскоре, наверное, исчезнет совсем. Однако я полагаю, что эти подозрительные отметины и шрамы на моем лице будут все менее и менее различимы по мере того, как будут увеличиваться и темнеть коричневатые пятна, являющиеся признаком старости, похожие на те, что холодная осень оставляет на листьях кустов роз. Я стал отращивать бороду несколько месяцев спустя после скандального случая в Братиславе, примерно в то время, когда должен был выйти или вышел "Проект революции в Нью-Йорке", и сделал я это по совету Катрин[1], которая находила, что у меня вялое, мягкое лицо рохли и размазни, лишенное значительности, силы и обаяния, не привлекающее внимания и, наконец, просто нефотогеничное, а ведь для писателя в наши дни это, согласитесь, изъян немалый и весьма досадный.

Прежде у меня были небольшие усики, которые мне самому казались, пожалуй, скорее смешными, но с которыми я бы не расстался ни за что на свете из-за некоего фетишистского предрассудка: дело в том, что я ни разу их не сбривал с тех самых пор, когда у меня на губе появился первый пушок, а случилось это в самом начале "странной войны". В то время мне было семнадцать, у меня были слишком длинные, вечно взлохмаченные ветром волосы, ибо каждое утро мне приходилось проделывать довольно утомительный путь по крутым каменистым тропинкам, а потом по отполированным временем булыжникам и гранитным плитам улочек от долины Керангофф до лицея в Бресте. Путь был и в самом деле неблизкий: полчаса бегом, так как времени у меня всегда было в обрез, под дождем, при норд-весте, дувшем порой с такой силой, в особенности в районе старого разводного моста, что его подвижные части дрожали, сотрясались и расходились в стороны, хоть и на мгновение, но все же этого было достаточно, чтобы испытать острое чувство тревоги, ибо металлические зубцы сцепления, обычно глубоко погруженные в асфальт, вдруг превращались в какие-то движущиеся ступени, а порой между ними даже образовывалась дыра, пустота, через которую было видно, как внизу, в нескольких десятках метров, плещется вода между выстроившимися в ряд миноносцами. Кажется, я уже где-то писал об ощущении разверзавшейся под ногами пропасти с зыбкой, вечно волнующейся толщей воды, но уже не помню, где именно, быть может, в "Резинках".

1. Жена А. Роб-Грийе.

Когда большой мост бывал закрыт из-за слишком сильного шторма или в момент разведения (кстати, его очень медленно действовавший механизм вручную приводили в движение матросы, числом около дюжины, которые с превеликим трудом вертели тяжелые кабестаны), нам приходилось спускаться к самому берегу и переходить реку по так называемому "малому мосту", состоявшему из соединенных цепями плотиков, а затем взбираться по крутому склону противоположного берега на самый верх прибрежных утесов, где и был нашими предками возведен город; разумеется, приходилось нестись во весь дух, чтобы наверстать упущенное время. Мне теперь представляется, что мои еле-еле пробивавшиеся усишки только усиливали впечатление неухоженности, небрежности, растрепанности и растерзанности, коими веяло от моей физиономии и вообще всей фигуры, ибо мои приятели из выпускного класса математического лицея прозвали меня Распутиным (сокращенно – Распу), и сейчас это мне особенно смешно, потому что воздушная, вся какая-то прозрачная Ариэль Д. только что предложила мне сыграть Распутина в фильме, для которого она пишет сценарий.

А почему бы и нет? Значит, находятся люди, видящие меня в этом дьявольском обличье, в то время как сам я считаю себя человеком веселым, улыбчивым, сдержанным и осмотрительным. Разумеется, я знаю, что у меня чувственное лицо, толстогубый рот, нос с горбинкой да еще с большими открытыми ноздрями, – но я гораздо ближе к какому-нибудь крестьянину из Оверни, кутиле и гуляке, любителю плотских наслаждений, чем к одержимому бредовыми идеями прорицателю-фантазеру, к тому же явно помешанному. Я готов на худой конец согласиться на сходство с Омаром Шарифом в роли доктора Живаго, особенно заметное на фотографии, часто появляющейся в газетах, где я на фоне моря на Лонг-Айленде, закоченев от стужи, под самое Рождество, стоически позирую для какого-то агентства, кутаясь в шубу с огромным воротником.

Помню, как один молодой красивый актер, пародируя письма с отказами, которые он, видимо, часто получал и в которых режиссеры ссылались на его "амплуа", послал мне (или, как он выразился, вернул) увеличенную копию с фотографии, сделанной в Тунисе во время съемок "Эдема"[1], где моя физиономия в роли старого, утомленного жизнью и трудами феллаха выглядела еще более впечатляюще из-за изломанных или вообще выбитых за несколько месяцев до того в кровавой стычке в Словакии передних зубов. К этой фотографии он приложил письменный категорический отказ в роли, на которою я якобы претендовал: в письме сообщалось, что режиссер "представляет себе Гамлета более юным, светловолосым, гораздо менее восточным, короче говоря, более близким к типу арийца". В другой раз мне вполне серьезно предлагали роль философствующего клошара, валяющегося на скамейке в метро рядом с литровой бутылью дешевого вина.

Именно в облике "одержимого бредовыми идеями прорицателя-фантазера" предстал Анри де Коринф перед английским репортером в Вене, когда тот брал у него интервью вскоре после аншлюса. Таково точное выражение, употребленное журналистом в статье в "Манчестер гардиан", которая до сих пор остается для всех нас самым правдивым и достоверным свидетельством, относящимся к этому тяжелому и смут-

1. «Эдем и после» – фильм А. Роб-Грийе.

ному периоду жизни графа. Журналист, кстати, сравнивает Анри де Коринфа с преподобным Хайтауэром[1], стоящим у окна в сгущающихся сумерках и дожидающимся момента, когда яростная волна кавалеристов выплеснется на главную улицу Джефферсона, чтобы самому поджечь склады с боеприпасами генерала Гранта.

Все, кто был с ним в дружеских или приятельских отношениях в те годы, неотвратимо ведшие мир к войне, хотя об этом никто не подозревал, приписывают Анри де Коринфу противоречивость как в действиях, так и во взглядах и сходятся на том, что он пребывал во власти "непоколебимого безумия", "постоянного взрыва", как бы предшествующего мучительно ожидаемой катастрофе, а говоря проще, все сходились во мнении, что драматическая напряженность его лица, глаз (неопределенного цвета, но столь глубоко посаженных, что они из-за этого казались черными), застывших черт некогда подвижного, живого лица, широких плеч, всегда как-то странно устремленных вперед, как будто он сильно сутулился, и нервных рук, судорожно сжимавших подлокотники кресла, возвещала неизбежность того грозного "теперь", коему было даровано бессмертие самой Историей и которое словно окаменело с незапамятных времен, и роднила его с выпавшим из времени героем фолкнеровской эпопеи.

В неистовых речах, что обрушивал на ошеломленных слушателей в те годы Анри де Коринф, речах, произносимых невозмутимым, очень тихим голосом, низким ("мрачным", как пишут в своих воспоминаниях те, кто его видел и слышал лично), одновременно и страстным и отстраненным, почти механическим, нейтральным, как бы вызванным к жизни незамутненной, чистой объективностью глубокомыслия, голосом то ли мудреца, то ли сверхчеловека, он часто, по свидетельству слышавших его, говорил о роли Нибелунгов в знаменитой тетралогии Вагнера, причем суждения его были весьма неортодоксальны, и такая трактовка была в его устах тем более удивительна, что его подозревали в достаточно сильных симпатиях к режиму национал-социалистов. Я попробую изложить эту теорию хотя бы в основных чертах, не вдаваясь в туманные подробности и пророческие предсказания, коими он перегружал ее.

Итак, по мнению Анри де Коринфа, первое преступление против Природы совершили представители расы богов: первым покусился на нее Вотан[2], отломивший сук от мирового древа, чтобы сделать себе копье. Древо от нанесенной раны стало медленно умирать. Но преступление бога богов несмотря ни на что имеет определенное положительное значение, ибо копье олицетворяет собой атрибут мужественности, мужского начала, которое и должно отныне обеспечивать Порядок и Закон. Однако раса богов осудила таким образом самое себя на вечные сомнения, на утрату прежней силы и в конце концов на близкую гибель, ибо ни один из природных законов не сможет действовать, если зачахнет и умрет сама Природа. Тогда великаны пожелали воспользоваться упадком богов, ставших обидчивыми, злыми, неуверенными в себе, вероломными; разумеется, гиганты возмечтали о том, чтобы захватить верховную власть и править миром; однако великаны были не только сильны, как динозавры, но и столь же глупы, они не понимали, что будут

1. Пастор Хайтауэр – персонаж романа У. Фолкнера «Свет в августе».
2. Верховный бог в мифологии континентальных германцев, соответствующий Одину в скандинавской мифологии.

существовать лишь до тех пор, пока будет сильна Природа, ибо они в свой черед не смогут жить и процветать без нее. Великаны являлись, пожалуй, последней метастазой раковой опухоли, поразившей больной лес, и их противоестественная, уродливая громадность, какая-то нечеловеческая, почти растительная, сама по себе была знаком упадка и вырождения.

Чтобы покончить с великанами, Вотан создал расу героев, и им, рожденным на свет в результате лжи и прелюбодеяния, предстояло восстать против законов и вскоре освободиться, в теории по крайней мере, и от Природы, и от богов. Ошибка Вотана заключалась в непонимании того, что абсолютная генетическая безупречность героев, в которой к греху прелюбодеяния добавилось еще и кровосмешение, осуждала их на беспредельную глупость. Что касается кровосмешения, то возьмем, к примеру, хотя бы Зигфрида: он является дважды внуком Вотана, по отцу и по матери, ибо они в действительности были братом и сестрой; к тому же он женился на валькирии, которой доводился племянником, ибо Брюнхильда приходится его двоюродному деду дочерью — незаконнорожденной, произведенной на свет тоже в результате супружеской измены, — и таким образом Зигфрид становится своему деду еще и зятем. Вырожденческое простодушие этих героев, не ведающих ни страха, ни ненависти, ни осторожности, ни расчета, обрекает их на то, чтобы быть не просто глупцами, а идиотами: они лишены памяти, как лишены и чувства опасности, безмозглы, самодовольны и хвастливы.

Все, на что способен Зигфрид, — это уничтожить последнего из великанов, правда давным-давно погрузившегося в летаргический сон. Потом он выкажет свою доблесть, дважды овладев вечно девственной Брюнхильдой, даже не узнав ее, а затем глупо погибнет под ударами Хагена Нибелунга, достойного наследника как необыкновенного голоса своего отца, карлика Альбериха, так и его созидательной жажды власти и прочих страстей (возможно, и химерических). Кстати, насколько сам Вагнер презирает и ненавидит славного и доброго Зигфрида, которого он не устает осыпать насмешками за чрезмерную предупредительность и вежливость, настолько хорошо он относится к вероломному предателю Хагену. Чувствуется, что он испытывает к нему почти родственные, братские чувства, ибо он близок ему по духу. Слушая "Гибель богов", нетрудно угадать, кому из них двоих отданы его симпатии, даже если не заострять внимания на тональности тенора, почти всегда оставляющей впечатление чего-то нелепого и смешного, но в коей, однако, предписано исполнять партию Зигфрида.

Карлик Альберих совершил второе преступление против Природы: прибегнув к хитрости и обману, он похитил золото Рейна, из-за чего воды великой реки мгновенно утратили свой таинственный блеск, а вскоре и свою силу. Итак, сначала смертельная рана была нанесена лесу, а теперь и реке. Но преступление Нибелунга, как оказалось, было еще более ужасным, ибо он, вместо того чтобы выковать из этого золота какой-нибудь благородный меч, выковал кольцо, то есть символ неполноты, зияния — и женственности. Здесь Анри де Коринф вспоминал, быть может, о недавних семинарах по Гегелю, что проводились в Эколь нормаль на улице Ульм: их вел Александр Кожевников, более известный как Кожев[1], примерно в то самое время, когда нацисты закреплялись у власти в Германии.

1. Александр Кожев (Кожевников; 1902–1968) — французский философ русского происхождения, известный главным образом как интерпретатор Гегеля.

Несомненно, Анри де Коринф с большим усердием посещал эти замечательные семинары, постепенно ставшие почти легендарными, и делал это в течение многих лет, без перерыва. Он полностью разделял восторги и энтузиазм своих соучеников, среди которых были Жорж Батай, Андре Бретон, Клоссовски, Сартр, Арон, Лакан, не говоря уж о верном Раймоне Кено, чей ум и пылкое рвение позволили сохранить письменное свидетельство этого новаторского, революционного прочтения гегелевских текстов, когда как бы заново создавалась "Феноменология духа", ставшая библией целого поколения интеллектуалов, придерживавшихся как правых, так и левых взглядов.

К мифу о золотом кольце в трактовке Кожева, если мне не изменяет память, менее чем через десять лет вернется Сартр в своем трактате "Бытие и ничто", где кольцо будет представлять собой метафору человеческого сознания по Гегелю, ибо пустота, заключенная в центре кольца, то есть отсутствие золота, которое и делает его собственно кольцом, как и исходная недовоплощенность, пронизывающая центр человека, представляется в качестве первоначальной основы "проекта" его существования, то есть его свободы. В конечном счете только ядро небытия определяет его конкретное воплощение и бытие в мире.

Что касается Зигфрида, то ему предстояло непременно стать "положительным героем", преждевременным, несамостоятельным, легко управляемым, поддающимся влияниям, покорным исполнителем чужой воли, заложником установленного порядка вещей; этот пустой, бесхарактерный человек, сосредоточенный целиком на самом себе, переполненный сознанием собственных общепризнанных достоинств, дарованных ему богом, был осужден воспроизводить и множить Добро, то есть закон. Кстати, счастливое согласие Зигфрида с Природой уже изобличало его несвободу. Напротив, Хаген, сын Альбериха, несет в себе заряд отрицания, заряд активности, действенности и силы, который и ставит его в позицию противоборства, сталкивает с людьми благонамеренными, с Природой, с богами. Именно ему предназначено положить начало расе свободных людей, и он знает об этом.

Окутанный ночными туманами, там, где Рейн несет свои утратившие золотой блеск воды, ждет своего часа неподвижный Хаген. "Ты спишь, Хаген, сын мой?" — вопрошает старый Альберих. Нет, он не спит, он бодрствует, он несет свою ночную вахту. И думает о кольце, которое должно в будущем даровать ему свободу: украденное Вотаном у Альбериха, вырванное у Вотана последним великаном, отвоеванное у великана Зигфридом, подаренное Зигфридом валькирии по имени Брюнхильда... Застывший на берегу Рейна Хаген ждет их возвращения, чтобы пронзить насквозь пустого, надутого спесью Зигфрида и вновь овладеть кольцом. Привет тебе, одинокий человек, говорящий решительное "нет" общепринятому порядку вещей!

Здесь не место задаваться вопросами относительно того, насколько искажены Коринфом либретто опер Вагнера, теории Кожева и самого Гегеля, для которого Природа, представлявшая собой некое диалектическое единство, никогда не была и не могла быть чем-то абсолютно положительным. Нас скорее интересует, как, каким образом были встречены в то время подобные речи и вообще вся дискуссия в политических кругах, где вращался Анри де Коринф. К сожалению, уже не обратишься с вопросами на этот счет к моему отцу. Но кто еще мог сохра-

нить воспоминания о том времени? Мне неизвестно, часто ли встречал — и встречал ли вообще — Жан Пиель Коринфа на семинарах на улице Ульм. На самом деле, мне даже неизвестно, посещал ли Коринф эти семинары как активный слушатель или ходил туда изредка, сопровождая кого-нибудь из приятелей, к примеру одного из братьев своей будущей жены.

Если я вспомню об этом по возвращении во Францию, я его спрошу. Как бы там ни было, он очень хорошо знал Кожева, потому что оба они немного позже, после войны, занимали высокие посты в Министерстве национальной экономики и заседали в таинственных временных помещениях на набережной Бранли. Я сам много раз бывал там у Пиеля, когда он помогал Жоржу Батаю, руководившему журналом "Критик" (или заменял его?), причем смотрел он в ту сторону, как говорится, одним глазом, а вторым присматривал за процессом восстановления хозяйства в Лангедок-Русильоне, тогда как я выполнял гораздо более скромную миссию в подсекциях генерального комиссариата Плана[1] на улице Мартиньяк.

Да нет! Это просто невозможно! Вот я уже и путаю даты. Я и в самом деле принимал участие в работе подготовительных комиссий при разработке плана Монне. Разумеется, в области сельского хозяйства, но это было в то время, когда я работал в Институте статистики и еще мог сойти за настоящего инженера. А к тому моменту, когда я познакомился с Пиелем и Батаем, я уже успел написать два романа, один так и остался неизданным, второй как раз готовился к печати. Значит, это было года на четыре позже... В процессе воспоминаний есть что-то тревожное и смущающее, они образуют какую-то зыбкую ткань, чьи бесчисленные нити без конца перемещаются: запутываются, распутываются, исчезают, появляются вновь, опять запутываются, но уже в другом месте, тысячи раз одинаково, но в тысячу первый вдруг совершенно по-новому, так что возникают то неожиданные, то привычные комбинации, постоянно обновляющиеся узоры, в чем-то схожие между собой, в чем-то различные, и число их практически бесконечно.

Но я отклонился от темы. Ведь речь должна была бы идти о Коринфе (а не обо мне) и прежде всего о том, можно ли еще найти какие-то свидетельства современников относительно его весьма странных идей, проповедуемых до, во время и после войны, а также об их развитии и влиянии на умонастроения других людей. Если бы рукопись его большой книги не была уничтожена, мы, разумеется, знали бы гораздо больше как об интересующем нас предмете, так и о многом другом. Мы можем только предполагать, что она представляла собой некую смесь — тоже очень зыбкую, подвижную — из автобиографии и изложения "революционной" теории, к коим примешивалась (по крайней мере, я подозреваю, что примешивалась) некая доля "политической фантастики", если не сказать романа.

Почему мой отец с таким упорством отказывался отвечать на мои вопросы, прямые или косвенные, касавшиеся рискованных проектов и планов его блистательного друга? Он прятался за отговорками, ссылаясь на мой слишком юный возраст, но подобные ответы вскоре перестали казаться мне убедительными. Поступал ли он так из чувства де-

1. Имеется в виду пятилетний план развития и реконструкции хозяйства, разработанный в послевоенной Франции по инициативе политика и экономиста Жана Монне.

ликатности и даже стыдливости, предпочитая умалчивать об умозрительных построениях Коринфа, которые он, несмотря на свою симпатию к нему и даже восхищение, все же считал безрассудными? Я вспоминаю, как однажды в октябре вечером после ухода графа Анри мой отец простоял около часа лицом к огромному, вполне соответствующему понятию о дворянском родовом гнезде камину в большой комнате на первом этаже, которую мы без видимых причин и оснований с нежной самоиронией называли "фехтовальным залом". Так вот, мой отец около часа простоял там в полном молчании, разглядывая толстенное полено, потрескивавшее в камине, вернее, не полено, а целое бревно, ствол огромного дуба (иногда, чтобы дотащить до очага останки вырванных бурей старых деревьев с такой твердой древесиной, что распилить их было невозможно, требовалось трое здоровых мужчин). Отец смотрел на медленно, в течение всего вечера горевшее полено, лежавшее на толстом слое пепла и углей, скользя взглядом по его неровной, изрытой впадинами поверхности: изломы, трещины, узлы, наросты, наплывы еще явственнее проступали в огне, и все их изгибы и завитки еще круче завивались и корчились в трепещущих языках пламени, словно это извивались и корчились какие-нибудь лесные великаны, превратившиеся в драконов. Высоко взвивавшиеся огненные язычки, снопы искр, взрывы, красновато-черное зарево, танцующие блики — все это вместе представляло собой столь ослепительное и драматическое зрелище, что отец мой в конце концов прошептал, что так, наверное, выглядела объятая пожаром Вальхалла после смерти Зигфрида. Именно в эту минуту я в последний раз задал вопрос о своеобразном "анархическом социализме", как его понимали Анри де Коринф и его друзья, из коих многие объявляли себя германофилами, кельтами по происхождению и язычниками по вере.

Отец ничего не ответил и принялся мерить шагами "фехтовальный зал", то быстро отходя от камина, то вновь приближаясь к нему. Кстати, камин был единственным источником света в этой комнате, с тех пор как сгустились сумерки и стало совсем темно. Стук его сапог по гранитным плитам, отполированным ногами десятка поколений, живших трудной и беспокойной жизнью, по плитам, на которых виднеются красноватые выемки и выбоинки, бороздки и трещины в местах, где камень оказался наиболее хрупким и податливым, этот глуховатый стук, размеренный и четкий, перекрывает прочие звуки, вроде шипения и потрескивания головней, но становится почти неслышным, когда темный силуэт удаляется от меня, движется к высоким окнам без штор или к центральной лестнице, на мгновение замирает, чтобы развернуться, и идет назад, но не прямо, а зигзагами, и стук каблуков вновь приближается к дивану, где сижу я: теперь он звучит отчетливее, решительнее, более властно, словно мое ожидание вот-вот будет вознаграждено.

Но когда отец подходит ближе, его взгляд всего лишь на мгновение задерживается на мне, такой же отстраненный, отсутствующий, как если бы я был предметом обстановки или выбоиной в каменной плите, потом сосредоточивается на желтых и голубоватых языках пламени, бесшумно вырывающихся из новой трещины в дубовом полене, а затем ускользает куда-то в сторону, и отец снова удаляется, так и не произнеся ни единого слова. Пляшущие в очаге блики в какое-то мгновение становятся ярче из-за всплесков и выбросов пламени, они увеличивают его и без того неправдоподобно огромную тень, что мечется по сте-

нам, то бледнея, то становясь совсем черной, то разделяясь на несколько теней, то сливаясь вновь в единое целое, колеблясь и дрожа, как недоступный для осязания призрак, чей саван треплет налетающий порывами ветер. И вот, уже потеряв всякую надежду, я вдруг слышу его низкий, странно далекий голос, он словно говорит сам с собой, говорит для себя, а не мне и не для меня: "Эти идеи неразумны..."

И сказано это было точно так, с той же интонацией и с тем же выражением, как если бы он произнес в забытьи: "Schläfst du, Hagen, mein Sohn?"[1] Однако слова были достаточно отчетливо слышны, хотя и произнесены с паузами, раздельно, словно с сожалением или сомнением, как будто человек, их произнесший, боролся с почти мучительной неспособностью выразить свои мысли или с трудом расшифровывал буквы на старинном пергаменте, тайна которого давно забыта и утрачена. Затем отец вновь принялся расхаживать взад и вперед, как неприкаянный землемер. Снова пошел дождь, но уже не хлестал так яростно. По желобкам с нежным и тихим журчанием струилась вода. Граф Анри, наверное, был уже далеко на своем белом коне. Я поднялся к себе, но долго не мог уснуть, ворочаясь с боку на бок, а потом, когда все же заснул, несколько раз просыпался и совершенно утратил представление о времени и о длительности моего сна. Дождь продолжал идти, поднявшийся ветер швырял пригоршни дождевых капель на оконные стекла. Там, на первом этаже нашего старого жилища, отец по-прежнему бесцельно блуждал по залу, но шаги его стали более медленными и тяжелыми, звучали глуше, словно размеренно повторялись гулкие удары: казалось, то долбит киркой какой-то упрямый рудокоп или гигантский крот роет подземный ход под домом в толще гранита. Наверно, отец так и ходил до самого утра по темному "фехтовальному залу", даже не давая себе труда поддерживать огонь, и пылавшее полено превратилось вскоре в кучу пепла и потухших, потускневших углей.

Как все это далеко! Когда я рассказываю о своем детстве, у меня всегда возникает мучительное ощущение, будто я говорю о каком-то непонятном человеке, жившем неизвестно где и когда, носившем мое имя и похожем на меня лицом, это вовсе не я, а кто-то другой. Как я уже сообщал на одной из страниц этого текста (а сообщал ли?), я снова живу в Нью-Йорке. Сейчас ноябрь. Идет снег. Падают первые хлопья наступающей зимы.

Вчера вечером в заваленном жутким количеством книг и бумаг кабинете на седьмом этаже углового дома на 8-й улице, откуда взгляд устремляется через бухточки и заливчики к центру города, где вершины огромных зданий озаряются яркими, кричаще-пестрыми огнями, мой друг Томас Бишоп, а попросту Том, заведующий кафедрой французского языка и литературы, на котором лежит ответственность за начало моей запоздалой университетской карьеры, показал мне уже довольно старую, поблекшую фотографию, пришпиленную булавкой к стене среди прочих свидетельств его дружбы с литераторами и политиками, полностью занимающих простенок между двумя окнами, откуда открывается вид на расцвеченные огнями небоскребы. На этой фотографии я еще без бороды и лицо мое несет отпечаток слабохарактерности, вялости, недостатка воли, о чем я уже говорил выше. Быть может, я в ту

1. Спишь ли ты, Хаген, сын мой? (*нем.*)

пору бессознательно стремился именно к такой форме лица, с мягкими, нечеткими контурами, чтобы самим своим обликом соответствовать идее деперсонализации, как и подобало тогда — по мнению кое-кого в Париже — современному романисту, чье присутствие не ощущается ни в его произведениях, ни... в нем самом? Однако Том не раз со смехом мне повторял, что с такой физиономией никогда не пригласил бы меня преподавать.

Изучение со студентами собственных романов и фильмов — это, без сомнения, часть того, что здесь называют performing arts, то есть изучение сценических искусств, искусства живого, непосредственного представления. Автор должен не только полностью примириться со своими творениями и взять на себя за них полную ответственность — что уже само по себе чудовищно трудно, — сохраняя лишь минимальную "критическую дистанцию", дозволенную по отношению к киноленте и текстам, созданным им лет двадцать назад (дистанцию самую незначительную, сравнимую, пожалуй, лишь с той, что держит хороший театральный актер по отношению к пьесе, в которой играет), но ему нужно еще и иметь внешность, соответствующую установившемуся стандарту профессии, то есть лицо его непременно должно походить на лицо настоящего писателя.

Кстати, столь же мучительная, приводящая в замешательство проблема встает сегодня перед каждым романистом, эссеистом и философом. Все написанное им рассматривается в двух совершенно нелепых перспективах: фотогеничности и умения говорить перед микрофоном. Для человека, привычного к перу, бумаге, правке черновиков и одиночеству, есть нечто раздражающее в том, что его постоянно ставят либо под слепящий свет прожекторов, либо перед микрофоном. Его раздражает, что и он сам, и его творчество сводятся к фотографии на обложке книги (или кассеты), к болтовне по радио или по телевидению. Ему хочется крикнуть всем этим любителям читать по диагонали, всем этим рассеянным, невнимательным слушателям-зрителям: "Я обращаюсь к вам через мои произведения, так что не уделяйте слишком много внимания моей бороде, мимике, причудам и каламбурам. Оставьте глупую надежду вдруг увидеть меня более искренним, более интересным, откровенным, более правдивым в этих второпях взятых и данных интервью (еще более фальшивых, если они воспроизведены в прессе, потому что они, ко всему прочему, утратили непосредственность и легкость живого слова), чем на страницах книг, созданных медленно, с трудом и великим тщанием". Автор — это человек, у которого нет лица и чей голос может быть услышан только через написанное им, человек, "не находящий слов"[1].

Ролан Барт, страдавший гораздо больше меня от положения говорящего животного, выставленного в витрине, которое уготовано писателям в нашем обществе, как-то сказал за несколько лет до кончины, что мне еще сравнительно повезло: "Ты, по крайней мере, в ладу со своим имиджем, в этом главное различие между нами". И это было достаточно верно, что, кстати, сильно облегчило мою задачу, когда я с почти мессианским воодушевлением принял предложение Тома Бишопа проповедовать истину, иначе говоря, читать курс лекций для молодых ученых и преподавателей его континента. Барт говорил, что, когда он препо-

1. Намек на известную фразу Валери: «Настоящий писатель — это человек, который не находит слов, поэтому он их ищет».

давал, он очень остро ощущал некую тревогу, даже угрозу, ибо не мог выносить переполненных аудиторий, где студенты оказывались не только перед ним и сбоку от него, но и чуть ли не у него за спиной и могли наблюдать за ним в свое удовольствие, при том что сам он их не видел.

Маленький Ален с отцом и сестрой (1924 г.)

Томом ласково называла отца моя мама, хотя его по-настоящему звали не Томасом, а Гастоном. Мне кажется, вернее, я припоминаю, что это ласковое имя произошло при сокращении выражения "cet homme" (этот человек, этот мужчина). На семейном языке это, видимо, быстро перешло в имя существительное, в некое родовое понятие; слово "Том" обозначало определенный тип мужа: сильного, крепкого, надежного, солидного, с виду угловатого, неотесанного, несколько даже грубого, трудно управляемого, но на которого можно было полностью положиться в любых обстоятельствах. Том Бишоп, человек в гораздо большей степени приобщенный к культуре, чем мой отец, обладает достоинствами, которые я, по примеру моей матушки, ценю больше прочих и в отце семейства, и в друзьях: мне нравится, что я могу всецело доверять ему как в делах важных и серьезных, так и в мелочах. Когда я прилетаю в аэропорт Кеннеди, он всякий раз дает себе труд приехать, чтобы встретить меня, несмотря на пробки на дорогах Лонг-Айленда, и я могу совершенно успокоиться, как только его увижу, могу вновь превратиться в маленького ребенка, безответственного, несерьезного, ничего не знающего и простодушного. Я не говорю по-английски, не умею водить машину, у меня в кармане нет ни единого доллара, но все это не имеет никакого значения, потому что Том здесь и сейчас все уладит. И я иду ему навстречу почти без багажа, сжимая в руках одну только тряпичную куклу.

Именно эту тряпичную куклу, такую покорную, мягкую, вялую, я прижимаю к груди, поднимаясь в одиночестве по большой лестнице Черного дома. Сколько мне лет? Лет пять-шесть, как мне кажется. Я хотел тогда посмотреть на графа де Коринфа сквозь плохо прикрытые створки двери в зале на первом этаже, чьи огромные размеры и погруженные во мрак углы даже днем наводили на меня страх. Но я увидел лишь огромное дубовое полено, пылавшее в камине. И услышал тяжеловесные, звучные, отдававшиеся гулким эхом фразы, размеренные и неторопливые, хотя мне казалось, что произносились они пылко, горячо, жестко; они звучали словно раскаты грома, и в этих грозных и величественных раскатах, лишенных для меня смысла, я не мог порой отличить голос отца от голоса графа Анри, словно интонации, обычно свойственные знакомому и родному гиганту, бравшему меня каждый вечер на руки, чтобы поднять наверх, к колючим усам, вдруг исчезли.

У меня тогда возникало предположение — мне и сейчас иногда так

кажется, — что у ночного посетителя должна была быть та же фигура, та же осанка, то же лицо, те же усы, что и у отца. Несмотря на строжайшие запреты, которые мне повторяли всякий раз перед этими ночными визитами, находиться в комнате вместе с гостем или, скорее, быть может, именно из-за этих запретов мне и было совершенно необходимо проверить правильность моей гипотезы. Итак, я попытался бесшумно и незаметно проскользнуть сквозь плохо притворенные створки тяжелой двери, но, несмотря на мою детскую худобу, мне не удалось протиснуться в щель или я не посмел этого сделать. Или, возможно, отцовская рука преградила мне путь, вмешалась, чтобы не позволить проникнуть в святилище? Я уже не помню. Не будем настаивать на фрейдистской ловушке, которую маскирует подобная забывчивость, не будем.

Итак, я все еще поднимаюсь по ступенькам темной лестницы, ведущей к погруженным в сон спальням. Ступеньки слишком высоки для меня, ибо я еще очень мал, и я цепляюсь одной рукой за железные прутья перил, а другой, растопырив пальцы, прижимаю к груди свою куклу. Примерно посредине моего восхождения я усаживаюсь на ступеньку, оправдываясь перед собой тем, что мне нужно передохнуть, но на самом деле прислушиваюсь к звукам, доносящимся из-за двери, теперь уже плотно прикрытой. Увы, до меня доносится лишь глухой стук каблуков отца, который, похоже, меряет из конца в конец выстланный каменными плитами пол, часто останавливаясь, так что череда звуков прерывается, дробится; затем он вроде бы продолжает путь уже более спокойным, размеренным шагом, и меня даже поражает, как долго он идет в одну сторону, так что можно подумать, будто размеры "фехтовального зала" каким-то чудом вдруг увеличились под покровом ночного мрака.

Эти то удаляющиеся, то приближающиеся шаги похожи на стук какого-то тяжелого маятника гигантских стенных часов, расположенных где-то далеко, на заднем плане, и в этом приглушенном, размеренном, однообразном стуке есть что-то убаюкивающее. Он звучит все тише и глуше, в его происхождении, пожалуй, можно даже усомниться, ибо расстояние все увеличивается, стук удаляется и незаметно превращается в легкое цоканье копыт белого коня с развевающейся по ветру белой гривой, того самого коня, что уносит прочь графа Анри через леса, ланды и дюны. Медленно, уже почти уснув, я притягиваю тряпичную куклу к животу; я держу ее ручки сцепленными у нее за спиной, чтобы все ее нежное, мягкое тельце полностью прижималось к моему телу и чтобы ее личико с приоткрытым толстогубым ротиком я тоже мог ощущать сквозь шелковистую ткань ночной рубашки. И эта куколка, как бы инстинктивно чувствительная к моим удовольствиям, чуть-чуть как бы сопротивляется, но едва-едва, очень слабо, словно желая еще больше возбудить меня своим мнимым сопротивлением, а затем, признав себя побежденной, любезно позволить прижать себя еще крепче, полусонную, расслабленную, размягченную, покачивающуюся в моих объятиях, словно колышущиеся в проточной воде водоросли...

Затем в свой черед засыпаю и я.

И вновь за стеклом на втором этаже возникает лицо Анри де Коринфа. Можно подумать, что он напряженно чего-то ждет, возможно гостя. Однако его взгляд, тревожный и какой-то застывший, устремлен вовсе

не на центральную аллею, не на дорогу, обсаженную старыми буками, а на небо, покрытое переменчивыми, переливчатыми облаками. Что надеется он увидеть там в вышине, среди обнаженных ветвей, над вершинами деревьев? Он ждет. Он стоит на страже. Он несет вахту на берегу Рейна, чьи сине-зеленые волны, над которыми низко стелется туман, плещут у его ног, перекатываются в его мыслях. Внезапно серовата тая ткань облаков рвется, образуется просвет, в который пробивается солнечный луч, и лицо в окне вдруг исчезает столь же неожиданно, как и появилось.

Коринф поворачивается и обращает свой взор в глубь комнаты. Он снова видит свое странное отражение в прямоугольном зеркале шкафа, чья дверца решительно не желает быть закрытой и упрямо открывается сама собой, поворачиваясь на петлях, так что зеркало оказывается повернуто к окну, вместо того чтобы, как положено, отражать написанный маслом портрет, висящий по другую сторону заваленного папками и бумагами письменного стола, на фоне старых выцветших обоев, на которых смутно видны переплетения давно поблекших цветов и листьев.

Впрочем, эта часть комнаты обычно столь плохо освещена, вне зависимости от погоды, времени суток и времени года, что большое полотно, являющееся семейным достоянием, и человек, изображенный на нем в полный рост на фоне батального пейзажа, представляющего поле битвы примерно середины прошлого века, остаются всегда еле-еле различимыми. Тяжелая рама из эбенового дерева (или из темного палисандра) вкупе с очень густыми красками самой живописи, еще более темными из-за почтенного возраста картины, создают дополнительный эффект мрачности, и так обусловленный ее неудачным местоположением.

Преодолев небольшое, в несколько шагов, расстояние, отделявшее его от шкафа почти такого же темного дерева, как и рама картины, Коринф с несколько неожиданной резкостью толкнул дверцу, чем породил ужасающий скрежет, знакомый ему до мельчайших оттенков звука, сколько он себя помнил, но к которому он так и не смог привыкнуть. Потом Коринф как-то нервно, очень круто повернулся. Однако он успел мельком увидеть внутри, на полочке, на уровне глаз, женскую туфельку на высоком каблучке, всю усыпанную металлическими блестками, мерцавшими в полумраке каким-то волшебным светом, отливавшим всеми цветами радуги, но более всего — голубоватым, синеватым, сине-зеленым... Бальные туфельки, отливавшие синевой ночи, синевой южных морей... Где он их видел? Анри де Коринф не знал и не помнил, почему он сохранил эту туфельку на память. На память о чем? Он вновь сел за стол и принялся писать, продолжая абзац, на котором прервал свой труд:

"Итак, мы должны признать очевидное и примириться с ним: социалистический проект, во всех известных сегодня формах, так же несовместим с глубокими запросами и мотивировками настоящего художника, как и любая другая общинная идеология, будь она великодушно свободной или репрессивной, какими бы идеями — синдикалистскими, патриархальными, националистическими, религиозными или фашистскими — она ни вдохновлялась. И действительно, художник в процессе творчества, которое, в сущности, и делает его художником, постоянно осознает свое собственное "я" (неповторимое, чудовищное, одинокое)

как единственно возможный источник смысла, то есть не только как ни с чем не сравнимый источник, где рождаются чувства, сознание и смысл, но и вообще как единственное мыслящее начало. Итак, какова бы ни была добрая воля художника, чистосердечная или обусловленная внешними влияниями, как бы ни желал он хорошо относиться к какому-либо воплощению политической идеи, чьи лозунги он считает допустимыми для себя и готов воспринять их как свои собственные (чаще всего уступая с усталой улыбкой требованиям времени и с трудом себе в том признаваясь), он все равно будет ощущать самого себя в качестве мирового разума, а вследствие этого и разума вневременного. Он является единственным богом этого универсума, созданного только им самим, только его собственными руками. И он не сможет смириться с мыслью, что является всего лишь безымянной частицей коллективного бога, чьи властные полномочия делегированы ему на время. Даже если, руководствуясь соображениями некоего морального конформизма, являющегося следствием и продолжением старого гуманистического мифа, признающего людей искусства, и в частности писателей, полезными для общества, художник припишет своим творениям некую спасительную миссию (открывать новые пути для человека будущего), все равно интуитивная внутренняя вера в свою гениальность подскажет ему, что на самом деле он последний представитель рода человеческого. Его творение будет для него последним творением человеческого разума, ставящим последнюю точку в истории всех творений, то есть в мировой истории. Точно так же осознаю себя последним человеком и я, сидя здесь и занимаясь созданием последней книги".

Коринф оторвал перо от бумаги, поднял глаза на черные ветви буков, баюкающих в потоках воздуха свои несуществующие листья, и лицо его вдруг приняло какое-то мечтательное выражение. Он машинально сделал правой рукой легкое движение, и гладкий корпус столь привычной ему самописки с вечным пером скользнул между указательным и средним пальцами, а рука тотчас сама собой сжалась, так что веретенообразная вещица из черного галалита, украшенная золотым колечком, легла в ложбинку у большого пальца. Похоже, он предается сейчас совсем иным грезам, следит за неким видением и сам задумчиво покачивается в седле где-то там, далеко, пересекая погруженные во мрак ланды во главе обессилевших от долгого пути драгун. Разбитые копыта сорока изможденных лошадей стучат, натыкаясь на разбросанные среди вереска камни, почти незаметные из-за сгустившихся сумерек. Или, быть может, он видит себя одиноким всадником, который открыто, ни от кого не прячась, несется по прямой, ровной дороге, обсаженной молодыми тополями, искалеченными и обезглавленными во время недавних сражений, и их ветви едва выделяются на фоне чернильно-черного ночного неба.

Но вот Коринф опускает глаза и вновь созерцает свой письменный стол. Он пристально смотрит на исписанный его рукой листок, треть которого заполнена дюжиной черных строчек, начертанных тонким, изящным, ровным почерком. Посредине последней фразы, после слова "занимаясь" он вставляет "в свой черед", перечитывает новый вариант, беззвучно шевеля губами, задумывается еще на минуту и затем медленно зачеркивает только что вставленные слова. Потом перо из крас-

новатого сплава золота с медью, перо старой, даже старинной ручки-самописки с давным-давно сломанным механизмом, которое время от времени приходится макать в небольшую чернильницу-непроливайку, вновь опускается на страницу и продолжает бег по бумаге, прилежно поскрипывая: "Сознавать самого себя самым великим, даже единственно великим и в любом случае последним из великих — вот в чем смысл его существования, его сила, его разящее оружие, его непомерная власть. Но чтобы быть признанным в этом качестве грядущими поколениями, он не может ограничиться тем, что станет лучше других следовать общепринятым правилам мышления и письма, нет, напротив, он должен нарушать эти правила, преступать эти законы. Ибо недостаточно стать победителем в поединке — пусть даже смертельном, — где правила были установлены не им, а кем-то еще (монархом, парламентом или богом). Последний писатель соразмеряет свои желания и стремления с необходимостью стать единственным творцом всякого писаного закона, всех священных скрижалей, которыми я буду размахивать и потрясать перед всем миром как (далее неразборчивое слово, возможно "орифламмой"), чтобы потом осквернить ее со смехом, с болью, с...".

Граф Анри вновь оторвал взгляд от бумаги. На сей раз фраза осталась незаконченной, а вместе с ней и вся его тирада.

Затем следует пробел во времени, месяцев в одиннадцать или около того. Теперь я вновь продолжаю свой рассказ, скрупулезный, тщательный, загадочный и, может быть, даже сомнительный; делаю я это в Сент-Луисе, в штате Миссури, где мне предстоит провести осень и первые дни зимы. Точно так же, как перед Черным домом стоят на страже вековые буки, так и здесь перед бухточками и заливчиками, раскинувшимися во всю ширь под окнами моих апартаментов на седьмом этаже, растут повсюду, насколько хватает глаз — где густо, где редко, — на ковре из зеленой подстриженной травы очень высокие деревья, под которыми серые белки собирают желуди, пока их еще не покрыл снег. В массе крон с округлыми вершинами, только-только начинающими приобретать рыжеватые и желтые оттенки, я различаю по крайней мере два вида дуба, кстати, совершенно не похожих на наш скальный или каменистый дуб: один имеет широкие жесткие листья (его название мне неизвестно) с полукруглыми выемками по краям, образующими как бы неправильную синусоиду; другой отличается тем, что листовая пластинка по краям изрезана глубокими зазубринами с острыми вершинками, иногда раздвоенными, так что в некоторых местах лист превращается в кружево из прожилок (несомненно, речь идет о той разновидности Quercus palustris, дуба болотного, что американцы именуют pine oak). Здесь растут и осины, различные виды и подвиды сосен (вот только какие?), болотные кипарисы и многочисленные ликвидамбары с похожими на звезды листьями, едва тронутыми бронзовым загаром, который вскоре превратится в совершенно невероятные розовые, оранжевые и пурпурно-фиолетовые сполохи.

Итак, в течение всего этого времени — почти около года — граф Анри де Коринф оставался в одной и той же позе, с застывшей в воздухе, занесенной над бумагой рукой, в ожидании явления кого-то или чего-то, быть может какого-то неведомого призрака. Время от времени я видел его, неподвижно сидящего за письменным столом, и его бесстрастное

лицо было обращено к черным ветвям буков, блестящих из-за вновь начавшегося небольшого дождичка и потому не только четко выделявшихся на фоне уже светлеющего неба, а еще и приобретших какую-то новую, особую значимость и явственность, как будто они и в самом деле приблизились вплотную к забрызганным дождевыми каплями стеклам высоких окон. Я видел его в этой позе, пока сам бродил по расположенным террасами рисовым полям Явы, по пыльным виноградникам Южной Австралии, карабкался по прибрежным скалам Новой Зеландии, где растут в расселинах гигантские араукарии, шагал по раскаленному песку на Подветренных островах, под сенью пандануса, чьи торчащие наружу воздушные корни образуют своеобразные контрфорсы по берегам лагун.

Образ Анри де Коринфа являлся мне и позднее, на пустынных пляжах под Лос-Анджелесом на фоне величественных волн Тихого океана, в Гранаде под струями фонтанов, в Кельне на набережной Рейна, в Граце у подножия горы Земмеринг и в Венеции на берегу тонкой косы Лидо... Коринф, по-прежнему прямой, покачиваясь в седле, медленно ехал в ночи по бесконечной дороге...

Натали Саррот говорила мне, что не смогла бы так долго не писать, ибо ее постоянно терзали бы угрызения совести от сознания того, что книга не дописана, а она за нее не берется. Что касается меня, то я никаких угрызений совести не испытываю и не помню, испытывал ли когда-нибудь. Для того чтобы я вновь взялся за мою старую авторучку (чей механизм подзарядки давно уже вышел из строя) и обмакнул перо в черные чернила, а потом опустил его на белый лист бумаги, совершенно необходимо, чтобы смутные мысли, бродящие в моей голове, сформировались в нечто достаточно четкое и настойчиво потребовали помощи моей руки, упрямо стремясь вырваться на свет божий путем медленных и молчаливых родов в бесконечных набросках, черновиках, зачеркиваниях и повторах. Иначе я не пишу и не испытываю ни стыда, ни сожалений. Несомненно, когда-нибудь все эти бессвязные картины, подозрительные шумы, зыбкие фразы, странные видения перестанут складываться в нечто цельное, и я совсем не уверен, что буду из-за этого страдать.

Я посвятил также два летних месяца в этом году сооружению в Мениле[1] грота с фонтаном и статуей нимфы в северном углу восточного водоема, возле которого в течение двадцати пяти лет громоздились поросшие плющом и крапивой обломки грубой каменной кладки, совершенно разрушенной и распавшейся. Камни лежали бесформенной грудой неподалеку от гранитных останков пресса для изготовления сидра, весивших каждый около тонны и словно брошенных кем-то в роще на полдороге. Там я нашел и следы старой канализации — железные трубы, проложенные под землей и подводившие воду из подземного источника. Похоже, это были остатки чьего-то неосуществленного плана (его воплощению в жизнь действительно помешала война, мою догадку подтвердила хозяйка соседней фермы, бывавшая в этих местах задолго до меня), из которых я в течение всех этих лет мечтал соорудить нечто осмысленное и в то же время соответствующее очарованию этих мест.

И вот теперь лестница из массивных, но не слишком аккуратно об-

1. Усадьба А. Роб-Грийе в Нормандии.

работанных камней, шероховатых и прихотливо изломанных, ведет прямо к кромке воды, а небольшая статуя нимфы в стиле начала века, изящная и наивно-чувственная, стоит на возвышении из трех дугообразных ступенек над овальным основанием из сланца, а напротив бьет фонтан: его струи низвергаются двумя маленькими водопадами на дробленые камни и ракушки, теряясь затем среди зарослей дикой мяты, ирисов, аира и калужниц. Все мое сооружение так чудесно вписалось в пейзаж, что кажется, будто оно существовало здесь всегда.

И вот вдруг, посреди вновь обретенных в университете спокойствия и тишины, среди мирных равнин Среднего Запада, в разгар бабьего лета, называемого здесь "индейским", я с неожиданным удовольствием, столь же сильным, как и прежде, опять принимаюсь соединять разрозненные нити моего повествования, забытого среди лопухов и крапивы. И прежде всего передо мной возникает вернувшийся издалека образ отца.

Вот он, одинокий всадник, скачет по прямой и ровной дороге, плохо вымощенной, узкой, кое-где обсаженной молодыми тополями, изуродованными в ходе недавних боев, тополями, чьи голые ветви, изломанные и бессильно обвисшие, внезапно выплывают из тумана в призрачном и унылом свете ночи.

Должно быть, все это происходит в начале войны, в середине ноября 1914 года, но я не знаю, на каком именно участке фронта. Несомненно, сейчас полнолуние, однако белый диск ночного светила не виден совсем, даже сквозь дымку, на однообразно низком небосводе, затянутом ватными облаками. Во многих местах на дороге перед всадником стелются клочья тумана, в которых тонут обочины и изувеченные стволы деревьев. Иногда туман цепляется за изломанные ветви, похожие на культи рук, повисает в развилках расщепленных сучьев, словно рваные паруса, причем туман иногда так сгущается, что всадник не видит даже ушей своего скакуна.

Но вот благодаря слабому дыханию ночного ветерка среди медленно ползущих клубов тумана возникает просвет, и всадник замечает слева совсем рядом с собой какого-то старика: старик идет прямо посередине дороги, где полузасохшая грязь заполняет бесчисленные рытвины и ухабы между выступающими булыжниками. Однако путник, похоже, не чувствует ни малейшего неудобства, вышагивая по столь неровной поверхности в своих деревянных башмаках и не глядя под ноги. Высокий и тощий, прямой как палка, он идет твердым, размеренным шагом с той же скоростью, с какой движется вороная кобыла всадника, хотя время от времени его негнущаяся фигура вдруг резко вздрагивает и клонится в сторону, словно он вот-вот рухнет. Но старик продолжает свой путь, по-прежнему глядя прямо перед собой, не ускоряя, но и не замедляя шаг. На левом плече он легко несет большую железную косу.

Всадник, внезапно ощутив сильнейшую усталость (вполне объяснимую, кстати, ибо ему пришлось преодолеть большое расстояние), в недоумении задается вопросом, как мог он раньше не заметить столь странной фигуры, да еще метрах в трех от себя, если не меньше.

— Приветствую тебя, незнакомец! — говорит он наигранно веселым, беззаботным тоном.

И в тот же миг осознает, сколь фальшиво и нелепо звучит его голос

в этой мрачной обстановке. Старик, однако, не отвечает всаднику, не смотрит в его сторону и даже не делает приветственного знака, так что по прошествии минуты, когда молчание становится еще более гнетущим и необъяснимым, мой отец начинает сомневаться в том, что вообще произнес какие-то слова.

Старик, по виду крестьянин, одет в строгую, наглухо застегнутую до самого горла блузу, напоминающую солдатскую гимнастерку, из очень темной ткани, слегка поблескивающей, как будто она пропитана льняным маслом для защиты от влаги. На голове у старика большая широкополая шляпа из грубого, жесткого фетра – такие часто можно видеть на обитателях центральных районов Бретани; спереди шляпа низко надвинута на лоб, опущенные поля полностью скрывают глаза и всю верхнюю часть лица, но все же можно разглядеть даже в темноте, что старик очень худ и выступающие, обтянутые кожей скулы и челюсти, почти лишенные плоти, делают его похожим на мумию. Однако куда больше изможденного лица выдают возраст незнакомца его руки, высохшие, напоминающие старый пергамент, в особенности левая: ее скрюченные, деформированные пальцы сжимают длинную рукоятку косы, вырезанную из какого-то сучковатого дерева, но за несколько веков службы отполированную до блеска и истончившуюся до такой степени, что на ум приходит сравнение с костями скелета.

До всадника и раньше доносилась отдаленная канонада, но теперь к ней примешиваются новые звуки: можно подумать, что скрипит плохо смазанная ось телеги.

Наконец из мрака раздается чей-то голос, низкий, тягучий, словно усталый; кажется, будто он исходит из сгустка тумана, такого же зыбкого и текучего, как и он сам. Однако принадлежит этот голос не кому иному, как старику, в том не может быть никаких сомнений, хотя в его облике не заметно никаких изменений, да и походка его, нетвердая и какая-то механическая, осталась прежней. Старик продолжает упорно двигаться вперед, и взгляд его устремлен в том же направлении.

– Это я приветствую тебя, прекрасный воин! – говорит он.

Торжественная, архаичная, непривычная формулировка звучит еще более странно оттого, что между глаголом и лестным, даже льстивым (не то ироничным, не то презрительным, не то боязливым) обращением он сделал заметную паузу, словно намереваясь перенести вес своего высказывания именно на обращение, давно, очень давно вышедшее из употребления. Чтобы преодолеть смущение, мой отец спрашивает:

– Уж не ваша ли повозка скрипит там, впереди?

Произнеся эту фразу, он сам удивляется тому, что говорит так напыщенно, неестественно, таким высокопарным тоном.

На сей раз тело старика сотрясает приступ сухого, отрывистого, почти злобного смеха, причем отцу кажется, что незнакомец вот-вот потеряет равновесие и упадет. Но старик каким-то чудом удерживается на ногах и в мгновение ока обретает прежнюю осанку и неизменную твердость поступи.

–Ты прав, прекрасный воин, это моя повозка! – говорит он.

Туман вновь стал таким густым, что подпрыгивающая на ухабах повозка, вполне вероятно, может трястись всего в пяти-шести метрах от них, оставаясь невидимой, что, похоже, и подтверждает резкий скрип оси, к которому добавляется еще и скрежет железных колес, натыкающихся на плохо уложенные в полотно дороги камни. Идущий по

левую руку от смущенного всадника старик крестьянин сам начинает постепенно исчезать в облаке тумана, его гордый, если не сказать надменный силуэт, неясный и расплывчатый, вот-вот растает в ночи, испарится столь же внезапно, как и возник.

— Но ведь сейчас совсем не время заготавливать сено, да и жатва давно закончилась, — говорит мой отец после довольно долгого молчания.

— Я резал утесник на подстилки животным, — донесся до него потусторонний голос, — и в конце концов так забил им повозку, что для меня там не осталось места, вернее, я просто не смог взобраться на самый верх. Теперь я от усталости еле ноги передвигаю.

— Но утесник обычно срезают вовсе не косой, незнакомец!

— Ну, если пользоваться косой с хорошим лезвием... — начинает старик, но не заканчивает фразу, ибо ее грубо прерывает еще один приступ резкого, желчного смеха, очень похожего на проявление старческого безумия. Мой отец, будучи унтер-офицером, к тому же связным, выполняющим особое поручение, начинает не на шутку тревожиться, заподозрив, что странный облик незнакомца и его весьма неординарное поведение могут служить прикрытием чему-то гораздо более серьезному. В течение этих трудных месяцев нашей истории как на фронте, так и в тылу свирепствует навязчивый, доводящий многих до исступления страх перед переодетыми шпионами. И надо признать, необъяснимая хозяйственная деятельность незнакомца посреди ночи и в самом деле подозрительна: сейчас четыре часа утра, и если даже предположить, что старик кончил резать утесник после наступления темноты, то и тогда получается, что его обратный путь на гипотетическую ферму, где спят его животные (овцы?), продолжается уже больше восьми часов. Зачем проделывать столь долгое и опасное путешествие почти у самой линии фронта ради столь незначительной добычи?

К тому же, что бы старик ни говорил, вряд ли на самом деле можно резать крепкие, толстые стебли утесника чем-то, кроме кривого садового ножа или уж, в крайнем случае, кровельных ножниц, да и само наличие в здешних местах зарослей утесника, на этих известковых равнинах, самой природой предназначенных для пшеницы, люцерны и свеклы, кажется моему отцу-бретонцу, уроженцу Финистера и сыну хлебороба, весьма сомнительным.

Однако старик, этот неясный призрак, словно парящий в облаке густого тумана, вновь начинает говорить, на сей раз еще более жалобным, усталым, тихим голосом:

— Возьми мою косу, прекрасный сержант-кавалерист, и понеси ее на плече вместо меня, хоть недолго, чтобы я мог передохнуть. Ты молод, крепок и силен телом, ты сидишь на хорошей лошади. Возьми же! Сжалься над бедным путником, который по возрасту мог бы быть отцом твоего деда. Держи!

И в тот же миг, похоже совершенно не опасаясь пораниться о тонкое, хорошо заточенное изогнутое лезвие косы, старик взмахнул грозным орудием, резко, с неожиданной силой развернул длинную узловатую рукоятку и почти уперся ею в грудь всадника, так что ее конец застыл буквально на расстоянии дюйма от его тела.

Движение было столь стремительным, что всадник на мгновение инстинктивно подался назад, но тотчас же испытал приступ жгучего стыда за свой необъяснимый испуг.

— А из чего же сделана эта рукоятка? Древесина не похожа ни на кизил, ни на ясень, — спрашивает он.

— И ни на что другое, мой прекрасный сержант, — отвечает незнакомец. — Это дерево из дальних краев.

Отцу тотчас же приходят на память обломки бревен и досок драгоценных пород, которые выбрасывал на берег океан в его родном краю, краю штормов и кораблекрушений. Однако он успел заметить, что рукоятка косы сделана никак не из эбенового и не из красного дерева. Напротив, это разновидность светлой древесины, похожая на старую отполированную слоновую кость. Вдруг всадник осознает, что в еще звучащих в его ушах фразах есть определенная странность, ибо он вспоминает с неким даже ужасом, что на его тяжелой темной солдатской шинели, надетой специально для выполнения особого задания, нет никаких нашивок, ни на воротничке, ни на погонах, как нет и никаких других знаков, свидетельствующих о его принадлежности к определенному полку или даже роду войск. Да и чужой землисто-коричневый шлем не мог бы его выдать. Так как же незнакомец смог угадать, что его только что произвели в сержанты кавалерии?

— Итак, вы полагаете, что вам известно мое звание, дедушка? — сдержанно, с некоторой долей осторожности спрашивает всадник.

— Твой скромный армейский чин не является государственной тайной, мне кажется; не является ею и твое имя, Анри Робен. Неужто ты думаешь, что мне неизвестно, кто ты такой, Анри Робен, родившийся в Кемпере рано поутру 21 ноября в благословенном 1892 году от рождества Христова, Анри Робен, которому именно сегодня исполнилось 22 года и которому скоро предстоит погибнуть на войне, выполняя бесполезную миссию?

В заключение этой тирады, произнесенной уже совершенно другим, низким, глубоким голосом, отчетливо и размеренно, как зачитывают приговор трибунала, вновь раздается, в третий раз, все тот же безумный смех. Но смех этот, как и последние, предшествовавшие ему слова, исходит из облака тумана, которое, словно гигантская волна, за считанные мгновения поглотило ночного косца.

Не успевают смолкнуть в воздухе последние раскаты хохота, напоминающие вой гиены, как мой отец, не имея возможности предаваться долгим размышлениям о смертном приговоре, столь поразившем его, оказывается вынужден отражать нападение, ибо из темноты, слева от него, вдруг совсем рядом появляется коса, брошенная со всего размаху чьей-то сильной рукой, и летит она не рукояткой вперед, а как бы стоймя, вертикально, с торчащим вверх лезвием. К счастью, у отца срабатывает защитный рефлекс, он успевает схватить на лету рукоятку, отливающую слоновой костью, и, изо всех сил напрягая мускулы и до хруста сжав пальцы, умудряется удержать ее на весу[1]. Не прояви отец присутствия духа, тяжелая коса обрушилась бы на шею лошади и острие могло при этом проткнуть горло ему самому или вонзиться в грудь.

Потрясенный тем, что чудом избежал смертельной опасности, отец и не подумал выпустить из рук свою добычу — хотя коса оказалась необычайно тяжелой, — в глубине души, быть может, надеясь отразить при помощи столь неожиданно попавшего к нему оружия новую атаку. И он

1. Автор здесь еще раз отсылает читателя к Вагнеру: Парсифаль в одноименной опере тоже перехватывает на лету смертоносное копье, пущенное в него волшебником Клингзором.

продолжает двигаться вперед, прямо держась в седле, все так же напряженно прислушиваясь и тревожно озираясь по сторонам, подняв косу вверх и неся ее словно орифламму.

"И вот теперь я несу его косу, как он просил, — говорит себе мой отец спустя несколько минут. — То, что не позволила мне совершить осторожность, несмотря на естественную жалость к старику, его хитрость — или случай — вынудила меня сделать". Вопреки рассудку, уже готовому помутиться, всадник не может не думать, что его таинственный спутник больше похож на посланца из потустороннего мира, персонажа чудесных историй, слышанных им в детстве, чем на ловкого обманщика из вражеского стана, пытавшегося заманить его в ловушку.

Ведь старик буквально испарился, растаял на глазах. Близится рассвет, завеса тумана постепенно поднимается, уже видна дорога — впереди, позади, справа, слева, со всех сторон, — и теперь уже абсолютно ясно, что мнимый крестьянин исчез, не оставив ни малейшего следа, кроме своей косы. Так могла бы поступить дочь Вотана, избрав молодого героя, которому вскоре предстоит погибнуть в битве, и вручив ему перед восходом солнца священное копье для последнего подвига вместе с предупреждением об ожидающей его славной и трагической судьбе.

И вдруг всадник видит, что впереди, примерно метрах в десяти от него, между тополями, что покачивают изувеченными ветками от легкого ветерка, катит повозка.

Это телега для перевозки тяжелых грузов, самого распространенного в те времена (и до середины нашего века) типа, сколоченная из толстых, крепких дубовых или каштановых досок, в которой возят все: от камней до навоза. Между двумя большими деревянными колесами с железными ободьями располагается квадратный кузов (или, быть может, этот кузов чуть больше в длину, чем в ширину) с расширяющимися кверху бортами, который укреплен на единственной оси и может опрокидываться назад, сваливая груз через откидной борт. Цвет у телеги самый обыкновенный — тускло-серый, кое-где черноватый, что свидетельствует о долгой службе в любую погоду. Тянет ее старая кляча, серебристо-серая с беспорядочно разбросанными по крупу черными пятнами, невероятно тощая, которая идет низко опустив голову, будто спит на ходу. Лошадь бредет вроде бы сама по себе, никто не держит в руках вожжи, никто ею не правит.

В телеге нет побегов утесника, о которых говорил незнакомец, а если и есть, то их очень мало и они лежат на самом дне, так как всадник, приблизившись к повозке, с высоты своего положения их не видит. В самой середине телеги стоит девушка в белом платье, высокая, стройная и словно прозрачная, с волосами цвета спелой пшеницы, золотящейся в лучах заката.

Девушка держится с большим изяществом, стоит прямо и неподвижно, не прилагая к тому видимых усилий. Не касаясь руками бортов и даже не раздвигая ног для устойчивости, она, кажется, не испытывает никакого неудобства от толчков, сотрясающих телегу на ухабах. Ее руки, скрытые широкими рукавами муслинового платья, слегка разведены в стороны, чуть согнуты в локтях и подняты вверх ладонями, тонкими и изящными (скорее это поза арфистки, лютнистки или музыкантши, играющей на мандоре, чем простой крестьянки), словно это помогает ей удерживать равновесие. Ее белые полупрозрачные одежды развевают-

ся от легкого утреннего ветерка, и порой кажется, будто они парят вокруг девушки как длинные белые водоросли, оплетающие нежное тело утопленницы.

Когда всадник догоняет повозку и оказывается у заднего борта с левой стороны от девушки, он видит ее босые ножки, маленькие, белоснежные, отливающие перламутром, выступающие из-под воздушной шелковистой ткани; девушка медленно поворачивает к нему голову, причем в этом движении участвуют и шея, и плечи, и грудь, так что неподвижной остается лишь нижняя часть тела. Лицо ее в нимбе золотистых волос непередаваемо красиво, и красота эта какая-то неземная, ангельская, чистая, несмотря на общеизвестные признаки чувственности: слишком уж наивный и веселый взгляд, полные сочные губы, чуть приоткрытый ротик... Приоткрытый в приветливой улыбке или от удивления?..

Но вот взгляд больших зеленых глаз скользит вверх и застывает на лезвии косы, укрепленной на рукоятке столь необычно, что это может удивить кого угодно, и внезапно на прекрасном личике прозрачной ундины — таком прекрасном, что красота ее кажется какой-то неестественной, — появляется выражение ужаса. Смущенный воин не знает что и думать: то ли это целомудренная посланница Вотана, то ли цветочная дева, посланная волшебником Клингзором[1] преградить ему путь.

В тот самый миг, когда всадник открывает рот, чтобы задать вопрос, вертящийся у него на языке: "Кто вы, цветок шиповника, большая лилия или анемона?" — он в свой черед обращает взор вверх, на лезвие косы, поблескивающее сейчас в первых лучах бледного зимнего солнца. Только теперь он замечает — но не ожидал ли он именно этого в глубине души, сам себе в том не признаваясь? — что лезвие укреплено неправильно, режущей кромкой вверх, как на косе *анку*[2], персонажа на удивление живучих местных легенд, наводившего на него ужас в детстве, не так уж давно.

Всадник, озадаченный и растерянный, переводит взгляд на дорогу и видит четверку кавалеристов из неприятельского стана: они скачут прямо на него облегченной рысью, приподнимаясь в стременах. Уланы держатся стройной группой, как будто собрались выступать на турнире, восседая на красивых, крепких конях рыжей масти с белыми, словно выжженными солнцем гривами; их вертикально поднятые пики с двумя повязанными под острием длинными узкими полосками ткани, белой и красной, похожими на язычки пламени, располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга и строго параллельно. Полоски ткани развеваются на ветру, то сплетаясь, то расплетаясь. Уланы одеты в черные мундиры, плотно пригнанные по фигуре, а на головах у них красуются черные шлемы, чьи странные, сверкающие медью гребни увенчаны четырехгранными остроконечными шишками.

Прежде чем французский воин успевает отреагировать на появление неприятеля, уланы оказываются совсем рядом, но не проявляют никакой враждебности, напротив, они громко и весело смеются, и эта шумная демонстрация хорошего настроения составляет довольно резкий контраст с их безупречной выправкой, уместной на параде, но не на поле боя. Раздаются какие-то веселые восклицания, насмешливые

1. В опере Вагнера «Парсифаль» волшебник Клингзор, не принятый в круг рыцарей Грааля, превратил пустыню в роскошный сад, где обитают цветочные девы, которые совращают рыцарей с пути.
2. Вестник смерти в бретонских поверьях.

или даже глумливые, затем один улан что-то кричит по-немецки, обращаясь напрямую к отцу, что-то явно смешное, но отец не понимает смысла выкриков, а потому не отвечает. Поравнявшись с ним и не отклонившись в сторону ни на дюйм, даже не придержав коней, уланы проносятся мимо, едва не задев медлительного всадника, который тащится на коренастой кобыле вслед за повозкой и потрясает грозным оружием времен восстания шуанов. Уланы дружно хохочут во всю силу своих глоток и удаляются, не снизойдя до нападения на француза.

Начиная с этого момента, рассказ отца становится менее уверенным. Получив троекратное предупреждение: первый раз от анку, вручившего ему свою проклятую косу (к которой ни один смертный не может прикоснуться без крайне плачевных последствий), второй раз — от ослепительной дочери бога, решающего исход боя, обернувшейся, чтобы ему улыбнуться, и тем самым "пометившей" его, и, наконец, в третий раз — от четверых черных всадников на красных конях, явившихся прямиком из Апокалипсиса и передавших ему роковую весть, хохоча над его наивностью и неведением, — отец, однако, не внял ничему и преспокойно двинулся навстречу смерти.

Среди вопросов, роившихся в его мозгу в это время (то есть в те краткие секунды, что отделяли миг исчезновения последнего вестника от рокового мига), как и среди сомнений, все еще одолевавших его десять лет спустя, когда он снова и снова пытался — в одиночестве или в беседах со мной — разобраться, обо что же спотыкается его память, единственной деталью, остававшейся неизменной вне зависимости от версии, была сделанная в его солдатской книжке военным чиновником официальная запись о том, что, выполняя опасное задание в ночь с 20 на 21 ноября 1914 года, на которое он вызвался добровольно, отец подорвался на немецкой мине, установленной посреди дороги.

Однако повозка — "Какая повозка?" — спрашивал отца офицер в госпитале три дня спустя, когда он наконец вышел из комы, — так вот, повозка миновала это препятствие без ущерба. Но, вероятно, она проехала чуть правее, на достаточно безопасном расстоянии. Что же касается улан, то они, конечно, обогнули место, где, как им было известно, стоят мины, а может быть, просто разглядели почти незримые для непосвященного, но заметные для человека сведущего метки или ориентиры. Наверно, именно к этому и относились их шуточки, они заранее смеялись над бедолагой, двигавшимся навстречу верной гибели, что, кстати, избавляло их от необходимости вести бесчестный бой вчетвером против одного.

Мой отец рассказывал иногда, что в тот самый миг, когда его ослепила вспышка от взрыва, он увидел, как впереди, прямо перед ним, там, где находилась за секунду до того белокурая девушка, вдруг возник деревянный крест, воткнутый в свежевзрыхленную землю. В центре, на перекрестье была укреплена эмалированная табличка в форме сердца с обычной надписью, и он, склонившись с седла и водя по надписи пальцем, с трудом разобрал старые, уже полустершиеся черные буквы: "Сержант кавалерии Анри Робен, павший на поле брани по роковому недоразумению". Тотчас после этого к нему спустилась с небес на крылатом скакуне валькирия, чтобы унести в Вальхаллу.

По другой версии отцовского рассказа, у столь взволновавшей его воображение девушки в белом руки были связаны за спиной, а нежные

ножки, уже и так исцарапанные до крови, при каждом толчке покрывались новыми ранами от острых колючек выстилавшего дно телеги утесника. Итак, на сей раз верный рыцарь, сопровождавший даму сердца, превратился в палача, везущего на костер или на эшафот ни в чем не повинную девственницу, осужденную на смерть либо от топора, либо от пламени. Ее снежно-белое тело, подвергнутое пыткам во время допроса, облачили по такому случаю в белое платье кающейся грешницы.

Но этот вариант является апокрифом, созданным моим воображением в ту пору, когда мне шел двенадцатый год и я начал вполне осознанно наслаждаться в уединении робкими эротическими фантазиями и довóльно невинными сексуальными преступлениями. В один прекрасный весенний день, когда я, по обыкновению, возвращался домой пешком из лицея Бюффона, я полистал у кого-то из букинистов, чьи прилавки загромождали широкий тротуар на бульваре Пастера, какой-то псевдоисторический труд, посвященный проблеме смертной казни в Турции во времена Османской империи. Мое внимание привлекла одна гравюра, и я прочел, что уж не помню в каком санджаке или пашалыке Анатолии палач имел право лишать невинности осужденных на смерть девственниц; а если жертва была молода и красива, сей мастер своего дела мог пользоваться этой привилегией в течение целой недели, еженощно нанося визиты закованной в цепи пленнице. Я, естественно, воображал, что удовольствие от насилия становилось особенно острым от предвкушения пыток — ужасных в те далекие времена, да еще на Востоке, о, Гюстав Флобер![1] — коим предстояло подвергнуться жертве после моих объятий и ласк.

Мои детские фантазии распаляла, главным образом, картинка, иллюстрировавшая эту главу в толстом томе в красном с золотым тиснением молескиновом переплете, более чем потрепанном, где мое внимание — внимание подростка, рано заинтересовавшегося садизмом, — привлекла прелесть, грация и бесстыдство обнаженного тела, отданного во власть палачей. Это́ была иллюстрация на всю страницу, где с большой точностью и несомненным талантом было изображено начало казни очаровательной преступницы; о заключении ее под стражу, допросах, пытках, суде и семидневной отсрочке исполнения приговора во всех подробностях рассказывалось выше. Подпись гласила: “Последние минуты жизни принцессы Айши”.

На картине был виден внутренний двор крепости, построенной в турецко-мавританском стиле, на который падает тень от минарета мечети, драматически перечеркивающая небо наискось. На переднем плане находилась обвиняемая бог весть в каких грехах девственница, правда бывшая, ибо она уже потеряла драгоценный цветок невинности и только под пытками созналась в якобы совершенных преступлениях. Изображена она была как бы сверху, с высоты трибуны, откуда за строжайшим исполнением приговора, а также за поведением жертвы наблюдают представители судебных властей, ибо должны сообщить о нем в отчете о казни. Итак, осужденную, как и предписано правилами, абсолютно нагую, положили прямо на выстланный черными мраморными плитами пол дворика лицом вверх. Избранная публика, присутствующая на этом зрелище, располагается вокруг восседающих на бесчисленных подушках судей, но ее почти не видно, ибо место зрителей занимает читатель с горящими от возбуждения щеками.

1. Отсылка к красочным жестокостям в романе Флобера «Саламбо».

Девушка лежит с широко разведенными в стороны напряженными ногами; живот у нее плоский, втянутый, с нежной кожей, талия — тонкая, шея — длинная, с красивым изящным изгибом, чуть вздувшаяся из-за неудобной позы, словно шея голубки. Два толстых кольца, вделанных в каменные плиты, плотно обхватывают ее лодыжки. Рук не видно, ибо они связаны за спиной как раз на уровне груди и, быть может, прикованы к земле таким же (но невидимым) кольцом, наличие которого послужило бы объяснением тому факту, что тело жертвы как бы слегка наклонено и обращено к читателю. Однако другая причина с гораздо большим основанием может служить объяснением этой позы, изящной и одновременно вымученной, и причина эта заключается в том, что жертва испытывает невероятные муки, ибо заостренный на конце лемех плуга, пройдя между раздвинутыми ногами, начинает проникать в укромные рыжеватые заросли, скрывающие лобок.

Тело несчастной лежит не совсем параллельно нижнему краю картины, а чуть-чуть наискосок, так что я могу в свое удовольствие рассматривать нежную внутренность приоткрытой вульвы, круглые груди с маленькими торчащими сосками, предстающие перед моим взором в сладком пароксизме боли, или запрокинутое миловидное личико, чьи тонкие черты, кажется, тают, исчезают в огромной пышной копне золотистых, рассыпавшихся ниже плеч волос, словно у венецианки с полотна старого итальянского мастера. Рот несчастной приоткрывается в беззвучном вопле, словно она бьется в экстазе: и без того большие глаза вытаращены от ужаса перед предстоящими мучениями, которые еще только-только начались и которым влюбленный палач готовится подвергать ее медленно, со знанием дела, старательно и прилежно.

Палач вцепился обеими руками в рукоятки плуга, направляя лемех твердо и решительно, напрягая все силы, чтобы удерживать его в горизонтальном положении, ибо две великолепные крепкие кобылицы на заднем плане, приковывающие взор своей красотой, привстав на дыбы, тянут сие орудие труда, превращенное в орудие казни. На кобылицах восседают два янычара в тюрбанах, украшенных султанами из перьев. Один из них сидит на лошади вполоборота и смотрит на тело, которому предстоит быть насаженным на острие лемеха, видимо, для того, чтобы проверить, хорошо ли натянуты цепи и правильно ли совершается жертвоприношение.

Плуг относится к самому примитивному типу и не имеет колес. Изысканная манера рисовальщика свидетельствует о весьма похвальном желании быть точным и правдивым в деталях, касается ли это пестрых одежд палача и судей, движений лошадей или чувственного и сладострастного изображения обнаженного тела. И в самом деле, складывалось впечатление, что художник хорошо разбирается в данном предмете, несмотря на склонность к романтизму; в те времена мне и в голову не приходило подвергнуть сомнению соответствие подобных творений исторической правде, хотя изображение данного эпизода обнаруживало явные потуги эстета, весьма подозрительные с научной точки зрения. Но точно так же обстоят дела и с картинами гораздо более знаменитыми, например с тем подлинным шедевром, представляющим резню на острове Хиос[1], где тоже смешались великолепные кони, красивые безжалостные мужчины и пышные женские тела под копытами

1. Имеется в виду картина Эжена Делакруа "Резня на Хиосе" (1824, Париж, Лувр).

скакунов, отданные на милость распаленным самцам, к тому же ради такого случая и обнаженные под прикрытием официального искусства Академии художеств.

Кстати, в конце сороковых годов я вновь столкнулся все с тем же фантазмом, то есть с плугом, превращенным в орудие казни. Услышал я о нем из уст молодой француженки из Марокко, которая с упоением рассказывала историю — известную ей, по ее словам, из самых достоверных источников — о недавней казни при помощи этого невероятного варварского орудия некоей новобрачной европейского происхождения, обвиненной престарелым супругом, племенным вождем из Атласских гор, в том, что она потеряла невинность до свадьбы. И на меня тотчас с прежней силой нахлынули воспоминания о моих детских сладострастных фантазиях. Вот почему в фильме "Эдем и после" это древнее земледельческое орудие дважды угрожает в Тунисе — сначала обнаженному телу статистки, а затем и гораздо более волнующей наготе Катрин Журдан.

Однажды во время гражданской войны в Испании (значит, мне было около 15 лет) мы всей семьей рассматривали книги в лавке Жибера на бульваре Сен-Мишель. Дело было в субботу вечером, и мы все, то есть отец, мама и я, листали некий альбом, где были собраны свидетельства о чудовищных злодеяниях, творимых республиканцами; мои родители, кажется, тогда верили во все эти россказни. Фотографии в альбоме были довольно расплывчатыми и малоубедительными, во всяком случае куда менее впечатляющими, чем красивые порочные гравюры из книги "Смертная казнь в Турции в конце XVII века".

Но одна фотография, более четкая, чем другие, привлекла наше внимание: на ней запечатлена очень молоденькая девушка в форме бойца Интернациональной бригады, а по бокам стоят два фалангиста, только что захватившие ее в плен. Моя мать громко замечает, что представительница враждебного лагеря весьма привлекательна и даже соблазнительна. "Тем лучше, — говорит отец, — парни смогут немного позабавиться". Мужчины, ростом намного выше девушки, держат ее за руки, держат крепко, один сжимает тонкое запястье, а другой — локоть, чуть выше сустава, и оба улыбаются прямо в объектив.

Они похожи на охотников, позирующих с убитой дичью. Однако здесь молодая львица еще жива. В ее глазах, ищущих путь к спасению, читается выражение страха и бессильного бунта. Темные кудрявые волосы спутаны и всклокочены, одна густая прядь спускается на висок (создается даже впечатление, что она колышется), а другая, чуть покороче, падает на лоб; ворот ее куртки распахнут, белая блузка, похожая на мужскую рубашку, расстегнута — все говорит о том, что девушка оказала сопротивление и взять ее было нелегко. Трепещущая, разгоряченная отчаянной борьбой, потная, она, кажется, прекратила (временно) отбиваться. Она выглядит как прекрасное гибкое животное, попавшее в капкан и обезумевшее от страха...

"Тем лучше... Смогут немного позабавиться..." Отец не стал уточнять, какие именно забавы имел в виду. Я понимал, что ей уготована роль игрушки, маленькой мышки, бьющейся в когтях у кошки, нежной куколки с податливой плотью, отданной во власть моих капризов и прихотей, беззащитной и движущейся только ради моего удовольствия: она будет совершать тщетные попытки вырваться, но эти проявления

стыдливости только еще больше распалят меня; недолгое сопротивление, отдаляющее миг, когда я сожму ее в объятиях, сделает этот миг еще сладостнее; дрожь ее тела от первых обжигающих прикосновений вскоре превратится в долгие мучительные конвульсии, ибо она окажется в оковах, которые не только усилят ее очарование, но и лишат способности сопротивляться, и я смогу наслаждаться зрелищем ее мук бесконечно долго, начиная уже с этой ночи...

Что касается моих родителей, то они ни словом не обмолвились об участи, ожидавшей отважную волонтерку после того, как победители уведут ее в какую-нибудь камеру, где будет очень тихо, стены будут сиять белизной, на маленьком окошке будет крепкая, прочная решетка, а на земляном полу разбросаны охапки соломы... Воцаряется плотная, вязкая тишина, затягивающая меня, как пучина... Мне предоставлена полная свобода действий, и я могу к обыкновенному изнасилованию присовокупить все способы унижения человеческого достоинства и тела по своему выбору, я могу сам устанавливать порядок сексуальных пыток, более или менее известных, которые буду усложнять с каждым часом. Итак, сначала жертве для острастки загоняют под ногти иголки, принимаясь вновь терзать ее израненные пальцы при малейшем непослушании, затем приказывают самой раздеться и позволить своим повелителям любоваться нежными интимными частями ее тела, которые они готовятся подвергнуть мучениям.

Искупив своими страданиями бесчинства, якобы творимые красными в монастырях, привлекательная пленница после многочисленных изнасилований, сопровождаемых или прерываемых новыми, все более жестокими пытками, находит конец в тюремном дворе, приняв смерть от четырех марокканских всадников на великолепных скакунах, разорвавших ее на части. Причем марокканцы, опасаясь оторвать слишком быстро руки, где сочленения слабее, чем в других местах, сначала лишь чуть-чуть натягивают цепи, прикрепленные к запястьям, чтобы судороги пробегали по груди и животу, пока они мало-помалу разводят ей в стороны ноги...

Мое внимание часто привлекала отличавшаяся какой-то неистовой силой иллюстрация на ту же тему — девушка и лошади — в громоздкой и благонравной "Истории Франции" Анри Мартена, занимавшей почетное место на полках нашей скромной библиотеки в Керангоффе. Какая-то воистину садистская чувственность этой картины в течение долгого времени питала мои сновидения. На ней была изображена королева Австразии Брунгильда, лет двадцати от роду, судя по свежести ее юного, абсолютно обнаженного тела, беспомощно бьющегося в приступе боли и сладострастия (счастливая эпоха невинности или ханжеская уловка?), пока ее, еще живую, несет через острые скалы и дремучий лес необъезженный жеребец, к хвосту которого она привязана за ногу. Огненная грива коня, его пышный, словно султан, хвост, чьему блеску и великолепию нисколько не вредит наличие страшного груза, длинные волосы жертвы, змеящиеся, словно языки горящего факела, — все содействует воспламенению пейзажа. И в огне этого бушующего пожара — белоснежное видение, озаренное пламенем.

Тут мне приходят на память разговоры о приключениях, якобы пережитых Анри де Коринфом, я о них, кажется, уже рассказывал в "Воспоминаниях о золотом треугольнике", где тоже шла речь о необуздан-

ных скакунах, об эротизации боли и об обнаженных прелестях девушек-подростков. Ходили слухи, что вскоре после окончания второй мировой войны во время подавления бунта где-то на границах Уругвая он якобы то ли сам организовал, то ли, по крайней мере, принимал участие в псовой охоте, где вместо оленух и ланей (самого опасного вида дичи, говорил он, громко смеясь) конные охотники преследовали молоденьких девушек в очень легких одеждах, в возрасте от 15 до 18 лет, а вслед им пускали свору собак, специально обученных разрывать в клочья короткие платьица и белье, а также вцепляться зубами в нежную плоть между ног.

Наконец, изнемогающих и обессиленных, уже израненных острыми клыками девушек насиловали грубо и рьяно, распалясь от скачки и улюлюканий, а затем убивали поодиночке или небольшими группами, устраивая кровавые инсценировки резни в Карфагене или представлений на аренах древнеримских цирков в те благословенные времена, когда бесчисленные прекрасные христианки служили для удовлетворения низменных инстинктов толпы (а впоследствии — для эротических грез лицеистов, изучающих историю Древнего Рима). Смерть поставленной на колени перед пнем девушки от сабли лихого всадника считалась самой легкой, хотя редко кому удавалось отсечь голову с первого удара, а наиболее мучительной и потому самой высоко ценимой казнью считалось сажание на остро заточенный кол из молодого дерева. Горячих поклонников имела и казнь через распятие в развилках деревьев или на сколоченных наспех козлах из бревен или обрубленных ветвей, ибо при таком способе казни уже после того, как жертвы будут пригвождены в чрезвычайно интересных позах, которые делают их прелести еще более привлекательными, можно подвергать самых соблазнительных пленниц дополнительным пыткам раскаленными щипцами и пылающими головнями, пока они не испустят дух.

Разумеется, никто никогда не мог представить доказательств в поддержку подобных обвинений. И граф Анри с высоко поднятой головой всячески демонстрировал, что эти россказни — всего лишь плоды неврозов его недоброжелателей, клевещущих на него. Однако прекрасная Анжелика, с которой он познакомился как раз в тот бурный и тревожный период его жизни, похоже, действительно присутствовала (в качестве просто зрительницы, охотницы или "дичи", пощаженной в последний момент?) при какой-то сцене подобного рода. В прелюбопытном письме одному из своих дядюшек эта совсем еще юная женщина намекает на "совершенно особый характер" охоты на севере страны. Но она не сообщает никаких точных данных ни о месте, ни о времени проведения "охоты", не называет имен участников этой забавы, так что ее краткий рассказ в конечном счете очень похож на скандальную историйку из рубрики "Происшествия". В более или менее приукрашенном виде подобные истории ходят по всему миру, и путешественники охотно пересказывают их в письмах на далекую родину.

Наконец, чтобы закончить эту длинную, исполненную бредовых навязчивых мыслей и идей главу — ибо я уже чувствую, как в душе моего читателя поднимается глухое раздражение, и мысленно слышу его упреки, — отметим, что изображение красивой обнаженной девушки, которую в лесной чаще преследуют собаки и кусают за ляжки и ягодицы, служило иллюстрацией к одной из новелл Боккаччо в дешевом сборнике его произведений, обнаруженном мной среди тайных сокро-

вищ старого чемодана в дальнем углу душного чердака, с низко нависающими балками, в нашем доме в Керангоффе, под оцинкованной крышей, накаленной августовским солнцем, то есть в помещении, предназначенном для ненужных вещей и бесконтрольных детских развлечений. Теперь вы можете увидеть ее в "Игре с огнем", моем предпоследнем фильме, и аппетитная старлетка, исполняющая эту роль, доставила мне живейшее удовольствие как во время сцены штурма, так и во время сцены пира, где подавали ее нежное тело, выставив его напоказ.

Был повинен в подобных бесчинствах в Южной Америке Анри де Коринф или нет, но в любом случае за сорок лет до того мой отец знал совсем иного графа де Коринфа, настолько иного, как будто это был вообще другой человек. Познакомился он с ним при обстоятельствах, описанных несколькими главами выше. Возвращаясь утром 21 ноября 1914 года после осмотра местности, молодой капитан де Коринф во главе дозора скачет на лошади по узкой проселочной дороге, обсаженной искалеченными тополями. Он замечает лежащего во рву мертвого солдата: на теле нет никаких видимых ран, а окоченелая рука все еще сжимает, словно древко знамени, которое он хотел бы унести с собой в могилу, в рай, где обитают герои, длинную рукоятку из слоновой кости, на которой весьма необычным образом, режущей кромкой вверх, укреплено лезвие косы.

Спешившись, чтобы получше рассмотреть древнее оружие, офицер замечает, что пальцы руки (левой), судорожно сжимающей косу, еще теплые, как и запястье, высовывающееся из рукава землистого цвета шинели. Сердце бьется, хотя и слабо. Шинель и такого же землистого цвета шлем не подтверждают принадлежность солдата к французской пехоте или кавалерии, так как в первые месяцы войны форма у пехотинцев была серо-голубая, а кавалеристы носили темно-серые с красным мундиры. Иначе говоря, это мог быть и немец. Что же касается рукоятки странной косы, то она как будто сделана из человеческих костей, не то плечевых, не то берцовых и явно женских, тщательно пригнанных друг к другу.

С помощью двух сопровождавших его солдат Коринф погружает раненого на свою лошадь; один из солдат втаскивает, другой подталкивает сзади бесчувственное тело, и наконец им удается положить его прямо перед всадником. Граф Анри доставляет его на командный пункт, куда сам и направлялся. Тремя днями позже капитан де Коринф узнает, что солдат со странной косой вышел из комы, и он тотчас же отправляется в госпиталь, чтобы расспросить его прямо на больничной койке (под предлогом сбора кое-каких сведений военного характера, в действительности же движимый совершенно иными мотивами, даже ему самому, быть может, не вполне ясными). Как сообщили Коринфу санитары, у солдата (моего отца) всего лишь травма черепа из-за падения с лошади, да еще повреждение внутреннего уха в результате взрыва мины. Эти повреждения ни в коей мере не угрожают его жизни и не требуют срочной отправки в тыл. Видимо, произошло чудо, и тело лошади защитило его от осколков при взрыве.

Однако капитан не получил от солдата никаких, даже самых отрывочных сведений относительно столь заинтересовавшей его косы (напомним, что Коринф тоже бретонец и хорошо знает легенды Финис-

тера о вестнике смерти), ибо раненый в тот момент ровным счетом ничего не помнил ни о худом старике, ни о странном орудии, которое тот нес на плече. Сержант еще не оправился и не мог восстановить картину событий, лишь время от времени в его сознании возникали какие-то разрозненные, смутные образы, но и они, едва только он пытался описать их и с его губ срывались отрывочные слова ("скрипели колеса повозки"), тотчас же исчезали во мраке, таяли, чтобы больше уже никогда не вернуться. Он что-то говорил про заостренный лемех плуга, про свору собак, преследующих в лесу дичь, про молодую вражескую лазутчицу(?), захваченную в плен, которую уводят куда-то два жандарма...

Он впадал в забытье в тот самый миг, когда ему удавалось выловить эти бессвязные слова из пропасти своей памяти и прошептать их; Коринф же вскоре присоединился к мнению майора, усматривавшего в этих бредовых обрывках фраз временные последствия горячки, сопровождавшей выход из бессознательного состояния (когда никто, кстати, не дал себе труда прислушаться к тому, что бормочет раненый) после сильного шока и полной потери сознания. Однако майор (а вслед за ним и Коринф) полагал, что больной вскоре избавится от этих осложнений.

Что же касается странной косы, которая и была тайной причиной, побуждавшей капитана заняться разведкой в глубинах расстроенной памяти моего отца, то она бесследно исчезла. Уже на следующий день после возвращения из дозора Коринф приказал солдатам отправиться на поиски, так как этот сектор считался теперь нейтральной зоной и там было относительно спокойно. Но хотя само место найти было несложно — после взрыва немецкой мины посреди дороги образовалась воронка, а четыре тополя были вырваны с корнем, — косу так и не нашли. Все тогда сошлись на том, что ее подобрал несколькими часами раньше под покровом ночи какой-нибудь мародер.

Между тем дружба двух мужчин родилась именно в тот день, когда молодой офицер, сидевший у изголовья раненого, тщетно пытался найти хоть какой-то смысл в его словах, истолковать его молчание или понять причину его забывчивости. Просматривая документы сержанта, чудом спасшегося от гибели, капитан де Коринф тотчас заметил — и заметил, уточним, не без удивления, даже не без изумления — кое-какие совпадения, которые вскоре вызвали у него чувство тревоги, почти смятения: молодой солдат, очень похожий внешне на самого Коринфа — тот же рост, то же телосложение, та же прическа, сходные черты лица, точно такой же большой нос с горбинкой, тот же чуть асимметричный рот, — родился, как и капитан, в Кемпере и тоже 21 ноября, правда тремя годами позже, но зато день в день. И звали обоих одинаково: Анри. Коринфу в то утро исполнилось 25 лет, и он, вероятно, отметил бы свой день рождения гибелью, если бы другой всадник, тоже бретонец, его тезка, его двойник, не проскакал бы по той же роковой дороге на какой-то час раньше и не подорвался бы на мине, предназначенной ему, Анри де Коринфу.

Итак, Коринф вбил себе в голову, что отец спас ему жизнь, однако тот в свой черед тоже полагал, что обязан спасением Коринфу: оставшись в одиночестве, без сознания около развороченного трупа лошади, он, несомненно, умер бы, если бы его не нашел ниспосланный Провидением капитан и не доставил немедленно в госпиталь, где врачам

пришлось немало потрудиться, чтобы вывести его из трехдневной комы. Короче, оба были обязаны своим спасением друг другу.

Спустя месяцы, а то и годы, точно не знаю, когда именно, но однажды ночью, когда над землей опустилась плотная пелена тумана, мой отец, услышав скрежет колес старой телеги на изрытой ухабами дороге в Нижней Бретани, внезапно вспомнил старика, смеявшегося безумным дьявольским смехом, и подумал, что старик сыграл необычайно важную (хотя и неоднозначную, чтобы не сказать двусмысленную) роль во всей этой истории: если он и в самом деле был анку, вестником смерти (и, быть может, не только тем, кто извещает о скорой гибели, но и тем, кто делает выбор, кому из ныне живущих предстоит отправиться в бесконечное путешествие), то не взял ли он жертву под свое покровительство, не защитил ли, заставив нести свою косу, ибо именно коса — и только коса — была той причиной, по которой в судьбу Анри Робена вмешался капитан де Коринф? К тому же, избавив отца от неминуемой гибели, проклинаемый вестник смерти стал своего рода посредником, благодаря которому Анри Робен познакомился с будущим другом, единственным большим другом всей своей жизни.

Примерно в то самое время, когда из глубин расстроенной памяти отца всплыл, словно обломок кораблекрушения из морской пучины, образ костлявого старика в круглой шляпе, со странным смехом, похожим на вой гиены, и косой с обоюдоострым лезвием (косой одновременно и роковой, и спасительной), из недр его сознания столь же неожиданно всплыл еще один осколок событий недавнего прошлого, относившийся к тем же самым ноябрьским дням 1914 года: перед его внутренним взором возник образ очень юной девушки, обвиненной в шпионаже в пользу противника, ее куда-то уводили два солдата, крепко держа за руки чуть повыше локтей. Девушка была одета в мужские черные брюки, плотно пригнанные на бедрах, как у матросов. Она была стройна и хорошо сложена, не слишком высока, во всяком случае, явно меньше ростом, чем ее стражи. Чувствовалось, что она еще дрожит от волнения, ибо задержали ее недавно.

Девушка не сдалась без борьбы, что повергло мужчин в изумление, настолько ее сопротивление казалось тщетным и бессмысленным, да к тому же и абсурдным, поскольку она начисто отрицала, что является шпионкой или тайным агентом неприятеля. Кожаная куртка какого-то зеленоватого оттенка расстегнулась во время борьбы, так как девушка яростно отбивалась, ворот распахнулся и оказалась видна белая, тоже расстегнутая блузка. Волосы девушки, очень темные и кудрявые, всклокоченные и спутанные, тоже свидетельствовали об утомительной погоне и рукопашной схватке. Девушка прерывисто, тяжело дышала, ноздри ее трепетали, рот с пухлыми, сочными губами был чуть приоткрыт, ей явно не хватало воздуха. Заломленные за спину руки сковывали блестящие стальные наручники.

Отцу никак не удавалось поместить эту сцену в хронологическую цепь событий. С чем, с каким конкретным происшествием связан этот эпизод? В те три дня, которые он провел в коме, на грани жизни и смерти после взрыва, и которые он, посмеиваясь, называл знамением Ионы — весьма непочтительно, как мне кажется, намекая на слова Иисуса, возвещающие его воскресение через три дня, подобно тому как Иона вышел через три дня живым из чрева кита, — так вот, в те самые три дня,

когда он был фактически мертв, в его мозгу окончательно перемешалось все, что касалось его одинокой вылазки в ночь с 20 на 21 ноября 1914 года.

А потом эта картина опять исчезала. И опять было уже поздно вспоминать. С событиями нашего прошлого происходит абсолютно то же, что и с событиями настоящего: остановить их невозможно. Мы не можем ни удержать эти недолговечные, бренные мгновения, исчезающие столь же внезапно, как и возникающие, ни восстановить их последовательность, ни соединить их в непрерывную цепь причинно-следственных связей на конкретном отрезке времени. Поэтому я вряд ли могу разделить точку зрения Филиппа Лежёна на перевоплощение воспоминаний в текст. "Требование значения, смысла – первейший и непреложный принцип автобиографических разысканий", – говорит он. Нет и нет! Несомненно нет! Эта аксиома, совершенно очевидно, неприменима ни к рукописи, которой посвятил два последних десятилетия своей жизни Коринф, ни к моей собственной нынешней затее.

Для меня, в частности, и речи не может быть о том, чтобы приписывать некое внутреннее единство этим блистающим как алмазы, но таким хрупким мгновениям, этим клубам тумана, не позволяющим мне употреблять глаголы в так называемом "историческом прошедшем времени", которое одно только и является во французском языке надежным знаком и залогом связности, хронологической последовательности и четко прослеживаемой логики событий. Сколько бы я ни старался, у меня ничего не получится. И очень скоро я буду вынужден вернуться к отдельным мгновениям, к их неопределенности и зыбкости. Вместе с упорядоченностью представлений о мире рухнула и уверенность рассказчика в своем всезнайстве. Терпеливое воссоздание отдельных фрагментов, удержавшихся в моей памяти (временно, я знаю), никоим образом не позволяет рассматривать мое прошлое в качестве генератора значения (смысла моей жизни), нет, напротив, оно может выступать лишь как генератор повествования, то есть становления моего писательского замысла. Такая позиция кажется мне более честной и куда более интересной.

Так, я усматриваю для себя очень мало различий между сочинением романов и нынешним написанием своей автобиографии. Их основополагающие элементы едины по своей сути и по происхождению, ибо добыты из одной и той же сокровищницы, непроницаемой для обычного взора. Мне не раз доводилось вводить в романы подлинные пейзажи моего детства (острова у побережья Бретани в "Цареубийце" и "Соглядатае"), я придавал свои черты моему герою (а именно Валласу, незадачливому сыщику из "Резинок"), я описал в "Ревности" дом, где я действительно жил в Фор-де-Франсе на Мартинике, он стоял над рейдом, среди гуаяв и саговников, тот самый дом, который я напрасно искал три года тому назад в лабиринте современных сооружений и строительных площадок; я также описывал в романах совершенные когда-то мной путешествия (в "Доме свиданий", например, нашли отражение мои воспоминания о поездке в Гонконг в те далекие времена, когда там еще плавали большие, величественные джонки и сновали легкие сампаны), мои садоэротические фантазии, свойственные, надо сказать, многим (их можно найти в "Проекте революции в Нью-Йорке", в "Топологии города-призрака", в "Золотом треугольнике" и т. д.), завод в

Нюрнберге, где мне пришлось работать чернорабочим (я перенес его в город "Цареубийцы"), я выводил на страницах романов девочек и юных девушек, которых любил когда-то, так, например, прообразом Виолетты из "Соглядатая" послужила некая Анжелика, я еще вернусь к разговору о ней, если не забуду... Она тоже умерла в очень юном возрасте, погибла на отвесных скалах в Бретани, в местности Леон, и это происшествие за отсутствием доказательств чьей-либо вины пришлось признать несчастным случаем.

Что же касается самого строя повествования, то как в случае так называемого художественного вымысла, так и в случае псевдоавтобиографических изысканий я ясно вижу в них одну и ту же надежду в разных формах поставить извечные, не имеющие ответов вопросы: "Что есть я сам? И что я делаю в мире?" — вопросы, являющиеся в действительности не проблемами смысла, но проблемами структуры. Поэтому мне незачем искать успокоения в мнимой, фальшивой, навязанной извне стройности и ясности. Напротив, я должен стараться бережно обращаться с движением времени, с ходом действия, с пробелами и необъяснимыми случайностями жизни.

Я просто, начиная с "Возвращающегося зеркала", немного усложнил процесс сдачи карт в моей игре и предложил в качестве нового двигателя текста еще одну жульническую карту, введя в череду действующих лиц по имени Борис, Эдуар Маннере, Матиас или Джоан Робсон[1] самого себя под именем Жан Робен.

Но и это еще не все, ибо во мне нет цельности, а есть некая глубокая брешь. Я постоянно ощущаю, как в мою реальную жизнь вторгаются другие жизни, ничуть не менее реальные: это женщины, которых я знал когда-то, мои родители, исторические персонажи, писатели, музыканты, воины, о которых я читал или слышал, герои романов и пьес, которые питали мой ум и душу — Богоматерь цветов[2], Джо Кристмас[3], Маю[4], Йозеф К. или Ставрогин, Макбет или Борис Годунов, — и какие-то мгновения их судьбы, яркие, сжатые, насыщенные событиями, внезапно вклиниваются в цепь мгновений моей жизни. Однако в большинстве своем все это убийцы, чародеи и коварные обольстители, столь глубоко проникшие в мои сновидения, что их вторжение влечет за собой новое нарушение законов, открывает новые бездны.

Иногда эти вторжения, напротив, помогают мне восполнить некоторые пробелы и восстановить недостающие звенья, как, например, сейчас мне помог дневник, который вел (быть может, и апостериори) капитан де Коринф, где он во всех подробностях описал день 20 ноября, то есть канун своего двадцатипятилетия. В тот день он в пять часов утра выехал из штаб-квартиры части, к которой относилось подразделение, находившееся под его командованием. Верхом, двигаясь обыкновенной рысью в сопровождении ординарца и двух солдат, он благополучно пересек территорию, считавшуюся ничейной, с самого начала отдав предпочтение не основной, а проселочной дороге, чуть южнее главной, ближе к нашим тылам, а потому и менее опасной. В двадцать минут седьмого он прибыл на наш передовой пост, который занимал позицию по

1. Герои романов А. Роб-Грийе.
2. Имеется в виду роман Жана Жене «Богоматерь цветов».
3. Герой романа У. Фолкнера «Свет в августе».
4. Герой романа Робера Пенже «Маю, или Материал».

другую сторону "кармана", образовавшегося незадолго до того в результате вклинивания противника в расположение наших войск. Он быстро добрался до небольшой деревушки В., расположенной на опушке леса со странным названием Лес потерь, и быть может, название это было вещим, ибо мы отбили этот лес у неприятеля ценой кровопролитнейших боев.

Прибыв в В., капитан де Коринф осведомился об одном кавалеристе, простом капрале по фамилии Симон, который должен был передать ему шифр и план протянутой наскоро телефонной линии между двумя французскими соединениями, разделенными в ходе вражеского наступления (разделенными, быть может, только на короткое время, потому что противник, похоже, уже отвел свои части из прорыва по каким-то одному ему известным причинам). Но оказалось, что капрал Симон в тот момент ненадолго отлучился из части для выполнения некоего задания, возложенного на него буквально в последнюю минуту, что являлось ярким свидетельством сумятицы и беспорядка, царивших на этом участке фронта. Симон должен был отконвоировать через Лес потерь юную девушку, подозреваемую в шпионаже. Говорили, что именно в результате ее пособничества противник прорвал нашу оборону: она якобы всыпала сильный наркотик в вино наших солдат, соблазнив с этой целью молоденького часового, охранявшего склад.

Поскольку этот часовой погиб в ходе ожесточенных боев, принявших для нас крайне неприятный оборот, выяснить истинные обстоятельства дела так и не удалось. Кстати, обвинения в шпионаже могли возникнуть и из-за того, что среди местного населения царила настоящая шпиономания, а в данном случае положение усугублялось еще и тем, что девушка, казалось, стала объектом странной ненависти всех обитателей деревни еще задолго до начала войны. Ее отец дезертировал с фронта в августе и числился среди пропавших без вести. Что касается матери, жившей очень уединенно, то ее также не обошли стороной проклятия, градом сыпавшиеся на голову девушки-подростка.

Девице же, судя по всему, приписывали все мыслимые преступления и грехи из-за ее "дьявольской красоты", сочетавшейся с ранней чувственностью, опасной и разрушительной (столь ненавистной женщинам — как ревнивым красоткам, так и старым святошам, — однако порождавшей и у мужчин чувство страха даже в тех случаях, когда они без зазрения совести пользовались ее плодами); за оба эти качества в стародавние времена ее непременно осудили бы на смерть, объявив ведьмой, суккубом, демоном в женском обличье и приспешницей Сатаны. Вполне возможно, командир воинской части и не стал бы поддерживать обвинение против девушки или быстро снял бы его (так как все вино было выпито и не осталось ни капли, чтобы сделать анализ на наличие наркотика), если бы не отчаянное сопротивление девицы при задержании, ибо подобное поведение казалось очень подозрительным.

На заре капрал Симон, закинув винтовку за плечо, отправился верхом сопровождать пленницу, которую на его попечение передали после ареста два жандарма. Я уже описывал появление девицы, когда ее с двух сторон крепко держали за руки двое мужчин, трепещущую и задыхающуюся от страха и возбуждения, в защелкнутых на запястьях новеньких наручниках, чьи хромированные стальные челюсти блестели под утренним солнцем. Так что возвращаться к этому не стоит. Двое пехотинцев подняли девушку и втолкнули в повозку — обычную телегу для

навоза, — где она осталась стоять, то ли из гордости, то ли надеясь при первой же возможности сбежать, несмотря на наручники, то ли желая еще раз заявить таким образом о своей невиновности.

Итак, девушка стоит в телеге, без видимых усилий сохраняя равновесие и не держась за борта даже в те мгновения, когда деревянные колеса телеги, влекомой тощей, изможденной серой лошадью, попадают в колею или выбоину, и повозка подпрыгивает, сотрясается и скрипит. Однако у этой клячи есть одно несомненное достоинство: она идет сама. Возницы в телеге нет, вожжи брошены, и так как лошадь очень стара, она пользуется предоставленной свободой, чтобы брести медленно-медленно, низко опустив голову, что создает яркий контраст с гордой осанкой пассажирки. Капрал Симон, сын крестьянина (его отец — виноградарь из департамента Эро), был выбран для выполнения этого не слишком приятного задания, так как умел заставить лошадь повиноваться на расстоянии с голоса, каковым даром он сейчас и пользуется, двигаясь верхом тихим, размеренным шагом чуть позади, вслед за плохо смазанными поскрипывающими колесами.

Погода стоит прекрасная, слишком теплая для этого времени года. Туман рассеялся очень рано, и веселое, ласковое солнце пронизывает где прямыми, где косыми, а где и собранными в пучки лучами прогалины между стволами деревьев и низко нависающими над дорогой ветвями. Лес, состоящий в основном из буков и молодых вязов, еще мало похож на зимний, так как на ветвях тут и там подзадержались порыжелые и потемневшие листья. В ходе боев лес пострадал лишь местами, и птицы щебечут в вышине, как в мирное время. Маленькая пташка, вроде бы славка, сопровождает путников, то перепархивая с одного куста на другой, то опускаясь на обочину дороги, то улетая вперед, чтобы немного передохнуть в нескольких метрах от телеги на тонких, образующих сложный узор веточках, где висят, словно четки, цепочки капель росы.

Пичужка что-то тоненько насвистывает[1], издавая отрывистые звуки, состоящие из двух-трех нот, или коротенькие музыкальные фразы, чуть более сложные. Можно подумать, будто она что-то рассказывает, как ребенок, который еще только учится выговаривать отдельные слова и составлять из них даже не рассказ, а так, разрозненные отрывки: он что-то лепечет, затем умолкает и, немного помолчав, продолжает свою бессвязную речь, следуя, без сомнения, какой-то своей логике, неуловимой для взрослого. У капрала Симона даже возникает порой впечатление, будто птичка пытается передать ему какое-то сообщение. Подобные мысли вызывают у него улыбку. Девушка, стоящая в повозке, совсем рядом с ним, мало-помалу успокоилась. Она поворачивается к своему стражу и тоже улыбается — улыбается чуть приоткрытым ротиком вкрадчивой, обольстительной улыбкой, чем приводит молодого кавалериста в смущение. Она, разумеется, замечает это. Кокетливо состроив ему глазки и похлопав черными длинными ресницами, она спрашивает:

— Как тебя звать?

Голосок у девушки звонкий, чистый, прозрачный, мелодичный, в нем нет сейчас ни единой нотки злости или обиды. Он так гармонично смешивается с лесными шорохами и звуками, словно это воркует где-то в

1. Еще один намек на оперу Вагнера «Зигфрид», где птичка своим пением предупреждает рыцаря об опасности.

вышине горлица в этот обманчиво-теплый, будто бы весенний день столь же обманчивого затишья между боями, всего лишь затишья, но не мира; он звучит как-то очень проникновенно, задушевно и в то же время чуть более нежно и мягко, чем следовало бы, так что можно заподозрить, что за его бархатистостью и мягкостью кроется некий тайный смысл или умысел: призыв, попытка увлечь, предостережение... О, берегись, невинный, простодушный всадник!

— Как тебя звать?

Симон колеблется, отвечать или нет. Потом, после минутного размышления, приходит к выводу, что его имя не является военной тайной.

— Симон, — отвечает он, оставаясь по-прежнему настороже.

— Это твое имя или фамилия?

— Это моя фамилия, — отвечает всадник.

— А по имени-то тебя как звать?

При крещении родители нарекли его Жан-Кёром. Как в мэрии, так и в церкви весьма благосклонно отнеслись к сочетанию имени святого Иоанна Евангелиста и одной из главных святынь католической веры — Сердца Христова[1]. Но сам капрал Симон не любил свое имя, оно казалось ему смешным и излишне нежным, скорее женским, чем мужским. Хорошенькая кузина Симона, названная по тому же принципу Коринной, частенько звала его Жоли-Кёром, то есть душкой-сердцеедом, за миловидное личико, нравившееся девушкам. Разумеется, звала она его так не в насмешку, а скорее чтобы ему польстить, но Симона это просто бесило. К счастью, сейчас ничто не заставляло его называть свое настоящее имя, что он делал всегда с чувством глубокого стыда. Кстати, Симону приходит в голову, что он, быть может, даже обязан солгать, на случай если эта обольстительница и в самом деле шпионка.

— Меня зовут Пьер, — говорит он, по-прежнему не расслабляясь.

— А я Кармина, но дома и в деревне меня зовут просто Миной. Тебе нравится?

Не получив ответа, девушка после непродолжительного молчания задумчиво, чуть растягивая слова, добавляет:

— А вот мужчины говорят, что я — Кармен.

Затем, видя, что ей не удается этими заигрываниями вывести своего стража из состояния крайней сдержанности, почти враждебности, она шепчет теплым, проникновенным, звучным, хотя и чуть низковатым голосом:

— А я скорее подумала бы, что ты Жозеф.

Однако капрал не замечает намека на героя Мериме или еще более прозрачного — на библейского Иосифа[2], привлекшего внимание жены Потифара. Вполне возможно, девчонка и не знает ни истории Иосифа, сына Иакова и Рахили, ни истории дона Хосе. Быть может, она и сказала-то это потому, что уже слышала, как произносят это имя с насмешкой и издевкой. Сам же Жан-Кёр думает о том, что имя Кармен звучит на испанский лад, а Мина — на немецкий, и это кажется ему все более и более подозрительным. Чем острее ощущает парень волнение при виде ее полуоткрытого рта, ее соблазнительного тела, при звуках ее голоса, тем больше его мучает сознание воинского долга. Он догадывается, что она иногда нарочно шевелится, чтобы еще больше распалить его. Под предлогом сохранения равновесия она слегка вытягивает тонкую гра-

1. Кёр (coeur) — сердце (*франц.*).
2. По-французски имена Иосиф и Хосе звучат как Жозеф.

циозную шейку то влево, то вправо, изгибает стан, напрягает бедра, расставляет ноги. Юношу все сильнее охватывает желание, но одновременно возрастает и его недоверие. Потом ему приходит в голову, что подобная ситуация может обернуться ему на пользу и сослужить добрую службу в деле исполнения воинского долга. Разве совершит он что-либо незаконное, если воспользуется собственными несомненными достоинствами в глазах девицы, чтобы разузнать побольше о предательской деятельности обвиняемой? Ведь если он ее соблазнит, то она, возможно, доверит ему кое-какие секреты, а то и выболтает военные тайны противника, сообщит сведения, которые будут очень и очень полезны офицерам штаба.

Симон довольно долго обдумывает, какой задать девице вопрос, чтобы приступить к делу, и начинает издалека, чуть менее суровым тоном:

— Ты говоришь о мужчинах. Похоже, они тебе нравятся?

— Да, иногда, если они высокие и сильные, да к тому же еще и красивые, вроде тебя!

Робкий и скромный кавалерист чувствует, что краснеет до ушей, как это бывает только с блондинами. Он злится на самого себя, а заодно, естественно, и на Мину. Однако ничего нового для него в таких комплиментах нет, ведь уже далеко не впервые он слышит от молоденьких девиц нечто подобное. Неужто эта юная ведьма повергнет его в большее смущение, чем все остальные? Неужто она волнует его сильнее других? Он мучительно ищет какую-нибудь колкость, чтобы как следует наказать нахалку, но не находит ничего, кроме грубоватой глупости.

— Ну, ты сама-то не такая уж и красотка, знаешь ли!

— Так, значит, и не стоило краснеть, словно ты девственник! А потом, ведь ты еще ничегошеньки не знаешь, ведь ты еще не видел меня голой, Жоли-Кёр, желающий, чтобы тебя называли Пьером!

На сей раз бедняга капрал заливается краской так, что становится алее своих алых форменных штанов. Итак, его настоящее имя уже стало известно в деревне? Похоже, что так... Видно, правду говорят, эта девка — сущий дьявол!

Какое-то время пленница и ее страж едут, не глядя друг на друга. Оба пребывают в дурном расположении духа и упорно хранят молчание. А денек выдался просто чудесный, стало тепло, почти жарко. Опавшие листья, желтые, оранжевые и красные, покрывают землю пестрым влажным ковром, от которого пахнет осенью, коричневатым мхом и мелкими грибами, источающими какой-то островатый, мускусный аромат. На обочине дороги по-прежнему суетится болтливая славка.

— Мне хочется пипи, — неожиданно заявляет девушка.

"Вот те раз! Ну и дела! — думает Симон. — Она что же, смеется надо мной?"

— Ну так делай в штаны, — отвечает капрал тихо и зло, но ему тотчас же становится стыдно за свое хамство.

— Ты стараешься меня унизить, как я понимаю, — говорит Кармина, и в ее голосе слышится горький упрек, — но я расскажу военному судье про твою жестокость и незаслуженные издевательства, как только мы доберемся до города. И ты будешь расстрелян, как того требует устав.

Она говорит, как маленькая девочка, грозящая пожаловаться маме на неловкие заигрывания маленького приятеля. Затем, помолчав, вновь став нежной, ласковой, чуть взволнованной, с явной ноткой чувственности в голосе, как будто бы что-то обещая, она говорит:

— Ну я тебя очень прошу, Жан-Кёр. Девушки ведь не делают этого стоя, ты же знаешь. А я даже не могу присесть, потому что штаны такие узкие, да и руки у меня скованы за спиной, к тому же телега все время подпрыгивает на ухабах. Ну прикажи же лошади остановиться. Помоги мне слезть на землю. Я тебя не задержу, управлюсь мигом.

Капрал взвешивает все за и против, но никак не может принять решение. Ничего подобного не предусмотрено в строгих положениях устава, написанных крохотными буковками на последней странице его солдатской книжки в уже изрядно потрепанном желто-зеленом переплете, где почти каждый параграф заканчивается грозными словами, напечатанными крупными буквами: "Нарушение карается понижением в звании или смертью!"

Почувствовав, что парень глубоко задумался, темноволосая сирена вновь заводит свою песню:

— Ты можешь не бояться, что я убегу: с руками, заломленными за спину, да еще и скованными этими железками, не больно-то быстро побежишь. А если ты хочешь подстраховаться, то можешь взять вожжи, чтобы держать меня на привязи, когда я буду делать пипи, как будто я твоя маленькая собачка и ты выгуливаешь меня на поводке.

Жан-Кёр Симон чувствует, что пылает уже весь целиком (в физическом смысле, я хочу сказать, ибо жар, первоначально опаливший его лицо, уже спустился ниже и охватил шею, грудь, живот). Эти жалобы и мольбы уже кажутся ему не только несуразными, но и неприличными. Внезапно в его памяти всплывает одна пикантная сцена из его собственного отрочества, не такого уж и далекого... Он вспоминает девочку по имени Анжела, которая при соучастии и пособничестве Коринны развлекалась тем, что дразнила мальчишек, возбуждая в них желание по вечерам или во время сбора урожая. Но капрал Симон довольно быстро начинает испытывать угрызения совести. Ведь в конце-то концов нет ровным счетом никаких доказательств виновности этой красивой девушки. Жандармы сами ему об этом сказали. И в любом случае международные конвенции обязывают обращаться гуманно с пленными, а уж с пленницами и подавно.

— Поторопись же, — униженно молит девица жалобным голоском, переминаясь с ноги на ногу.

Внезапно Симон принимает решение. Он кричит "Тпру!", и старая серая лошадь тотчас же останавливается, не заставляя повторять окрик дважды. Бравый кавалерист придерживает своего скакуна, натянув поводья, и в мгновенье ока соскакивает на землю. Даже не взглянув на хорошенькое личико Кармины и потому не заметив, как на ее красиво изогнутых губках появилась мимолетная торжествующая улыбка, он отвязывает от упряжи старой клячи бесполезные вожжи, свисающие с правой оглобли. Затем выбивает штыри, которыми крепится задний борт телеги, и доска откидывается прямо на него.

Прежде чем капрал успевает обдумать порядок дальнейших действий, Мина бросается вперед и падает ему на грудь. Непроизвольным движением, чтобы девушка не переломала себе кости при падении, Симон подхватывает ее на лету и в течение краткого мига держит, крепко прижав к груди и обхватив обеими руками тонкую талию. Потом, не слишком торопясь, ослабляет хватку, и его хрупкая ноша соскальзывает вниз. Но в тот момент, когда маленькие ножки уже почти коснулись земли и Симон чуть наклоняется, чтобы поддержать девушку и до кон-

ца быть галантным кавалером, юная колдунья вдруг высовывает язычок и облизывает ему губы, при этом она нарочно трется крепкими ляжками и лобком о живот и без того возбужденного капрала, извиваясь как змея и делая вид, будто старается коснуться земли пальцами ног.

От изумления Жан-Кёр тотчас же выпускает девицу из рук и отшатывается назад, как будто прикоснулся к раскаленному железу. Тогда Мина говорит медленно, глядя ему в глаза, без тени улыбки:

— Не бойся, у меня нет дурной болезни. К тому же это даже нельзя считать поцелуем. Тебя просто лизнула в знак благодарности маленькая послушная собачка.

Замерев на месте, леденея и пылая одновременно, Жан-Кёр Симон смотрит на девушку, вытаращив глаза. Он весь во власти панического страха и в то же время — необъяснимого очарования. До войны он хотел стать священником, несмотря на насмешки Коринны; и желание это возникло у него скорее под влиянием священного, парализующего, безотчетного ужаса перед обнаженными женскими половыми органами, как он их себе представлял — и до сих пор представляет, — чем под влиянием мистической или нравственной потребности служить Богу. К сану священника его подталкивала надежда обрести убежище, покой и уединение. И пока он еще не отказался от этой мысли. Разумеется, он так и остался девственником.

Куртка Мины расстегнулась, когда она выскользнула из рук капрала, так как пуговицы куртки, соприкоснувшись с большими золочеными пуговицами его френча, сами собой выскочили из петель. Дышит она учащенно, прерывисто; ее юные, свежие груди, распирающие блузку из искусственного шелка — тоже полурасстегнутую предусмотрительной чародейкой, — при каждом вздохе приподнимаются и на мгновение замирают, будто их обладательница задыхается. Ткань блузки тонка, шелковиста, почти прозрачна, можно легко догадаться, что грудь девушки, не стянутая корсетом или плотной нижней рубашкой, свободно колышется. Маленькие острые соски, окруженные коричневато-розовыми ореолами, с силой давят на ткань, словно вот-вот проткнут ее.

Мина потихоньку приближается к своему изнемогающему от желания и страха стражу, и хрупкое, легкое тело пленницы при каждом крохотном шажке мягко и плавно покачивается, словно по нему пробегают волны дрожи. Жан-Кёр понимает, что обманывать себя больше невозможно и что теперь он стал дичью, а она — хищным зверем, вернее нет, даже не хищным зверем, а самкой змеи, любовницей, пожирающей своего любовника, летучей мышью, жаждущей напиться крови, вампиром. Прямо посреди ее личика, точнее, мордочки дикой зверюшки с атласной, мягкой, бархатистой кожей, напоминающей кожицу только-только созревшего плода, раздуваются от возбуждения ноздри. Ее пышная шевелюра со спутанными, всклокоченными кудрями вдруг вспыхивает под ослепительным лучом солнца в тот миг, когда она оказывается против света. Волосы у нее вовсе не черные, как сначала показалось капралу Симону: рыжеватые сполохи (словно кто-то приотворил тяжелые врата ада и отблеск адского пламени озарил ее головку) пробегают по всей этой колышущейся копне. Огромные, расширенные зрачки плавают в очень темном море радужной оболочки, где мерцают золотистые искорки. Рядом, на голубоватом белке левого глаза, отчетливо видна черная точка, знак Сатаны.

Влажный ротик с пухлыми, сочными губами приоткрывается все шире, так что видны маленькие белые зубки, ровные и острые.

Кажется, будто ротик этот чуть кривится, еще больше обнажая зубы с левой стороны (то есть с правой, с точки зрения внимательного и настороженно следящего за ней наблюдателя), словно девушка собирается его укусить. Она прищуривает глаза, и лицо ее искажает гримаса: появляется оскал, свойственный представителям семейства кошачьих (гораздо ярче выраженный у них, чем, скажем, у змей или у самок богомолов), ноздри раздуваются и трепещут, лоб прорезают морщинки. Но это зыбкое видение, часто проступающее именно в этом месте, в сплетении выцветших гирлянд на обоях, напротив сидящего за письменным столом человека, вдруг исчезает, тает уже в который раз.

Не выпуская из пальцев самописку (с уже давно не работающим механизмом подзарядки), так и застывшую над девственно-белым листком бумаги, только что положенным на стол, Коринф машинально проводит кончиками пальцев свободной левой руки по шее, вернее, по самому ее основанию, под расстегнутым воротом рубашки. Затем он вновь склоняется над столом и опускает перо на белый лист, чтобы начать новый абзац. Он пишет:

"В "Тетралогии" не хватает одной сцены, которая могла бы, возможно, стать центральной, а именно сцены превращения. В глухой чаще густого, дикого леса, где птичка безуспешно пытается предупредить об опасности невинного Зигфрида, этот рыцарь без страха и упрека отдается безраздельно, сам того не ведая, во власть фее Моргане, то есть на самом деле волшебнику Клингзору, который вскоре вновь появится перед ним в облике не внушающего доверия целителя. Ибо именно она, фея Моргана, послала простодушному герою цветочную деву с тревожным и волнующим запахом мускуса и мха, деву, чьей жертвой уже пали многие бесстрашные, но легковерные рыцари: Анфортас, Ланселот, Парсифаль... И вот уже иллюзорная роза, порождение фантазма, готовится похитить у юноши его девственность, чтобы потом обречь его на бессилие. Зигфрид, подвергнутый кастрации в ее снабженном острыми зубами влагалище, не сможет подарить ребенка Брюнхильде, осужденной на вечную девственность, и таким образом прервется наконец цепь кровосмесительного потомства, предоставляя свободу действий потомкам Альбериха и его неукротимого сына Хагена.

Свободный человек будущего, о котором грезит Хаген, неся свою бессменную вахту над бурными водами Рейна, является полной противоположностью пресловутому положительному герою, который сегодня, вслед за быстрым восстановлением буржуазных моральных ценностей, стал глуповатым кумиром социалистического общества, построенного Лениным. Живой герой может быть только отрицательным. Всей своей жизненной энергией, всей своей красотой и доблестью — интеллектуальной, эротической, мускульной (о Сизиф!) — он противостоит положительному герою. В то время как славный рыцарь добра, разума и добродетели, слепо служащий богу законов и тоталитарной истины, обрекает себя на обезличивание и самоустранение, свободный человек будущего (бездна, что все время призывает меня) видится на горизонте как некая зияющая пустота. Ничто, девственная пена... Сперма первого изнасилования, которое окажется и последним, чьи беловатые потоки смешиваются на розовом перламутре ног с алой кровью

последней дефлорации. Последний писатель пока еще не готов к тому, чтобы стать таким свободным человеком, но он все же является провозвестником определенной надежды, пусть призрачной, и ощущает себя самого как некий сдвиг, трещину в привычном и упорядоченном ходе вещей и событий: он естественный враг добродетели, разрушитель своего разума, пробел в собственном сознании, бездна, зияющая в сердце истины, пустота, забвение, хаос.

Разумеется, он не может опускаться до мелких компромиссов с церковью или бюрократией. Напротив, он небрежно и свысока воздаст каждому то, что ему причитается, будь то Понтий Пилат или Куртелин. Он выступает не против отдельных положений той или иной системы, нет, он отрицает любую систему вообще. При всем при том, отнюдь не намереваясь заменить одну истину другой (каковая очень быстро станет столь же гнетущей и смертоносной), он охотно может стать коммунистом, чтобы противостоять Франко, евреем — чтобы уничтожить Гитлера, католиком — в советизированной Польше, монархистом — в Третьей республике.

Но по странной своей склонности, за которую славные ребята из лагеря левых всегда будут его упрекать, он нередко отождествляет себя с "капитализмом джунглей" и, следовательно, с самой реакционной либеральной идеологией. Разумеется, он является ее сторонником лишь отчасти и в любом случае временно. Для свободного человека будущего частный капитал, даже достигший огромных размеров и ставший мультинациональным, на невротическом уровне противостоит государственно-монополистическому капиталу, особенно если человек, им владеющий — или его контролирующий, или только им управляющий, — мыслит себя единственным обладателем власти: тогда деньги для него всего лишь опосредованная метафора гегелевского "признания".

Тут граф де Коринф вновь отрывает взгляд от исписанного листка, чтобы посмотреть на обои, где смутно проступают неясные, изменчивые лица, и еще раз вглядеться в то место напротив него, где возникает порой загадочная улыбка Мари-Анж. Затем, не увидев в свете догорающего дня ничего, кроме поблекших венчиков, в которых трудно опознать какие-то определенные цветы, он вновь принимается за работу, зачеркивает слово "опосредованная", заменяет его другим, близким по смыслу, перечитывает конец фразы и продолжает:

"Деньги для него всего лишь объективная метафора гегелевского признания: благословенное золото, что сияет в сине-зеленых глубинах реки, золото, из которого я собираюсь выковать проклятое кольцо. Не беспокойтесь же сверх меры, — пишет Коринф на полях бисерным почерком, гораздо более мелким, чем тот, что покрывает черной паутиной основную часть листа, — не беспокойтесь за нежные, отливающие перламутром тела девушек-подростков, полных чувственного очарования; не волнуйтесь насчет изысканных пыток и прочих отсветов адского пламени, без сомнения шокировавших вас чуть выше и весьма достойных осуждения — я это признаю, — тем более что эти изящные банальности рассыпаны в тех частях повествования, где оно сознательно мимикрирует, принимая псевдоправдоподобные формы, и воспринимается введенным в заблуждение читателем как простодушный и честный рассказ. Так что он, пожалуй, даже может усмотреть в этом мнимом простодушии признак того, что во мне еще осталось нечто человеческое.

Так вот, нет, нет и нет! Все обстоит совершенно иначе. В этой борьбе не на жизнь, а на смерть любой материал хорош при условии, что его строение будет нарушено, это касается и планиметрии текста, и употребления самых приторных, тошнотворно-сладких прилагательных. Чтобы заставить признать свой невозможный текст последним текстом, для последнего пишущего нет лучшего оружия, чем диалектические противоречия. Вы говорите, что на диалектику легко все валить? Хорошо! Пусть так! Заключим же пари и встретимся лет через пятьдесят. Мне тогда стукнет 115, вас это устроит? В отличие от человека, жаждущего быть желанным, романист имеет право убить своего читателя. Другие читатели придут на смену, чтобы признать писателя через века. Ибо, как это ни парадоксально, последнего читателя не будет никогда.

Непомерно раздутое "эго", выставление себя самого в качестве единственного воплощения "сверх-я", абсолютная неспособность общения с себе подобными, разрушительные желания на всех уровнях — таковы прискорбные приметы последнего писателя, продолжающего свое повествование:

Понапрасну потратив время на поиски плана телефонной линии и на расспросы всех ответственных лиц, которых он только мог найти в деревне В., капитан де Коринф, отчаявшись, двинулся неспешной рысью по следам капрала Симона, проклиная на чем свет стоит безответственность командования — если не всей армии, то по крайней мере этого батальона. Ведь Коринф так и не смог дознаться, кто именно отдал приказ капралу Симону увезти девушку из расположения части. Самым поразительным было то, что некий военный врач по фамилии Моржан, заехавший в часть по служебной надобности (какое отношение мог иметь ко всей этой истории военный врач?), сыграл, похоже, определяющую роль в судьбе капрала и девушки: именно он проявил инициативу в момент захвата шпионки и предложил немедленно передать ее для допроса офицерам разведки вышестоящей инстанции, то есть штаба бригады. Кто-то другой воплотил это решение в действие, назначив конвоиром капрала. Кстати, быть может, все это было проделано с единственной целью — убрать девушку из деревни, подальше от разъяренных жителей, грозивших ее линчевать. Как бы то ни было, Симон, вероятно, уже довольно далеко углубился в Лес потерь, так что капитана отделяло от него солидное расстояние. Однако Коринфу и его ординарцу все же кажется, что скачут они слишком долго, а телеги с пленницей все не видно. Они предполагали, что повозка без возницы будет двигаться достаточно медленно и они быстро догонят капрала. Но не тут-то было. Местность становится неровной, дорога, петляя среди деревьев, без конца ветвится и пересекается с другими похожими дорогами, и офицер уже в который раз задается вопросом, не сбились ли они с пути и не сбился ли с пути капрал, сопровождающий повозку с пленницей, не свернули ли они (или он) не в ту сторону на каком-нибудь перекрестке, ибо нигде нет ни одного указателя.

Об этом лесе по всей округе шла очень дурная молва. Жители деревни, указывая капитану, по какой дороге ему ехать, предупреждали его об опасностях, что подстерегают в пути. Они сказали, что название "Лес потерь", вероятно, дано этому лесу из-за того, что в нем легко заблудиться, если не знать хорошо этих мест. Ходили слухи, будто недавно

там заблудились лесорубы, работавшие в этих краях из года в год. Они заблудились в знакомом месте, на участке, который словно по волшебству (или в результате наведенной порчи) вдруг перестали узнавать. Они блуждали по лесу в течение многих дней, думая, что движутся вперед, а на самом деле ходили кругами, то удаляясь от какого-то заколдованного центра, то вновь возвращаясь к нему; полумертвые от усталости, уже на грани безумия, лесорубы все же спаслись, и спасением своим они были обязаны, по слухам, крохотной певчей птичке, славке с рыжеватой головкой: она перепархивала с ветки на ветку впереди них и даже вроде бы оборачивалась, словно зовя их за собой, когда они сомневались, стоит ли за ней следовать; вот так якобы она и вывела их к лагерю, от которого они находились на удивление близко, что само по себе было необъяснимо. Разумеется, капитан в присутствии ординарца-парижанина отказался верить этим россказням.

Однако теперь Коринфа не на шутку беспокоит одно обстоятельство: он уже давно не различает на дороге следов повозки. Вымощенная щебнем дорога хотя и не такая мокрая, как неделю назад, когда шли дожди, но все же достаточно сырая, чтобы колеса с железными ободьями оставили на ней если не сплошную, то хотя бы заметную кое-где колею. Вдобавок отсутствие малейшего ветерка, стихшего сразу после того, как он развеял на рассвете туман, не позволяет предположить, что колею могли засыпать, например, опавшие листья.

В лесу воцарилась какая-то странная тишина. Уже не слышен гул канонады, который был так отчетливо различим утром на равнине возле деревни, и порой, казалось, даже усиливался. Да и птицы, еще час назад весело щебетавшие среди высоких ветвей, на ласковом солнышке этого обманчиво теплого предзимья, так похожего на весну, вдруг словно по команде умолкли. Кстати, солнечные лучи, пучками проникавшие сквозь полуголые ветви и озарявшие все вокруг золотистым светом, мягким и чуточку фальшивым, должны были бы помочь драгунам сориентироваться. Но, к несчастью, дорога становится все более извилистой, она петляет, словно змейка, среди холмов, скал, лощин и оврагов; вероятно, им следовало с самого начала наметить курс и внимательно следить за малейшими изменениями направления...

Видимо, благодаря этой странной, тревожной тишине Коринф, настороженно прислушивавшийся в надежде различить впереди скрип повозки, вдруг слышит справа от дороги какие-то размеренные удары, довольно частые, которые вполне можно было бы принять за стук топора дровосека... Нет, все-таки это не топор, это звуки гораздо более звонкие, высокие, не такие тяжелые... они больше похожи на хлопки в ладоши... В любом случае это не дятел и не дикое животное; у Коринфа на миг возникает желание свернуть в чащу, чтобы разыскать дровосека и спросить у него дорогу. Однако он тотчас гонит от себя эту мысль, сообразив, чем может обернуться такая попытка: а вдруг он окончательно заблудится, если окажется, что звуки раздаются вовсе не так близко, ведь в лесу определить расстояние на слух очень трудно?

Проехав еще немного, капитан опять меняет решение по причине, в которой, пожалуй, не признался бы даже самому себе: справа от дороги, метрах в двадцати от него, вдруг защебетала какая-то одинокая пташка с рыжеватой головкой. Она что-то тихонько насвистывает, какую-то незамысловатую грустную мелодию, в которой слышится то ли сомнение, то ли тоска, то ли обреченность. Хотя песенка звучит пре-

рывисто, временами неожиданно стихая, потом начинаясь снова, маленькая певунья упорно повторяет одну и ту же музыкальную фразу, и это постоянство, весьма необычное для славки, кажется офицеру-бретонцу, привыкшему с детства получать закодированные сигналы из сверхъестественного мира, тревожным знаком. Он придерживает лошадь и вновь прислушивается. Затем обращается к своему спутнику, остановившемуся бок о бок с ним:

— Слышишь стук топора там, в лесу? Подожди меня здесь. Я хочу посмотреть, кто там работает, может быть, он скажет нам, в какую сторону ехать.

— Да, господин капитан, — только и отвечает ординарец, не позволив себе пуститься в комментарии по поводу происхождения звуков, которые даже горожанин не смог бы спутать ни со стуком топора, вонзающегося в основание ствола, ни со звоном ножа, обрубающего сучья.

А Коринф опять прислушивается к монотонной песенке славки, которая запела чуть громче, словно почувствовав, что на нее обратили внимание. Однако всей доброй воли слушателя явно недостаточно, чтобы найти в этих музыкальных звуках сходство, даже самое отдаленное, со звуками человеческой речи, хоть на французском, хоть на немецком языке. Граф де Коринф говорит:

— Если я крикну один раз, кричи в ответ, и я буду ориентироваться по твоему голосу. Если же я крикну несколько раз, немедленно скачи ко мне.

— Да, господин капитан, — отвечает ординарец, как видно, мало расположенный к пустой болтовне и не привыкший делиться с командиром своими соображениями.

Как только Анри де Коринф приблизился к крохотной посланнице, силящейся передать ему какую-то загадочную весть, птичка вспорхнула и отлетела метров на двадцать в том направлении, откуда, казалось, исходили странные хлопки. Повернув головку в сторону офицера, славка опять завела свою песенку, настойчиво повторяя все тот же вопрос, предостережение или зов. Лошадь капитана легко ступает по рыхлой, местами чуть ноздреватой почве; буковый лес хорош тем, что у старых буков не бывает низко нависающих ветвей, а у подножия деревьев практически нет никакой растительности, кроме мха. Белая лошадь легко преодолевает пологий подъем, и коричневато-рыжие листья шуршат под ее копытами.

Коринф проезжает еще немного и начинает подозревать, что ритмичные хлопки, привлекшие его внимание, возможно, производит прачка, старательно колотя вальком по мокрому белью. Кстати, впереди, шагах в тридцати, не больше, слышится журчание ручья или родника, что создает вполне соответствующий звуковой фон для предполагаемой стирки и подтверждает новую гипотезу капитана. Однако поблизости нет ни малейших признаков ручья, а подъем становится все круче и ведет к высоким серым скалам, куда опустилась славка, продолжая без устали повторять неизменные семь нот с каждым разом все громче и увереннее.

Внезапно к птичьим трелям присоединяется человеческий голос — несомненно, женский, он напевает где-то совсем рядом, а валек отбивает такт. Голос очень красивый, молодой, чистый, свежий, ласковый, нежно-бархатистый, когда звучит mezzo forte, грудной, воркующий, в нем слышатся то страсть, то нежность и необычайная теплота на ниж-

нем регистре. Пораженный этим волшебным явлением, незримым, бесплотным, нематериальным, Коринф останавливается. Девушка поет где-то близко, метрах в пяти-шести, но ее не видно. Слышно, как журчит вода и ритмично хлопает по мокрым полотняным рубашкам деревянный валек, но вокруг нет ни речки, ни ручейка, ни родника, где можно было бы стирать белье. По-прежнему откуда-то доносится щебет рыжеголовой славки, но ее самой тоже не видно: вероятно, она уселась где-то высоко в переплетении ветвей или затерялась среди последних бронзово-медных листьев на серебристых ветвях буков.

Яркий солнечный свет, столь невероятный в это время года, какой-то неестественный, феерический, заливает все вокруг, и ощущение странного, потустороннего покоя усиливается благодаря необычайной живописности и величественности пейзажа с мощными вековыми деревьями и скалами — словно на полотнах мастеров XVIII века, таких, как Юбер Робер, или Жан-Батист Юэ, или Коро, если бы он в середине XIX века запечатлел лес Броселианд [1]. И царящая вокруг тишина, и идиллическое пение прачки, составляющие вместе с безмятежным пейзажем неправдоподобно гармоничное целое, кажутся тем более нереальными, что войны здесь как бы и нет, словно бои обошли стороной эти заколдованные места, забытые войной, забытые историей, забытые временем.

Коринф, тоже зачарованный, все слушает и слушает. Слова странной протяжной песни явно не французские, но и не немецкие. Скорее это какой-то диалект испанского, быть может, андалусский, а то и вообще арабский. Что до мелодии, то ее можно принять за цыганский или берберский напев, ибо она отличается резкими сменами тональности и внезапными сбоями, когда певица вдруг умолкает, будто у нее прервалось дыхание, а затем вновь столь же неожиданно возобновляет пение после долгих мгновений тревожного ожидания, когда уже кажется, что все кончено, но мелодия звучит снова, бурно, стремительно, яростно и уже на совсем другой высоте. Порой создается впечатление, что поют одновременно две разных женщины, настолько поражает это смешение бесконечной нежности и какой-то дикарской чувственности.

Славка умолкла, словно тоже ошеломленная красотой пения. Не слышно больше и шлепанья валька по мокрому белью. Внезапно прерывается и печальная, похожая на жалобу песня, и остается лишь тихий лепет воды. Анри де Коринф направляет своего скакуна к гребню возвышенности и подъезжает к причудливо изломанной скале, где опустился его крохотный поводырь. Капитан пытается воспроизвести основную тему мелодии, что так его очаровала, многократно и всякий раз по-разному повторяясь, но сохраняя все ту же неподдельную грусть. Думая о голосе прачки-невидимки, Коринф внезапно вспоминает про певчую птичку, и у него возникает ощущение, что она выводила тот же самый мотив. К несчастью, мимолетное ощущение, порожденное интуицией, вместо того, чтобы стать более отчетливым и ясным, тотчас исчезает, так же быстро, как и возникло, и забывчивый слушатель уже не способен воспроизвести не только голосом, но и мысленно ни одной ноты из той мелодии, что сначала насвистывала славка, а потом напевала девушка.

1. Лес, в котором, по преданиям, охотился король Артур и жил волшебник Мерлин.

Он тихонько поворачивает коня, стараясь не шуметь, ибо он потрясен услышанным и теперь словно боится прервать какой-то языческий обряд, проникнуть в какую-то неведомую запретную тайну или потревожить саму фею Моргану. Заглянув за гребень холма, капитан обнаруживает небольшую котловину, прежде скрытую от его взора скалами. Продолбленная подземным ключом, вытачивавшим ее тысячелетиями, котловина представляет собой идеально круглое углубление в толще известняка, шести-семи метров в диаметре и глубиной метра в три. Граф де Коринф приближается к краю настолько, насколько позволяет ему здравый смысл, требующий все же позаботиться о безопасности лошади (да и о своей собственной тоже). Свесившись с седла, он смотрит во все глаза на открывшееся у самых его ног зрелище.

Из расселины в скале с силой бьет родник, и поток, подскакивая, несется среди камней к овальному, размером не более ванны, водоемчику в центре впадины. Вода в нем чистая, чуть голубоватая и как будто бы светится изнутри. Вытекая из водоема, ручеек вьется среди плоских, гладких, отполированных водой камней, напоминающих очень крупную гальку; затем он устремляется в какую-то расселину и, видимо, пробивается на поверхность уже на другом склоне холма, похожего на небольшой вулкан с глыбами застывшей лавы, венчающими там и сям ровный бордюр его вершины, и с крохотным озерцом на дне кратера. Как раз напротив всадника, только метров на пять ниже, на самом большом из плоских камней, образующих бережок водоема, неподвижно стоит на коленях девушка, изящно склонившись над зеркальной водой: быть может, любуется своим отражением, чуть искаженным из-за легкой ряби на поверхности, или просто смотрит на свои ручки, которыми лениво шевелит в прозрачной воде.

Девушка одета во все белое, ее одежды сшиты из очень тонкого льняного полотна, белоснежного, без единого темного пятнышка, и кажутся не по сезону легкими: из-под широкой пышной юбки в складку выглядывают босые ножки, а в полукруглом вырезе присобранной на талии блузки видна гладкая, отливающая перламутром шея и округлое мягкое плечико, с которого соскользнула ткань. Пышные, густые черные волосы с рыжеватым отливом откинуты на одну сторону, так как девушка чуть склонила головку к прикрытому коротким рукавом плечу. Изящные руки тоже обнажены. Однако около прачки что-то не видно ни белья, предназначенного для стирки, ни деревянного валька. К тому же и вода в этой природной ванне остается чистой и прозрачной, в ней нет и намека на молочно-беловатые разводы, что должны были бы оставить зола или мыло, если девушка действительно стирала.

Вероятно, незнакомка заметила в своем подвижном зеркале отражение внезапно появившегося у нее за спиной драгуна на белом коне, ибо она медленно оборачивается и поднимает личико к гребню холма. И улыбается без малейшего смущения красивому молодому человеку в элегантном мундире. Она еще моложе, чем думал Коринф, и едва-едва переступила порог отрочества. Ее мягкие кудри сами собой рассыпались по плечам в прелестном беспорядке, когда она плавно повернулась всем телом. У девушки огромные темно-голубые глаза с золотистыми искорками, простодушные, невинные и задорные; на белке левого глаза около радужной оболочки отчетливо видна черная точка. Ноздри ее маленького, тоненького носика еле заметно подрагивают. Влажные, неплотно сомкнутые губы, алые и пухлые, делают ее ротик еще привле-

кательнее, еще желаннее, а розовые щечки нежны и бархатисты, словно только-только созревшие плоды.

Сейчас девушка очень похожа на лесного зверька, врасплох застигнутого в норе охотником. Однако по ее виду можно и предположить, что она секунду назад нарочно искусала губки, чтобы увеличить силу своей обольстительности, чьи секреты ей уже известны. Улыбнувшись на всякий случай в ответ, чтобы не спугнуть прелестное видение, если девушка все же окажется пугливой, Коринф спрашивает:

— Это ты пела?

— Если это пела не славка, значит, я, — отвечает она без тени смущения, — потому что здесь больше никого нет!

Голос, конечно, тот же, теплый, чувственный, волнующий, особенно на низких нотах. Девушка говорит довольно тихо, с какими-то очень доверительными, интимными интонациями, с тайными намеками. Но, быть может, этот природный склеп, где таинственная девушка с явным удовольствием прислушивается к самой себе, меняет звучание голоса, из-за чего капитан и ошибся недавно относительно расстояния, отделявшего его от источника странных звуков.

Граф де Коринф вновь обращается к девушке с вопросом, чтобы поддержать разговор:

— Ты пела очень красивую песню, но на каком же языке? Слова звучали так странно...

— Не знаю, красавец капитан. Меня научила этой песне мать, когда я была совсем маленькой. Мне говорили, что моя мать пришла сюда откуда-то издалека... И отец тоже... откуда-то из Марокко, с побережья, или из Португалии... Но теперь их уже ни о чем не спросишь... А может, даже из Турции...

— Ну, это не одно и то же, — говорит Коринф, а сам вспоминает о недавнем вступлении в войну Оттоманской Порты на стороне Германии и Австро-Венгрии.

Но он не решается больше задавать вопросы на эту тему, чувствуя, что причиняет девушке боль, он видел, как тень печали скользнула по хорошенькому личику в тот миг, когда она произнесла: "...их уже ни о чем не спросишь..." Значит, она сирота? Или что-то иное? А что? Найденыш? Похищенное дитя? Потерявшееся дитя, даже не ведающее, откуда родом ее родители, и не знающее, на каком языке они говорили?.. Девушка по-прежнему стоит на коленях, но уже чуть откинувшись назад, изогнув стан и подняв вверх полусогнутые в локтях руки; она шевелит изящными, тонкими, белыми пальчиками (чтобы они просохли), нисколько не похожими на огрубелые пальцы прачки или дочери лесоруба, да и перебирает она ими в воздухе как арфистка.

Капитан спрашивает:

— Как тебя зовут?

— Манрика, но местные жители считают мое имя странным, так что угольщики зовут меня просто Марией. Манрика... Вы не находите, что это звучит гораздо лучше? Манрика...

Девушка повторяет вполголоса свое имя, словно желает, чтобы ее собеседник оценил его мелодичность, которая ей так нравится. Первый слог "ман" она произносит очень четко, твердо, без всякого намека на носовой звук, и в его сочетании с последующими словно слышится рокот маленького водопада. Но Анри де Коринф, являющийся не только страстным поклонником гения Вагнера, что мы уже заметили, но и зна-

током творчества Верди, тотчас же вспоминает про сына колдуньи, брошенного по ошибке в пламя костра. Итак, значит, это искусство трубадуров[1] расцветило столь дивными красками ее кантилену! Это оно придало ей столько страсти...

Девушка вновь обрела прежнюю веселость и опять смотрит на капитана с дерзким простодушием, он задумчиво спрашивает:

— Уж не была ли твоя мать феей?

— Все матери — феи, разве вы не знаете, прекрасный рыцарь? Точно так же, как все девушки — колдуньи!

В подтверждение этой шаловливой сентенции девушка с ловкостью фокусника проделывает перед своим личиком, на глазах очарованного ею всадника, целую серию сложных пассов с участием пальцев, ладоней, запястий, локтей, как восточные исполнительницы танца живота или баядерки, а также маги, чародеи и колдуны, когда творят заклинания. Сквозь подвижный занавес этих движений девушка расточает Коринфу обольстительные улыбки и многообещающе строит глазки. Несмотря на то что Манрику не назовешь недотрогой, все же решить, действительно ли она в открытую предлагает себя красавцу драгуну или просто смеется над ним, трудно. Капитан предпочитает не торопить события.

— Что же ты тут делаешь совсем одна в лесной чаще? — спрашивает он.

— Это мое потайное место, здесь я стираю свои вещи.

— Какие вещи? Я что-то ничего не вижу, ни в воде, ни на берегу. Похоже, ты ничего не стирала...

— Да нет же, стирала! Стирала! Я только что прополоснула свое платье, можете сами посмотреть!

Дав столь малоубедительный ответ, девушка вскакивает на ноги, легко и ловко, как балерина. Затем она опускается перед все еще сидящим в седле драгуном в очаровательном придворном реверансе, придерживая руками юбку и растягивая собранную в складки материю как можно шире. Становится совершенно очевидно, что она нагло и бесстыдно лжет: ее свободная блузка, так же как и юбка с широким поясом, свежевыстирана и отбелена, это верно, но верно и то, что они не только хорошо просушены, но и выглажены. Странно, но на ее одежде нет ни единого пятнышка, она даже не смята в тех местах, где соприкасалась с камнем, когда девушка стояла на коленях.

Не сосредоточиваясь на этих противоречиях, весьма и весьма странных, Коринф восхищенно смотрит на стройный силуэт, достойный кисти Миньяра или Грёза. Талия у девушки на редкость тонкая (ее вполне мог бы обхватить ладонями мужчина, и она бы прекрасно там уместилась), и это особенно подчеркивают крутые бедра, нежная выпуклость живота, ложбинка между ног, мягкая округлость ягодиц. Тонкость и изящество лодыжек и всей стопы позволяют предположить, что и ляжки у нее не тяжелые, а крепкие и плотные. Ниже выреза, обнажающего белое горло и плечи, молодая грудь натягивает блузку, и справа, там, где соскользнул рукав, чуть приоткрывается узкая впадина под мышкой и начало нежного холмика.

— А если бы вас здесь не было, — продолжает девушка, верно угадав, что многоопытный эксперт сейчас раздевает ее глазами и оценивает ее стати, — я бы разделась догола и искупалась.

— В такой ледяной воде?

1. Намек на героя оперы Верди «Трубадур» Манрико.

— Вода здесь никогда не бывает холодной, наоборот! Ведь из скалы бьет горячий источник... Иногда, в морозы, от него даже идет пар. Спускайтесь ко мне, искупаемся вместе, и вы сами убедитесь...

Разумеется, девушка несет какую-то чушь, по крайней мере в том, что касается ее собственных действий. Зачем же нужно было надевать якобы выстиранные вещи, если она намеревалась искупаться, что и предлагает безо всякого стыда проделать вместе с ней и офицеру? Как бы ни сгорал Анри де Коринф от желания посмотреть, как девушка будет заниматься своим интимным туалетом, и даже помочь ей в этом, он все же начинает ощущать смутную тревогу, в его душу закрадывается подозрение, что его заманивают в ловушку и он вот-вот в нее попадет. Капитан предпочитает занять выжидательную позицию и говорит:

— Ты что-то уж слишком далеко забралась от своей деревни.

— О какой деревне вы говорите? Здесь нет никакой деревни. Я живу вместе с угольщиками, в двухстах метрах отсюда (и она, небрежно взмахнув рукой, указывает куда-то назад). Когда вы ехали сюда, вы разве не слышали стук топора? Но теперь среди лесорубов остались лишь старики, все настоящие мужчины ушли на войну...

— А ты не боишься?

— Чего мне бояться? Или кого? Может быть, вас?

— О, разумеется, меня бояться не следует... Нет, я имею в виду войну... Тебе не страшно, ведь идет война?

— Ах да, война... Ну да, она идет, она продолжается, но нас это не касается... Это не наше дело... Штыковые атаки не представляют для нас, праздных зрителей, большой опасности.

Подобная возмутительно легкомысленная оценка бесчисленных кровопролитных наступлений, отходов и контрнаступлений, происходивших в окрестностях Леса потерь после победы на Марне, то есть в течение последних двух с половиной месяцев, еще больше настораживает капитана, который словно вдруг очнулся от странного сна.

Так что же он здесь делает? Что заставляет его вести игривый разговор с девчонкой легкого поведения и к тому же явно лживой? Как долго это длится? Ведь он находится при исполнении ответственного и срочного задания! У Коринфа возникает ощущение, что он утратил чувство времени с того мгновения, когда услышал голос этой в высшей степени подозрительной Манрики, откровенно пытающейся его соблазнить, чтобы завлечь бог знает куда... А точнее, черт знает куда... Уж не шпионка ли она часом? Быть может, она сообщница той, другой, молодой, да ранней красотки, которую капралу Симону поручено препроводить в штаб бригады, в городишко Сюип? Ходили же слухи о том, что в этом секторе, где относительно легко перейти линию фронта, немцы используют для разведки молоденьких цыганок, завербованных в Бельгии и обученных искусству сбора военных сведений. Кстати, эта девушка, называющая себя Манрикой, как своим поведением, так и речью гораздо больше похожа на городскую школьницу, чем на дикарку, воспитанную среди угольщиков.

Коринф несколько раз проводит рукой по лицу, словно силясь освободиться от каких-то чар, затмивших его рассудок. Манрика, видимо умеющая очень тонко улавливать перемены в настроении ее партнеров, тотчас же напускает на себя серьезный вид.

— Не видела ли ты сегодня утром в лесу, — спрашивает он, — драгу-

на, ехавшего верхом рядом с телегой, в которой находилась девушка твоего возраста?

— Вы забываете, что отсюда, из этой котловины, не видно дороги, а я в течение уже нескольких часов нахожусь здесь, и не по своей воле, я — пленница...

Теперь она заговорила совершенно иным тоном. Голос, в котором только что звучали игривые и даже явно чувственные нотки, вдруг стал испуганным, почти умоляющим и все-таки оставлявшим подозрение, что все это хитрая игра, комедия...

— Говоришь, ты — пленница? А я-то думал, что здесь твоя личная ванная комната... ведь ты сама так сказала, ну, я и поверил...

— Не смейтесь надо мной, ведь вы сразу увидели, что я вру: у меня нет ни мыла, ни валька, а мое платье такое же сухое, как и ваш френч. Хотите послушать, что на самом деле случилось? Чтобы разжечь огонь в плите, я вышла из домика моей матери рано утром и принялась собирать хворост. В прогалах между прямыми стволами буков я еще видела наш дом, как вдруг из молодой поросли выскочил улан, весь в черном. Прежде чем я успела сообразить что к чему и хоть как-то отреагировать, он втащил меня на лошадь, погнал ее галопом и привез меня вот сюда... Тут он спешился, продолжая все так же крепко держать меня (под мышкой, как тряпичную куклу). Увы, мы оказались слишком далеко от какого бы то ни было жилья, так что никто не мог услышать мои крики и плач. Он поставил меня на колени, заставил согнуться, чтобы я грудью уперлась в пень, руки заломил за спину, так что я не могла пошевельнуть даже пальцем, настолько крепка была его железная хватка, и изнасиловал меня чудовищным способом, оскорбляющим и природу, и мою невинность... Потом он швырнул меня в эту яму, откуда мне не выбраться, ведь здесь отвесные скалы... Ночью волки придут на водопой и сожрут меня живьем. Как мне сказал мой мучитель, они всегда начинают с того, что вцепляются жертве в ягодицы, ляжки и низ живота, где кожа самая нежная и чувствительная. Умоляю, помогите мне подняться наверх и отвезите меня домой, в мою хижину. Самой мне туда не добраться, я едва могу стоять и ходить от боли.

Юная незнакомка с каждой секундой говорит все более и более жалобно, убедительно, пылко, она дрожит как в лихорадке, обливается слезами, однако при этом умудряется не утратить соблазнительности — быть может, даже усилившейся оттого, что девушка сменила тон разговора и избрала тему, явно рассчитанную на вкусы поклонника божественного маркиза. Ее хорошенькие губки подрагивают от плача и раскрываются еще шире, а голубые, с золотистыми искорками глаза расширяются от ужаса при упоминании о мучениях, которые ей пришлось претерпеть и которые еще ждут ее впереди, ибо уж такова отныне ее участь, участь жертвы, обреченной на страдания. Настоящие, неподдельные слезы, набежавшие на глаза и заставившие их сиять еще ярче, скатываются на бархатистые щечки, похожие на лепестки цветов. Моля драгуна о милости, она в отчаянии заламывает руки.

Однако театральная игра Манрики, как и слишком грамотный, литературный язык, которым она делает свои признания, только еще сильнее подчеркивают неправдоподобие всей истории: можно подумать, будто это Жюстина[1] рассказывает о своих несчастьях предполагаемо-

1. Героиня романа маркиза де Сада «Жюстина».

му спасителю-избавителю, который через две-три страницы превратится в мучителя. Действительно, ни одна деталь ее рассказа, как говорится, не выдерживает критики. Хворост не собирают рано утром по росе. Для такой тяжелой и грязной работы не надевают легкое тонкое платье из белоснежного полотна, к тому же каким-то чудом оставшееся без единого пятнышка после всего случившегося. А этот улан, чьи любовные похождения поистине достойны кентавра, скорее должен был бы оказаться не уланом, а ловким наездником-казаком, чтобы похитить девушку, не слезая с коня! С тем же успехом он мог бы изнасиловать ее, оставаясь в седле, — медленно, не торопясь! Ее фантазии могло хватить и на такую выдумку! Да, кстати, каким это образом немецкий кавалерист оказался так глубоко в нашем тылу, да еще и охотился на соблазнительную добычу в свое удовольствие?

— А на каком же языке твой жестокий улан предсказывал тебе ужасные муки и грозил смертью? — спрашивает Коринф, сохраняя спокойствие.

— Он немного говорил по-французски, но с ужасным акцентом. Он хохотал во все горло, глядя, как я обливаюсь слезами в этом каменном мешке, уже испытывая мысленно муки, которым мне предстоит подвергнуться перед смертью, а он все добавлял и добавлял мерзкие детали, смакуя всякие гадости; я, правда, понимала не все, но то, что я поняла, я никогда бы не осмелилась повторить вслух, настолько это оскорбляло мою стыдливость. Он получал жестокое наслаждение от моего ужаса перед тем, что самые нежные части моего тела будут разорваны...

— Но почему же угольщики не пришли к тебе на помощь?

— Вы же знаете, что угольщики и лесорубы уже давно, несколько месяцев назад, покинули свои стоянки по всему Лесу потерь...

— А где же твой дом?

— Далеко, очень далеко отсюда, на опушке леса, буковая роща подступает прямо к нашему садику...

Девушка указывает рукой примерно в том направлении, где, по представлению капитана, должна находиться деревушка В., откуда он сам выехал по следам капрала Симона.

— А почему же ты мне сразу не сказала правду вместо того, чтобы выдумывать всякие глупости и любезничать?

— Да потому, что мне было стыдно признаться в этом красивому офицеру, чудом явившемуся сюда, чтобы меня спасти!

— Однако на твоем белом платье не осталось ни малейших следов после таких жутких злоключений!

— Конечно, ведь я только что замыла пятна, как я вам и говорила. Оно было все испачкано кровью.

На мгновение Коринф задумался, не зная, как поступить. Разумеется, поспешное застирывание платья представлялось ему маловероятным, так как ткань сияла белизной и явно была выглажена горячим утюгом. Значит, девушка опять лжет. С другой стороны, приходилось признать, что крутые, почти отвесные склоны впадины и острые камни и в самом деле суровое испытание для слабых босых ножек. Отсутствие обуви было еще одной загадкой в этом странном деле: не могла же девушка отправиться босиком собирать хворост! Возможно, сандалии потерялись по дороге, особенно если они были ей великоваты, и это могло случиться во время скачки через лес, когда похититель держал ее, словно тюк, под мышкой. Протянуть ей сейчас руку и вытащить из

ямы нетрудно, и это не будет означать, что он берет на себя какие-то обязательства. Но Коринф хочет прежде узнать, по какой дороге ему ехать дальше, ради чего, собственно, он и покинул ненадолго своего ординарца.

— Ты знаешь, в какой стороне находится Сюип?

— Конечно знаю! Я могу вас даже туда проводить, в знак благодарности за то, что вы чудом появились здесь, когда я уже совсем отчаялась. Сами вы, пожалуй, туда не доберетесь и наверняка заблудитесь среди развилок и перекрестков, ведь дорога без конца петляет, сворачивает в сторону, а то и ведет назад...

Воспрянув духом, девушка одним прыжком перемахнула через свою так называемую ванну и уже карабкается вверх. Но стены котловины почти отвесные, а кое-где и с отрицательным наклоном, так что взобраться по ним не смогла бы даже горная козочка. Застряв на середине подъема и не имея возможности ни подняться выше, ни спуститься, девушка, стоя на носочках и вытянувшись в струнку, доверчиво отрывает правую руку от стены и протягивает своему чудесному спасителю.

Капитан де Коринф, спешившись, наклоняется над краем кратера и не без труда захватывает в ладонь тонкие, изящные пальчики, с такой мольбой протянутые ему навстречу. Девушка судорожно вцепляется в его руку, и он вытаскивает ее наверх, причем, к своему удивлению, без малейшего усилия, ибо она оказывается легкой как пушинка, что повергает драгуна в недоумение: подобная сказочная легкость как-то не вяжется с ее телосложением; правда, он должен признать, что невероятная ловкость этой циркачки служит ему большим подспорьем. Едва ноги Манрики касаются земли, как она падает офицеру на грудь и самозабвенно прижимается к его френчу в трогательном порыве благодарности. Ее гибкое тело, похожее на побег лианы, крепкое и в то же время податливое, горит как в лихорадке, словно Манрику сжигает смертельная тревога, неодолимое волнение или, наоборот, нечистое пламя адского костра, будто неведомая сила только что выбросила ее из жерла вулкана...

Для кого я все это рассказываю? И для чего? Эти разрозненные, бессвязные картины, которые я терпеливо пытаюсь связать воедино, в некую непрерывную — и постоянно рвущуюся — нить, приходят из моего детства, когда они начали выстраиваться под влиянием отрывочных и полных умолчаний рассказов о событиях страшной войны, еще такой близкой для нашей семьи в ту пору, когда мне было лет восемь-десять, как, впрочем, и до конца 30-х годов (когда уже вызревал новый франко-германский конфликт), рассказов, периодически повторявшихся по вечерам за ужином на улице Гассенди, когда папа возвращался из своей картонажной мастерской. Рассказы об ужасах войны перемежались историями о предполагаемых шпионах или шпионках, о беспримерной отваге и легендарных подвигах наших солдат, о которых сообщалось, например, в "Иллюстрасьон", где эти сообщения подкреплялись вирированными литографиями, причудливыми и несколько фантасмагоричными, вроде той, знаменитой, где был изображен подполковник Анри де Коринф, летевший в атаку, несколькими годами позже описываемых здесь событий, во главе своих драгун с саблей наголо...

Случилось это, должно быть, в июне 1940 года, а не в годы первой мировой, ибо тогда даже в самом конце, то есть осенью 1918-го — как

мне кажется, — Коринф был всего лишь майором. Но все смешалось у меня в голове, все перепуталось... Мой отец умер более десяти лет назад, и я, увы, не могу сопоставить с его воспоминаниями, ставшими к концу жизни смутными и нечеткими, те отрывочные образы, которым я путем тщательного обдумывания и кропотливых поисков силюсь придать какую-то связность, быть может искусственную или фальсифицированную...

Возвратившись в Мениль после двух с половиной месяцев преподавания в Сент-Луисе, на берегах мутной реки Миссисипи, я вновь обосновался за моим большим письменным столом, прозванным "элизиумом", где оливковая кожа приобрела серовато-желтый оттенок в тех местах, куда часто падают солнечные лучи. Сегодня тридцать первое декабря 1986 года. Я смотрю в окно, выходящее на юг (на втором этаже), то есть в окно, что находится справа от меня, менее чем в метре от массивной бронзовой раковины, стоящей на углу стола, и вижу, что на оголившихся ветвях буков расселись вороны. Они тоже вернулись в Мениль зимовать.

Их там не одна сотня, они беспорядочно мечутся среди деревьев, и налетающий порывами ветер то разгоняет их, то собирает вместе, отчего небо цвета фиолетовых чернил, и без того темное, темнеет еще больше. Можно даже подумать, что чем энергичнее окрестные фермеры уничтожают вороньи выводки (с моего молчаливого согласия), стреляя из ружей по гнездам после того, как птенцы вылупляются из яиц, тем больше ворон становится на следующий год. Гибель трех десятков огромных вязов — источенных жуком-короедом и служивших воронам пристанищем, — которые мы вынуждены были вырубить в прошлом году, ни в коей мере не обескуражила этих птиц. Они примирились даже с присутствием двух или трех молчаливых серых цапель, что иногда появляются среди деревьев и то прогуливаются с

Дом и парк А. Роб-Грийе в Менили

элегантной небрежностью, то неподвижно застывают словно старый философ, размышляющий о глубоких различиях между церковным кладбищем и прудиком[1], где водятся серебристые с красными плавниками плотвички, а на самом деле обдумывая план поимки нескольких килограммчиков этих юных созданий, ведь они и прилетают сюда только для того, чтобы поудить плотву в двух прямоугольных водоемах, отделяющих от леса аккуратный сад, разбитый на французский манер, чьи ровные, словно прочерченные по линейке газоны с подстриженными в виде шаров кустами самшита (в высоту уже догнавшими и перегнавшими Катрин) располагаются на небольшом пологом склоне протяженностью около пятидесяти метров перед парадным крыльцом старинного дома.

На стене, оклеенной зелеными обоями, я, когда пишу, вижу прямо перед собой, среди бледно-серых гирлянд и пальметт в стиле Людовика XVI большую, отливающую темным блеском картину, которую я купил на блошином рынке в Клиньянкуре лет двадцать назад за очень скромную сумму. Судя по имеющейся на полотне дате, написано оно в Санкт-Петербурге в 1886 году. Подпись художника состоит из почти не поддающейся прочтению замысловатой заглавной буквы, за которой следуют еще четыре-пять букв, почти столь же неудобочитаемых, однако торговец, продавший мне картину, казалось, читал имя живописца без малейшего труда и при этом, похоже, не испытывал никаких сомнений. Он уверял меня, что это художник достаточно известный, хотя и второстепенный, упомянутый в каталоге какой-то выставки или в каком-то весьма достойном доверия справочнике, посвященном искусству последнего десятилетия прошлого века, что, кстати, мне было совершенно безразлично.

Золоченая рама, в высоту и ширину не более метра, на первый взгляд не представляет собой ничего особенного, кроме того, что она тщательно отделана. Что же касается самого полотна, то написано оно маслом, и поверх основного красочного слоя сделана так называемая лессировка, что создает эффект глазури или тончайшего стекла и придает всему полотну какую-то особую прозрачность; картина отличается необычайной точностью и тонкостью в прописывании черт персонажей, свойственными обычно лишь миниатюристам и особенно заметными в изображении нежного лица молодой женщины и очертаний ее тела, окутанного легчайшими, почти неосязаемыми одеждами, нисколько не скрывающими его прелести (скорее наоборот); замечательное мастерство живописца проявляется и в превосходном изображении шелковистой белой шкуры лошади и в подробнейшей проработке всех деталей ее сбруи очень тонкой работы. Сверкающие удила украшены сложными чеканными узорами и напоминают дорогое украшение.

События, запечатленные на картине, разворачиваются на фоне гористой местности, которую делают еще более суровой причудливо изломанные острые скалы и несколько старых, многовековых деревьев (быть может, из числа тех самых можжевельников, что давали женскую мирру[2]); стволы их искривлены ветрами и разбиты молниями, в кронах сре-

1. В оригинале автор играет созвучиями, намекая на терминологию Хайдеггера. На слух последние слова можно воспринять как «...размышляя о глубоких различиях между бытийствующим и бытием»

2. Женская мирра – смола коммифоры абиссинской, в России именовалась росным ладаном. Женской называлась в отличие от мужской, более терпкой.

ди мертвых ветвей, похожих на рога гигантских оленей или на кости доисторических животных, кое-где виднеются еще живые зеленые ветви, тоже, однако, искривленные и изломанные. На заднем плане, вдалеке, в самом верху картины, белеют острые, заснеженные вершины гор с крутыми склонами, и эти странно-розоватые снега искрятся на фоне бирюзового неба в почти горизонтальных лучах заходящего солнца.

На переднем плане изображен гордый улан на белом скакуне с роскошной белой гривой, скакун выступает парадным, торжественным шагом, словно на смотре, и движется по направлению к левому углу картины, но в данный момент морда его повернута к зрителю таким образом, что виден горящий тревожным огнем правый глаз вместо левого, а копыто поднятой ноги, кажется, почти выходит за рамки полотна. Всадник, одетый в черный с серебряными галунами мундир, держится в седле очень прямо, надменно закинув голову в медном шлеме, увенчанном, как польский кивер, высоким ребристым четырехгранником, на котором играют красноватые отблески; в руке он сжимает острую пику чуть ниже того места, где повязаны золотистые полоски материи, напоминающие язычки пламени.

Острие пики в свежей крови, и ее капли, кажется, светятся изнутри в сгущающихся сумерках. Как это ни удивительно, но создается впечатление, будто алая жидкость прямо на глазах у зрителя стекает со стального наконечника. Но еще более загадочным и непонятным представляется обрывок тонкой ткани в правой руке воина в железной латной рукавице, сжимающей древко пики из эбенового дерева: этот лоскут наводит на мысль о какой-то детали туалета (женского?), причем явно отнятой от кровоточащей раны, ибо на белом атласе виднеются блестящие ярко-алые пятна, еще влажные и чуть маслянистые.

Но если мы имеем жестокое свидетельство того, что кому-то совсем недавно была нанесена ужасная рана, то все же остается совершенно непонятным, кто же жертва, ибо все герои этой сцены, в том числе и лошадь, выглядят целыми и невредимыми; по крайней мере, ни на их телах, ни на одеждах не видно ни малейших следов крови. С левой стороны от великолепного скакуна (то есть справа, с точки зрения зрителя), но чуть позади, примерно у задних ног животного, где струится пышный, длинный, доходящий почти до земли конский хвост, чей золотистый отлив вполне сравним с золотистым отливом волос пленницы, бредет босиком по каменистой тропе молодая женщина, точнее, юная девушка.

Она прикована к задней луке седла, а цепь крепится к грубому ошейнику черной кожи, похожему на собачий, стискивающему тонкую девичью шею. Рук пленницы зритель не видит, ибо они, очевидно, скованы у нее за спиной. Легкие одежды, окутывающие фарфорово-хрупкую фигурку и не скрывающие ее очертаний, клубятся вокруг нее, словно сгустки тумана. Предвечерний ветерок треплет длинные бледно-золотистые волосы, и одна вьющаяся полупрозрачная прядь падает на большой зеленый глаз и на нежный розовый ротик, приоткрытый либо в скорбной мольбе, либо в сдерживаемом стоне боли. Столь же нежно-розовы и соски девушки — они легко различимы под тончайшей пеленой газа, приподнятой двумя отливающими перламутром полусферами; и почти таким же розовым, правда чуть более бледным, кажется и покрытый мягким пушком треугольник между ног, где невесомая, воздушная, почти нематериальная ткань прилипла к телу от дуновения не-

скромного ветерка. При небольшой доле воображения можно даже угадать, где начинается тайная ложбинка в низу живота.

Сзади справа метрах в двадцати от лошади и девушки взгляд зрителя различает второго мужчину, который не то ползет, не то лежит в траве на обочине дороги. Он одет в белые доспехи, какие носили французские рыцари во времена Карла VIII. Но при нем нет больше ни копья, ни шпаги, ни коня. Собрав остатки сил, он приподнимается на локте и протягивает правую руку к удаляющейся паре, то есть по направлению к зрителю, иначе говоря, ко мне. Серебряный шлем с пышным султаном из снежно-белых перьев валяется около него на побегах цветущего тимьяна. И я спрашиваю себя: что за крик рвется из его развер стого и искривленного рта — крик ярости или боли? Изрыгает ли он проклятия или молит о милости? Торговец картинами, несмотря на то что у него было множество каталогов и справочников, так и не смог сказать мне, что означает эта загадочная сцена; остается лишь строить догадки, является ли эта картина чистой аллегорией или иллюстрацией к какой-то легенде, литературному сюжету или эпизоду, в действительности имевшему место в истории. Однако даже торговец был вынужден признать, что в ней есть нечто странное, ибо доспехи эпохи Возрождения, в которые облачен белый рыцарь, являются явным анахронизмом по отношению к черному мундиру улана.

Тем временем Коринф и Манрика скачут галопом через Лес потерь. Девушка в свежевыстиранном белом платье без особого труда убедила сбитого с толку капитана не возвращаться назад к дороге, с которой он свернул, чтобы расспросить невидимого дровосека, а продолжить путь в избранном направлении, через буковый лес, обогнув псевдовулкан. Манрика уверяет, что если капитан хочет добраться до Сюипа, то легче всего доехать сначала до деревушки с диковинным названием Волчий вой, затерявшейся в узкой заболоченной долине, которая острым клином вдается в чащу строевого леса и где когда-то добывали торф. Девушка утверждает, что совсем рядом, метрах в тридцати от подножия горы, скрывающей во впадине источник, начинается лесная дорога, ведущая только в Волчий вой и никуда больше. По ее словам, сначала это будет всего лишь неприметная тропинка, но постепенно она расширится и приведет их прямиком в деревню, а уж оттуда до Сюипа меньше часа езды по вполне удобной дороге.

Коринф, не мешкая больше, вскочил в седло и усадил девушку перед собой. Манрика ухватилась за протянутую руку и, едва коснувшись босой ножкой сапога, уже продетого в стремя, одним прыжком вскочила на коня с ловкостью опытной наездницы. Теперь она сидит на седле боком, зажатая между головкой передней луки и крепкими ляжками офицера. Иногда она слегка опирается ладонью о шею скакуна, чуть выше холки, сжимая крохотными пальчиками жировую складку под конской гривой. Но как только тропинка становится шире или резко идет под уклон, что позволяет скакать галопом, девушка поворачивается к офицеру и утыкается в грудь своего покровителя, цепляясь обеими руками за френч, хотя в этом, быть может, и нет никакой надобности; но проделывает она это с явным удовольствием. Следуя ритмичным движениям лошади, уносящей их обоих в таком положении, девушка трется грудью о жесткий френч и все ближе придвигает свою полненькую ножку к обтянутой красной штаниной ноге офицера.

Деревушка Волчий вой лежит в развалинах, покинутая жителями. В этом маленьком селеньице десяток домишек, и у всех выбиты двери, у половины оконные рамы выломаны, а у остальных превращены в крошево, так что нигде не осталось ни единого целого оконного переплета. Ставни висят вкривь и вкось, держась на уцелевших петлях; где-то рухнула крытая беседка; черепичные крыши провалились; широкие полосы жирной черной сажи виднеются повсюду над зияющими проломами окон. На земле валяются осколки цветочных горшков, в которых когда-то цвели герани, украшавшие подоконники; среди этих глиняных черепков с острыми гранями несколько стеблей еще пытаются выжить, вцепившись в комья земли обнажившимися корнями и даже питая слабенькие красные цветочки. Судя по виду этих умирающих растений, катастрофа разразилась в деревне неделю или две назад, не больше. Была ли она вызвана взрывами бомб, сыпавшихся с неба, или явилась всего лишь следствием методичного разграбления деревни войсками неприятеля, непонятно. В любом случае нигде: ни на узких улочках, ни в садах, ни в огородах — не видно глубоких воронок, которые должны были бы остаться от бомб или от снарядов тяжелой артиллерии. Нигде не видно и простой крестьянской мебели, посуды или иной кухонной утвари, выброшенной из домов участниками опустошительного набега.

Единственным живым существом в деревне оказался очень древний старик, неподвижно сидящий на грубо сколоченном стуле с разбитой спинкой перед зияющим дверным проемом своей лачуги, пребывающей в столь же плачевном состоянии, что и все остальные домишки деревни. Кажется, старик мирно дышит свежим воздухом. Но у его ног на земле валяется сорванная с петель дверь. Подъехав ближе, Коринф обнаруживает, что на покрытом пылью сером лице старика застыло выражение то ли отупения, то ли придурковатости: быть может, он до сих пор еще не пришел в себя и находится под впечатлением катастрофы, в мгновение ока разрушившей его крохотный привычный мир. На голове у старика широкополая фетровая шляпа, бесформенная и выцветшая, а из-под полей уставились куда-то в пространство вытаращенные глаза с остановившимся взглядом; рот у старика приоткрыт, губы мелко дрожат. Руки сложены "в замок" на уровне груди и сжимают какую-то рейку с искусной резьбой, сломанную и расщепленную с обеих концов, которая явно оторвана от деревянной панели, разлетевшейся на куски. Длина ее и заостренный конец, грозно торчащий вверх, а также манера, с коей старик опирается на свое "оружие", заставляют подумать скорее о копье стоящего на страже и готового ринуться в атаку воина, чем о скромной и безобидной тросточке инвалида.

Когда Коринф, не сходя с коня, обращается к старцу со словами приветствия, тот медленно поднимает на него глаза и смотрит то ли испуганным, то ли безумным взором, еще шире раздвигая тонкие сухие губы и обнажая гнилые зубы. Затем он отрывает одну руку от своей импровизированной опоры и как-то странно машет ею у себя перед глазами, тряся длинными, костлявыми пальцами с подагрическими суставами, причем Коринф замечает, что у него не хватает указательного пальца. Изо рта, словно пораженного параличом, вырываются какие-то хриплые, нечленораздельные, утробные звуки.

Не вдаваясь в расспросы, капитан вновь направляет своего скакуна на плохо вымощенную дорогу, по которой только что спустился с

горы. В отсутствие каких-либо новых сведений относительно наилучшего пути на Сюип, он решает продолжить путь в направлении, предложенном его не внушающей доверия спутницей, по-прежнему прижимающейся к его груди. Ветер, внезапно поднявшийся в тот момент, когда бледное солнце исчезало за низко нависшими темными облаками, свистит и завывает в выбитых окнах, среди полуобрушившихся или грозящих вот-вот рухнуть стен, под голыми стропилами крыш. Объятая страхом Манрика, правда, утверждает, что деревушка Волчий вой и название свое получила из-за того, что в ней постоянно, и зимой и летом, слышны то тише, то громче пронзительные завывания ветра. Не пытаясь возражать девушке, Коринф думает про себя, что если бы окна и двери в домах были закрыты, то ветер не порождал бы столь зловещих хрипов и стонов, похожих на крики хищных ночных птиц.

Они вновь въезжают в лес, который кажется еще более густым и темным. Девушке, наверное, холодно, потому что она все теснее прижимается к кавалеристу. Завывания ветра в развалинах должны были бы постепенно становиться глуше по мере того, как капитан и его спутница удаляются от разрушенной деревни. Однако свист и вой необъяснимым образом усиливаются. Теперь эти звуки похожи на вой диких зверей, сбегающихся со всех сторон и с каждым мгновением приближающихся к всаднику и его спутнице...

Но вот к этим зловещим завываниям начинают примешиваться новые, легко опознаваемые звуки, являющиеся не чем иным, как скрипом повозки. Вскоре на повороте показывается и сама телега, она движется навстречу несущемуся крупной рысью скакуну Коринфа; всадник и Манрика в мгновение ока оказываются рядом с ней: с виду это телега как телега, но ее появление приводит капитана в необычайное волнение, и его спутница сначала не понимает почему. Утром ему достаточно подробно описали повозку, вослед которой он и устремился вместе с ординарцем, и вот теперь он узнаёт в этой бесхозной телеге ту, что должен был отыскать в лесу: это именно та самая повозка для тяжелых грузов, с грубым дощатым кузовом, укрепленным на скрипучей оси между двумя большими колесами, с намалеванным на передней стенке белым крестом и запряженная серой лошадью с разбросанными кое-где темными, почти черными пятнами, тощей и сонной, что бредет сама по себе, без возницы, низко опустив голову.

Однако телега, которую с видимым усилием влечет за собой эта кляча, абсолютно пуста, в ней нет никакого груза (песка, навоза, утесника, закованной в наручники юной шпионки), и никто ее не сопровождает. К тому же капрал Симон должен был бы двигаться в совершенно ином направлении, если хотел добраться до Сюипа. Одна-единственная приемлемая гипотеза приходит в голову Коринфу, а заодно и мне: предоставленная самой себе в силу необъяснимых причин старая лошадь возвращается в стойло, двигаясь по привычке, машинально, в полудреме. Задний борт кузова, опущенный (а не поднятый, как обычно), свисает почти до земли и, покачиваясь в такт усталым шагам лошади, поскрипывает. Спящая на ходу кляча, быть может уже глухая и ничего не видящая из-за своих шор, при появлении всадника не отклонилась в сторону ни на шаг, так что капитан, во избежание столкновения, был вынужден свернуть на обочину и дать ей пройти.

Разминувшись с телегой, Коринф чуть придерживает коня и обора-

чивается недоумевая. На грязном дощатом полу телеги с опущенным бортом одиноко стоит маленькая женская туфелька на высоком каблучке, остроносая и изящная. Почти треугольная союзка усыпана спереди крохотными блестками, голубоватыми, с металлическим отливом. Эту бальную туфельку могла потерять уставшая от танцев девушка, пожелавшая прогуляться босиком, чтобы дать ногам отдохнуть. Но нет никаких объяснений тому, как попал сюда этот элегантный предмет из гардероба городской барышни. Насколько ему известно, юная пленница была одета в мужские брюки и поношенную кожаную куртку, к которым гораздо больше подошли бы сапоги, башмаки на деревянной подошве или даже сабо.

Здесь мне вспоминается одна старая любительская фотография, пожелтевшая, с обломанными уголками, сделанная, наверное, всего лишь несколькими месяцами ранее, в той до дерзости передовой частной школе в Рейнской области, где моя мать, которой тогда было лет двадцать, преподавала французский язык как раз перед самой войной. Это заведение, о котором она сохранила ностальгически-нежные воспоминания как о совершенно очаровательном уголке, где царил дух свободы и передовых идей того времени, сокращенно именовалась O.S.O.(Odenwald Schule Oberambach[1]), и в годы моего детства я постоянно слышал это словечко, произносимое как "озо", но я воспринимал его по-разному, то как "осока", то как "на водах"[2], а в те времена "на водах" звучало сладкой музыкой, ибо съездить отдохнуть "на воды" считалось чуть ли не чудом, великим счастьем, по крайней мере в кругу служащих и мелкой буржуазии. Разумеется, мы на нашем семейном иносказательном языке, довольно язвительном, подсмеивались над мамой, делая вид, что считаем O.S.O. некой вымышленной страной, где возможны любые чудеса, но где никто никогда в действительности не бывал, что-то вроде Эдема, острова Кифера, Мономотапы, Мариенбада...

Я уже не помню, а быть может, никогда толком и не знал, каким образом Ивонна Каню попала в этот рай из глухомани своего Финистера. Но одна деталь, касающаяся ее найма на работу, стала мне известна из семейных преданий: прочитав в газете объявление, моя мать написала письмо, и, без сомнения, дирекция остановила свой выбор именно на ее кандидатуре потому, что она не признавала корсетов. Кстати, я и по сей день не знаю, каким образом, прямо или косвенно, эта поучительная история связана со знакомством моей матери в Париже с особой прямо-таки легендарной — Рене Вивьен. Дети и подростки, как мальчики, так и девочки, украшавшие своим присутствием это престижное, во всяком случае незаурядное, учебное заведение, принадлежали к избранному обществу, богатой интеллигенции или придерживающейся передовых взглядов аристократии, как, например, сын графа Цеппелина, запечатленный на другой фотографии из той же серии. Здания школы по виду напоминали альпийские шале, весьма кокетливые, с геранями на окнах, и располагались на южном склоне одного из поросших лесом холмов в Оденвальде.

Фотография сделана в тот момент, когда девочки и девушки участвовали в Luftbad (принимали воздушные ванны). Всем им от 12 до 18 лет, и почти все они яркие блондинки. Итак, примерно два десятка абсолют-

1. Оденвальдская школа высшей ступени (*нем.*).
2. По-французски «на водах» звучит как «озо».

но обнаженных девочек и девушек расположились на лесной полянке, причем стоят они в шахматном порядке. Самые маленькие в первом ряду. Все смотрят прямо в объектив, и зритель может рассмотреть их тела, принявшие одну и ту же грациозную позу: ноги слегка расставлены и развернуты носками наружу, левая нога чуть согнута в колене и едва касается травы кончиком носка, туловище слегка развернуто вбок, руки подняты вверх, локотки согнуты очень мягко, головка откинута к левому плечу и чуть-чуть назад, а кисти рук соединены в запястьях с правой стороны немного выше лица.

У большинства девочек и девушек длинные волосы, рассыпавшиеся по плечам. Запечатленное движение рук само по себе замечательно, свободно и изящно, как у восточных танцовщиц, хотя их кисти, продолжая сохранять гибкость, кажутся крепко связанными какими-то невидимыми путами. За спинами девушек, в глубине, видна высокая, сложенная из камней стена, отделяющая поляну от леса, над ней возвышаются кроны деревьев, а перед стеной стоит странная, нелепая крестьянская телега, словно замершая на месте оттого, что серая лошадь, которой почему-то не правит возница, тоже созерцает эту сцену, как и зритель, но только с противоположной стороны. На толстой тяжелой доске переднего борта виднеется полустертый белый мальтийский крест, возможно намалеванный по трафарету известковым молоком, который сегодня наводит меня на мысль о Железном кресте, бывшем в ходу в люфтваффе и вермахте.

Одна маленькая, еще не достигшая половой зрелости девочка, стоящая в первом ряду, изменила положение тела (несомненно, это произошло в тот миг, когда фотограф-любитель, сделавший этот посредственный снимок, нажимал на спусковой механизм аппарата, потому что одна рука и взметнувшиеся в движении волосы вышли смазанными); итак, девчушка опустила вниз одну руку, повернула голову назад (в движении участвуют и тонкая шейка, и плечи) — вероятно, для того, чтобы посмотреть на диковинную (предвещающую недоброе? пугающую?) повозку.

В левом нижнем углу кадра — кстати, с довольно плохой наводкой — виднеется какое-то дикое растение с белыми цветами, вот только я не знаю, к какому виду, роду и даже семейству оно относится. Его, однако, можно очень хорошо разглядеть, ибо оно находится на переднем плане и изображение получилось очень четким. Соцветия (три стебля с собранными в кисточку цветами, вырастающие прямо из земли) похожи на ландыши, но только раз в пять-шесть крупнее; а расположенные розеткой у основания стеблей листья, широкие и на вид мягкие, лопастные, с четко выраженной центральной жилкой, явно свидетельствуют о том, что растение принадлежит к классу двудольных.

Я часто внимательно рассматривал этот снимок, к сожалению, не отличавшийся четкостью даже в тех местах, где были запечатлены неподвижные предметы (за исключением того самого растения на переднем плане), словно постоянно надеялся обнаружить на нем какие-то знаки или новый смысл, о наличии коего я прежде не подозревал... А месяц спустя грянула война. Мама только что вернулась в Бретань на летние каникулы, оставив в чудесной комнатке в домике за Рейном бóльшую часть своих вещей.

В 1915 и 1916 годах она смогла связаться со своими германскими

коллегами и некоторыми из старших учеников и учениц, что были ей особенно дороги; переписка шла через Женеву, обычной почтой (я видел эти письма и конверты со штемпелями на марках). Но она не раз в те годы вспоминала слово "Kriegspiel", "военная игра", часто звучавшее в их разговорах в ту последнюю предвоенную весну, которое она по наивности принимала за местный вариант названия то ли бега взапуски, то ли игры в прятки или в теннис. Когда уже после нашей победы она захотела вернуть свои вещи, ей сообщили, что все съедено молью (кстати, в первом черновике я по оплошности написал не "молью", а "мифами"[1]). Всю жизнь моя матушка сожалела о том, что прожорливость этих насекомых не пощадила ни столь необходимый ей фарфоровый чайный сервиз, ни виолончель, на которой она, правда, не умела играть.

Однажды зимой (не так давно, но мама тогда уже умерла), когда я проводил краткосрочный семинар по современному роману в университете Мангейма, я узнал, что O.S.O. существует и поныне. Поднявшись среди виноградников по знаменитой Бергштрассе, тянущейся вдоль подножия Оденвальда с западной стороны, я обнаружил хорошенькие домики, выстроенные в псевдодеревенском стиле на опушке леса, с высокими, асимметричными крышами альпийских шале и деревянными балкончиками, украшенными извечными горшками с геранью, невольно испытав при этом беспричинное волнение.

Это было в воскресенье, погода стояла теплая и сырая. Жесткие коричневые буковые листья лежали плотным ковром, на котором кое-где виднелись пятна подтаявшего снега. Молодой преподаватель, удивленный, что меня связывают с этой школой столь давние воспоминания, провел меня по зданию, где когда-то преподавала моя мать. Он рассказал мне, что школу закрыли в середине 30-х годов, точнее, ближе к концу 30-х, так как супруги-евреи, возглавлявшие ее, бежали в Швейцарию. Школа вновь открыла двери только после падения третьего рейха, однако "воздушные ванны", слишком явно отдававшие нацистской идеологией с ее культом природы, были отменены.

Остается фотография, которая, должно быть, валяется сейчас где-то в одном из чемоданов, доверху набитых подобными свидетельствами прошлого, что заполняют чердак дома в Керангоффе, если только не попала среди других старых фотографий в большую шкатулку из клена с выпуклой крышкой (вроде тех, что бывают у шляпных картонок), привезенную сюда, в Мениль: на них запечатлены дамы в невероятно огромных шляпах, незнакомые мне детишки в вышедших из моды купальных костюмчиках и дальние родственники, чьих имен мы с сестрой даже не знаем.

Что же до Коринфа, то у него в тот день, 20 ноября 1914 года, не было времени предаваться размышлениям о значении намалеванного на борту телеги белого креста, по форме скорее мальтийского, чем германского, ибо волчий вой, доносившийся сначала издалека, приближался, это был вой крупных лотарингских волков (тех самых, что когда-то сожрали Карла Смелого), и они вот-вот уже должны были появиться на дороге, сверкая острыми клыками.

Стая в количестве восьми или девяти особей, выстроившись тре-

1. Mites – моль, mythes – мифы (*франц.*). Оговорка симптоматичная и многозначительная.

угольником, мчится в погоню за ошалевшим от ужаса белым конем. Волки бегут теперь молча (ибо уже почти настигли жертву, которой предстоит стать их добычей этой ночью), совершая гибкие и мощные синхронные скачки, неумолимо приближающие их к цели. Вся эта сцена кажется порождением ночного кошмара, настолько длинны эти прыжки, почти полеты едва различимых во мраке, бесплотных, словно тени, зверей. Белый конь несется галопом, но топота его копыт тоже не слышно, ибо все звуки поглощаются плотным ковром опавших листьев под огромными буками, среди разбросанных местами пятен снега, оставшихся (на северных склонах ложбин и овражков) от первых обильных снегопадов. Стремительность всей сцены ослаблена, притуплена до предела, словно погоня происходит в вате или замедленно прокручивается на экране при убранном звуке, но из-за этой нереальности ужас только усиливается.

Заледеневшая от страха Манрика все сильнее прижимается к моей груди, цепляясь обеими руками за ткань внушающего ей такое доверие френча. Она дрожит всем телом, словно ее бьет лихорадка. Уж не простудилась ли она всерьез во время своего странного купания среди скал, на ветру? Она почти непрерывно бормочет себе под нос какие-то слова, которые я с трудом разбираю, слагающиеся в некую бессвязную жалобную молитву, несомненно порожденную горячечным бредом. Она повторяет:

— Быстрее, надо гнать коня еще быстрее. Надо скакать быстрее, чем бегут волки. А большие серые волки из окрестностей Волчьего воя бегают быстрее всех на свете... быстрее, чем любовь... что несет меня... быстрее, чем несутся по небу низкие ноябрьские тучи... Пощади! Смилуйся над нами! Длинные узловатые руки буков тянутся к нам, чтобы задержать нас, остановить... Смилуйся над нами, Господи! Они уже окружают нас тройной сетью колдовства. Разве ты не слышишь их злобного бормотания? Разве не чувствуешь, как нас мало-помалу сковывает холод? Не ощущаешь укусов волчьих клыков? Не видишь крови, что течет по моей жалкой белой рубашке? Не чувствуешь, что мое тело, прижимающееся к тебе, разорвано и изранено? И что я вся пылаю?..

Освещение тем временем становится иным. Это уже не свет хоть и пасмурного, но все же дня, нет, это полумрак зимних сумерек: недвижный, тревожный, меняющийся. Ветер стих так же внезапно, как и поднялся. Между черными ветвями деревьев видно небо, оно уже частично очистилось от туч, по крайней мере на юго-востоке (там, куда настигающие нас волки гонят нашего коня со все возрастающей быстротой, невероятной, фантастической), и тоже словно застыло: бледно-желтые сверкающие полосы чередуются на нем с длинными почти фиолетовыми участками тьмы.

Лицо Манрики сейчас такое же мертвенно-бледное, как и небо этого ложного заката в той стороне, где солнце не заходит, а восходит. Она опять начинает говорить низким, прерывающимся голосом:

— Разве ты не видишь, как кроны этих гигантских кладбищенских буков все ниже и ниже склоняются над нами? Они гнутся под тяжестью сидящих на нижних ветвях волков... Нет! Нет! Не говори мне, что это вороны: они гораздо крупнее ворон, крупнее даже орлов, их огромные, пушистые, словно опахала, хвосты раскачиваются у нас над головами, когда мы скачем под ними на твоем коне-призраке. Посмотри, как пристально они на нас глядят. Подними голову на мгновение и посмотри,

если осмелишься... Они там, они сидят спокойно, словно собаки в ожидании корма. Но глаза их горят жестоким огнем, а острые когти уже выпущены, уже наготове. И когда я, лишившись последних сил, упаду на землю, они сотнями набросятся на мое тело, беззащитное перед их клыками.

Острие свирепого треугольника — разверстая пасть старого вожака — находится уже метрах в двух от копыт обезумевшего коня. Манрика хочет закричать, но ни единый звук не вылетает из ее гортани. И вдруг все останавливается: бешеная скачка превращается в застывшую навеки черно-белую литографию в "Иллюстрасьон".

И вот я перечитываю февральским утром предыдущие строки после нескольких дней перерыва в работе; сегодня я поднялся не так поздно, как обычно. Я стою у моего любимого окна, того, что выходит на юг и чей глубокий проем находится рядом с огромным письменным столом красного дерева, уже отчасти выцветшим под действием солнечных лучей и заваленным бесконечными черновиками моей рукописи, стою и созерцаю на юго-востоке все те же горизонтальные полосы, чернильно-фиолетовые и бледно-желтые, чередующиеся в той стороне, где должно взойти солнце.

Благодаря оттепели водоемы окончательно оттаяли. А ведь за две недели сильных морозов лед на прудах стал таким толстым, что коровы, забредавшие с соседних пастбищ, спокойно по нему разгуливали, оставляя на тонком слое присыпавшего лед снежка отчетливые вилообразные следы раздвоенных копыт, и хотя до дна там метра два-три, лед ни разу не то что не треснул, но даже не хрустнул. Ниже отделанного гранитом фонтана, в том уголке рощи, что примыкает к розарию, постепенно образовался довольно большой застывший водопад в форме расположенных диковинным веером белых сталагмитов, полых внутри, словно трубы органа: вода из источника продолжала течь и протачивать их, но прошло много дней, прежде чем этот каскад полностью растаял.

Вода на прудах сейчас абсолютно гладкая, без единой морщинки, и зимний сад отражается в ней так четко, что выглядит более живым, чем на самом деле: этот отраженный пейзаж кажется только что вымытым, еще блестящим и почти нереальным из-за чрезмерной явственности, прозрачности и абсолютной чистоты. Его композиция гораздо интереснее, чем композиция пейзажа подлинного, так как довольно темный, мрачный холм, что возвышается за деревьями, доходя примерно до трех четвертей их высоты — а высоты они вполне приличной, хотя здесь и нет деревьев старше ста лет, — совершенно не видно на отраженном пейзаже, словно взгляд человека направлен от кромки воды, а не с точки, находящейся двадцатью метрами выше водоема.

На этой сверкающей отраженной картине спутанные и переплетенные ветви и стволы лип, ясеней, грабов — старые больные вязы были вырублены на этом участке точно так же, как и повсюду, — четко выделяются черными линиями на фоне ясного неба, исчерченного фиолетовыми и бледно-желтыми полосами. Между толстыми стволами деревьев можно разглядеть статую миловидной девушки из белого мрамора (на самом деле сероватого, да вдобавок еще и окрашенного в зеленоватый цвет отсветами растущих в пруду водорослей), однако отраженная статуя нимфы, утонувшей из-за того, что слишком пристально рассмат-

ривала в воде свое лицо, лишена цоколя, который в действительности возвышается прямо под круглой аркой из темного гранита, возведенной этим летом, но уже успевшей обрасти мхом.

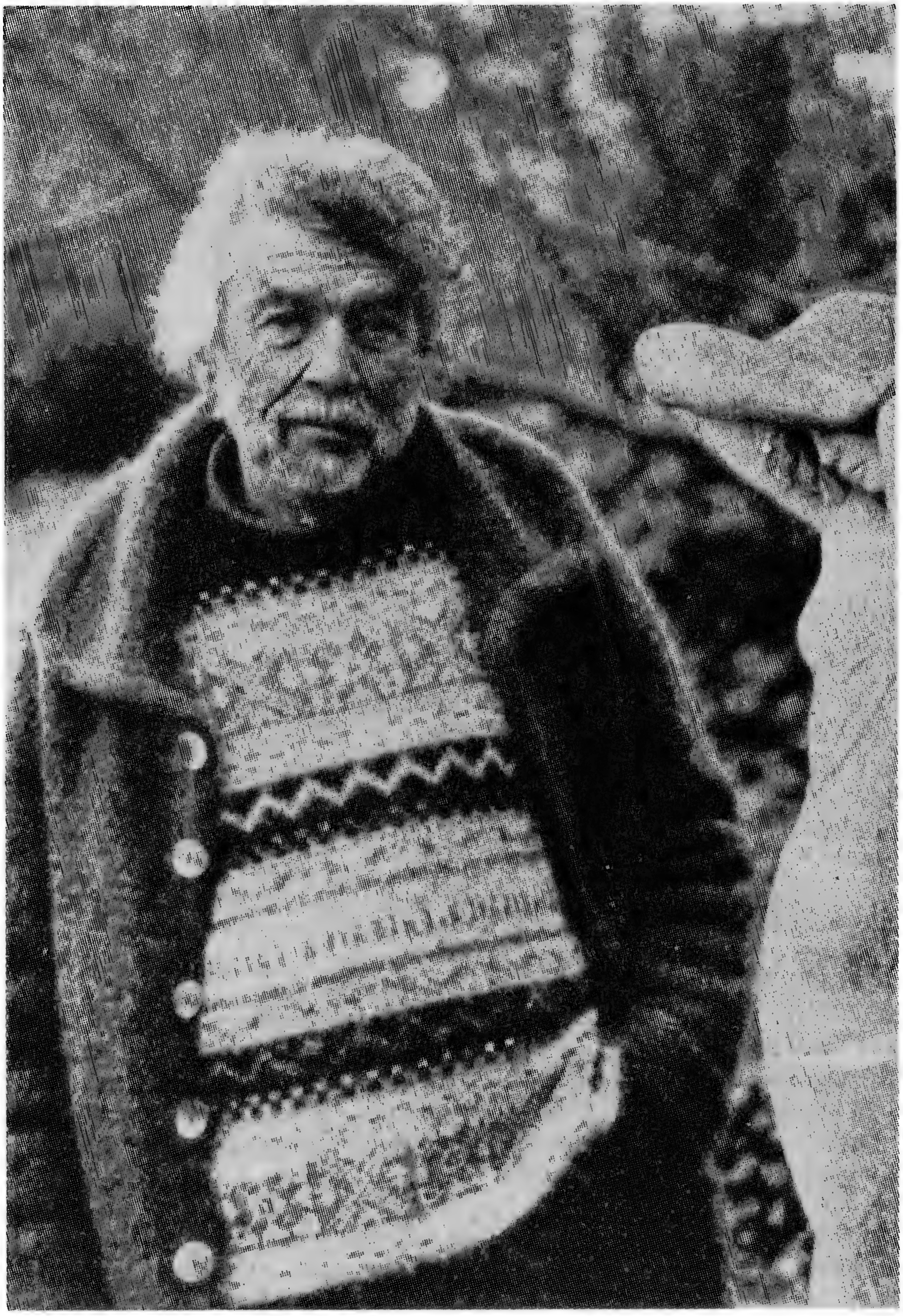
Если смотреть на статую девушки издали, то кажется, будто она совершенно нагая. Если же подойти ближе, то станет заметно, что она одета (если так можно выразиться) в неосязаемую и почти невидимую рубашку, прилипшую к ее нежному телу, словно эта нимфа только что искупалась. Девушка является воплощением стыдливости, так, по крайней мере, утверждал работорговец, вручивший мне товар. Однако движение рук, поднятых к личику, только подчеркивает ее юные прелести, вместо того чтобы скрывать их от нескромного взора, подобно тому как изображала целомудрие Фрина[1] перед своими строгими судьями. И на этом милом личике, чуть прикрытом изящными запястьями и тонкими пальцами, проступает еле заметная, почти неуловимая (боязливая?) улыбка.

Здесь я задаюсь вопросом: по какой причине мой рассказ столь внезапно прервался двумя страницами ранее? Полагаю, произошло это из-за того, что видение тогда растаяло, как исчезает лик испуганной ундины, когда на водную гладь набегает рябь от поднявшегося северо-западного ветра — рябь, пробегающая сейчас по верхнему пруду. Сначала в неясном полумраке сумерек начали таять волки, сидевшие на низких ветвях над дорогой, их и без того смутные очертания распались на клочки серого тумана, затем то же самое произошло и с треугольной стаей, бежавшей за слишком бледным конем, застывшим в стремительном беззвучном галопе... Потом улетела и Манрика в белом воздушном платье, исчезла как раз в тот миг, когда внимание всадника, державшего ее в объятиях, внезапно было отвлечено резким поворотом лесной дороги...

На месте удалого и элегантного капитана де Коринфа, в начищенных до блеска сапогах, красных штанах и френче стального цвета с золочеными пуговицами, теперь был всего лишь стареющий граф Анри, он сидел за письменным столом в комнате на втором этаже Черного дома, укутанный в шотландский плед, и в который уже раз переписывал свои военные заметки. Сам лес около деревни Волчий вой вдруг расплылся и стал таким тусклым, что я вынужден был зацепиться взглядом за гораздо более скромный парк Мениля или, вернее, за более выпуклое, гораздо четче прорисованное, гораздо более реальное — неувядающее его отражение в зеркале пруда.

Но я опять смошенничал: бледно-желтые полосы, очень светлые, перемежающиеся более узкими сиреневыми или коричневатыми у горизонта, за деревьями парка, уже в тот миг, когда я их описывал, были всего лишь воспоминанием, более того, воспоминанием многодневной давности. Я совершенно не могу и не мог никогда описывать вещи, которые вижу перед собой (если бы я за это взялся, ручка тотчас выпала бы у меня из пальцев), и, скорее всего, потому, что в них отсутствует дополнительное измерение, свойственное миру чистого воображения. И я недалек от мысли, что в яркости и неотступности образов, запечатленных памятью, или в запомнившемся ночном кошмаре, или в неожи-

1. Знаменитая греческая гетера, подруга скульптора Праксителя, служившая ему моделью для статуй Афродиты. Ее призвали на суд по обвинению в святотатстве, но судьи оправдали ее, увидев ее несравненную красоту.



данно возникающих в бодрствующем сознании живых и отчетливых видениях, которые настойчиво требуют воплощения — то есть претворения в текст, — больше подлинной реальности, чем в большинстве событий и вещей повседневной жизни, изменчивых, непрочных, ненадежных, ибо их постоянно подстерегает и подтачивает небытие.

Я отлично понимаю, что только благодаря тому, что в моем сознании существует зияющее пространство небытия (полый центр, пустота в золотом кольце, выкованном Альберихом), передо мной может упасть покров с некоего мира, который стоит у меня перед глазами и который я проецирую вовне и воплощаю в реальность. Но тогда тот мир, в котором мы живем и делаем вид, будто верим в его прочность, хотя весь он, напротив, пронизан неуверенностью и тревогой по причине своего происхождения (я имею в виду — из небытия, о котором этот мир хотел бы забыть), тотчас же попадает под подозрение: он родился из полного отрицания и грозит туда же вернуться. "Мне открывается это со всей очевидностью, — напоминает Хайдеггер, — как только я сталкиваюсь с самой обычной беспредметной тревогой, тревогой без всякого повода; она сначала обнажает чуждость так называемого реального мира, а затем и приводит его к небытию". Однако этот мир остается здесь, вокруг нас, упрямо стойкий и в то же время зыбкий, шаткий, словно раз и навсегда неуверенно застыл на одной ноге, выбирая между своим пришествием навеки и окончательным исчезновением.

Только произведение искусства или текст, непосредственно порожденные этой тревогой, могли бы парадоксальным образом навсегда ускользнуть от пустоты, породившей и их тоже. В то время как ежесекундно на моих глазах рушится мир повседневности, запись воображаемого создает из небытия (взятого в качестве структурной основы) антимир, над которым исконная, фундаментальная тревога никогда не будет иметь власти, ибо именно эта тревога — а вовсе не слова и не синтаксис, вопреки так называемому здравому смыслу, — и станет тем материалом, из которого он будет построен.

Карсон Маккалерс

Кто увидел ветер

Рассказ

Перевод с английского М. КАН

ВЕСЬ день Кен Харрис просидел над пустой страницей, заправленной в пишущую машинку. Была зима, шел снег. Снег заглушал шум уличного движения в Гринич-виллидж, и в квартире стояла такая тишина, что даже тиканье будильника отвлекало его внимание. Он работал в спальне, так как присутствие в комнате женских вещей успокаивало его и притупляло чувство одиночества. Глоток спиртного для аппетита (или, может быть, для похмелья?) он зael на кухне банкой мясных консервов во время одинокого ланча. В четыре часа сунул будильник в бельевую корзину и вернулся снова к машинке. Бумага оставалась пустой, и белизна страницы подавляла его. А между тем было время (и давно ли оно прошло?), когда от песенки на углу, отголоска детства, сгусток прошлого в панораме памяти совмещался с настоящим и нечаянное вперемешку с существенным преображалось в роман или повесть, было время, когда пустая страница воскрешала и отбирала воспоминания, подчиняя его призрачной власти искусства. Время, короче говоря, когда он был писателем и писал почти каждый день. Трудился, обуздывая непокорные фразы, вычеркивая неудачные предложения, заменяя повторяющиеся слова. И вот сидел теперь ссутулясь, объятый смутным страхом, блондин далеко за тридцать, с кругами под водянисто-голубыми глазами, с бледными полными губами. Палящий ветер его техасского детства — вот о чем думал он, глядя, как за окном в Нью-Йорке валит снег. Внезапно заслонка в памяти отворилась, и он напечатал, повторяя слова вслух:

© М. Кан. Перевод, 2000
© А. Зверев. Послесловие, 2000

Кто увидел ветер?
Да никто на свете,
Но когда он гнет кусты,
Это видим я и ты.

Детский стишок показался ему исполненным столь зловещего смысла, что, покуда он сидел, вникая в этот смысл, у него взмокли от напряжения ладони. Он выдернул листок из машинки и, разорвав его в клочья, бросил в мусорную корзину. Мысль о предстоящем в шесть часов походе в гости принесла облегчение — хорошо будет покинуть молчание пустой квартиры, выйти на холодную, но утешительно людную улицу.

В метро его встретил тусклый свет подземелья, свежий снежный дух сменился смрадом. Кен заметил, что на одной из скамеек лежит мужчина, но не ощутил, как мог бы в иные времена, любопытства к истории незнакомца. Он смотрел, как приближается, раскачиваясь, головной вагон экспресса, и отпрянул назад, уклоняясь от пыльного ветра. Увидел, как открылись и закрылись двери — это был его поезд, — и потерянно наблюдал, как он тронулся со скрежетом дальше. Тоска подбиралась к нему, пока он ждал следующего.

Роджерсы занимали фешенебельную квартиру на крыше дома в далеком от центра жилом квартале, и вечер уже начался. Невнятный гул голосов выплескивался наружу вместе с запахом джина и поджаренных тартинок. Стоя рядом с Эстер Роджерс в дверях набитой людьми квартиры, он сказал:

— Нынче, когда я попадаю на многолюдный вечер, мне вспоминается последний прием гостей у герцога де Германта.

— Что-что? — спросила Эстер.

— Помните, когда Пруст — то есть его второе "я", рассказчик, — глядя на все эти знакомые физиономии, размышляет о переменах, которые производит время? Великолепное место — я перечитываю его каждый год.

Эстер взглянула на него с беспокойством.

— Здесь такой шум. Жена ваша будет?

У Кена дрогнуло лицо, он взял мартини, которым обносила гостей прислуга.

— Она приедет, когда кончит работу.

— Мариан так много работает — столько рукописей нужно читать.

— Когда бываешь на таких вечерах, видишь всегда почти одно и то же. И вместе с тем — ужасающая разница. Как бы снижение, смещение тональности. Ужасающая разница, отпечаток уходящих лет, неизбывное вероломство времени. Пруст...

Но хозяйка дома уже отошла, и он остался стоять один в толпе гостей. Смотрел на лица, которые примелькались ему на вечерах за последние тринадцать лет, — да, постарели. Эстер теперь раздобрела, бархатное платье ей узко: разгульная жизнь, думал он, от виски так расплылась. Вот она, разница: тринадцать лет назад, когда у него вышла "Ночь тьмы", Эстер буквально носилась бы с ним, нипочем не бросила бы одного на отшибе. В те дни он был всеобщим баловнем. Баловнем Фортуны, и, значит, успех, деньги, молодость — ее каприз? Он увидел у окна двух молодых писателей с Юга — пройдет десять лет, и на капитал их молодости наложит свою лапу капризная Фортуна. Мысль об этом была приятна, и Кен съел поднесенную ему штуковину с ветчиной.

На другом конце комнаты он увидел человека, к которому относился

восторженно. Это была Мейбл Гудли, художница и сценограф. Белокурые, коротко стриженные волосы ее блестели, очки поблескивали на свету. Мейбл всегда восхищалась "Ночью", устроила вечер в его честь, когда он получил стипендию Гуггенхайма. А главное – считала, что вторая его книга еще лучше первой, что бы ни утверждали безмозглые критики. Он двинулся в сторону Мейбл, но его перехватил Джон Хауардс, редактор, с которым ему приходилось изредка встречаться в разных домах.

– Эй, привет, – сказал Хауардс. – Что пописываем сегодня – или об этом неприлично спрашивать?

Кена мутило от таких вопросов. Существовали варианты ответа: он мог сказать, что заканчивает большой роман, иногда говорил, что сознательно отлеживается под паром. Нужного ответа не было, чем бы ни отговариваться. У него подвело мошонку, он отчаянно силился напустить на себя беззаботный вид.

– Прекрасно помню, какого шуму в свое время наделала в литературных кругах "Глухая стена" – отличная книга.

Хауардс был высок ростом, одет в твидовый коричневый костюм. Кен взглянул на него ошеломленно, набираясь духу отразить неожиданный выпад. Но карие глаза смотрели на удивление невинно, Кен не мог уловить в них коварства. Рядом женщина в тугом жемчужном ожерелье сказала после тягостного молчания:

– Но, дорогой, это не мистер Харрис написал "Глухую стену".

– Ой, – уронил беспомощно Хауардс.

Кен перевел взгляд на жемчуга, готовый задушить их обладательницу.

– Ничего, пустяки.

Редактор упорствовал, пытаясь загладить неловкость:

– Но вас ведь зовут Кен Харрис? И вы женаты на Мариан Кемпбелл, она работает литературным редактором в...

Женщина вставила поспешно:

– Кен Харрис написал "Ночь тьмы" – отличную книгу.

Харрис заметил, как прелестно оттеняют шейку женщины черное платье и эти жемчуга. Лицо его прояснилось, но потемнело вновь, когда она прибавила:

– Лет десять тому назад, если не ошибаюсь, – или пятнадцать?

– Помню, – сказал редактор. – Отличная книга. Как я мог перепутать? И сколько же нам ждать, когда появится вторая?

– Я уже написал вторую книгу, – оказал Кен. – Она пошла ко дну без единого всплеска. Провал. Критики превзошли себя в тупости, – прибавил он запальчиво. – А я не принадлежу к числу ваятелей ширпотреба.

– Обидно, – сказал редактор. – Но таковы издержки профессии.

– Эта книга была лучше "Ночи". Некоторые критики сочли ее невразумительной. Но то же говорили о Джойсе. – И, ревниво вступаясь за свое последнее детище, прибавил:

– Она гораздо лучше, чем первая, я чувствую, что еще только приступаю к настоящей работе.

– Вот это я понимаю! – сказал редактор. – Тут главное – пахать и не сдаваться. Так что же вы пишете сейчас – или об этом неприлично спрашивать?

Кена вдруг прорвало:

– Не ваше дело! – Слова, сказанные негромко, прозвучали на всю комнату, и в ней внезапно образовалась зона молчания. – Не ваше собачье дело...

В притихшей комнате раздался голос миссис Бекстайн, глухой старушки, сидящей в углу:

— Для чего ты накупаешь столько лоскутных одеял?

Дочь, старая дева, которая неотлучно находилась при матери, оберегая ее, словно венценосную особу или священное животное, служа ей переводчиком с языка окружающего мира, отозвалась чеканно:

— Мистер Браун говорит...

Невнятный гомон возобновился. Кен подошел к столу с напитками, взял еще один мартини, обмакнул в какой-то соус кусочек цветной капусты. Жевал и пил, стоя спиной к шумной комнате. Потом взял третий мартини и стал пробираться к Мейбл Гудли. Сел рядом с ней на оттоманку, держась немного натянуто, следя за тем, чтобы не расплескать свой коктейль.

— Утомительный выдался день, — сказал он.

— А что ты делал?

— Сидел протирал штаны.

— Один знакомый писатель досиделся до того, что повредил себе крестец. Тебе, часом, не грозит такое?

— Нет, — сказал он. — Ты здесь единственный честный человек.

Чего он только ни пробовал, когда настали дни пустых страниц! Пытался писать, лежа в постели, отказался на время от машинки. Вспомнил Пруста в его обитой пробкой комнате и месяц затыкал себе уши — но работа лучше не пошла, а от затычек в ухе завелась какая-то грибковая болячка. Переехал с женой в Бруклин-хайтс, но и это не помогло. Узнав, что Томас Вулф писал стоя и положив рукопись на холодильник, он даже это испробовал. С тем лишь результатом, что залезал в холодильник и ел... Пытался писать пьяным — замысел, образы были превосходны, но после, по прочтении, так менялись, что хоть плачь. Писал ранним утром, трезвый как стеклышко и несчастный. Вспоминал о Торо и Уолденс. Мечтал заняться физическим трудом, выращивать яблоки на своей ферме. Бродить бы подолгу по вересковым пустошам, и вернулось бы снова творческое озаренье — да только где они, вересковые пустоши Нью-Йорка?

Он утешался примерами писателей, считавших себя при жизни неудачниками и снискавших посмертную славу. Двадцатилетним грезил о том, что умрет в тридцать и имя его прогремит после смерти. В двадцать пять, написав "Ночь тьмы", грезил, что умрет знаменитым в тридцать пять, писателем для избранного литературного круга, с багажом завершенных произведений и Нобелевской премией, полученной на смертном одре. Но теперь, почти в сорок, имея в багаже две книги — с одной к нему пришел успех, с другой, ревниво защищаемой, постигла неудача, — он больше не грезил о своей смерти.

— Не понимаю, зачем я продолжаю писать, — сказал он. — Это не жизнь, а сплошное расстройство.

Он втайне ждал, что Мейбл, его друг, быть может, скажет, что он рожден писателем, напомнит даже про его обязательства перед своим талантом, употребит даже слово "гений", это волшебное слово, способное наделить тяготы и зримые неудачи суровым величием. Но ответ Мейбл разочаровал его.

— Наверное, ремесло писателя сродни театру. Начнешь писать или играть на сцене — и у тебя это уже в крови.

Он презирал актеров — с их тщеславием, позерством, вечной безработицей.

— Игра на сцене, я считаю, — не творчество, а всего лишь исполнение. Меж тем как писатель обречен вести резец по нетронутой глыбе воображения...

Он увидел, как из передней входит его жена Мариан. Высокая, стройная, черноволосая, с прямой короткой стрижкой, одетая в черное строгое платье, деловое, без украшений. Они поженились тринадцать лет назад — в год, когда вышла "Ночь тьмы", — и долго еще его бросало в дрожь от любви. Влюбленный, он ждал прихода жены с нарастающим ощущением чуда и испытывал сладостный трепет, увидев ее наконец. То было время, когда они предавались любви чуть ли не еженощно, а нередко еще и поутру. В тот первый год бывало даже, что она прибегала с работы в свой перерыв на ланч, и они ласкали друг друга, обнаженные, при свете городского дня. Потом желание вошло в берега, и его тело перестало отзываться дрожью на любовь. Он работал над второй книгой, и работа не ладилась. Но тут ему дали на год стипендию Гуггенхайма, и они поехали в Мексику, а в Европе шла война. Книга была заброшена, и, хотя упоенье успехом еще не прошло, он испытывал недовольство. Хотелось писать, писать, писать, но месяц шел за месяцем, а он так и не писал. Мариан сказала, что он слишком много пьет и тянет время зря, и он выплеснул ром из своего стакана ей в лицо. Потом упал на колени и заплакал. Он был первый раз в чужой стране, и потому время автоматически приобретало особую ценность. Писать бы о синеве полуденного неба, о мексиканских сумерках, о ледяной свежести воздуха в горах. Но дни сменялись днями — а каждый день за границей ценен, — и он по-прежнему ничего не писал. Даже испанский язык не выучил и злился, когда Мариан болтала с кухаркой и другими мексиканцами (женщине всегда проще нахвататься иностранных слов, тем более что она уже знала французский). И даже дешевизна жизни в Мексике на поверку обходилась дорого — он много тратил, считая, что к нему привалили шальные деньги, и очередной чек от Гуггенхайма всегда был истрачен вперед. И все-таки он побывал в другой стране, а значит, рано или поздно дни в Мексике для него как писателя еще окупятся. Так промелькнули восемь месяцев, а дальше произошло необъяснимое: практически не говоря дурного слова, Мариан снялась с места и улетела в Нью-Йорк. Пришлось прерывать год, отпущенный ему Гуггенхаймом, и отправляться за нею следом. Но оказалось, что она не желает больше жить с ним — или хотя бы жить под одной крышей. Это, сказала она, все равно что жить с десятком римских императоров в одном лице, и с нее хватит. Мариан устроилась помощником литературного редактора в модный журнал, а он въехал в квартиру без горячей воды — их брак распался, они жили врозь, хоть он по-прежнему старался бывать в тех же местах, что и она. Чиновники из фонда Гуггенхайма отказались возобновить его стипендию, а аванса за новую книгу хватило ненадолго.

Примерно в это время настало однажды утро, которое он запомнил навсегда, хотя, казалось бы, ничего, буквально ничего не случилось. Занимался солнечный осенний день, ясное небо зеленело поверх небоскребов. Он зашел позавтракать в кафетерий, подсел ближе к светлому окну. По улице торопливо сновали люди, направляясь куда-то. В кафетерии царило утреннее оживление, стучали подносы, стоял многоголосый шум. Люди входили, ели, уходили, и в каждом ощущалась уверен-

ная устремленность к цели. Уверенность в существовании цели за рамками повседневного распорядка работы и дел. Многие приходили в одиночку и все же неким образом казались частицами единого целого, принадлежностью омытого осенью города. Только он один был отрезан, изолирован, как ненужная деталь в целесообразной структуре города. Его джем остекленел на солнце, он намазал им поджаренный хлеб, но есть не стал. Кофе в чашке отливало лиловым, на краю ее виднелся неотмытый след губной помады. То был час безысходности, хотя абсолютно ничего не случилось.

Теперь, на этом вечере, много лет спустя, шум голосов, уверенность окружающих и чувство собственного отторжения вновь привели ему на память тот завтрак в кафетерии, и час безысходности повторился, усугубленный временем, ушедшим между пальцев.

— А вот и Мариан, — сказала Мейбл. — Выглядит усталой, похудела.

— Если бы этот чертов Гуггенхайм возобновил мне стипендию... я собирался повезти Мариан на год в Европу, — сказал он. — Сволочи, творческим людям грантов больше не дают. Только физикам — тем, кто готовит новую войну.

Война для Кена пришла как избавление. Он рад был забросить книгу, которая подвигалась туго, с облегчением оторваться от пресловутой "глыбы воображения" и обратиться к генеральному событию того времени, ибо война была, несомненно, главным событием для его поколения. Он окончил офицерские курсы, и Мариан, увидев его в военной форме, прослезилась, обняла его и не заводила больше разговоров о разводе. Во время его прощального увольнения они не отрывались друг от друга, как в первые месяцы после женитьбы. В Англии ежедневно шли дожди, и был случай, когда его пригласил к себе в замок английский лорд. В день "Д" он высадился на континент и прошел со своим батальоном до самого Шмица. Видел, как в одном из подвалов разрушенного города кошка принюхивается к лицу мертвеца. Изведал страх — но не ту безотчетную жуть, что нашла на него в кафетерии, и не маету, как от вида пустой страницы, заправленной в машинку. Что-то все время происходило: то он нашел три вестфальских окорока в дымоходе крестьянского дома, то сломал себе руку в автомобильной аварии. Война была первостепенным событием для его поколения, а для писателя в таком явлении, как война, автоматически неоценим каждый день. Но когда она кончилась, о чем было писать — о кошке, буднично обнюхивающей труп, или об английском лорде, или о сломанной руке?

Вернувшись в Виллидж, он опять взялся за книгу, брошенную на столь долгий срок. Какое-то время в том послевоенном году работа ладилась, была ему в радость. Время, когда отголосок ли детства, песенка ли на углу — все приходилось кстати. В странной эйфории одинокой работы для него сошелся весь свет. Он писал об ином времени, иных местах. О днях своей юности на ветреных, с песком на зубах, улочках техасского городка, где родился. О мятежной юности, мечтах о залитых огнями городах, тоске по местам, которых никогда не видал. Писал "Однажды летним вечером", живя в нью-йоркской квартире, но мысленно жил в Техасе, и расстояние до него не сводилось к одному лишь пространству — то было грустное расстояние меж средним возрастом и молодостью. Так что писал он книгу в раздвоении между реальностью настоящего и прошлого — повседневной жизни в Нью-Йорке и

незабываемого ритма своей техасской молодости. Когда книга вышла и критика отозвалась о ней либо небрежно, либо недобро, он принял удар, по собственной оценке, достойно и держался, покуда безысходность не потянулась изо дня в день и не начались его страхи. Он совершал в это время несуразные поступки. Однажды заперся в ванной, стал, взяв в руку флакон с лизолом, и стоял так, сжимая флакон и дрожа, охваченный ужасом. Простоял полчаса, пока не набрался духу и, пересилив себя, не вылил медленно лизол в унитаз. Потом повалился на кровать и рыдал до тех пор, покамест, уже под вечер, его не сморил сон. В другой раз сел у открытого окна и стал бросать на улицу с шестого этажа листы чистой бумаги. Пустил один за другим по ветру штук десять, глядя с необъяснимым ликованьем, как ветер подхватывает и уносит их прочь. Не столько бессмысленность подобных действий, сколько крайнее напряжение, которым они сопровождались, подсказали Кену, что он нездоров.

Мариан посоветовала ему показаться психиатру — он отвечал, что психиатрия переродилась в авангардистский способ мастурбации. И рассмеялся, но Мариан оставалась серьезной, и одинокий смех завершился для него мурашками холодного страха. Кончилось тем, что к психиатру пошла Мариан, а Кен завидовал им обоим: врачу — его роли судьи несчастливого брака, и ей — ее относительному самообладанию на фоне его неуравновешенности. В том году он написал несколько сценариев для телевидения, заработал около двух тысяч долларов и купил Мариан леопардовое манто.

— Ты и теперь занимаешься телепрограммами? — спросила Мейбл Гудли.

— Нет, — сказал он, — теперь я рождаю в муках следующую книгу. Ты единственный честный человек из всех, кого я знаю. С тобой можно разговаривать...

Освободясь после выпитого от скованности и доверяясь дружбе (ибо, в конце концов, Мейбл относилась к числу немногих, кто был ему дорог), он заговорил о книге, которую столько времени пытался написать:

— В основе — тема измены самому себе, а центральная фигура — захолустный юрист по фамилии Уинкл. Действие разворачивается в Техасе, в моем родном городке, и сцены большей частью происходят в запущенном помещении городского суда. Завязкой служит эпизод, когда Уинкл сталкивается с ситуацией... — Кен излагал задуманный сюжет увлеченно, описывая действующих лиц, объясняя мотивы их поведения. Когда подошла Мариан, он еще не кончил и, попросив ее жестом не перебивать, продолжал говорить, впиваясь взглядом в голубые глаза Мейбл, защищенные стеклами очков. И вдруг осекся под наитием пугающего чувства, что это уже было. Что он уже когда-то рассказывал Мейбл о своей книге — в этом же самом месте и при тех же обстоятельствах. Даже штора колыхалась на окне точно так же. Только сейчас в голубых глазах Мейбл за стеклами очков блестели слезы, и он обрадовался, что она так тронута. — Уинклу, таким образом, ничего не оставалось, кроме развода... — Голос его замер. — У меня почему-то ощущение, что я уже рассказывал это тебе...

Мейбл отозвалась не сразу; он молчал.

— Рассказывал, Кен, — проговорила она наконец. — Лет шесть тому назад, если не семь, — на вечере, очень похожем на этот.

Вынести жалость в ее глазах, стыд, толчками расходящийся по телу, было невозможно. Он поднялся со стаканом в руке, едва не потеряв равновесие.

После гама в комнате маленькая терраса встретила его полной тишиной. И ветром, от которого усилилось чувство заброшенности и отъединения. От стыда Кен зачем-то невпопад сказал:

— Да что, в самом деле... — и вымученно улыбнулся.

Но стыд все равно жег его, и он приложил холодную ладонь к горячему, воспаленному лбу. Снегопад кончился, но ветер мел по белой террасе снежные хлопья. Терраса была шагов шесть в длину, и Кен двинулся вдоль нее очень медленно, вглядываясь с нарастающим вниманием в нечеткие отпечатки своих узконосых ботинок. Почему он так напряженно рассматривал свои следы? И зачем одиноко стоял здесь, на зимней террасе, где блекло-желтым прямоугольником ложился на снег свет из заполненной гостями комнаты? И куда ведут следы? Терраса заканчивалась невысоким, по пояс, парапетом. Когда он оперся о парапет, то почуял, что ограждение еле держится, понял, что *заранее знал, что парапет окажется непрочным*, и все-таки продолжал на него опираться. Жилая надстройка была на пятнадцатом этаже, и городские огни светились вровень с ним. Он думал, что стóит один раз налечь на шаткий парапет, и полетишь вниз, но спокойно оставался у покосившегося ограждения, словно найдя для неприкаянной души пристанище и умиротворенье.

С непростительной внезапностью к нему в сознание вторгся голос, тихо зовущий с террасы:

— Ау! Ау! — То была Мариан. Мгновенье помолчав, она прибавила: — Кен, поди сюда. Ты что там делаешь?

Кен выпрямился. Почувствовал, что стоит твердо, и несильно толкнул парапет. Он не обрушился.

— Этот парапет весь прогнил — от снега, видимо. Интересно, много народу здесь покончило о собой?

— *Много народу?..*

— А что? Очень просто.

— Иди сюда.

Он пошел назад, старательно ступая по своим прежним следам.

— Снега, пожалуй, намело не меньше дюйма. — Он нагнулся и потрогал снег средним пальцем. — Нет, даже два.

— Мне холодно.

Она положила руку на его пиджак, открыла дверь и ввела его в комнату. Там стало тише, гости начали расходиться. При ярком свете после темноты снаружи Кен увидел, что у Мариан усталое лицо. В черных глазах ее застыло измученное, укоризненное выражение — Кен был не в силах выдержать их взгляд.

— Что, киска, синусит беспокоит?

Ее указательный палец легонько прошелся по лбу и переносице.

— Меня больше беспокоит, что ты доходишь до такого состояния.

— Состояния? Я? Идем-ка одеваться, пора домой. — Но видеть выражение ее глаз было нестерпимо, он ненавидел Мариан за эти намеки, что он пьян. — Мне еще идти на вечер к Джиму Джонсону.

После поисков пальто и нестройных прощальных восклицаний несколько человек спустились вместе на лифте и стали на тротуаре, высвистывая такси. Обсудили, кому куда ехать, и в первом такси попутчиками к центру оказались Мариан с Кеном и редактор. Чувство стыда у Кена немного унялось, и в такси он завел речь о Мейбл.

— Обидно за Мейбл, — сказал он.

— Ты о чем это? — спросила Мариан.

— Да обо всем. Трещит по швам, бедняжка. На глазах совершается распад личности.

Мариан, которой не нравился этот разговор, обратилась к Хауардсу:

— Может быть, поедем через парк? Там хорошо, когда идет снег, и так быстрее.

— Мне до Пятой авеню и Четырнадцатой улицы, — сказал Хауардс. Он наклонился к водителю: — Поезжайте, пожалуйста, через парк.

— Беда с Мейбл в том, что был человек, да весь вышел. Десять лет назад она честно делала свое дело как художница и сценограф. Может, иссякло воображение, а возможно, пьет слишком много. Какая уж тут честность — лепит подряд одно и то же, без конца повторяется.

— Вздор какой, — оказала Мариан. — Она работает все лучше с каждым годом, заработала большие деньги.

Они проезжали через парк, и Кен глядел на зимний пейзаж. Деревья в парке стояли, отягощенные снегом, время от времени ветер сдувал с ветвей снежные шапки, но кусты от него не гнулись. Кен начал декламировать старый детский стишок про ветер, и опять эти слова отозвались в нем зловещим эхóм, и снова увлажнились его холодные ладони.

— Много лет не слышал эту дребедень, — сказал Джон Хауардс.

— Дребедень? Она хватает за душу не хуже Достоевского.

— Помнится, мы ее пели в детском саду. А когда у кого-нибудь из детей был день рожденья, на его стульчике оказывался голубой или розовый бантик, и все пели: "С днем рожденья тебя".

Джон Хауардс сидел согнувшись на краю сиденья рядом с Мариан. Трудно было представить себе, что много лет назад этот высокий, нескладный мужчина в больших галошах распевал песенки в детском саду.

Кен спросил:

— Вы родом откуда?

— Из Каламазу, — сказал Хауардс.

— Я всегда спрашивал себя, чтó это — правда такой город или просто фигура речи?

— Правда такой город, был и есть, — сказал Хауардс. — Когда мне исполнилось десять, семья переехала в Детройт.

В этом тоже Кену почудилась некая несообразность и подумалось, что в некоторых людях так мало сохранилось от детства, что упоминание о стульчиках в детском саду и семейных переездах никак с ними не вяжется. У него вдруг возник замысел рассказа о подобном человеке — он озаглавит его "Мужчина в твидовом костюме", — и, озаренный на миг вспышкой прежнего вдохновения, так редко посещающего его теперь, он ушел в себя, следя мысленно, как разворачивается сюжет рассказа.

— В службе погоды сказали, что температура к ночи понизится до нуля, — сказала Мариан.

— Меня можно высадить здесь, — сказал Хауардс таксисту. — Спасибо, что довезли, — прибавил он с улыбкой, открыв бумажник и передавая Мариан деньги. — Это за меня. Было очень приятно снова повидать вас. Давайте как-нибудь на этих днях встретимся за ланчем, и мужа берите с собой, если будет не против. — Он выбрался из такси и бросил напоследок Кену: — Так жду от вас новой книги, Харрис.

— Кретин, — сказал Кен, когда машина тронулась дальше. — Я завезу тебя домой и на минутку заеду к Джиму Джонсону.

— Кто это — и зачем тебе к нему?

— Один знакомый художник. Затем, что меня пригласили.

— Ты в последнее время все заводишь новые знакомства! Прибьешься к одной компании, потом переходишь в другую.

Кен знал, что замечание справедливо, но ничего не мог поделать. Он в последние годы общался с той или иной компанией — у них с Мариан давно был разный круг знакомых, — покуда не напивался, не устраивал скандал, после чего проникался к этому окружению неприязнью, злился, чувствовал себя лишним. Тогда он менял компанию, и окружение с каждой переменой делалось все ненадежнее, квартиры — более убогими, выпивка — дешевле. Теперь он рад был идти куда бы ни позвали, к чужим, где чей-нибудь голос, может статься, укажет ему путь и неумеренные возлияния подарят взвинченным нервам обманчивое успокоенье.

— Кен, почему ты не обратишься к врачу? Я больше так не могу.

— А в чем дело?

— Ты знаешь. — Он чувствовал, как она напряжена, скована на своем сиденье. — Неужели тебе обязательно идти еще куда-то? Ты что, не видишь, что губишь себя? Зачем тебе понадобилось опираться на этот парапет там, на террасе? Разве тебе не ясно, что ты — болен? Едем домой.

Ее слова вызывали в нем тревогу, но о том, чтобы поехать сейчас домой с Мариан, он и подумать не мог. У него было предчувствие, что, окажись они вдвоем в квартире, может стрястись что-то ужасное, нервы кричали ему об этом, предостерегая от неведомой беды.

Раньше, бывало, после такой вечеринки с коктейлями приятно было вернуться вместе домой, посудачить мирно за рюмкой о прошедшем вечере, обследовать холодильник и лечь спать, надежно укрывшись от внешнего мира. Но как-то раз по возвращении с такого вечера что-то произошло — он отключился и не помнил, что говорил и делал, и не хотел вспоминать; остались только разбитая пишущая машинка, проблески чего-то постыдного в сознании, от чего он инстинктивно отгораживался, — и память о ее испуганных глазах. Мариан бросила пить и уговаривала его вступить в группу анонимных алкоголиков. На одну их встречу он пошел вместе с ней и даже пять дней, следуя ее примеру, не притрагивался к спиртному, покуда ужас той беспамятной ночи не отступил чуть-чуть. После, когда пить приходилось в одиночку, его бесило ее молоко и нескончаемые чашки кофе, а ее — то, что он продолжает пить. В создании этой напряженной обстановки был неким образом, считал он, повинен психиатр; он допускал даже, что Мариан загипнотизирована. Так или иначе, их вечера были теперь испорчены, томительны. Сейчас, чувствуя, как неподвижно и прямо она сидит в машине, он потянулся поцеловать ее, как бывало, когда они ехали с вечеринки домой. Но ее тело оставалось таким же скованным в его объятии.

— Киска, давай пусть будет как прежде. Поедем домой, клюкнем, потихонечку поболтаем о том, как прошел вечер. Ты ведь это любила! Любила тихо посидеть вдвоем и пропустить по маленькой. Составь мне компанию и расслабься, как когда-то. Хочешь, никуда я больше не пойду. Пожалуйста, киска. Никакая ты не алкоголичка. А я, оттого что ты не пьешь, чувствую себя распоследним пьянчугой — неестественно себя чувствую. И я не алкоголик, а уж ты подавно.

— Налью тебе тарелку супа, и отправляйся спать. — Но в ее голосе звучала безнадежность, а Кену послышалось в нем самодовольство. Она

сказала еще: — Я так старалась сохранить наш брак, помочь тебе. Но это все равно что вытаскивать кого-то, стоя на болоте. Столько всего за этим пьянством, и я так устала...

— Я только на минутку загляну туда — пойдем со мной.

— Я больше не могу.

Такси остановилось, и Мариан заплатила водителю. Вылезая из машины, спросила:

— У тебя хватит денег доехать — если тебе вообще надо ехать?

— Естественно.

Джим Джонсон жил на дальнем конце Вест-сайда, в пуэрториканском районе. На краю тротуара стояли открытые помойные баки, ветер гнал по заснеженной мостовой бумажный мусор. Машина остановилась, но Кен до такой степени забылся, что водителю понадобилось окликнуть его. Он посмотрел на счетчик и открыл кошелек — в нем не оказалось ни единой бумажки, только пятьдесят центов, и этого было недостаточно.

— У меня кончились деньги, вот осталось пятьдесят центов, — сказал Кен, отдавая таксисту монеты. — Что будем делать?

Таксист оглянулся на него.

— Ничего, просто выходите. Что можно сделать.

Кен вышел.

— Пятнадцати центов не хватает, и ничего на чай — виноват...

— Надо было взять деньги у дамы.

Сборище происходило на верхнем этаже без лифта, в квартире без особых удобств, сложные запахи стряпни застоялись на каждой площадке. В комнате было тесно, холодно, на газовой плите голубыми язычками горели конфорки, духовку открыли для тепла. Мебели, помимо дивана-кровати, практически не было, и гости, в основном, сидели на полу. Холсты были расставлены вдоль стены, картина на мольберте изображала лиловую свалку под двумя зелеными солнцами. Кен сел на пол рядом с розовощеким молодым человеком в коричневой кожаной куртке.

— Как-то всегда отрадно сидеть в мастерской у художника. Художники не знают проблем, которые стоят перед писателем. Кто слышал, чтобы у художника застопорилась работа? У них есть чем занять себя — грунтовать холст, отмывать кисти и так далее. Другое дело — пустая страница. Художнику, в отличие от многих писателей, не грозит опасность стать неврастеником.

— Не знаю, — сказал молодой человек. — Разве Ван Гог не отрезал себе ухо?

— И все же запах краски, цвет, физическая активность благотворно влияют на нервы. Это вам не пустая страница в тишине вашей комнаты. Художник может насвистывать за работой, может даже разговаривать с людьми.

— Я как-то знал художника, который убил свою жену.

Кену предложили ромовый пунш и херес, он взял херес с металлическим привкусом, словно в нем вымачивали медяки.

— Вы художник?

— Нет, — сказал молодой человек. — Писатель — то есть, вернее, пишу.

— Как ваша фамилия?

— Она вам ничего не скажет. Я еще не опубликовал свою книгу. — Он

запнулся. — В "Прямой речи" — есть такой тонкий журнал — у меня выходил рассказ, может быть слышали?

— Давно пишете?

— Восемь... десять лет. Часть времени, понятно, должен работать на стороне, зарабатывать на еду и жилье.

— И какая это работа?

— Всякая. Один раз проработал год в морге. Платили замечательно, и часов пять в день оставалось на себя. Но к концу года почувствовал, что дело от этого страдает. Когда трупы кругом... Словом, ушел жарить сосиски на Кони-Айленде. Теперь служу ночным портье в зачуханной гостиничке, на самом дне. Зато могу до вечера работать дома, а по ночам обдумывать книгу, и потом — богатая возможность наблюдать людские типы. Материал, так сказать, для будущих рассказов.

— А с чего вы решили, что вы писатель?

Воодушевление на лице молодого человека погасло, он прижал пальцы к пылающей щеке и когда отнял их, остались белые следы.

— Потому что просто знаю. Я столько работал и верю в свой талант. Конечно, — продолжал он, помолчав, — один рассказ в журнальчике за целых десять лет не назовешь блистательным началом. Но вспомните, с каким трудом каждый писатель пробивает себе дорогу — пусть даже он великий гений. Времени и упорства мне не занимать, и, когда мой последний роман появится в печати, талант найдет свое признание.

Нескрываемый пыл молодого человека вызывал у Кена неприязнь, напоминая нечто, давно утраченное им самим.

— Талант, — проговорил он едко. — Скромный талантик мощностью в один рассказ — коварнейшая штука, не дай бог. Работай и работай, надейся, верь, пока не ухлопаешь всю молодость, — видали мы такое. Скромный талант — это наказанье господне.

— Откуда вам известно, что у меня скромный талант — а вдруг большой, почем вы знаете? Не знаете — вы же ни одного слова не читали из того, что я написал! — возмущенно сказал молодой человек.

— Я не лично вас имел в виду. Я рассуждал абстрактно. — В комнате сильно пахло газом, под низким потолком слоями стелился табачный дым. От пола несло холодом, Кен подвинул к себе подушку, лежащую рядом, и сел на нее. — Так какого рода вещи вы пишете?

— Последняя книга — история мужчины по фамилии Браун, нарочито обычная фамилия подчеркивает, что это собирательный образ, человек в широком смысле слова. Он любит свою жену, но принужден убить ее, так как...

— Дальше не надо. Писатель не должен рассказывать заранее содержание своей книги. К тому же я все это уже слышал.

— Как это может быть? Я же не досказал, не кончил...

— Конец всегда один и тот же, — сказал Кен. — Слышал я эту историю — здесь, в этой самой комнате, лет семь-восемь тому назад.

С пылающего лица внезапно схлынула краска.

— Мистер Харрис, вы хоть и автор двух изданных книг, но человек, по-моему, скверный. — Он поднял голос. — И отвяжитесь от меня!

Молодой человек встал, застегнул молнию на своей кожаной куртке и, насупясь, отошел в угол комнаты.

Через несколько минут Кен уже спрашивал себя, зачем он здесь. Никого из окружающих, кроме хозяина, он не знал, вид помойки под двумя солнцами раздражал его. В комнате, полной чужих людей, не

прозвучит для него путеводный голос, а от хереса оставалась оскомина в пересохшем рту. Ни с кем не простясь, Кен вышел из комнаты и спустился по лестнице вниз.

Он вспомнил, что у него нет денег и домой придется идти пешком. На улице все еще шел снег, ветер завывал на перекрестках, температура приближалась к нулю. За много кварталов от дома он увидел аптеку-закусочную на знакомом углу и подумал о горячем кофе. Выпить бы чашку обжигающего кофе, крепко обхватив ее ладонями, и в голове прояснится, и хватит сил, добежав до дому, выдержать взгляд жены и то, чему назначено случиться по его возвращении. А дальше было то, что виделось ему вначале как нечто рядовое и даже естественное. Прохожий в фетровой шляпе догнал его на пустынной улице, и, когда они поравнялись, Кен сказал:

— Температура, похоже, нулевая, вам не кажется?

Мужчина задержался на миг.

— Одну минуту, — продолжал Кен. — Такая приключилась глупость. Я потерял все деньги — не важно как. Скажите, не найдется у вас мелочи на чашку кофе?

Едва слова были сказаны, Кен понял, что это не рядовая ситуация, и они с незнакомцем посмотрели друг на друга тем пристыженным недоверчивым взглядом, каким обмениваются попрошайка и тот, у кого клянчат подаянье. Кен стоял, держа руки в карманах — он где-то забыл перчатки, — и прохожий, взглянув на него в последний раз, поспешил прочь.

— Постойте! — крикнул Кен. — Вы думаете, я жулик — нет! Я — писатель, я вас не собирался обокрасть!

Незнакомец торопливо перешел на другую сторону улицы, поддавая на ходу коленями свой портфель. Кен добрался до дому после полуночи.

Мариан уже легла, поставив на ночной столик стакан молока. Он налил себе виски с содовой и пошел с ним в спальню, хотя обычно в последнее время старался проглотить спиртное наспех, тайком.

— Где часы?

— В бельевой корзине.

Он нашарил будильник и поставил его на столик возле стакана с молоком. Мариан следила за ним странным взглядом.

— Как было в гостях?

— Ужасно. — Он помолчал. — Окаянное место этот город. Чужие люди, сборища, подозрительные незнакомцы.

— Тебе же всегда нравились эти сборища.

— Нет. Больше не нравятся. — Он сел на кровать к Мариан, и внезапно у него навернулись слезы. — Киска, что сталось с яблоневой фермой?

— Фермой?

— *Нашей* яблоневой фермой — не помнишь?

— Это было так давно, столько всякого произошло с тех пор.

Но мечта, хоть и давно уже забытая, вновь заиграла живыми красками. Он видел цветущие яблони под весенним дождем, фермерский дом, серый от времени. Доил на зорьке коров, потом копался в огороде, где курчавился зеленый салат, бурели на летнем солнце початки кукурузы, где рядом с баклажанами искрилась каплями росы лиловая капуста. Завтрак был деревенский: оладьи, колбаса из собственной свинины. Покончив с утренними делами и завтраком, четыре часа рабо-

тать над романом, а ближе к вечеру — чинить заборы, колоть дрова. Он видел эту ферму при любой погоде: затяжные снежные заносы, когда он за один присест закончит целую повесть; теплые, благодатные дни ясного мая; подернутый зеленью пруд в летнюю пору, где он станет удить форель к их столу; октябрьскую синь над спелыми яблоками. Не тронутая порчей действительности, мечта была яркой, достоверной.

— А по вечерам, — сказал он, видя, как от огня в камине то вырастают, то опадают в их доме тени на стене, — будем всерьез штудировать Шекспира, всю Библию прочтем насквозь.

На мгновенье мечта захватила и Мариан.

— Это было в первый год, как мы поженились, — сказала она с оттенком то ли обиды, то ли удивления в голосе. — А когда наладили бы дело на ферме, думали завести ребенка.

— Я помню, — сказал он рассеянно, хотя как раз эту деталь начисто забыл. Он увидел неясную фигурку мальчика лет шести в синих джинсах... Потом ребенок исчез, и он отчетливо увидел себя верхом на лошади — или, верней, на муле — по дороге в соседнюю деревню, откуда он отправит издателю законченную рукопись великого романа. — Могли бы жить практически на гроши — и жить безбедно. Всю работу я делал бы своими руками — сегодня если что и окупается, так это ручной труд, — выращивал бы все, что мы едим. Будем свиней держать, корову, кур. — Он помолчал и прибавил: — Даже на выпивку не станем тратиться. Сам буду делать сидр и яблочную водку. Давильней обзаведусь и так далее.

— Я устала, — сказала Мариан и тронула пальцами лоб.

— Не будет больше нью-йоркских сборищ, вечерами всю Библию прочтем от корки до корки. Я так и не читал ее насквозь, а ты?

— Я тоже, — сказала она. — Но чтобы прочесть Библию, не обязательно иметь яблоневую ферму.

— Возможно, мне, чтобы прочесть Библию — и, кстати, хорошо писать, — обязательно иметь яблоневую ферму.

— Ну, tant pis[1].

Французская реплика привела его в ярость: до замужества Мариан год преподавала французский в школе и при случае, раздражаясь или досадуя на него, могла ввернуть французскую фразу, смысла которой он часто не понимал.

Он ощущал, как между ними нарастает напряжение, которое хотел рассеять любой ценой. Поникший и несчастный, он сидел на кровати, упершись взглядом в ситцевый узор на стенке спальни.

— Ты понимаешь, с моей целевой установкой случилось что-то не то. В молодости я был уверен, что стану большим писателем. Потом шли годы, и я смирился с тем, что я — крепкий середняк. Чувствуешь всю убийственность этого падения?

— Нет, — сказала она не сразу, — я страшно устала. Ко мне тоже в последний год приходила мысль о Библии. Одна из первых заповедей — это "*Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим*"[2]. А ты и такие, как ты, сотворили себе божество из этой... химеры. Ни с какими другими обязательствами — семья, материальное благополучие, даже чувство собственного достоинства — вы не считаетесь. Ни с чем не считаетесь, что может встать между вами и вашим странным божеством. Золотой телец — ничто по сравнению с ним.

1. Что поделаешь (*франц.*).
2. Второзаконие, 5,7.

— А смирился с тем, что средний писатель, — и пришлось опускать планку еще ниже. Начал писать телесценарии, пытался стать поденщиком высокой квалификации. Но даже здесь не преуспел. Можешь себе представить этот ужас? Измельчал душевно, сделался завистлив — раньше за мной такого не водилось. Я был совсем неплохим человеком, когда был счастлив. Последний, финальный шаг — покориться судьбе и подрядиться сочинять рекламу. Ты понимаешь, что это за кошмар?

— Я часто думала, что это, может быть, выход из положения. Все что угодно, милый, лишь бы вернуть тебе самоуважение.

— Да, — сказал он. — Только, по мне, уж лучше наняться в морг или пойти жарить сосиски.

В ее глазах блеснула тревога.

— Поздно. Ложись-ка спать.

— Как я работал бы на яблоневой ферме — и физически, и за письменным столом! Там было бы покойно и — надежно. Что нам мешает это сделать, девочка?

Она срезáла заусеницу на пальце и даже не взглянула в его сторону.

— Деньги, возможно, я мог бы занять у твоей тети Розы — оформить все строго по закону, через банк. Под закладные на ферму и урожай. И первую книгу ей посвятил бы.

— У моей тети Розы — нет уж. — Мариан положила ножницы на столик. — Все, я сплю.

— Почему ты не веришь в меня — и в яблоневую ферму? Почему не хочешь? Там было бы так покойно — надежно! Мы были бы одни, вдали от всех. Почему ты не хочешь?

Черные глаза ее были широко открыты, и он увидел в них выражение, которое видел до сих пор лишь однажды.

— Потому, — сказала она с расстановкой, — что ни за какие блага на свете не хотела бы оказаться с тобой одна на этой бредовой ферме — без врачей, без знакомых, без помощи.

Тревога переросла в испуг, теперь ее глаза светились страхом. Пальцы нервно теребили простыню.

Кен сказал ошарашенно:

— Детка, ты что, боишься меня? Да я реснички твоей не трону! Ветру дунуть не позволю на тебя... чтобы я мог обидеть...

Мариан поправила подушку и улеглась спиной к нему.

— Хорошо. Спокойной ночи.

Он посидел, оглушенный, потом опустился на колени у кровати Мариан и ладонь его легко легла на ее ягодицы. Прикосновение пробудило в нем глухой пульс желания.

— Постой! Я только разденусь. Давай поуютничаем.

Он подождал, но она не шелохнулась, не отозвалась.

— Давай, девочка.

— Нет, — сказала она.

Но пульс любви нарастал, и он не обратил внимания на ее ответ — дрожь передалась его руке, ногти выделялись неопрятным пятном на фоне белого одеяла.

— Никогда, — сказала она. — Довольно.

— Ну пожалуйста, милая. А потом мирно заснем. Дорогая, родная моя, ты — единственное, что у меня есть. Ты — золото в моей жизни.

Мариан оттолкнула его руку и резким движением села. Испуг сменился приливом злости, синяя жилка вздулась у нее на виске.

— Золото в твоей жизни... — Предполагалось, что это прозвучит иронически, но вышло по-другому. — Во всяком случае, я — твой хлеб с маслом.

Оскорбительный смысл этих слов дошел до него не сразу, но ответная вспышка гнева была мгновенной.

— Я ... я...

— Думаешь, одного тебя постигло разочарование? Я выходила за писателя, которого ждет большое будущее. Рада была тебя содержать — верила, что это окупится. Я корпела на службе, пока ты здесь сидел и — опускал свои планки. Господи, что с нами сталось?!

— Я... я... — Но от бешенства слова не шли ему на язык.

— Возможно, тебе могли бы помочь. Если б ты обратился к врачу, когда началась эта пробуксовка. Мы давно оба знаем, что ты...нездоров.

Он вновь увидел уже знакомое выражение — собственно, только оно и осталось в памяти от того пугающего провала, — черные глаза, блестящие от страха, и выпуклая жилка на виске. Перехваченное, то же выражение отразилось и на его лице, взгляды их, горящие ужасом, на короткий миг скрестились.

Не в силах это выдержать, Кен схватил с ночного столика ножницы и поднял над головой, глядя на ее височную жилку.

— Нездоров! — проговорил он наконец. — Ты хочешь сказать — ненормальный. Я тебе покажу, какой я ненормальный! Ты у меня поговоришь про хлеб с маслом! Увидишь, как считать меня ненормальным!

В глазах Мариан мелькнуло смятение, она сделала слабую попытку отодвинуться. Жилка билась у нее на виске.

— Не двигаться! — С огромным усилием он разжал руку, и ножницы упали на ковер. — Виноват, — сказал он. — Прости меня.

Он обвел бессмысленным взглядом комнату и, увидев пишущую машинку, торопливо подошел к ней.

— Я заберу машинку в гостиную. Не кончил сегодняшнюю норму — в таких делах надо держать себя в струне.

В гостиной он сел за машинку и застучал ради стука попеременно по "К" и "Р". Настучав таким образом несколько строчек, остановился и сказал деревянным голосом:

— Наконец-то вытанцовывается эта вещь.

И застучал дальше: "*Как лукавая лиса удрала от злого пса*". Повторил это много раз и откинулся на спинку стула.

— Солнышко мое, — сказал он проникновенно. — Разве ты не знаешь, как я тебя люблю? Ты для меня — единственная. Ты жизнь моя. Как ты не понимаешь, солнышко мое милое?

Она не отвечала; лишь урчание батарей нарушало тишину в квартире.

— Прости меня, — сказал он. — Я так жалею, что взял эти ножницы! Ты же знаешь, я даже ущипнуть тебя больно не способен. Скажи, что ты меня прощаешь. Пожалуйста, ну пожалуйста, скажи.

Ответа по-прежнему не было.

— Я буду хорошим мужем. Даже в рекламное агентство пойду работать. Стану воскресным поэтом — из тех, кто пишет по праздникам и выходным. Так и сделаю, милая, вот увидишь! — сказал он отчаянно. — Хотя, по мне, куда лучше наняться жарить сосиски в морге.

Что это, не от снегопада ли стало так тихо в комнатах? Под стук собственного сердца он напечатал:

Почему мне так страшно
Почему мне так страшно
Почему мне так страшно???

Он встал и открыл холодильник на кухне.

— Киска, я сейчас приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое. Что у нас тут в углу темнеет на блюдечке? Ага, печенка от воскресного обеда — ты ведь любительница куриной печенки, — или лучше съешь что-нибудь горячее, супчику, например? Что скажешь, киска?

Ни звука в ответ.

— Ручаюсь, ты ни крошки не проглотила на ужин. Еще бы тебе не устать, эти тошнотворные сборища, эта выпивка, дорога пешком — и ни маковой росинки во рту! Я должен о тебе позаботиться. Вот перекусим с тобой, а после и поуютничаем.

Он постоял, прислушиваясь. Затем, с куриной печенкой, подернутой остекленелым жиром, пошел на цыпочках в спальню. В комнате и в ванной никого не было. Он бережно поставил печенку на комод, накрытый белой дорожкой. На несколько мгновений задержался на пороге, занеся ногу для первого шага. Потом он открывал стенные шкафы, не обошел даже шкафчик при кухне, где хранилась половая щетка, оглядел всю мебель, заглянул под кровать. Мариан нигде не было. Наконец хватился, что нет ее леопардового пальто и сумочки. Задыхаясь, сел к телефону.

— Доктор, вы слушаете? Это Кен Харрис. Моя жена пропала. Взяла и ушла, пока я печатал на машинке. Она не у вас? Может, звонила? — Он чертил на блокноте квадратики и волнистые линии. — Да, проклятье, поссорились! Я взял ножницы — нет, я не трогал ее! Я ноготок у нее на мизинце не трону. Ничего она не пострадала — вы что? — Кен выслушал ответ. — Я только вот что вам хочу сказать. Я знаю, вы загипнотизировали мою жену — настроили ее против меня. Если между женой и мною что-нибудь произойдет, я вас убью. Приду в вашу вонючую приемную на Парк авеню и дух вышибу!

Одиночество в тишине опустевших комнат нагоняло на него, подобно привидениям в раннем детстве, безотчетный страх. Он сел на кровать, так и не сняв ботинки, и обхватил обеими руками колени. Слова сложились в стихотворную строчку: "Зачем же ты, любовь моя, покинула меня?" С рыданием он укусил себя за обтянутое брючиной колено.

Спустя немного он стал обзванивать тех, у кого она могла, по его мнению, находиться, обвинял знакомых, что они вторгаются в его семейную жизнь или что укрывают от него Мариан... Пока дошел до Мейбл Гудли, успел забыть, что было раньше в тот вечер, и сказал, что хочет к ней зайти. Когда она сказала, что время — три часа ночи, а утром ей рано вставать, спросил, на что же и нужны друзья, как не на такой случай. И обвинил ее, что прячет от него Мариан, вторгается в их семейную жизнь и сговорилась против него с негодяем психиатром...

К исходу ночи снег перестал. Жемчужно-серый рассвет обещал днем ясную, студеную погоду. Когда взошло солнце, Кен надел пальто и спустился вниз. На улице в этот час было пустынно. Солнце бросало на чистый снег золотые блики, от сизых теней тянуло холодом. Всеми чувствами он вбирал в себя морозное сияние этого утра и думал: вот о чем нужно писать — о таком дне; об этом он, в сущности, и собирался писать.

Кен медленно тащился к метро — сгорбленная, потерянная фигура с блеском в затравленных глазах. Он думал о колесах поезда, гонящих с грохотом пыльный ветер. Правда ли, что в последний, смертный миг в

мозгу вспыхивают все образы прошлого — каждая яблоня, каждая любовь, каденция умолкших голосов, — все воскресают, сливаясь воедино в умирающем мозгу? Он ступал очень медленно, глядя на свои одинокие следы и на нетронутый снег впереди.

Рядом вдоль тротуара двигался конный полицейский. Видно было, как от конского дыхания в неподвижный морозный воздух вырывается пар, лиловый глаз коня был подернут влагой.

— Эй, начальник. Я хочу сделать заявление. Моя жена замахнулась на меня ножницами — метила в голубую жилку, знаете? А потом ушла из квартиры. Она у меня серьезно больна — ненормальная. Нужна помощь, пока не стряслось что-нибудь ужасное. Ни крошки не проглотила на ужин.

Кен тяжело побрел дальше; полицейский проводил его взглядом. Цель впереди была неподвластна воле, как невидимый ветер, и думал Кен лишь о собственных следах и о нехоженом пути, лежащем перед ним.

Книга "Сердце в закладе", откуда взят публикуемый рассказ, вышла в 1971 году посмертно: Карсон Маккалерс скончалась четырьмя годами раньше, ей было всего пятьдесят лет. Болезнь, мучившая ее с юности, под конец приняла такой характер, что каждый выход из дома становился страданием. Но, в отличие от писателя Кена Харриса, которого изводит ощущение творческой несостоятельности, для самой Маккалерс "дни пустых страниц" не наступили. С упорством, достойным преклонения, она продолжала работать и одну из своих самых известных книг, роман "Часы без стрелок" (1961), существующий и в русском переводе, завершила, когда врачи уже были практически бессильны.

"Часы без стрелок" — роман, по которому можно составить писательский портрет Маккалерс, даже не зная других ее книг: так все в нем типично для этой писательницы. Тут и сразу узнаваемый "местный колорит" — провинция, захолустье, Юг, места вроде тех, откуда до Харриса, случалось, доносился в заснеженном Нью-Йорке "палящий ветер его техасского детства", — и люди, которые, мучаясь одиночеством, пытаются жалкими иллюзиями заглушить свой страх перед смертью. Тут целая россыпь персонажей с сильной дозой эксцентричности, за которой чувствуется душевный надлом, и оцепеневшее время — метафора, вынесенная в заглавие, — и герои-подростки, порой слишком доверчивые, порой не по годам огрубевшие, но все равно еще не смирившиеся с тем, что так безжалостно, так нелепо устроен мир.

Все самые устойчивые мотивы прозы Маккалерс навеяны впечатлениями детства и юности писательницы, которая была родом с Юга, из Джорджии. "Сгусток прошлого в панораме памяти" у нее совмещался с настоящим без усилий, органично — не то что у Харриса, которому все не удается поймать счастливый миг, когда происходит это слияние.

Много раз в книгах Маккалерс пытались найти что-то родственное Фолкнеру, Уоррену, Стайрону — корифеям "южной традиции" с ее долгой исторической памятью и виртуозно переброшенными мостами из минувшего в сегодняшнее, с ее нередкой эмоциональной исступленностью, почти непременным элементом особой стилистической сложности или странности, которая вызывает ассоциации то с готикой, то с барокко. И у читателей новеллы, публикуемой в этом номере "ИЛ", возможно, появятся схожие литературные ассоциации, но интересно в ней другое: новелла отражает реальную драму, пережитую Маккалерс; это, наверное, самое автобиографичное из всех ее произведений.

Рассказ относится к тому времени, когда после нескольких мучительных лет

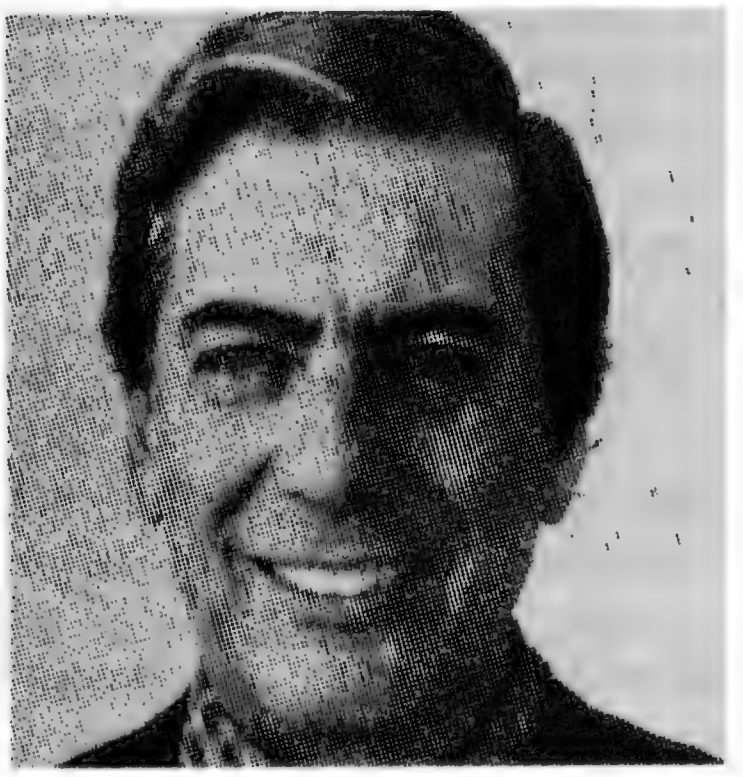
распался брак Маккалерс. Мужу, который тоже считал себя писателем, была уготована судьба литературного неудачника; он пил, вынашивал мысли о самоубийстве и в конце концов действительно покончил с собой, наглотавшись снотворного. Так закончилась попытка восстановить распавшийся союз, сопровождавшаяся жестокими сценами и настойчивыми призывами Ривза уйти из жизни вместе. Готика? Пожалуй, таких сюжетов не отыскать даже у Анны Радклиф и других авторов XVIII века, которые обожали описывать невероятные и пугающие происшествия под мрачными сводами старинных замков.

В тех произведениях Маккалерс, которые всего лучше известны у нас, часто отмеченных эмоциональной сдержанностью и лиризмом, тоже не редкость травмирующие эпизоды, когда взаимная отчужденность людей, эта неотступная тема американской писательницы, приобретает трагические формы. Видевшие в старом "Современнике" пьесу Эдварда Олби "Баллада о невеселом кабачке", сделанную по повести Маккалерс (1951), вероятно, помнят, каким запутанным клубком представали отношения трех на вид достаточно заурядных людей и как действие все время балансировало на грани эмоционального срыва, когда вовлеченные в конфликт уже не отдают себе отчета в собственных непоправимых поступках.

Последние страницы новеллы "Кто увидел ветер" в этом отношении не менее выразительны. И вся она — по подбору персонажей, по логике движения конфликта — характерна для Маккалерс: в начале — щемящие ноты, легкий отзвук Фицджеральда с его историями несостоявшихся жизней и пристрастием к изображению богемы, в конце — драматический накал и гротеск, который напомнит скорее о Фолкнере. Впрочем, сопоставлениями не стоит увлекаться: в написанном о Маккалерс их и без того предостаточно. Чаще всего они только мешают увидеть то, что делает ее творчество явлением, обладающим приметами уникальности.

Алексей Зверев

Марио Варгас Льоса



Рыба в воде

Главы из книги

Перевод с испанского Н. МАЛЫХИНОЙ

Глава V

Кадет Братец Кролик

За те годы, что я прожил с отцом, пока в 1950-м не поступил в "Леонсио Прадо", пропала вся моя наивность, незамутненность взгляда на мир, которые внушили мне мама, дедушки и бабушки, дяди и тети. За те три года я узнал, что такое жестокость, страх, злоба, понял, что тягостное и отвратительное постоянно стремится затмить — когда больше, когда меньше — благородное и созидательное предназначение человека в этой жизни. И кто знает, не относись родитель мой так презрительно к литературе, может, и я не рвался бы столь упорно и настойчиво к тому, что тогда было для меня игрой, но постепенно превращалось в нечто неотвязное и безусловно необходимое — в призвание. Если бы в то время я не перестрадал столько, находясь рядом с ним, если бы не чувствовал, что именно это мое занятие может сильнее всего досадить ему, я, вероятно, и не стал бы писателем.

Мысль о том, чтобы отдать меня в кадетский корпус "Леонсио Прадо", не давала папеньке покоя с тех самых пор, как я стал жить с ним. Он объявлял мне об этом каждый раз, когда сердился и когда сетовал, что все эти Льоса сделали из меня маменькиного сынка. Не знаю, по-

© Mario Vargas Llosa, 1994
© Н. Малыхина. Перевод, 2000

нимал ли он, что такое "Леонсио Прадо". Думаю, нет, иначе бы не строил себе иллюзий. Папашам из среднего сословия, обремененным непослушными, дерзкими, строптивыми или подозрительно, по их мнению, женственными сыновьями, представлялось, что кадетский корпус, где наставниками служили кадровые офицеры, сделает из их мальчишек дисциплинированных, законопослушных людей и настоящих мужчин.

А поскольку тогда мне и не снилось, что в один прекрасный день я стану писателем, то на вопрос "кем ты хочешь стать?" я всегда отвечал: моряком. Я любил море и приключенческие романы, и стать моряком значило, как мне казалось, свести две эти страсти воедино. А кадетский корпус, выпускники которого получали звание офицера запаса, был первым шагом к поступлению в Военно-морскую школу.

Поэтому, когда после второго класса средней школы отец записал меня в военную школу в квартале Лампа, в центре Лимы, для подготовки к вступительному экзамену в "Леонсио Прадо", я обрадовался. Здорово будет жить в казарме, носить форму, участвовать в параде 28 июля вместе с ребятами из авиационного, морского и общевойскового кадетских корпусов! А еще лучше — семь дней в неделю не видеть его!

Для поступления в кадетский корпус надо было сдавать экзамены по физической и общеобразовательной подготовке в течение трех дней. Происходило это на огромной территории "Леонсио Прадо", расположенного на скалистых берегах Ла-Перлы, у которых ревело море. Экзамены я сдал и в марте 1950 года, за несколько дней до своего четырнадцатилетия, явился в корпус, немного волнуясь при мысли о том, что меня там ждет и не станут ли месяцы заточения слишком тяжелым испытанием. (Кадеты третьего класса впервые выходили из стен корпуса 7 июля, на День национального флага, уже усвоив первые уроки воинской жизни.)

Нас, "псов", учеников третьего класса седьмого набора, было около трехсот. По росту новичков разделили на одиннадцать или двенадцать взводов. Я оказался среди самых высоких, поэтому попал во второй. (В четвертом классе меня перевели в первый.) Три взвода составляли роту под командованием лейтенанта и унтер-офицера. Командира нашей роты звали Оливера, а унтера — Гуардамино.

Лейтенант Оливера построил нас, отвел в казарму, распределил кровати и шкафчики — кровати были двухъярусные, мне досталась вторая от входа, верхняя, — велел сменить гражданскую одежду на форму: зеленые хлопчатобумажные рубашку и штаны, коричневые кожаные ботинки и ремень — и, снова построив нас во дворе, преподал нам основы военной науки: подчиняться старшим по званию, отдавать честь и обращаться к командирам по уставу. Потом построили все роты нашего набора, чтобы мы выслушали приветствие директора, полковника Марсиаля Ромеро Прадо. Могу поклясться, что он говорил о "высших духовных ценностях", поскольку именно они служили неизменной темой всех его речей. Затем нас повели обедать в огромный павильон, на другом конце большого газона, по которому ходила лама. Там мы впервые увидели старшеклассников. На четвероклассников мы смотрели с любопытством и некоторой тревогой: "крестить" нас будут именно они. Мы, "псы", уже знали, что "крещение" — это суровое, но неминуемое испытание. И вот сейчас, как только мы встанем из-за столов, они отыграются на нас за все, что им пришлось вытерпеть год назад в такой же день.

После обеда лейтенанты и унтеры куда-то пропали, и четвероклассники словно с цепи сорвались. В море индейцев, метисов, негров, мулатов нас, "белых", было совсем мало, отчего "крестные" становились только изобретательнее. Меня с еще одним мальчиком из взвода малорослых кадеты увели в казарму четвертого класса. Они нам устроили соревнование — "прямой угол". Мы должны были по очереди ногами колотить друг друга по заднице, один стоял согнувшись пополам, а другой его бил; того же, кто бил несильно, они колошматили сами, и делали это свирепо. Потом они заставили нас расстегнуть ширинку, вынуть член и мастурбировать на скорость: кто первый кончит, свободен, а другой должен заправлять койки палачей. Но как мы ни старались, от страха ничего не получалось, и в конце концов, соскучившись глядеть на нашу неумелость, они повели нас на футбольное поле. Меня спросили, каким видом спорта я занимаюсь. "Плаванием, господин кадет". — "Тогда, щенок, переплыви на спине всю спортивную площадку".

Я храню мрачное воспоминание об этом "крещении", диком, иррациональном обряде, который под видом мужских игр, ритуала инициации, посвящения в суровый военный быт на самом деле снимал все запреты, в садомазохистской оргии выплескивал нашу затаенную обиду, зависть, ненависть, предрассудки. Уже в первый день, в часы "крещения" — в смягченной форме оно продолжалось еще несколько дней — я понял, что у этой моей военной эпопеи не будет ничего общего с тем, что я, начитавшись, на свою беду, романов, напридумывал. Действительность будет намного прозаичнее, и я возненавижу казармы, армейскую жизнь, ее тупую иерархию, определяемую лишь старшинством, узаконенное насилие, знаком которого эта иерархия, собственно, и была, все ее ритуалы, символы, фразеологию и церемонии, из которых эта жизнь состоит и которые мы, мальчишки четырнадцати, пятнадцати, шестнадцати лет, испытали на своей шкуре, а потом воспроизводили, как умели, и получалось это иногда смешно, а иногда жестоко и даже чудовищно.

Два года в кадетском корпусе дались мне весьма нелегко, я провел там не один кошмарный день, особенно мучительны были выходные, когда, наказанный, я оставался в училище: часы тянулись, минуты и те казались бесконечными... Однако теперь, через много лет, я думаю, что эти годы принесли мне больше пользы, чем вреда. И причины тут не те, что побудили моего отца отдать меня в кадетский корпус, а прямо противоположные. За 1950 и 1951 годы, запертый за проржавевшими от морских испарений решетками, в те серые, окутанные тоскливым туманом дни и ночи я прочел и написал больше, чем за всю предыдущую жизнь, и начал понемногу становиться писателем (хотя тогда я этого еще не знал).

А еще я обязан "Леонсио Прадо" тем, что там открыл для себя страну, в которой родился, совсем иную страну, чем та, какую я знал прежде: ведь я жил в очень тесном, ограниченном рамками среднего класса мире. "Леонсио Прадо" было одним из немногих учебных заведений — а возможно, и единственным, — где в миниатюре воспроизводилось все этническое и региональное разнообразие Перу. Там учились мальчики с равнин и с гор, из всех департаментов страны, всех рас и социальных слоев. Это было государственное учреждение, и платить за обучение приходилось совсем немного, кроме того, существовала система стипендий — до ста в год, что давало возможность поступить туда ребятам из самых низших сословий, из крестьянских семей и городских трущоб.

И по большей части источником жуткого насилия — жутким оно казалось мне, а для менее благополучных мальчишек было естественной формой жизни — служило именно такое смешение — рас, народностей, экономических уровней. Большинство из нас принесло в это замкнутое пространство свои комплексы, социальные и расовые предрассудки, взлелеянные с самых пеленок, а здесь они влияли на отношения, личные и официальные, и разряжались в ритуалах вроде "крещения" или в строгой иерархии учеников. Поэтому драки и насилие становились нормой существования. Шкала ценностей, воздвигнутая на первичных мифах о мужественности и мужском превосходстве, служила еще и моральным прикрытием для "естественного отбора", царившего в кадетском корпусе. Смелость, то есть "отчаянность", была высшей ступенью мужественности, трусость почиталась нижайшим падением и подлостью. Тот, кто жаловался начальству на своих обидчиков, становился жертвой всеобщего презрения и издевательств. Это усваивалось быстро. Одного из моих товарищей по взводу, Вальдерраму, во время "крещения" четвероклассники заставили влезть на приставную лестницу и стали ее раскачивать. Он неудачно упал, и ему отрезало палец, который попал между лестницей и умывальником. Вальдеррама не донес, и за это мы все его уважали.

Мужественность утверждалась различными способами. Во-первых, физической силой, бесстрашием, умением драться — "кидать палку": как нельзя более подходящее выражение, в котором смешались секс и насилие. Во-вторых, дерзким нарушением правил, то есть такими отважными шалостями и проступками, которые в случае разоблачения влекли за собой неминуемое исключение. Подобные подвиги открывали доступ в заветную касту "отчаянных". Попасть в "отчаянные" было счастьем: с этого момента публично признавалось, что ты уже не имеешь никакого касательства к позорной касте "слабаков" и "олухов".

Быть "слабаком" означало быть трусом, который не решается заехать в морду любому, кто вознамерится "жать из тебя масло" или сделать тебе какую-нибудь другую гадость, не умеет дать сдачи, не осмеливается, из робости или по недостатку воображения, "дать деру" (убежать после отбоя в кино или на праздник в город) или хотя бы прогулять занятия, чтобы тайком покурить, сыграть в кости где-нибудь в парке или в заброшенном здании бассейна. Принадлежавшие к этой касте служили козлами отпущения, "отчаянные" терзали их словом и делом на потеху себе и всем прочим, на них мочились, когда они спали, с них требовали мзду сигаретами, подсовывали им в постель колючки и всячески унижали. Значительная часть этих подвигов не выходила за рамки обычной подростковой удали, но в кадетском корпусе, с его закрытостью, с его военной идеологией, подобные забавы не раз доходили до самой настоящей жестокости. Я помню одного соученика, которого мы прозвали Тухлые Молоки. Это был слабенький, бледный, застенчивый мальчик, и как-то раз, еще в самом начале учебного года, когда кошмарный Болоньезе (мы с ним вместе учились в Ла Салье, а в "Леонсио Прадо" оказалось, что он "отчаянный", да еще из самых дерзких) донял его своими издевательствами, он расплакался. С той минуты он стал отверженным для всей роты, и любой, кому хотелось продемонстрировать всему миру и себе самому, какой, дескать, я крутой парень, мог оскорблять его и издеваться над ним. В конце концов Тухлые Молоки стал настоящим рохлей, бесхарактерным, бессловесным и почти безжизнен-

ным, и я своими глазами видел, как ему плюнули в лицо, он утерся платком и пошел дальше. О нем, как и о прочих "слабаках", говорили, что его "прогнули".

Чтобы тебя не "прогнули", чтобы заслужить симпатию и уважение товарищей, нужны были геройские подвиги. Я быстро сориентировался и участвовал и в соревнованиях по дрочиловке – выигрывал тот, кто первый кончит и дальше выстрелит, – и даже в знаменитых самоволках по ночам, после отбоя. "Дать деру" считалось высшей доблестью, так как, если это становилось известным, из корпуса выгоняли беспощадно. Кое-где стена, окружавшая кадетский корпус, была пониже, и по крыше стадиона или "Ла Перлиты" – киоска с прохладительными напитками, хозяин которого снабжал нас сигаретами, – взобраться на нее можно было без особого риска. Перед тем как "дать деру", мы должны были договориться с ночным дежурным, чтобы он в рапорте скрыл наше отсутствие. Эта услуга предоставлялась в обмен на сигареты. После отбоя, когда в казармах гасили свет, надо было тенью, прижимаясь к стенам, проскользнуть по дворикам и спортивным площадкам, иной раз двигаясь на четвереньках или ползком, к заранее намеченному участку стены. Спрыгнув с нее, ты сломя голову бежал по полям и пустырям, которые в те времена окружали кадетский корпус. "Давали деру", чтобы попасть в кино в Белла-Висту или на Кальяо, покуражиться на каком-нибудь празднике попроще, там, где жили некогда буржуазные, а теперь почти пролетарские семьи, которые считали "Леонсио Прадо" престижным учебным заведением (в Сан-Исидро или в Мирафлоресе к нашему корпусу, напротив, относились весьма пренебрежительно), а иногда – хотя это бывало и редко из-за дальности расстояния – пошляться по портовым борделям. Но в большинстве случаев "деру давали" потому, что это было предприятие рискованное, и потому, что, проскользнув назад незамеченным, ты чувствовал себя героем.

Опаснее всего было возвращение. Ты мог напороться на патруль, обходивший территорию, или, уже одолев стену, обнаружить, что дежурный офицер понял, где ты взбирался на нее по кирпичам и ящикам, и уже ждет, притаившись в темноте, чтобы вдруг осветить тебя своим фонариком и приказать: "Стой! Не двигаться!" На обратном пути сердце колотилось как бешеное, и до той минуты, когда ты сворачивался калачиком на своей койке, любой звук, любая тень повергали тебя в панику.

Уйти в самоволку считалось самым большим геройством, а наиболее отчаянные побеги служили предметом долгих разговоров и обрастали легендами. Среди нас были знаменитые самовольщики, они знали каждую пядь стены, и если ты шел в самоволку с ними, то чувствовал себя куда увереннее.

Серьезным делом было также воровство казенного обмундирования. Обычно по пятницам, перед выходными, нам устраивали досмотр, и, если дежурный офицер обнаруживал у кого-то в шкафчике сигареты или недосчитывался какого-нибудь предмета обмундирования – галстука, рубашки, брюк, ремня, ботинок или шинели толстого сукна, которые мы носили зимой, – кадета лишали увольнения. Потерять казенную вещь означало потерять свободу. И если тебя обкрадывали, ты сам должен был или украсть, или заплатить кому-нибудь из "отчаянных", чтобы он проделал это за тебя. Среди них встречались просто высококлассные специалисты, не расставшиеся с набором отмычек, открывавших любой шкафчик.

Мужская сила тоже служила доказательством "отчаянности", и мы вовсю хвастались длиннющим концом, несметным числом женщин да еще и способностью кончить три раза кряду. Секс был навязчивой темой, предметом шуток и перемигиваний, доверительных признаний, снов и кошмаров. В "Леонсио Прадо" все связанное с сексом перестало быть для меня отвратительным и мерзким, каким казалось с того времени, когда я узнал, как рождаются дети. Там я начал думать и мечтать о женщинах без неловкости и чувства вины. А заодно и стыдиться того, что в свои четырнадцать лет я их еще не знал. Конечно, товарищам моим я об этом не сообщал, перед ними я тоже хвастался своими любовными подвигами.

Однажды мы с Виктором Флоресом, моим приятелем, с которым обычно по субботам, после учений, занимались боксом около бассейна, признались друг другу, что с женщиной еще никогда не бывали. И решили, что в первый же выходной отправимся в Уатику. Мы так и поступили в одну из суббот то ли июня, то ли июля 1950 года.

Уатика была районом красных фонарей в бедном районе Ла-Виктория. Проститутки обитали по обеим сторонам улицы, шедшей от авениды Грау вниз на семь-восемь кварталов. Проститутки стояли у окон, показывая себя продвигавшейся мимо толпе вероятных клиентов, которые их разглядывали, задерживаясь иной раз, чтобы обсудить тариф. В Уатике установилась строгая иерархия по кварталам. Самым дорогим был четвертый, где жили француженки, в третьем и пятом расценки становились уже ниже, а в первом жалкие старые шлюхи брали за услуги по два-три соля (в четвертом это стоило двадцать). Как сейчас помню ту субботу, когда мы с Виктором, сунув в карман по двадцать солей, возбужденные и взволнованные, отправились "пережить великий опыт". Не выпуская изо рта сигарет, чтобы казаться посолиднее, мы несколько раз прошли взад-вперед по кварталу француженок, но решиться так и не решились. Наконец мы дали себя уговорить одной болтушке с крашеными волосами, которая, зазывая нас, высунулась из окна до пояса. Первым пошел Виктор. Потом я. В комнатенке умещались только кровать, рукомойник и ночной горшок; лампочка, обернутая красным, освещала все это чуть ли не кровавым светом. Женщина не раздевалась. Она подняла юбку и, увидев мое замешательство, рассмеялась и спросила, уж не в первый ли я раз. Я ответил "да", и она страшно обрадовалась, потому что, по ее словам, это хорошая для нее примета. Она заставила меня подойти поближе и прошептала что-то вроде: "Сейчас тебе очень страшно, зато после очень понравится". Она говорила с каким-то странным акцентом и уже после всего сказала мне, что она из Бразилии. Потом мы с Виктором, чувствуя себя настоящими мужчинами, пошли пропустить по кружке пива.

За годы учения в кадетском корпусе я не раз отправлялся в Уатику, всегда по субботам и всегда во французский квартал. (Много лет спустя поэт и писатель Андре Койне будет клясться мне, что никакие они были не француженки, а бельгийки и швейцарки.) И несколько раз я ходил к одной и той же, маленькой и изящной, смуглой и веселой, — каким-то образом она умудрялась дать понять своим мимолетным клиентам, что для нее это не просто торговая сделка. Мы окрестили ее Золотые Ножки, потому что у нее и правда ножки были маленькие, белые и ухоженные. Она стала "талисманом" кадетского корпуса. Когда мы были в четвертом классе, то по субботам не раз видали, как в очереди к ней стоят

кадеты первого и второго классов. Большая часть персонажей моего романа "Город и псы", написанного по воспоминаниям о "Леонсио Прадо", – это очень вольные и сильно измененные портреты реальных людей, но есть там и герои полностью выдуманные. Однако таинственную особу по имени Золотые Ножки я изобразил такой, какой она осталась в моей памяти: беззаботная, привлекательная, вульгарная, она занималась своим унизительным ремеслом с неизменным добродушием и по субботам давала мне за двадцать солей десять минут счастья.

Мне прекрасно известно все, что означает проституция с социальной точки зрения, и защищать ее я никак не могу, делая исключение разве что для тех, кто занимается этим делом по свободному выбору, а это, конечно же, не имело отношения ни к Золотым Ножкам, ни к другим проституткам из Уатики, которых туда толкнули голод, невежество, безработица и злой умысел эксплуатировавших их сутенеров. Но походы в Уатику и позже в бордели Лимы не мучили мою совесть, может, потому, что сам факт уплаты денег проституткам давал мне нечто вроде морального алиби, прикрывая суть происходящего видимостью стерильного контракта, который по выполнении его обеими сторонами освобождал их от каких-либо нравственных обязательств. И думаю, было бы предательством по отношению к моей собственной памяти и моей ранней юности отрицать, что в те годы, когда я постепенно выходил из детства, женщины вроде Золотых Ножек научили меня телесным, чувственным удовольствиям, научили не отворачиваться брезгливо от всего, связанного с сексом, как от чего-то грязного и порочного, научили видеть в нем источник жизни и радости и заставили сделать первые шаги по лабиринту желания.

С прежними своими друзьями, еще по кварталу Мирафлорес, я иногда виделся по выходным; бывало, что по субботам мы отправлялись на какой-нибудь городской праздник, а по воскресеньям на дневной спектакль или на футбол. Но из-за кадетского корпуса я незаметно от них отдалился, причем настолько, что пылкая дружба прежних дней превратилась в отношения необязательные и далекие. Произошло это, без сомнения, по моей вине: они, с их воскресными ритуалами – утренники, походы в кафе-мороженое "Крем Рика", на каток, в парк Саласара – и целомудренными влюбленностями, казались мне малыми детьми: я-то учился в заведении для настоящих мужчин, где мы творили черт-те что, я-то бывал в Уатике... Большинство моих прежних приятелей были девственниками, и предполагалось, что утратят они девственность в объятиях служанок, работающих в их семьях. Помню один такой разговор на углу улиц Колумба и Хуана Фаннинга, где к вечеру по субботам и воскресеньям собирались мальчишки: один из них хвастал, как "трахнул девку", подсыпав ей предварительно йохимбе (какой-то порошок, от которого, по слухам, женщины "с ума сходили"; мы считали его волшебным зельем и без устали об этом трепались, хотя я так никогда его и не видел). Помню и как мои двоюродные братья, тоже ближе к вечеру, рассказывали о невероятных хитростях, на которые они пускались, чтобы "поиметь" служанку в отсутствие родителей. Но помню и свое чувство глубокой неловкости в этих и других случаях, когда мои приятели по Мирафлоресу или по кадетскому корпусу хвастали, что "трахнули девку" из своего собственного дома.

Вот этого я не делал никогда, это всегда вызывало у меня возмущение и, без сомнения, первые проявления того, что позже стало моим

бунтом против повседневной и повсеместной несправедливости и насилия в жизни Перу. К такому повороту темы служанок я стал особо чувствительным еще и потому, что как раз тогда семейство Льоса переживало связанную с этим травму. Мои дедушка с бабушкой привезли с собой в Перу из Кочабамбы Хоакина, сына служанки Сайнины, и новорожденного младенца, которого им оставила кухарка. Оба они так и жили в семье, сначала в Пиуре, потом в Лиме, на улице Дос-де-Майо, а потом и в большом доме на улице Порта в Мирафлоресе. Мои дядья нашли Хоакину работу, и он уехал от нас. Орландо, который всегда жил со слугами, сравнялось к тому времени десять лет, и чем больше он рос, тем больше становился похож на третьего моего дядю, больше даже, чем его законные дети. Темы этой никогда не касались, но она постоянно витала в доме. Никто не осмеливался ни высказаться прямо, ни – что еще хуже – хоть как-то исправить положение или сгладить его последствия.

Не делалось ничего или, точнее, делалось все, чтобы усугубить неловкость. Орландо занимал промежуточное положение, находился в какой-то странной ситуации, не принадлежа ни к обслуге, ни к семье. Мамаэ[1], когда вернулась к дедушке и бабушке на улицу Порта, устроила для Орландо постель в собственной спальне. А ел он хоть и в той же столовой, что бабушка с дедушкой, дяди, тети и мы, но за отдельным столиком. Бабушку он, как я и мои двоюродные братья, называл "бабушкой" и на ты, и Мамаэ тоже называл "Мамаэ". Зато дедушка для него был "доном Педро", так же официально он обращался к моей маме и к дядьям, в том числе и к своему собственному отцу – "сеньору Хорхе". На ты он был только со мной и с моими двоюродными братьями и сестрами. Трудно вообразить, какое тяжкое детство выпало ему на долю в доме, где большая часть семьи воспринимала его как слугу, а остальные – как родственника, и сколько же пришлось ему испытать горечи и боли, обид и унижений... Даже странно, что такие великодушные, благородные люди, как мои дедушка и бабушка, ослепленные предрассудками и табу своей среды – а они уже стали их второй натурой, – только усугубляли драму его рождения и то двойственное положение, в котором вынудили его жить. Годы спустя я одним из первых стал обращаться с Орландо как с родственником, представлять его знакомым как двоюродного брата и заботился о том, чтобы сохранять с ним дружеские отношения. Но он никогда не чувствовал себя свободно ни со мной, ни с остальными членами семьи, за исключением бабушки Кармен, с которой был близок до самой ее смерти.

Хотя прилежным учеником в "Леонсио Прадо" я не был, все же несколько курсов слушал с увлечением. Среди наших преподавателей были и просто великолепные, например Анибаль Исмодес: я был в восторге от его уроков по всеобщей истории. А физику преподавал учитель по фамилии Уарина, маленький элегантный горец, которого вообще все считали "башковитым". Аспирантуру он кончал во Франции, и на его уроках казалось, будто он знает все на свете. Он умудрялся сделать интересными самые головоломные опыты, самые трудные законы и таблицы. Из всех курсов естественных наук, которые мне когда-либо пришлось слушать, только на его уроках в четвертом классе было весело и захватывающе интересно, как прежде бывало лишь на уроках ис-

1. Приемная дочь деда Марио с материнской стороны, которая вынянчила всех его детей. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

тории. Литературу преподавали как составную часть испанского языка, то есть грамматики, и это был невероятно скучный предмет, по которому приходилось не читать книги, а зубрить "творческие биографии", как мы зубрили орфоэпию, синтаксис и орфографию. За все мои школьные годы ни один учитель ни разу не потребовал от нас прочесть какую-нибудь книгу, кроме учебника. Там иногда встречались стихотворения или отрывки из классических текстов, но в памяти от них не оставалось ничего или почти ничего, так как архаичные слова и обороты делали их малопонятными для нас. Если школа и привила мне к чему любовь, так только к истории, потому что по этому предмету у нас были замечательные учителя. Призвание же к литературе возникло вне всякой зависимости от школы, само собой, как нечто совершенно личное.

Только потом я узнал, что Сесар Моро, один из моих учителей в кадетском корпусе, был большим перуанским поэтом и интеллектуалом, и в университетские годы я им восхищался. Маленького роста, очень худой, с редкими светлыми волосами, голубоглазый, он смотрел на мир и на людей с ироническим огоньком, который прятался в самой глубине зрачков. Он преподавал французский, и у нас говорили, что он поэт и голубой. Его преувеличенная любезность, некоторая жеманность манер и слухи, ходившие о нем, возбуждали нашу неприязнь к этому человеку, который казался воплощенным отрицанием морали и идеологии "Леонсио Прадо". На уроках мы его "доводили" так же, как доводили "слабаков". Мы кидали в него бумажные шарики, мы устраивали ему "концерты" — вставляли бритвенные лезвия в тетради и извлекали отвратительные звуки, — а самые "смелые" из нас дразнили его и издевались, задавая весьма прозрачные вопросы, которые класс сопровождал диким хохотом. Я так и вижу, как "отчаянный" Болоньезе идет по коридору следом за ним и делает вид, что вставляет ему в зад. Сесара Моро "доводить" было нетрудно, потому что, в отличие от остальных преподавателей, он никогда не звал дежурного офицера, который наводил порядок, раздавая подзатыльники или лишая нас отпуска на выходные. Сесар Моро терпел нашу наглость и грубость со стоицизмом, я бы даже сказал, с тайным удовольствием, словно его развлекали оскорбления этих дикарей, молодых, да ранних. Сейчас я просто уверен, что он так или иначе, но развлекался и потому не уходил из кадетского корпуса. Наверное, это представлялось ему одной из тех рискованных игр, к которым столь склонны были сюрреалисты, способом испытать себя и исследовать пределы глупости человеческой в ее юношеском воплощении.

Как бы то ни было, Сесар Моро давал уроки французского в "Леонсио Прадо" не для того, чтобы разбогатеть. Много лет спустя — вскоре после его смерти, когда Андре Койне опубликовал восторженный текст, ему посвященный, — я узнал, что Моро входил в движение французских сюрреалистов, и стал читать его произведения, в значительной части написанные по-французски (как бы для того, чтобы еще резче обособить себя от Перу, а эту страну он определил блестящим афоризмом: "Фасоль варят во всем мире, но в Перу только фасоль и варят"). Я постарался разузнать побольше о его жизни и выяснил, что жалованье в кадетском корпусе он получал ничтожное. В любом другом месте, где ему не причиняли бы стольких неприятностей, он получал бы больше. Притягивали его наверняка брутальность и ожесточение, которые вызывала у кадетов его хрупкость, его пытливая, ироничная манера поведения, а также пересуды о том, что он поэт и любит мужчин.

В кадетском корпусе писать было можно — и не только можно, но и почетно, — если делать это, как я, то есть профессионально. Не помню уж, как случилось, что я стал писать любовные письма для влюбленных товарищей, которые не умели признаться своей избраннице в том, что томятся от любви к ней. Поначалу это была скорее игра, я сделал это впервые, побившись, наверное, об заклад с Виктором, или с Кике, или с Альберто, или с кем-нибудь еще. Потом пошли слухи. И в конце концов в третьем классе за мной уже ходили и просили, тайком и стесняясь, написать любовное письмо. Среди моих клиентов были кадеты из других взводов и даже из других классов. Платили мне сигаретами, но для друзей я делал это даром. Мне нравилось играть в Сирано де Бержерака: я заявлял, что для правильного изложения мне нужно знать как можно больше подробностей, и поэтому был осведомлен о самых разных любовных историях — изощренных и наивных, ясных и запутанных, целомудренных и порочных, — а вызнавать личные секреты было так же интересно, как читать романы.

Зато я помню, и очень хорошо, как написал свой первый эротический рассказ — пару наспех накорябанных страниц — и читал его кадетам второго взвода в казарме перед отбоем. Рассказ был встречен одобрительными непристойными возгласами (подобный эпизод есть в романе "Город и псы"). Чуть позже, когда мы уже укладывались по койкам, мой сосед, негр Вальехо, спросил меня, за сколько я продам рассказ. Потом я написал их много, для забавы или по заказу, и потому, что для меня это было развлечением, и потому, что мне не приходилось тратиться на сигареты (курение, конечно, было запрещено и каралось лишением отпуска на выходные). И еще, разумеется, потому, что писание любовных писем и эротических рассказов не считалось занятием недостойным, пятнающим мужскую честь. Такого рода литература имела права гражданства в этом храме мужественности и принесла мне славу выдающейся личности.

Но какими бы прозвищами меня ни награждали, "отчаянным" меня никто и никогда не называл. Среди моих кличек — из-за зубов, — были и Багз Банни[1], и Братец Кролик, и Дохлятина (я был тощим), и даже иногда Поэт — потому что я писал, но главным образом потому, что дни и ночи напролет я читал. Думаю, никогда я не читал столько и с таким увлечением, как в те годы. Я читал на переменах и на уроках, пряча книжку под тетрадями, я сбегал с уроков, чтобы почитать на площадке возле бассейна; когда выпадала моя очередь дежурить ночью, я читал, сидя на кафельном полу, на белых, потрескавшихся плитках, при слабом свете из туалета. Я читал по субботам и воскресеньям, когда меня лишали увольнения, что бывало нередко. Погружаясь в вымысел, я бежал из тусклого, вязкого, заплесневелого заточения в кадетском корпусе, вместе с капитаном Немо я погружался в глубины океана; я был Нострадамусом, сыном Нострадамуса, арабом Ахмедом Ибн-Хасаном, который похищал гордую Диану Майо и увозил ее в пустыню Сахару; ради подвесок королевы я бросался в приключения вместе с д'Артаньяном, Портосом, Арамисом и Атосом или переживал крутые повороты судьбы с Железной Маской; я боролся за жизнь на джек-лондоновской Аляске, где полно волков; странствующим рыцарем появлялся в шотландских замках Вальтера Скотта; любовался цыганкой, вместе с Квазимодо

1. Багз Банни — герой американских мультипликационных фильмов, находчивый, бесстрашный и нахальный кролик.

прячась за химерами собора Парижской Богоматери; вместе с отважным и веселым гаменом Гаврошем носился по восставшему Парижу... Все это было не просто развлечение, наоборот, это была настоящая, великолепная жизнь, она била ключом в отличие от тоскливой казарменной тягомотины. Книжки заканчивались, но в голове моей продолжали жить яркие миры с блистательными героями, и я туда переносился с помощью воображения, часами жил там, хотя притворялся, что внимательно и серьезно слушаю учителя математики или инструктора, который рассказывал нам, как чистить "маузер" или как идти в штыковую атаку. Способностью уходить от действительности, жить фантазией, воспроизводя в воображении восхищавшие меня книги, я обладал с раннего детства, но за 1950—1951 годы она превратилась в осознанную стратегию обороны от тягот заточения, в котором не было ни семьи, ни Мирафлореса, ни девочек, ни приятелей, — то есть ничего, чем я наслаждался на свободе.

По выходным я покупал книги, да и мои дяди-тети держали наготове какой-нибудь подарок, чтобы я мог взять его с собой. Когда наступал воскресный вечер и приближалось время надевать форму, все менялось к худшему: фильм становился занудным, игра не увлекала, мрачнели даже небо и деревья. В теле ощущалось какое-то невнятное недомогание. С тех самых пор я ненавижу сумерки и воскресные вечера. Я помню много книг, которые прочел в те годы, например бессмертных "Отверженных", но больше всего я благодарен Александру Дюма. Почти все его романы: "Граф Монте-Кристо", "Ожерелье королевы", "Анжель Питу" и вся мушкетерская эпопея, кончающаяся тремя томами "Виконта де Бражелона", — были в желтых книжках издательства "Тор" и в книжках с темными суперобложками "Сопены". Самое замечательное, что романы Дюма имели продолжение, и, дочитывая книгу, ты уже знал, что есть еще, и не одна, про тех же героев. Сага о д'Артаньяне, которая начинается с того, как юный гасконец, неотесанный провинциал, приезжает в Париж, и заканчивается много лет спустя, когда д'Артаньян умирает во время осады Ла-Рошели, так и не получив маршальского жезла, который уже везет ему нарочный, стала одним из самых важных событий в моей жизни. Мало было книг, в которые я бы настолько вживался, с персонажами которых я бы настолько себя отождествлял, перипетиями которых я бы настолько наслаждался и мучился. Както раз "отчаянный" Кокс, мой одноклассник, решил пошутить и вырвал у меня на пустыре перед казармой том "Виконта де Бражелона". Он бросился бежать и перекинул книжку, как баскетбольный мяч, другим ребятам. Это был один из немногих случаев, когда я подрался — накинулся я на него с такой яростью, словно дело шло о моей жизни. Дюма, его книгам, я во многом обязан тем, как поступал и поступаю в жизни, каким был и каким остаюсь до сих пор. От чтения его романов, я уверен, у меня и возникло страстное желание выучить французский и уехать во Францию, в страну, которая в дни юности была пределом самых моих заветных желаний, которая в воображении стала для меня средоточием красоты, приключений, отваги, великодушия, элегантности, пылких страстей, неподдельных чувств и широких жестов, одним словом, всего, чем, как мне мечталось, должна была стать моя жизнь.

(Я никогда не перечитывал ни один из романов Дюма, согревавших мое детство: ни "Трех мушкетеров", ни "Графа Монте-Кристо". Они у меня есть в издании "Плеяды", но каждый раз, как я берусь перелисты-

вать их, меня останавливает опасливая почтительность: а вдруг они окажутся не тем, чем были, вдруг не дадут того, что давали, когда мне было четырнадцать-пятнадцать лет. Похожее табу мешало мне в течение многих лет перечитать "Отверженных". Но когда я все-таки решился, я обнаружил, что это шедевр и для современного взрослого человека.)

Кроме чтения, которое перевернуло мою жизнь, кроме узнавания своей страны, кроме проживания опыта, который лег в основу моего первого романа, кадетский корпус дал мне возможность заниматься любимым спортом — плаванием. Меня включили в сборную, я тренировался и участвовал в наших соревнованиях, хотя в межшкольных, где я должен был выступать в вольном стиле, мне не удалось принять участие, потому что, когда мы уже выехали на Национальный стадион, директор решил снять нас с соревнований. Членам сборной полагалось дополнительное питание (яичница из одного яйца на завтрак и стакан молока на полдник), и иногда вместо полевых учений нам устраивали тренировки в бассейне.

Для тех, кому полагалось увольнение, самым счастливым днем недели была суббота. Точнее, счастье начиналось вечером в пятницу, после ужина, когда нам показывали кино в импровизированном зале — под оцинкованным навесом, где стояли деревянные скамейки. Кино предвещало свободу. По субботам зорю играли чуть ли не затемно, потому что с утра у нас были полевые учения. Мы выходили на пустыри Ла-Перлы и весело играли в войну — устраивали засады, брали приступом высоту, занятую противником, прорывали окружение — особенно если нами командовал лейтенант Брингас, образцовый офицер, который принимал учения всерьез и потел наравне с нами. Другие ротные относились к делу с прохладцей и только давали нам указания. Как, например, любезный лейтенант Ансьета, один из самых снисходительных командиров, каких я знал. У него была бакалейная торговля, мы заказывали ему конфеты и печенье, и он продавал нам их дешевле, чем в обычных лавках. Я сочинил про него стишок, который мы распевали на построении:

Каждому кадету
нужно стать атлетом.
Значит, ешь галеты
ротного Ансьеты.

Закончив третий класс, я сказал отцу, что хочу поступать в Военно-морскую школу. Уж не знаю, зачем я это сделал, ведь я уже на собственном опыте понял, что я и воинская жизнь несовместимы. Лишь бы мне не выкручивали руки — эта черта характера принесла мне немало неприятностей, — или же затем, чтобы полностью освободиться от отцовской опеки, стать взрослым, о чем я мечтал день и ночь. К моему удивлению, отец мне ответил, что моего намерения не одобряет и потому не даст сорок тысяч солей, которые надо было внести перед вступительными экзаменами. Его отказ я по злобе, которую питал к нему, отнес на счет скупости — порока не вовсе ему чуждого, тем более что он не раз упомянул устав школы, где говорилось, что кадет, уволившийся из школы по собственному желанию после окончания трех-четырех курсов, должен был полностью возместить военно-морскому флоту стоимость обучения. А отец наверняка знал, что я в этой школе долго не задержусь.

Несмотря на его отказ, я все-таки отправился за программой вступительных экзаменов (я рассчитывал, что дядюшки одолжат мне денег

на вступительный взнос), но там выяснил — в этом году мне в школу не попасть ни при каких обстоятельствах, так как заявления принимали только с пятнадцати лет, а пятнадцать мне исполнялось в марте 1951-го. Приходилось ждать до следующего года.

В то лето отец взял меня работать к себе. Офис "Интернэшнл ньюс сервис" находился в самом начале квартала Карабайя, на улице Пандо, в нескольких метрах от площади Сан-Мартин, на втором этаже старого дома. Сам офис, в глубине длинного коридора, выложенного желтой плиткой, состоял из двух больших комнат; первую из них перегородка делила на две части; в одной радиооператор получал новости, в другой редакторы переводили их на испанский и обрабатывали для газеты "Хроника", у которой было эксклюзивное право на информацию "ИНС".

С января по март я работал курьером в "Интернэшнл ньюс сервис" и носил в "Хронику" телеграммы и информационные сводки. В дальней комнате сидел мой отец. Работа моя начиналась в пять часов вечера и заканчивалась к полуночи, так что бóльшая часть дня оставалась свободной и я мог ходить на пляж с приятелями. Чаще всего мы купались в Мирафлоресе, этот пляж по-прежнему все называли "Лос Баньос", и, несмотря на камни, там было лучше всего кататься на волнах. Катание на волнах — восхитительное развлечение, а в Мирафлоресе они поднимались далеко от берега, так что, потренировавшись и напрягшись всем телом, можно было прокатиться метров пятьдесят, в нужный момент немного подгребая руками. На пляже в Мирафлоресе находился клуб "Вайкики", символ щегольства и светского лоска. На волнах его члены катались на гавайских досках, тогда это был очень дорогой вид спорта: ведь доски из бальзового дерева привозили из Соединенных Штатов, что могли позволить себе только толстосумы. Этот спорт стал доступным, когда доски начали делать из пластика, и теперь им занимаются все, независимо от социального положения. Но в те времена нам, детям среднего класса, оставалось только с замиранием сердца смотреть на членов клуба "Вайкики", которые на своих досках неслись на гребне тех волн, в которые мы погружались всем телом. Ходили мы и в Ла-Эррадуру, там был песок и тоже отличные волны, но удовольствие было другое: мы не катались на волнах, мы под них подныривали, разрезая их телом, стараясь держаться подальше от гребня, чтобы не утащило в море.

В то же лето я неудачно влюбился в девочку из нашего района — с пышными короткими волосами и глазами цвета меда, она появлялась по утрам на пляже в черном купальном костюме и белых босоножках, что лишало меня дара речи. Ее звали Флора Флорес, и я влюбился в нее с первого взгляда. Но по-настоящему она на меня внимания не обращала, хотя и позволяла провожать себя с пляжа до дома мимо кинотеатра "Колина" и даже иногда ходила со мной гулять под фикусами по авениде Пардо. Она была хорошенькая и остроумная, очень бойкая на язык, и рядом с ней я становился неуклюжим заикой. Мои робкие попытки предложить ей нечто большее, чем дружба, она отвергала с таким изощренным кокетством, что всегда оставляла надежду. Так и шло, пока на одной из таких прогулок я не познакомил ее с Рубеном Майером, так называемым другом, который, кроме того, был еще и чемпионом по плаванию. Тут же, у меня на глазах, он стал за ней ухаживать и очень скоро добился взаимности. Ухаживания и объяснения, обряд ныне пол-

ностью исчезнувший, должны казаться теперешней молодежи, прагматичной и не терпящей промедлений в любви, архаичной глупостью. Но я храню нежные воспоминания о ритуалах, из которых строились любовные отношения во времена моей ранней юности, им я обязан тем, что этот этап жизни состоял не только из мучительных и тяжких моментов, но также и из тонких и сильных переживаний, и ими искупалось все остальное.

Кажется, именно летом 1951 года отец впервые отправился в Соединенные Штаты. Я не слишком хорошо помню, но, наверное, это произошло летом, иначе — если бы он был дома — я не мог бы пользоваться такой непостижимой свободой. В прошлом году мы с ним опять переехали. Отец продал домик в Ла-Перле и снял квартиру в Мирафлоресе, на улице Порта, совсем рядом с тем местом, где примерно в то же время поселились мои дедушка и бабушка. Но близкое соседство ничего не изменило, отец и семейство Льоса отношений не поддерживали. Встречаясь на улице, они здоровались, но друг к другу никогда не заходили, только мама и я бывали у моих дядей-тетей.

Поездка в Соединенные Штаты была для отца давней и заветной мечтой. Он восхищался этой страной, и среди предметов его особой гордости было знание английского языка, который он выучил в юности и благодаря которому устроился на работу в "Панагре", а потом стал представителем "ИНС" в Перу. Разговоры о поездке шли с тех пор, как мои братья перебрались в США. Но во время этой, первой, поездки он отправился не в Лос-Анджелес, где жили Энрике и Эрнесто со своей матерью, а в Нью-Йорк. Я помню, как мы с мамой и сотрудники "ИНС" провожали его в аэропорт Лиматамбо. Он провел в Соединенных Штатах несколько недель, возможно, месяца два, пытаясь наладить бизнес — он хотел торговать одеждой, — но, судя по всему, дело у него не пошло, поскольку позже я слышал, как он жаловался, что потерял на этой авантюре часть своих сбережений.

Но как бы там ни было, в то лето я чувствовал себя более свободным. Работа занимала у меня вечера и не была в тягость, наоборот, благодаря ей я осознавал себя взрослым и гордился тем, что в конце месяца отец мне заплатит жалованье, как редакторам и радиооператорам "Интернэшнл ньюс сервис". Конечно, у меня была не такая ответственная работа, как у них. Я бегал в газету "Хроника", которая находилась на противоположной стороне той же самой улицы Пандо, и раз в час или раз в два часа, если не было срочной информации, носил им сводки новостей. Остальное время я запоем читал романы. Часов в девять вечера мы с редактором и радиооператором, которые работали посменно, уходили поесть в забегаловку на углу, где было полно вагоновожатых, потому что рядом находилась конечная остановка трамваев.

Тем летом, бегая между отцовским офисом и газетой, я решил, что стану журналистом. В конце концов, эта профессия была ближе всего к тому, что я любил, — читать и писать, и представлялась мне практическим применением литературы. Вряд ли отец будет возражать: ведь он сам что-то вроде журналиста, работает же он в "Интернэшнл ньюс сервис"... И правда, он решил, что мысль эта неплохая.

В четвертом классе я, наверное, уже никому не говорил, что буду моряком, а повторял без конца, что после кадетского корпуса стану учиться журналистике, и сам в это поверил. И как-то раз в выходные дни отец пообещал поговорить с редактором "Хроники", чтобы тот взял

меня на три месяца следующим летом – так я смогу изнутри понять, что такое журналистика.

Летом 1951 года я написал драматическое произведение "Побег инки". Как-то я прочел в "Хронике", что министерство образования объявляет конкурс на лучшую детскую пьесу. Это послужило толчком, хотя писать для театра мне хотелось уже давно и, может, даже чуть больше, чем стать поэтом или прозаиком. Вообще театр был моим первым литературным пристрастием. Я отлично помню ту пьесу, которую видел еще совсем маленьким. Это было в Кочабамбе, в театре Аша. Пьеса не предназначалась для детей и шла вечером; теперь уже совсем забылось, почему мама вынуждена была взять меня с собой. Мы сидели в ложе, внезапно поднялся занавес, и на сцене, в страшно ярком свете, мужчины и женщины стали не рассказывать, а проживать какую-то историю. Почти как в кино, только лучше, поскольку по сцене двигались живые, из плоти и крови, люди, а не бесплотные киноэкранные призраки. По ходу действия, в момент бурной ссоры, кабальеро ударил даму. Я расплакался, а мама, бабушка и дедушка меня утешали: "Это же не по правде, дурачок!"

Я не думаю, чтобы до поступления в кадетский корпус я бывал в театре, если не считать школьных постановок. Но теперь я по субботам иногда ходил или в театр Сегуры[1], или в муниципальный театр, или в малый зал Национальной школы сценического искусства неподалеку от авениды Уругвай, брал билеты в амфитеатр или даже на галерку и смотрел спектакли испанских и аргентинских трупп – а тогда, как ни странно это звучит теперь, в Лиме случалось и такое, – которые ставили пьесы Алехандро Касоны, Хасинто Грау, Унамуно и, довольно редко, какую-нибудь классическую вещь Лопе де Веги или Кальдерона. В театр я ходил один, потому что моим приятелям из Мирафлореса лень было тащиться в центр, только Альберто Поол иногда все-таки ездил со мной. Хорош или плох был спектакль, он давал пищу моей фантазии на много дней, и каждый раз я выходил из театра с тайным желанием стать драматургом.

Не знаю уж, сколько раз я писал, рвал, переписывал, снова рвал и снова переписывал "Побег инки". А поскольку писанием любовных писем и эротических рассказиков я завоевал у своих одноклассников право считаться писателем, скрывать свое занятие мне приходилось только во время, отведенное для самоподготовки, на уроках и во время ночных дежурств. У дедушки Педро был старенький "Ундервуд", еще с боливийских времен, и по субботам и воскресеньям я проводил за ним долгие часы, перепечатывая свой труд двумя пальцами в нескольких экземплярах для представления на конкурс. Закончив это произведение, я прочел его дедушке, бабушке, дяде Хуану и тете Лауре. Дедушка взялся отнести "Побег инки" в министерство образования.

Эта пьеска, если я хорошо помню, оказалась первым текстом, который я писал так же, как потом писал все свои романы: переписывая, исправляя, по тысяче раз черкая и без того грязный черновик, который постепенно, после многих изменений, принимал окончательный вид. Недели шли одна за другой, с конкурса никаких сведений не было, и когда я закончил четвертый класс, в конце декабря или в начале января 1952 года, и пошел работать в "Хронику", я уже почти не вспоминал ни о своей пьесе с чудовищным подзаголовком "Инкская драма в трех актах, с прологом и эпилогом из нашего времени", ни о конкурсе, на который ее представил.

1. Мануэль Асенсио Сегура (1805 –1871) – перуанский писатель.

Глава XV

Тетушка Хулия

В конце мая 1955 года к дяде Лучо приехала погостить Хулия, младшая сестра тети Ольги. Незадолго до этого она развелась с мужем-боливийцем, с которым они прожили несколько лет в высокогорном имении, потом, после развода, тетя Хулия жила в Ла-Пасе с подругой.

Еще в детстве, в Кочабамбе, я знал Хулию. Она дружила с мамой и часто заходила в дом Ладислао Кабреры; однажды она подарила мне двухтомный приключенческий роман "Араб" и "Сын Араба" Ф. М. Халл, который мне страшно понравился. Мама и мои тети и дяди звали ее "чилийкой", потому что она родилась в Чили, хотя и жила в Боливии. Я помню, как она, высокая и изящная, танцевала на свадьбе дяди Хорхе и тети Габи, а мы — я и мои двоюродные сестры Нэнси и Гледис — чуть не до утра, притаившись на самом верху лестницы, подглядывали, как веселятся взрослые.

Дядя Лучо и тетя Ольга жили в Мирафлоресе, на авениде Армендарис, и из гостиной на третьем этаже была видна коллегия иезуитов. Я часто бывал в их доме, обедал и ужинал, и помню, как однажды пришел к ним сразу из университета Сан-Маркос, около полудня, когда Хулия еще только распаковывала чемоданы после приезда. Я узнал ее длинноногую фигуру, ее хриплый голос и громкий смех. Здороваясь, она подшучивала надо мной: "Как, это сын Дориты?! Маленький плакса из Кочабамбы?!", и очень удивилась, когда дядя Лучо сказал ей, что я не только студент факультетов филологии и права, но еще и пишу в газетах и уже получил премию на конкурсе. "Сколько же тебе лет?" — "Девятнадцать". Ей было тридцать два, но дать ей столько было невозможно — такая она была молодая и красивая. Когда я уходил, она сказала, что, если как-нибудь вечером мои подружки оставят меня в покое, она сходит со мной в кино и, разумеется, сама купит билеты.

На самом деле подружки у меня не было уже довольно давно. За исключением платонических отношений с Леа, в моей жизни оставалось место только для чтения, сочинительства, учебы и политики. И к женщинам я относился либо как к товарищам по партии, либо как к друзьям и никаких любовных томлений не испытывал. С самой Пиуры я ни в бордель не ходил, ни интрижек не заводил. И, как мне кажется, такое целомудрие меня совсем не угнетало.

По одному воспоминанию, касающемуся более позднего времени, я могу с уверенностью сказать, что я не только не влюбился в Хулию в тот раз, но и вообще не слишком-то думал о ней после этой встречи, как и после следующих двух-трех встреч в доме у дяди Лучо и тети Ольги. Однажды ночью, после очередной многочасовой конспиративной сходки, я, вернувшись домой на улицу Порта, нашел на подушке записку от деда: "Твой дядя Лучо велел тебе передать, что ты невежа: договорился идти с Хулитой в кино, а сам не пришел". И правда, это у меня напрочь вылетело из головы.

На следующее утро я сбегал в цветочный магазин на авениде Ларко и послал Хулии букет роз с карточкой: "Тысяча извинений!" Когда вечером я пошел приносить свои извинения лично, Хулия уже не сердилась на меня и все подтрунивала по поводу красных роз.

С того дня или несколькими днями позже мы начали ходить в кино

вместе, на последний сеанс. Почти всегда мы шли пешком и очень часто — в кинотеатр "Барранко", а значит, пересекали Кебраду-де-Армендарис и маленький зоологический сад, который находился в те времена у лагуны. Или же мы шли в "Леуро", или в "Бенавидес", изредка и в "Колину", что означало прогулку длиной в час. Каждый раз мы спорили, потому что я не позволял ей платить за билеты. Мы смотрели мексиканские мелодрамы, американские комедии, ковбойские и гангстерские фильмы. Мы много разговаривали, и я стал рассказывать ей, что хочу стать писателем и, как только смогу, уеду в Париж. Она не относилась ко мне как к маленькому, но, разумеется, ей и в голову не приходило, что однажды она станет для меня чем-то большим, а не просто спутницей, с которой я в свободные вечера ходил в кино.

Ведь вокруг Хулии сразу после ее приезда стали увиваться мужчины. В том числе и мой дядя Хорхе. К тому времени он уже развелся с тетей Габи, и она с двумя детьми уехала в Боливию. К разводу, из-за которого я очень расстраивался, привела длинная череда скандальных похождений моего младшего дяди. Он очень разбогател с тех пор, как вернулся в Перу и начал свою карьеру с места скромного служащего в фирме "Wiese". Уже будучи управляющим строительной компании, он вдруг исчез. А на следующий день в светской хронике газеты "Комерсио" его имя появилось в списке пассажиров первого класса, отплывших в Европу на "Королеве Марии". Рядом с его именем значилось имя одной испанской дамы, с которой у него была связь, о чем было известно всей Лиме.

В семье разразился страшный скандал, и бабушка Кармен пролила немало слез. Тетя Габи уехала в Боливию, а дядя Хорхе провел в Европе несколько месяцев, где жил как король, но тратил больше, чем мог себе позволить. Наконец в Мадриде он оказался совсем на мели, у него не было денег даже на возвращение домой. Дядя Лучо просто чудо сотворил, чтобы вернуть его в Лиму. Дядя Хорхе оказался без работы, без денег, без семьи, но благодаря своей энергии и способностям, помноженным на обаяние, снова встал на ноги. Вот тогда-то и приехала в Лиму Хулия. Он был среди тех, кто добивался ее внимания, и часто приглашал Хулию пойти развлечься в город. Но тетя Ольга, непоколебимая твердыня морали и нравственности, запретила дяде Хорхе, человеку ветреному и легкомысленному, приходить в дом и установила такой контроль за сестрой, что Хулия просто хохотала. "У меня опять появилась гувернантка, я опять должна спрашивать разрешения пойти погулять!" — говорила она мне. И, конечно, тетя Ольга переводила дух, когда Хулия, отказавшись от приглашений своих ухажеров, отправлялась в кино с племянником Марио.

Я был в доме своим человеком, и поскольку дядя Лучо и тетя Ольга любили развлечения, они брали меня с собой, а значит, я становился кавалером Хулии. Дядя Лучо страстно любил скачки, мы часто ездили на ипподром и день рождения тети Ольги, 16 июня, отмечали вчетвером в гриль-баре "Боливар", где можно было поужинать и потанцевать. Во время танца я поцеловал Хулию в щеку, а когда она откинула голову, чтобы посмотреть на меня, поцеловал ее в губы. Она мне ничего не сказала, но на лице ее было написано такое ошеломление, словно она увидела призрак. Когда мы возвращались домой в машине дяди Лучо, я в темноте взял ее руку, и она руки не отдернула.

Я отправился к ней на следующий день — мы договорились пойти в

кино, — и так случилось, что дома больше никого не было. Она мне сказала, что натворила в своей жизни много глупостей, но это уж чересчур. С племянником, сыном Дориты! Она малолетних не растлевает! В конце концов мы поцеловались и отправились на последний сеанс в "Барранко", взяли билеты в последний ряд и целовались весь фильм напролет.

Началась волнующая жизнь с тайными свиданиями — в разное время дня, в маленьких кафе в центре города, в кинотеатрах по соседству, где мы то шептались, то молчали, взявшись за руки. И мы вечно боялись, что нас увидит кто-нибудь из родных. Таинственность, необходимость притворяться при дяде Лучо, тете Ольге и других родственниках придавала нашей любви аромат рискованного приключения, что только распаляло такого неисправимого романтика, каким был я.

Первый, кому я рассказал о том, что произошло, был мой закадычный друг Хавьер. Мы с ним всегда делились своими любовными переживаниями. Он издавна и неотступно любил мою кузину Нанси, забрасывал ее подарками и приглашениями, а она, столь же кокетливая, как и красивая, играла с ним, как кошка с мышкой. Хавьер, преданный друг, изощрялся, придумывая, как помочь нам с Хулией, и устраивал совместные выходы в кино и в театр, приглашая к тому же и Нанси. Однажды мы пошли в театр Сегуры на мольеровского "Скупого" в постановке Лучо Кордовы, и Хавьер, весьма склонный пошиковать, закупил для нас ложу, так что никто из зала нас не видел.

Догадывались ли родные про нас с Хулией? Пока нет. Подозрения возникли, только когда мы все как-то раз в конце июня отправились на выходные к дяде Педро в Парамонгу. Был какой-то праздник, и семейство двинулось туда целым кортежем: дядя Лучо и тетя Ольга, дядя Хорхе, и еще, кажется, дядя Хуан и тетя Лаура, и мы с Хулией. Дядя Педро и тетя Рози устроили всех в большом доме и в домике для гостей, и мы чудесно провели несколько дней, гуляя по тростниковым плантациям и знакомясь с сахарным производством. Сам праздник, приходившийся на субботу, закончился только к завтраку на следующий день. Наверное, именно в ту ночь мы с Хулией и потеряли осторожность — мы обменивались взглядами, перешептывались и танцевали так, что возбудили подозрения. Дядя Хорхе вдруг ворвался в комнату, где сидели и разговаривали мы с Хулией, поднял бокал и провозгласил тост: "Да здравствуют влюбленные!" Мы все трое рассмеялись, но по комнате проскочила какая-то электрическая искра, мне стало неловко, а дядя Хорхе, по-моему, почувствовал себя еще более неловко, чем я. С той минуты я был уверен, что так просто это не обойдется.

В Лиме мы продолжали встречаться тайком, днем — в шумных городских кафе, по вечерам — в кино. Но Хулии казалось, будто сестра и ее муж что-то подозревали; они как-то не так смотрели на нее, особенно когда я заходил за ней перед кино. А может, это были проявления нашей собственной мании преследования, порожденной нечистой совестью?

Но нет. Я понял это случайно, когда как-то вечером мне ни с того ни с сего пришло в голову зайти к дяде Хуану и тете Лале. С улицы я заглянул в освещенную комнату и через занавески увидел, что в гостиной сидят все мои дядюшки и тетушки, нет только моей мамы. Я тут же догадался, что они собрались, чтобы обсудить наши с Хулией отношения. Как только я переступил порог, они резко сменили тему разгово-

ра. Позже перепуганная Нанси призналась мне, что родители донимают ее расспросами: "А правда ли, что у Хулиты и Марито роман?" Они все ужасались при мысли о том, что у меня роман с разведенной женщиной, которая к тому же на двенадцать лет старше. Клан собрался, чтобы решить, что с нами делать.

Я сразу догадался, как они поступят. Тетя Ольга отправит сестру обратно в Боливию, потом они все расскажут моим родителям, а те мне напомнят, что я еще несовершеннолетний. (Тогда совершеннолетие наступало в двадцать один год.) В тот же вечер я под предлогом кино зашел за Хулией и попросил ее стать моей женой.

Мы бродили по набережной в Мирафлоресе, между Кебрадой-де-Армендарис и парком Саласара, где в такое время всегда было безлюдно. Под крутым берегом шумело море, мы, рука в руке, шли очень медленно и постоянно останавливались, чтобы поцеловаться. Сначала Хулия высказала мне все, что и так было ясно: это, мол, полное безумие, я — зеленый мальчишка, а она — зрелая женщина, и мне еще учиться и учиться в университете, и жить-то я еще не начал, и нет у меня ни кола ни двора, и никакой настоящей работы тоже нет, и при таких обстоятельствах ни одна разумная женщина замуж за меня не выйдет. Но она меня все-таки любит и если я сошел с ума, то и она тоже сошла с ума. И мы поженимся, чтобы нас не разлучили.

Мы договорились видеться как можно реже, пока я буду готовить побег. Я взялся за дело на следующее же утро, не испытывая никаких колебаний и не задумываясь о том, что же будет после того, как мы получим свидетельство о браке. Я пошел к Хавьеру, который тогда жил в нескольких кварталах от меня, на углу улицы Порта и улицы 28 Июля, и, разбудив его, сообщил новость. Он, разумеется, задал мне неизбежный вопрос: "А не совершаем ли мы колоссальную глупость?", и сразу же поинтересовался, чем может помочь. Надо было найти алькальда в какой-нибудь деревушке неподалеку от Лимы, который согласился бы поженить нас несмотря на то, что я еще не достиг совершеннолетия. Где такого отыскать? С чего надо начать? Я вспомнил о своем товарище по университету и по демохристианскому движению, Гильермо Карильо Марчане. Он был родом из Чинчи и по выходным ездил туда к родителям. Я рассказал ему нашу историю, и он успокоил меня тем, что алькальд Чинчи — его друг, но все-таки лучше сначала для надежности навести справки. Через несколько дней он поехал в Чинчу, а вернувшись, обрадовал меня: алькальд нас поженит, он в полном восторге от самой идеи побега. Гильермо дал мне список необходимых документов: удостоверения личности, фотографии, заявления на гербовой бумаге. Мое свидетельство о рождении хранилось у мамы, и просить его было бы по меньшей мере неразумно, так что я прибег к помощи Роситы Корпанчо, моей подруги, и сумел стащить свое свидетельство о рождении из университетского личного дела, снять с него фотокопию и заверить ее. Хулия все документы всегда носила с собой.

Несколько дней прошло в лихорадке, в бесконечных хождениях туда-сюда, в возбужденных переговорах с Хавьером, с Гильермо, с моей кузиной Нанси. Ее я тоже превратил в сообщницу: она должна была помочь мне найти комнату, меблированную или в пансионе. Когда я рассказал все кузине Нанси, глаза у нее стали как плошки, она попыталась возразить, но я зажал ей рот и потребовал, чтобы она действовала немедленно — иначе ничего не получится. Нанси меня очень любила и

потому кинулась искать нам жилье. Через два-три дня она сообщила мне, что у ее коллеги по социальной работе есть небольшой участок, застроенный крошечными коттеджами, у Диагонали, один из них освобождается в конце месяца. Платить надо было шестьсот солей, чуть больше, чем я зарабатывал у Порраса Барренечеа. Оставалось только придумать, откуда брать деньги на все остальное.

В субботу утром мы с Хулией и Хавьером отправились на автобусе в Чинчу. Гильермо поехал туда накануне и уже ждал нас. Я забрал из банка свои сбережения, Хавьер отдал мне свои, и этих денег должно было хватить на все предприятие, с которым, по нашим расчетам, мы управимся за сутки. Мы предполагали, что сразу же пойдем в алькальдию, ночь проведем в гостинице "Судамерикана", рядом с алькальдией, и на следующий день вернемся в Лиму. Моему другу по университету Карселену было поручено позвонить в субботу вечером дяде Лучо и передать ему краткое сообщение: "Марио и Хулия сегодня поженились".

В Чинче Гильермо нам сказал, что дело откладывается, потому что алькальд давал обед, а поскольку поженить нас должен только он и никто другой, то придется подождать несколько часов. Но надо идти на этот обед, алькальд нас приглашает. Мы пошли. Окна ресторана смотрели на высокие пальмы залитой солнцем площади. За столом сидело человек десять-двенадцать, все мужчины, и они, видимо, уже давно прикладывались к пиву, потому что были явно навеселе, а кое-кто и более того, в том числе и симпатичный молодой алькальд, который начал с тоста за здоровье молодых, а кончил тем, что стал увиваться за Хулией. Я был в бешенстве, страшно хотелось треснуть его по башке, но практические соображения меня удержали.

Когда проклятый обед закончился и мы с Хавьером и Гильермо дотащили совершенно пьяного алькальда до его кабинета, возникло еще одно осложнение. Заместитель алькальда, который готовил регистрацию нашего брака, заявил, что не поженит нас, пока я не представлю разрешение от родителей, поскольку я несовершеннолетний. Мы умоляли, мы угрожали, но он был непоколебим, а алькальд в полубессознательном состоянии взирал на наши трепыхания стеклянными, равнодушными глазами и икал. Под конец заместитель алькальда посоветовал нам отправиться в Тамбо-де-Мора. Там, дескать, проблем не будет. Такие дела проворачивают в захолустных деревушках, а не в Чинче, столице провинции.

И началось наше паломничество по деревушкам в поисках сговорчивого алькальда, и длилось оно весь этот день, вечер и почти весь следующий день. Я до сих пор помню эту мучительную фантасмагорию: такси — сущая развалина — возит нас по пыльным, каменистым и ухабистым дорогам, мимо тянутся хлопковые поля, виноградники, животноводческие фермы, изредка внезапно сверкнет море, а мы заходим в одну алькальдию за другой, и нам всюду дают от ворот поворот, как только узнают, сколько мне лет. Из всех этих алькальдов и их заместителей помню одного, из Тамбо-де-Мора. Огромный негр, босой и пузатый, поначалу расхохотался: "Неужто ты умыкнул девчонку?!" Но когда изучил мою метрику, только почесал в затылке: "Ни за какие коврижки!".

В Чинчу мы вернулись уже затемно, измученные и обескураженные, но полные решимости продолжать поиски на следующий день. В ту ночь мы с Хулией впервые были вместе. Комнатенка у нас была узкая, с монастырским оконцем, и нам светил только свет, отраженный от потол-

ка и стен, обклеенных религиозными и порнографическими картинками. Всю ночь мы слышали пьяные крики и песни то ли из бара при гостинице, то ли из какой-то забегаловки по соседству. Но мы не обращали на это внимания: мы были счастливы, мы любили друг друга, мы клялись, что ничто нас не разлучит, пусть даже все алькальды мира откажутся регистрировать наш брак. Заснули мы, когда в комнату уже проникли первые лучи солнца, а с улицы доносились утренние шумы и звуки.

Хавьер пришел будить нас около полудня. С самого раннего утра он и Гильермо в той же старой развалюхе сновали по окрестностям, но без особого успеха. В конце концов, поговорив с алькальдом из Гросио-Прадо, Хавьер нашел выход: алькальд беспрепятственно поженит нас, если мы переправим дату рождения в моей метрике с 1936-го на 1934 год. Эти два года делали меня совершеннолетним. Мы внимательно изучили метрику и поняли, что сделать это просто: тут же мы пририсовали палочку к шестерке, и получилась четверка. Мы отправились в Гросио-Прадо по страшно пыльной дороге. Алькальдия была закрыта, приходилось ждать.

Чтобы убить время, мы посетили дом знаменитости, которая принесла славу этой деревушке и превратила ее в место паломничества. Блаженная Мельчорита умерла несколько лет назад в той же беленой халупе из промазанного глиной тростника, где и прожила всю жизнь, помогая бедным, молясь и истязая свою плоть. Говорили, что она исцеляла чудесным образом, пророчествовала, а в экстазе даже общалась с мертвыми на иностранных языках. У ее фотографии, где она изображена в длинном грубом одеянии, горело несколько десятков свечек и молились женщины. Деревушка была крошечная, занесенная песком, а главной площадью и заодно футбольным полем служил огромный пустырь, окруженный фермами и засеянными полями.

Наконец, ближе к вечеру, появился алькальд. Когда все было уже вроде бы в порядке, алькальд сказал, что нужен другой свидетель, потому что Хавьеру еще не исполнилось двадцати одного года. Мы вышли на улицу — уговаривать первого попавшегося прохожего. Какой-то местный крестьянин почти согласился, но, поразмыслив, сказал, что он не может быть свидетелем на свадьбе, если нечего даже хлебнуть за здоровье молодых. Он вышел и вернулся со свадебным подарком: двумя бутылками домашнего вина. Им-то мы и чокнулись после того, как алькальд изложил нам наши права и обязанности как супругов.

В Чинчу мы вернулись уже затемно, и Хавьер сразу же уехал в Лиму с заданием разыскать дядю Лучо и успокоить его. Мы с Хулией провели ночь в той же гостинице "Судамерикана". Перед тем как отправиться к себе в номер, мы перекусили в баре при гостинице. Ужиная, мы вдруг сообразили, что разговариваем чуть ли не шепотом, как настоящие заговорщики, и покатились со смеху.

На следующее утро меня разбудили, чтобы я ответил на телефонный звонок из Лимы. Звонил Хавьер, и был он очень встревожен. Разговор с дядей Лучо прошел хорошо, насколько это было возможно "при сложившихся обстоятельствах". Но потом он не на шутку перепугался: к нему в пансион явился мой отец и, приставив ему к груди револьвер, потребовал, чтобы Хавьер выдал наше убежище. "Он просто спятил", — сказал мне Хавьер.

Мы встали и автобусом поехали в Лиму. Все два часа дороги мы дер-

жались за руки, смотрели друг на друга, не отводя глаз, — мы были напуганы и страшно счастливы. В Лиме мы сразу же отправились на Армендарис, к дяде Лучо. Он встретил нас на лестнице. Поцеловал Хулию и сказал ей, показывая на спальню: "Иди, объясняйся со своей сестрой". Он был расстроен, но не ругал меня, не говорил, что я сделал глупость. Он только заставил меня пообещать, что я не брошу университет и закончу образование. Я поклялся, что все выполню, и добавил, что женитьба на Хулии никак не помешает мне стать писателем.

Пока мы разговаривали, из запертой спальни доносились голоса Хулии и тети Ольги, и я слышал, что тетя Ольга громко возмущается и плачет.

Оттуда я пошел к своим на улицу Порта. Бабушка, дедушка и Мамаэ вели себя безупречно сдержанно. Но моя мама, которая тоже была там, встретила меня трагически, с криками и рыданиями. Она повторяла, что я погубил свою жизнь, и отказывалась верить, когда я клялся, что стану юристом и даже дипломатом (предел ее мечтаний). Потом, немного успокоившись, она предупредила меня, что отец вне себя и что лучше с ним не встречаться, а то еще убьет — с револьвером он не расстается.

Я второпях помылся и оделся, чтобы бежать к Хавьеру, но тут мне принесли повестку из полиции. Отец решил заставить меня явиться в полицейский комиссариат Мирафлореса, чтобы я там официально дал отчет о том, женился ли я, где женился и на ком. Полицейский во время допроса все время меня останавливал, так как печатал мои ответы двумя пальцами на допотопной машинке. Я сказал, что действительно женился на донье Хулии Уркиди Ильянес, но не собираюсь сообщать, в какой алькальдии зарегистрирован брак, поскольку боюсь, что мой отец попытается его аннулировать, а я не хочу облегчать отцу задачу. "Он собирается подать на нее в суд, чтобы ее осудили за растление малолетних, — любезно сообщил полицейский. — Он сам мне об этом сказал, когда подавал свое заявление".

Из комиссариата я побежал к Хавьеру, и мы отправились к его другу, адвокату из Пиуры. Он тоже был очень любезен и ничего не взял за консультацию. Он сказал, что сама по себе подделка метрики не влечет за собой признание брака недействительным, но, в случае судебного иска, может послужить поводом для аннулирования. В противном случае, по истечении двух лет, оставшихся мне до совершеннолетия, брак приобретает законную силу. И хотя отец может предъявить Хулии обвинение в растлении малолетних, вряд ли — учитывая мой возраст — найдется судья, который примет это всерьез.

Дальше пошли какие-то нелепые, суетливые дни. Я ночевал в доме у деда, Хулия — у тети Ольги, свою пылкую жену я видел только урывками — совсем как до свадьбы. Тетя Ольга обращалась со мной ласково, как всегда, но лицом была мрачнее тучи. Отец через маму передавал мне ультиматумы: или Хулия уезжает из Перу, или пусть пеняет на себя.

Через день или два я получил от отца письмо. Жестокое и безумное. Он давал мне несколько дней, чтобы Хулия уехала по собственной воле. Он беседовал со своим другом, министром, и тот заверил его, что, если Хулия не уедет motu proprio[1], то он вышлет ее как нежелательное лицо. Чем дальше, тем безумнее становилось письмо. А в завершение письма отец пообещал, что, ежели я ослушаюсь, он убьет меня как бешеную

1. По собственной воле (*лат.*).

собаку. Уже после подписи, на манер постскриптума, он добавил, что я, конечно, могу просить защиты у полиции, но это отнюдь не помешает ему всадить в меня пяток пуль. И снова подписался, как бы в доказательство своей решимости.

Мы с Хулией обсудили, что предпринять. Мои планы были явно неосуществимы: уехать за границу (а паспорт? а деньги?), остаться в Перу, но забраться подальше от Лимы, куда не дотянется длинная рука моего отца (на что жить? где работать?). В конце концов Хулия сделала более практичное предложение. Она уедет к своей бабушке и родственникам по матери в Чили. А когда отец утихомирится, вернется. За это время я найду денег и сниму комнаты в пансионе или квартиру. Дядя Лучо поддержал план Хулии. В сложившихся обстоятельствах это был единственный разумный выход. Задыхаясь от ярости, от горя, от бессилия, я разразился слезами, но вынужден был согласиться с тем, что Хулия уедет.

Чтобы купить ей билет до Вальпараисо, я продал почти всю одежду и заложил в ломбарде, который находился позади муниципалитета города Лимы, пишущую машинку, часы и все, что можно было заложить. Вечером накануне отъезда Хулии дядя Лучо и тетя Ольга из сочувствия к нам потихоньку ушли сразу после ужина, и я получил возможность провести ночь со своей женой. Мы любили друг друга, плакали, клялись писать письма каждый день. Всю ночь мы не сомкнули глаз. На рассвете тетя Ольга, дядя Лучо и я поехали провожать Хулию в аэропорт Лиматамбо. Было обыкновенное зимнее утро, с невидимой изморосью, от которой отсыревал весь город, с тем самым туманом, который произвел неизгладимое впечатление на Мелвилла и придавал фантастический вид домам, деревьям, фигурам прохожих. Я стоял на балконе аэропорта и смотрел, как Хулия идет к трапу самолета, сердце у меня обрывалось. Когда-то я увижу ее снова?

С того дня я развил бешеную деятельность, чтобы найти настоящую работу и стать полностью независимым. Я работал у Порраса Барренечеа и пописывал для газеты "Турисмо". Благодаря Лучо Лоайсе — он, узнав историю моей авантюрной женитьбы, мрачно пробурчал, что английские тайные браки, тихие и возвышенные, намного лучше, чем лишенная романтики суета, к которой склонны латинские народы, — я получил еженедельную колонку в воскресном приложении к газете "Комерсио", где литературным отделом заведовал Абелардо Окендо. Близкий друг Лоайсы, теперь он стал и моим другом, Абелардо поручал мне делать интервью с перуанскими писателями, интервью сопровождались великолепными зарисовками Алехандро Ромуальдо. За это мне платили несколько тысяч солей в месяц. А Луис Хайме Сиснерос тут же нашел мне еще одно дело: написать учебник "Гражданское воспитание" в серии, которую Католический университет издавал для поступающих. Несмотря на то что я учился вовсе не в Католическом университете, Луис Хайме все устроил и убедил ректора, чтобы он доверил мне столь ответственную работу (это моя первая опубликованная книга, хотя в библиографиях никогда ее не указывали).

И Поррас Барренечеа, со своей стороны, тоже устроил мне два места, не слишком обременительных и недурно оплачиваемых. Встреча моя с ним прошла довольно неожиданно. Я стал объяснять, почему отсутствовал три дня, но он меня перебил: "Я все знаю. Ваш отец приходил ко мне". Он помолчал, а потом весьма элегантно обошел подвод-

ный риф: "Он очень нервничал. Непростой он у вас человек, правда?" Я мог только догадываться, как прошел их разговор. "Я привел ему аргумент, который, по-моему, может произвести впечатление именно на него, — продолжал Поррас с той хитрой искоркой, что проскакивала у него в глазах, когда он лукавил. — В конце концов, в брак вступают мужчины, сеньор Варгас. Брак — доказательство мужества. Так что все не так уж и страшно. Было бы хуже, если бы он стал гомосексуалистом или наркоманом, разве не так?" Поррас сказал мне, что, уходя, отец выглядел спокойнее.

"Вы хорошо сделали, что не рассказали мне о своих планах заранее. Я был бы вынужден отговаривать вас. Но дело сделано, и надо найти для вас заработок поприличнее".

И он помог мне с той же душевной щедростью, с какой одаривал учеников своими знаниями. Сначала он нашел для меня место помощника библиотекаря в Национальном клубе, который давно уже превратился в символ перуанской аристократии и олигархии. Президент клуба Мигель Мухика Гальо, настоящий охотник и коллекционер старинного золота, назначил Порраса библиотекарем, а моя работа состояла в том, чтобы я проводил по утрам час-другой в прекрасных залах библиотеки, обставленной английской мебелью и обшитой панелями красного дерева, регистрируя новые поступления. Но поскольку книг покупали мало, я мог эти два часа спокойно читать, готовиться к занятиям или работать над своими статьями. За 1955—1958 годы я очень много прочитал в эти утренние часы. Библиотека была довольно хорошая — точнее, раньше была хорошей, потому что в мою бытность там на новые издания денег уже не хватало, — в том числе имелась в ней и великолепная подборка эротических книг и журналов, и значительную часть ее я если и не прочел, то уж во всяком случае пролистал. Особенно мне запомнились книги из серии "Учителя любви" под редакцией Аполлинера, причем ко многим из этих томов он же писал предисловия. Так я познакомился с де Садом, Аретино, Андреа де Нерсиа, Джоном Клеландом и — среди прочих — с живописным и однотемным Ретифом де Ла Бретонном. В романах и в автобиографии этот описатель якобы иных миров, отталкиваясь от своей маниакальной привязанности к женской ножке, тщательнейшим образом воспроизвел современный ему мир. Для меня это было очень важное чтение, и довольно долго я думал, что эротизм есть синоним бунта и свободы и в социальном, и в художественном смысле, а кроме того еще и изумительный источник творческих сил. Наверное, в XVIII веке так оно и было в произведениях и поступках *либертенов* (слово, которое, по Роже Вайяну, означает не "развратник", а "человек, бросающий вызов Богу").

Однако уже скоро — то есть через несколько лет — я понял, что при современной вседозволенности в нынешнем открытом индустриальном обществе эротика поменяла знак на противоположный, производство поставлено на поток, это коммерческий продукт, конформистский, донельзя условный и почти всегда — чудовищно низкого качества. Но та эротическая литература высокого художественного уровня, которую я неожиданно для себя открыл на полках библиотеки Национального клуба, повлияла на мою литературную работу и оставила свой след в написанных мной книгах. Кроме того, многословный и избыточный Ретиф де Ла Бретонн помог мне понять главное свойство художественной литературы: писатель пересоздает мир по своему образу и подобию,

изворотливо перестраивает его в соответствии со своими собственными тайными пожеланиями.

Во второй работе, которую мне нашел Поррас Барренечеа, было нечто макабрическое: я должен был регистрировать могилы на самых старых участках колониального кладбища Лимы "Пресбитеро Маэстро", поскольку прежние записи были утрачены. (Администрация кладбища подчинялась Общественному благотворительному фонду Лимы, в те годы — учреждению частному, а Поррас входил в совет его директоров.) Эта работа была хороша тем, что ее можно было делать и очень рано утром, и поздно вечером, и в будни, и в выходные, и заниматься ею столько времени, сколько получалось. Директор кладбища платил мне сдельно: по количеству зарегистрированных покойников. В конце концов за эту работенку я стал получать солей по пятьсот в месяц. В моих кладбищенских экспедициях мне иногда сопутствовал Хавьер, он носил мою тетрадь, карандаши, стремянку, лопатку (которой я счищал слой земли с просевших надгробных камней) и фонарь — на случай, если мы задержимся до темноты. Директор, разговорчивый и славный толстяк, подсчитывал моих покойников и, соответственно, мой заработок, одновременно рассказывая мне байки про инаугурации всех президентов в конгрессе, потому что не пропустил ни одной с самого своего детства.

Не прошло и двух месяцев, как я набрал шесть работ (годом позже, когда я устроился на "Радио Панамерикана", их стало семь), что увеличило мои заработки в пять раз. Имея три — три с половиной тысячи солей в месяц, мы с Хулией смогли бы существовать, если бы удалось найти дешевое жилье. К счастью, домик, о котором мне говорила Нанси, освободился. Я пошел посмотреть на него, он мне страшно понравился, и Эсперанса Ла Роса согласилась недельку придержать его для меня, чтобы я успел собрать со своих новых работ достаточно денег для залога и оплаты за первый месяц. Находилось наше новое жилье за выкрашенным охрой забором в конце улицы Порта, там, где она становится совсем узкой и упирается в стену, которая в ту пору отделяла ее от Диагонали. Домики были так малы, что казались игрушечными, в нашем было две комнаты и такие крошечные кухонька и ванная, что в них мог находиться только один человек, да и то втянув живот. Но несмотря на тесноту и спартанскую мебель, там было как-то славно: окна с веселыми занавесками выходили на усыпанный гравием дворик, где росли кусты герани. К приезду новобрачной мы с Нанси прибрали и украсили наш домик.

Мы с Хулией писали друг другу каждый день, и у меня просто перед глазами стоит, как бабушка Кармен с лукавой улыбкой передает мне письмо: "Вот интересно, от кого бы это? И кто же это пишет внучку моему столько писем?" Через месяц-полтора после отъезда Хулии в Чили, когда я уже получил все те работы, о которых только что рассказал, я позвонил отцу и попросил его о встрече. После свадьбы я отца не видел и не ответил на его жестокое и бессердечное письмо.

В то утро, идя к нему на работу, я ужасно волновался. В первый раз в своей жизни я решился: скажу ему — пусть он разрядит в меня свой проклятый пистолет, но теперь, когда у меня достаточно денег, я не собираюсь жить в разлуке с женой. Конечно, в самой глубине души я боялся, что в какой-то момент потеряю мужество и его ярость парализует мою волю.

Однако он встретил меня до странности спокойно и рассуждал вполне здраво. И по тому, что было сказано, и по тому, что вслух произнесено не было, я понял, что аргументы доктора Порраса – хотя о нем ни я, ни отец даже не заикнулись – возымели действие и помогли ему смириться с моим тайным браком. Очень бледный, он молча слушал, как я рассказывал ему, какую работу раздобыл, сколько буду зарабатывать и как я обосновывал свою уверенность, что этого вполне достаточно для жизни. И как я заверял его, что, несмотря на все эти разнообразные обязательства – а часть из них можно выполнять дома по ночам, – я все-таки буду иногда ходить на лекции и сдавать экзамены в университете. Под конец, нервно сглатывая слюну, я сказал, что Хулия мне жена и что мы не можем жить порознь – она там, в Чили, а я здесь, в Лиме.

Он не стал меня ни в чем упрекать. Но разговаривал со мной, как юрист, употребляя специальную терминологию, в чем успел неплохо понатореть. Он показал мне копию моих показаний в полиции, исчерканную красным карандашом. Я признавал, что женился в девятнадцать лет, и тем самым давал все основания начать процесс по аннулированию брака. Но он этого делать не собирался. Потому что, хотя я и сделал большую глупость, но при всем том поступил как мужчина.

Потом с видимым усилием он заставил себя заговорить со мной примирительным тоном, чего на моей памяти вообще никогда не случалось, и стал советовать не бросать учебу, не портить себе карьеру, все свое будущее из-за этой женитьбы. Он был уверен, что я сумею далеко пойти, если, конечно, не буду больше делать глупостей. И если он был строг со мной, то только ради моего же блага и чтобы исправить то, что напортили Льоса, родные моей матери, своей неразумной ко мне любовью. Но хотя я и уверен в обратном, он меня любит, ведь он же мой отец, а как отец может не любить своего сына?

И тут, к полному моему изумлению, он протянул ко мне руки, подразумевая, что мы должны обняться. Я это сделал, правда без поцелуев, и, придя в замешательство от такой развязки нашего разговора, поблагодарил его, постаравшись, чтобы в моих словах чувствовалось как можно меньше лицемерия.

(Этот разговор, состоявшийся в конце июля или в начале августа 1955 года, означал мое окончательное освобождение от отцовского влияния. И хотя тень отца, несомненно, будет сопровождать меня до могилы, хотя и сейчас, стоит внезапно возникнуть какому-нибудь воспоминанию, промелькнуть какому-нибудь образу из тех времен, когда я находился под его властью, у меня сжимается желудок, но с тех пор мы с ним не ссорились. По крайней мере, открыто. Да и виделись мы редко. И пока оба жили в Перу – до 1958 года, когда я уехал в Европу, а они с мамой в Лос-Анджелес, и потом, когда мы одновременно оказывались в Лиме или когда я приезжал навестить их в Соединенные Штаты, он не раз делал жесты, говорил слова, предпринимал попытки, направленные на то, чтобы сократить дистанцию между нами, забыть прошлое и установить близкие, душевные отношения, которых у нас никогда не было. Но я, истинный сын своего отца, никогда не умел ему соответствовать и, хотя всегда старательно подчеркивал, что воспитал меня он, никогда не изъявлял больше любви, чем испытывал (а не испытывал я никакой). Моя детская злоба, пылкая ненависть тех лет с течением времени исчезли, особенно когда я понял, как тяжко ему досталось в начале его североамериканской жизни – им обоим пришлось стать рабочи-

ми, мама тринадцать лет была ткачихой, а отец работал на обувной фабрике, потом они получили место смотрителей и сторожей в одной из синагог Лос-Анджелеса. И, конечно же, даже в самые тяжелые моменты труднейшей адаптации на новой родине гордость не позволяла отцу попросить у меня помощи, и маме не разрешалось ничего, кроме просьбы об авиабилетах в Лиму, где они проводили отпуск; по-моему, только уже в самом конце жизни он дал моему брату Эрнесто возможность оплачивать его жилье в Пасадене.

Когда мы виделись — по нескольку дней раз в два, порой в три года, — отношения между нами были приличные, но ледяные. Для него навсегда осталось непонятным, что я стал известным благодаря своим книгам, иногда он видел мой портрет в "Тайм" или в "Лос-Анджелес таймс", и это ему, безусловно, льстило, но в то же время сбивало с толку и приводило в замешательство, а потому мы с ним никогда не говорили о моих романах до нашего последнего спора, который и развел нас насовсем, до самой его смерти в январе 1979 года.

Этот спор мы вели заочно, на расстоянии многих тысяч километров, по поводу моего романа "Тетушка Хулия и писака", где есть несколько автобиографических эпизодов, в которых отец повествователя ведет себя очень похоже на то, как вел себя мой отец, когда я женился на Хулии. Некоторое время спустя после выхода книги я получил от него любопытное письмо (я жил тогда в Англии, в Кембридже), в нем он меня благодарил за то, что в этом романе я признал: хотя он и был строг со мной, но на самом деле поступал так ради моего же блага, "так как всегда меня любил". На письмо я не ответил. Еще через некоторое время, разговаривая по телефону с мамой, которой я звонил в Лос-Анджелес, я был поражен, когда она сказала, что отец хочет со мной поговорить о "Тетушке Хулии и писаке". Предвидя, что за этим последует разнос, я положил трубку прежде, чем он успел подойти к телефону. Через несколько дней я получил еще одно письмо, на этот раз весьма грубое — он обвинял меня в том, что я бессовестно оклеветал его, не предоставив возможности защитить себя, упрекал меня, что я в Бога не верую, и клялся, что Божья кара непременно меня настигнет. Он предупреждал, что пустит это письмо по моим знакомым. И правда, в последующие месяцы и годы, как мне становилось известно, десятки, если не сотни копий письма разошлись по моим родственникам, друзьям и знакомым в Перу.

Больше я его не видел. В январе 1979 года он вместе с мамой приехал на несколько летних недель в Лиму. Однажды вечером моя двоюродная сестра Джанина, дочь дяди Педро, позвонила мне, чтобы сообщить: мой отец обедал у нее и вдруг потерял сознание. Они вызвали "скорую помощь" и повезли его в Американскую клинику, но по дороге он скончался. Ту ночь провели рядом с его телом дядюшки и тетушки, племянники и племянницы из той самой семьи Льоса, которых он так не любил, но с которыми в последние годы вроде бы примирился, во всяком случае, принимал их приглашения и ходил к ним в гости во время своих редких и коротких отпусков в Перу.)

Из кабинета отца я выскочил в страшном возбуждении и помчался посылать телеграмму Хулии о том, что изгнание ее закончено и скоро я вышлю ей билет. Потом я кинулся к дяде Лучо и тете Ольге, чтобы сообщить им радостную новость. Хотя, набрав работы выше головы, я был постоянно занят, но каждый раз, как у меня выдавалась минутка, я

забегал пообедать или поужинать на улицу Арьмендарис, потому что там мог говорить на единственную интересующую меня тему — о моей изгнаннице жене. Тетя Ольга в конце концов свыклась с мыслью, что обратного хода делу не дашь, и обрадовалась, узнав о согласии моего отца на возвращение Хулии.

Я сразу же стал обдумывать, как мне побыстрее купить билет для Хулии: может, приобрести в рассрочку или взять ссуду в банке, но тут мне принесли телеграмму от Хулии, она сообщала, что прилетает на следующий день. Продав свои украшения, она опередила меня.

В аэропорт мы поехали ее встречать вместе с дядей Лучо и тетей Ольгой, и, когда она появилась вместе с остальными пассажирами, прилетевшими из Сантьяго, тетя Ольга отпустила замечание, которое привело меня в восторг, поскольку свидетельствовало о том, что семейные неурядицы улаживаются: "Погляди, как твоя жена прихорошилась для встречи!"

Конечно же, для нас с Хулией это был счастливый день. Домик на улице Порта был приведен в полный порядок, молодую ждали благоуханные цветы. Я уже накануне перевез туда все свои книги и вещи, надеясь, кроме всего прочего, на то, что вот наконец-то начинается по-настоящему самостоятельная жизнь, в собственном доме (как говорится).

Я собирался закончить университет, оба факультета, на которых занимался, и не только потому, что обещал это родным. Я был убежден, что лишь благодаря этим дипломам я впоследствии смогу жить достаточно обеспеченно и иметь возможность писать. А еще я думал, что без них никогда не попаду в Европу, во Францию, а это по-прежнему оставалось главной моей целью. Я больше, чем когда-либо, был полон решимости стать писателем и был уверен, что никогда им не стану, если не уеду из Перу, если не буду жить в Париже. Я сотни раз говорил об этом с Хулией, и она, натура пылкая и непоседливая, поддакивала мне: да-да, надо заканчивать университет и просить стипендию, которую банк "Популар" и университет Сан-Маркос дают для продолжения образования в Испании. Потом мы поедем в Париж, и там я напишу все романы, которые уже живут у меня в голове. А она мне поможет.

Она очень помогала мне с самого первого дня. Без нее я не смог бы справиться с семью работами, посещать иногда лекции в Сан-Маркосе, делать домашние задания и — как будто этого мало — еще и написать довольно много рассказов.

Когда теперь я пытаюсь восстановить свое расписание той поры — с 1955 по 1958 год, — я прихожу в тупик: как я мог столько всего успевать, да еще читать множество книг, да еще поддерживать тесную дружбу с моими дорогими Лучо и Абелардо, да еще заглядывать в кино, не говоря уж о еде и сне? На бумаге суток на это не хватает, но у меня как-то получалось, и, несмотря на бесконечную беготню и материальные затруднения, это были замечательные годы, когда иллюзии обновлялись и обогащались, и, честное слово, я ни разу не упрекнул себя за поспешную женитьбу.

Думаю, что и Хулия не испытывала разочарования. Мы любили друг друга, мы радовались друг другу, и, хотя бывали у нас ссоры, неизбежно сопутствующие общему быту, все эти три года в Лиме, до отъезда в Европу, наши отношения были глубокими и способствовали развитию каждого из нас. Ссоры провоцировала моя ревность задним числом, нелепое, отвратительное бешенство, которое охватило меня, когда до

меня дошло, что Хулия испытывала любовные восторги и раньше. Особенно меня бесило, что уже после развода и чуть ли не до самого приезда в Лиму у нее был страстный роман с одним аргентинским певцом, который объявился в Ла-Пасе и стал кумиром жительниц этого города. По какой-то таинственной причине — сейчас-то мне смешно, а тогда я сильно страдал и потому заставлял страдать и Хулию — этот роман моей жены с аргентинским певцом, о котором она простодушно рассказала мне вскоре после свадьбы, лишал меня сна, и, хотя он ушел в прошлое, я ощущал его как опасность, как угрозу нашему браку, поскольку он отнимал у меня часть ее жизни, и эта часть навеки останется для меня недоступной, а потому мы никогда не сможем быть счастливы. Я требовал, чтобы она рассказала мне о том приключении с мельчайшими подробностями, из-за чего у нас случались бурные ссоры, завершавшиеся обычно нежным примирением.

Но мы еще и развлекались. Если у человека почти никогда нет ни времени, ни денег на развлечения, то и самые скромные и редкие из них приобретают восхитительное свойство — они приносят такое удовольствие, какое неизвестно тем, кто развлекается, когда душе угодно. Помню, в какой ребяческий восторг приводили нас обеды в немецком ресторанчике "Гамбринус" на улице Ла Эсперанса, куда мы иногда ходили в конце месяца полакомиться замечательно приготовленным шницелем по-венски, и мы несколько дней заранее радовались. Бывало, мы отправлялись поесть пиццы с бутылочкой вина в пиццерию, которую незадолго до того швейцарская супружеская пара открыла в более чем скромном помещении гаража, и за несколько лет они превратили ее в один из самых известных ресторанов Мирафлореса.

Но уж в кино мы ходили не реже чем раз в неделю. Мы оба его обожали. И если плохая книга не только наводит на меня скуку, но и приводит в бешенство, поскольку я физически ощущаю, как теряю время, то плохие картины я переношу хорошо, они меня забавляют, когда в них нет претенциозности. И мы ходили на что попало, но в основном на жалостные мексиканские мелодрамы с Марией Феликс, Артуро де Кордовой, Агустином Ларой, Эмилио Гуэро, Миртой Агирре и так далее — мы с Хулией испытывали извращенное пристрастие именно к этим фильмам.

Хулия была великолепной машинисткой, и я вручал ей список моих покойников с кладбища "Пресбитеро Маэстро", нацарапанный в тетрадке, а она отдавала мне мастерски отпечатанные карточки. Она перепечатывала мои репортажи и статьи для "Комерсио", "Турисмо" и для журнала "Культура перуана", в котором я довольно скоро начал вести ежемесячную рубрику о выдающихся перуанских политических мыслителях XIX и XX веков под названием "Люди, книги и мысли". Мне было очень интересно готовить эту рубрику в течение двух с лишним лет, потому что, имея возможность пользоваться библиотекой Порраса Барренечеа и Национального клуба, я прочел почти всех перуанских политиков, от Санчеса Карриона-и-Вихиля до Хосе Карлоса Мариатеги и Ривы Агуэро, не упустив и Гонсалеса Праду, чьи язвительные анархистские диатрибы, напра́вленные против институций и политиков всех мастей и написанные изысканной прозой с парнасскими блестками, произвели на меня потрясающее впечатление.

Те интервью, которые мне заказывал Абелардо для воскресного приложения к "Комерсио", дали мне понимание современного состоя-

ния перуанской литературы, хотя зачастую отнюдь не радовали. Первое интервью я брал у Хосе Марии Аргедаса. Тогда он еще не опубликовал "Глубокие реки", но вокруг него уже начало складываться некое подобие культа – его считали изысканным лириком в прозе и замечательным знатоком индейской жизни. Меня поразили его скромность и застенчивость, его не слишком широкая осведомленность в современной литературе, а также его страхи и неуверенность в себе. Он велел мне показать перепечатанное интервью, внес несколько поправок, а потом послал Абелардо письмо с просьбой не публиковать материал, потому что он не хочет причинить боль кому бы то ни было (там были намеки на его сводного брата, который мучил его в детстве). Письмо пришло, когда интервью уже было в типографии. Аргедас не рассердился, а позже прислал мне любезную записку, благодаря за добрые слова о нем и его произведениях.

Думаю, что для этой рубрики я взял интервью у всех соотечественников, кто опубликовал в Перу хотя бы один роман, начиная с древнего старика Энрике Лопеса Альбухара, живой реликвии, который путал имена, даты и звания и называл "юношами" семидесятилетних старцев, до самого молодого из молодых Элеодоро Варгаса Викуньи, который любил прерывать лекции, выкрикивая свой девиз ("Да здравствует жизнь, дерьмо!"), и после прекрасной прозы "Науин" таинственным образом исчез, во всяком случае из мира литературы. Конечно же, я брал интервью и у милого Франсиско Вегаса Семинарио, и у Артуро Эрнандеса, автора "Сангамы", и у десятков беллетристов и беллетристок, которые писали креольские, индейские, городские, костумбристские, негритянские романы – долго держать их в руках я был не в состоянии, они казались мне безумно старомодными (именно старомодными, а не старыми) и по манере письма, и, главное, по тому, как были построены.

В ту пору я был зачарован Фолкнером и только и думал что о технике романа: любой роман, который попадал мне в руки, я читал глазами препаратора, отмечая, как работает ракурс взгляда, как организовано время, думал о том, исполняет ли рассказчик функцию стержня повествования, видел, что композиционная невыстроенность и технические погрешности (например, в использовании эпитетов) снижают достоверность и даже вовсе ее разрушают. У всех писателей, кого я интервьюировал, я спрашивал о построении текста, о технических проблемах и каждый раз бывал обескуражен высокомерием их отношения ко "всему этому формализму". Некоторые еще добавляли ко "всей этой иностранщине и европейщине", а многие прибегали к "почвенническому" шантажу: "Для меня важна не форма, а сама жизнь", "В моих романах говорит сама перуанская душа".

С той поры я ненавижу слово "почва", которым тогда бряцали многие писатели и критики, считая "близость к народу" высшей доблестью и главной обязанностью литературы. Быть "почвенником" означало писать книги, укорененные в самом нутре перуанской земли, развивать действие на природном и бытовом фоне (желательно, в Андах), осуждать сьерру, сельву и побережье с их касикизмом и феодализмом, вводить в повествование жуткие истории о "белых", которые насилуют крестьянок, о пьяных начальниках, которые только тем и заняты, что воруют, о фанатичных, продавшихся властям священниках, которые проповедуют индейцам смирение. Те, кто писал и восхвалял эту литературу

"почвы", не отдавали себе отчета, что, вопреки их благим намерениям, не было ничего более условного и конформистского, чем романы, механически воспроизводившие несколько заранее заданных тем, а якобы народный язык, манерный и карикатурный, и небрежность композиции полностью выхолащивали смысл критического реализма, во имя которого и работали приверженцы "почвы". В качестве литературных текстов книги также никуда не годились, нельзя было их рассматривать и как социальный документ, поскольку это была аляповатая, банальная фальсификация действительности в угоду неприхотливому читателю.

Слово "почва" стало для меня символом литературного провинциализма и неразвитости, того примитивного и поверхностного понимания работы писателя, с каким к ней относится невежда, думая, что хороший роман можно написать, придумав хорошую "тему", такой читатель не понимает, какая напряженная интеллектуальная деятельность нужна, чтобы выработать свой язык, найти форму повествования, организовать время, движение сюжета, определить, что должно быть прописано и что подлежит умолчанию, а ведь именно этот труд решает судьбу романа: будет ли он правдивым или надуманным, серьезным или легковесным, трогательным или смешным. Тогда я еще не знал, удастся ли мне стать писателем, но одно знал точно: про "почву" писать я не буду никогда.

Разумеется, не все перуанские писатели, у которых я брал интервью, относились к форме "с фольклорного высока" и прикрывали свою лень литературоведческими терминами. Одним из таких исключений был Себастиан Саласар Бонди. Романов он не писал, зато писал рассказы (помимо эссе, пьес и стихов) и потому попал в мою рубрику. Тогда я впервые долго разговаривал с ним. Я зашел к нему в кабинетик (он работал в газете "Пренса"), и мы спустились в кафе "Крим Рика". Худой, длинный и острый, как нож, он был очень славным и умным человеком. Вот он-то действительно был в курсе современной литературы и говорил о ней так свободно и проницательно, что я преисполнился к нему уважения. Как всякий юнец, надеющийся стать писателем, я был склонен к отцеубийству, а Саласар Бонди за свою многогранность и литературную активность — иногда казалось, что он один представляет всю перуанскую культурную жизнь, — выглядел в глазах моего поколения тем самым "отцом", коего следовало похоронить, чтобы обрести собственную индивидуальность, и потому нападать на него было модно. Я тоже свирепо его раскритиковал в "Турисмо" за пьесу "Счастливых островов не бывает", которая мне не понравилась. И хотя близкими друзьями мы стали долгое время спустя, я навсегда запомнил то интервью из-за сильного впечатления, которое оно на меня произвело. Разговор с ним, в отличие от большинства интервью, меня обрадовал: он сам был живым доказательством того, что перуанский писатель не обязан идти от "почвы", что можно жить жизнью своей страны и в то же время быть открытым любым достижениям мировой литературы.

Но по оригинальности и самобытности всех писателей, кого я интервьюировал, оставил далеко позади Энрике Конграинс Мартин, который в тот момент находился на самом пике своей популярности. Он был молод (на несколько лет старше меня), светловолос, спортивен, но страшно серьезен, думаю, он был непроницаем для юмора. От его пристального взгляда становилось немного не по себе, его просто распирало от энергии и деловитости. В литературу он пришел, как бы стран-

но это ни звучало, из совершенно практических соображений. С ранней юности он торговал разными товарами и, как говорили, изобрел средство для мытья посуды, а затем придумал фантастический план — организовать профсоюз кухарок и через него (а манипулировать им стал бы, разумеется, он сам) потребовать от всех домохозяек Лимы, чтобы они пользовались только мылом его изобретения. Кто только не задумывает безумные предприятия, но только Энрике Конграинс Мартин обладал способностью — в Перу невиданной — осуществлять на практике свои сумасшедшие идеи. После мыла он стал торговать книгами, и тут ему пришла в голову мысль самому писать и издавать их, так как он считал, что никто не сможет устоять перед таким аргументом: "Я сам написал эту книгу. Купите ее — и вам развлечение, и перуанской литературе помощь".

Так он написал сборник рассказов "Лима, ноль часов, Кикуйо" и роман "Не одна, а много смертей", на чем и закончил свою литературную карьеру. Издав книгу, он торговал ею по конторам и по домам. И отказаться не мог никто: если ему говорили, что нет денег, он предлагал купить книгу в рассрочку, выплачивая по нескольку сентаво в неделю. Интервью я брал у него в ту пору, когда Энрике своим блеском полностью ослепил всех перуанских писателей, у которых в голове не укладывалось, как в одном человеке совмещаются такие противоречивые способности.

И это было еще только начало. С той же скоростью, с какой он влетел в литературу, он из нее ушел и начал проектировать и продавать странную мебель о трех ножках, выращивать и продавать японские карликовые деревца и, наконец, стал троцкистом, подпольщиком и заговорщиком, за что и попал в тюрьму. После освобождения родил близнецов. Потом куда-то исчез, и я долго о нем ничего не слышал. Много лет спустя я узнал, что он живет и процветает в Венесуэле, открыв частную школу быстрого чтения по методу, который, разумеется, изобрел сам.

Месяца через два после возвращения из Чили Хулия забеременела. Эта новость повергла меня в несказанный ужас, потому что тогда я был уверен (не отсвечивало ли в этой уверенности влияние Сартра?), что брак не противоречит призванию писателя, но дети, которых надо кормить, воспитывать, учить, положат конец настоящей литературной работе. Прощай, мечта о Франции! Прощайте, задуманные длиннющие романы! Как с полной отдачей заниматься работой, которая не приносит дохода, и одновременно вкалывать из-за денег, необходимых для пропитания семьи? Но Хулия была в таком восторге, что мне пришлось скрывать свое неудовольствие и даже прикидываться, что я страшно рад перспективе стать отцом.

В первом браке у Хулии детей не было, врачи говорили, что матерью ей стать не удастся, и она это тяжело переживала. Беременность оказалась для нее нежданным счастьем. Врач, у которой она консультировалась, предписала ей на первые месяцы беременности строжайший режим — ей практически запрещалось двигаться. Она очень дисциплинированно следовала всем указаниям, но опасные симптомы все же появились, и ребенка она потеряла. Это случилось в самом начале беременности, и она скоро оправилась от разочарования.

Наверное, именно в эту пору кто-то подарил нам щенка. Он был невероятно милым и озорным, но несколько нервным, и мы назвали его

Батуке[1]. Маленький и шустрый Батуке встречал меня, прыгая от радости, и часто устраивался на моих коленях, когда я читал. Но иногда на него находили припадки ярости, и он бросался на нашу соседку, поэтессу и писательницу Марию Тересу Льону, которая жила одна. Батуке, уж не знаю почему, просто не мог пройти мимо ее ног, которые чем-то его бесили. Мария Тереса относилась к этому великодушно, но мы-то стыда натерпелись.

Однажды, вернувшись домой в полдень, я увидел, что Хулия просто заливается слезами. Батуке забрали собачники, они чуть ли не вырвали его из рук Хулии. Я помчался искать его к мосту Эхерсито, где находилась живодерня. Я появился вовремя и спас бедного Батуке, а он сразу же, как только его вытащили из клетки и я взял дрожащего зверька на руки, обмочил и обделал меня. От живодерни я пришел в такой же ужас, как и Батуке: два самбо[2] убивали палками тут же, на виду у сидящих в клетках собак, тех животных, кого по истечении нескольких дней не забрали хозяева. Чуть не сойдя с ума от увиденного, я с Батуке на руках зашел в первое попавшееся кафе. Оно называлось "Собор". Там мне пришла в голову мысль, что подобной сценой я когда-нибудь начну роман о диктатуре Одрии, которая в то время, в 1956 году, уже находилась в агонии[3].

Глава XIX

Путешествие в Париж

Однажды в сентябре или октябре 1957 года Луис Лоайса сообщил мне невероятное известие: один французский журнал устраивает конкурс рассказов, а премия — поездка на две недели в Париж.

"Ревю франсез", очень роскошный журнал по искусству, главным редактором которого был мсье Пруверель, выпускал тематические номера, посвященные отдельным странам. Конкурс с вожделенной премией проводился в рамках номера о Перу. Меня, как и всю здравствующую на тот момент перуанскую литературу, швырнуло к пишущей машинке, и так родился "Вызов", рассказ о старике, который видит, как в высохшем русле реки Пиура умирает его сын, раненный в поединке на ножах. Этот рассказ вошел в мою первую книгу "Вожаки" (1958). Я послал рассказ на конкурс, в жюри которого под председательством Хорхе Басарде входили Себастиан Саласар Бонди, Луис Хайме Сиснерос, Андре Койне, а также сам редактор "Ревю франсез", и постарался думать о другом, чтобы разочарование, если выиграю не я, не было таким мучительным. Через несколько недель я сидел в своем скворечнике на "Радио Панамерикана" и готовил шестичасовой выпуск новостей, как вдруг в дверях возник возбужденный Луис Лоайса: "Ты едешь во Францию!" Он был так рад, словно сам выиграл премию.

Не думаю, чтобы хоть одна новость когда-нибудь, до или после, привела меня в такой восторг. Я буду ходить по городу моей мечты, окажусь в легендарной стране, где родились писатели, которыми я восхищался! "Я познакомлюсь с Сартром, я пожму руку Сартру", — твердил

1. Batuque — скандал, суматоха (*исп.*).
2. Сын негра и индеанки (или наоборот).
3. Роман «Разговор в «Соборе».

я Хулии и дяде Лучо с тетей Ольгой, когда мы вечером отправились праздновать это событие. Перевозбужденный, я не мог спать в ту ночь, вертясь в постели от счастья.

Торжественное вручение премии состоялось в Альянс франсез, и там присутствовала моя дорогая учительница французского мадам дель Солар, она была очень рада, что ее бывший ученик получил премию "Ревю франсез". Там я познакомился с мсье Пруверелем, и мы договорились, что в Париж я отправлюсь после экзаменов в университете, после Нового года. Конец 1957 года оказался очень бурным, обо мне писали в газетах, меня поздравляли друзья. Чтобы отметить премию, доктор Поррас пригласил гостей на "чашку шоколада".

Я ходил благодарить всех членов жюри по очереди и так познакомился с Хорхе Басарде, последним перуанским интеллектуалом, в котором не было никакого провинциализма. Раньше я с ним никогда не встречался. Не такой блестящий рассказчик, как доктор Поррас, он гораздо больше интересовался философскими идеями и доктринами, обладал широким видением исторической проблематики и огромной литературной культурой. Опрятность и скромная элегантность его дома, казалось, отражали организованный ум историка и интеллектуальную ясность. Тщеславие было ему чуждо, как и всякое желание затмить собеседника; сдержанный и вежливый, он был очень тверд в своих взглядах. Я провел у него два часа, слушая, как он говорит о великих романах, которые потрясли его. О "Волшебной горе" Томаса Манна он отзывался так, что я прямо после встречи побежал покупать эту книгу. Себастиан Саласар Бонди, который незадолго до того несколько месяцев прожил в Париже, с завистью говорил мне: "Побывать в Париже! Ничего лучшего с человеком на земле произойти не может!" Он приготовил для меня список того, что обязательно надо сделать и посмотреть в столице Франции.

Андре Койне перевел "Вызов" на французский, но редактировала и доводила перевод до блеска, работая со мной вместе, Жоржетта Вальехо. С вдовой Сесара Вальехо я был знаком, поскольку она часто заходила к Поррасу, но только теперь, когда мы вместе работали над переводом в ее квартире на улице Дос-де-Майо, мы подружились. Она бывала обворожительна, когда рассказывала разные истории про знаменитых писателей, которых знала лично, хотя и вкладывала в свои рассказы какую-то потаенную страстность. Исследователи творчества Вальехо обычно становились ее заклятыми врагами. Она их ненавидела так, словно, приближаясь к Вальехо, они его отнимали у нее. Она была, как индийский факир, маленькая, в чем душа держится, но характером обладала устрашающим. На знаменитой конференции в Сан-Маркосе, когда деликатный поэт Херардо Диего шутя сказал, что Вальехо умер, так и не отдав ему долг в несколько песет, поднялась тень великой вдовы и над головами публики в сторону докладчика полетели монеты, а в воздухе громом прогремело: "Вальехо всегда отдавал долги, жалкий ты лжец!" Неруда, ненавидевший Жоржетту так же, как она ненавидела его, клялся, что Вальехо настолько ее боялся, что удирал из своей квартиры в Париже через окно и по крыше пробирался к друзьям. В те годы Жоржетта жила очень бедно, перебиваясь частными уроками французского, и без стеснения холила свой невроз. Она подкармливала домовых муравьев сахаром, никогда не снимала черного тюрбана, с трагическими интонациями сетовала на горькую участь уток, которых обез-

главливали в китайском ресторане по соседству, и насмерть воевала — публикуя суровейшие открытые письма — с издателями, напечатавшими или намеревавшимися напечатать стихи Вальехо. Она жила более чем скромно, и, помню, однажды, когда мы с Хулией пригласили ее пообедать в пиццерию на улице Диагональ, она выговаривала нам со слезами на глазах за то, что мы оставили какую-то еду на тарелках, "а в мире столько голодных". При всей неукротимости нрава она была еще и щедра душой: готова была жертвовать всем, помогая поэтам-коммунистам, а когда их преследовали, прятала у себя. Дружить с ней было невероятно трудно — все равно что ходить по горячим угольям, — так как любая мелочь, самая неожиданная, могла оскорбить ее и вызвать страшный гнев. И все-таки она стала для нас близким другом, мы приглашали ее домой, иногда брали куда-нибудь с собой по субботам. Позже, когда я уже переехал в Европу, она давала мне поручения — то получить гонорары за "публикации" Вальехо, то купить гомеопатические лекарства в аптеке у Одеона, где она была постоянной покупательницей с ранней юности, и так продолжалось до тех пор, пока однажды мы с ней не поссорились в эпистолярной форме по поводу одного из таких поручений. Последний раз я разговаривал с ней в книжном магазине Мехиа Баки незадолго до того, как начался последний и страшный период ее жизни, когда она много лет провела в клинике в растительном состоянии. Я спросил ее, как дела. И она ответила: "Как могут идти дела у человека в этой стране, где люди с каждым днем становятся все хуже, все уродливее и все грубее?"

На "Радио Панамерикана" мне дали месяц отпуска, а дядя Лучо устроил для меня заем в банке на тысячу долларов, чтобы я смог прожить в Париже еще две недели за свой счет. Дядя Хорхе раскопал старое серое пальто, сохранившееся у него с юности и не слишком траченное лимской молью, и январским утром 1958 года я пустился в свое великое путешествие. В аэропорт, кроме Хулии, меня провожали дядя Лучо, Абелардо, Пупи и Луис Лоайса. Раздуваясь от гордости, я вез в чемодане несколько экземпляров первого номера "Литературы", чтобы о нашем журнале узнали французские писатели.

В жизни я очень много ездил и почти все путешествия позабыл, но двухдневный перелет на самолете "Авианки" помню в мельчайших подробностях, помню и то, что волшебная мысль "Я еду в Париж!" не оставляла меня ни на минуту. Тем же самолетом летел перуанец Лучо Гарридо Лекка, студент-медик, возвращавшийся в Мадрид, и две колумбийки, подсевшие к нам в Барранкилье. На Азорских островах мы оба сфотографировались с этими девушками. (Через год в мадридском кабачке он показал эту фотографию Хулии, чем вызвал грандиозную сцену ревности.) В Боготе, Барранкилье, на Азорах, в Лисабоне во время посадок мы ждали вылета часами и наконец на рассвете дождливого зимнего дня приземлились в Орли, который в те времена был меньше и скромнее аэропорта Лимы. Меня встречал, зевая, мсье Пруверель.

Когда его "дофин" выехал на Елисейские поля и направился к Триумфальной арке, я решил, что это чудо. Занимался холодный рассвет, на авеню не было ни одной машины, ни одного прохожего, но как же все было необыкновенно: гармоничная архитектура, изумительные витрины, величественная и великолепная Триумфальная арка. Мсье Пруверель сделал круг по площади Этуаль, чтобы я смог насладиться видом, а потом отвез меня в отель "Наполеон" на авеню Фридланд, где

я буду жить пятнадцать премиальных дней. Отель был роскошный, и Лучо Лоайс скажет потом, что я описываю, как вошел в него, словно дикарь, которого Колумб привез в Испанию ко двору королей Кастилии и Арагона.

Этот месяц в Париже я жил совсем не той жизнью, какую вел потом, когда почти семь лет пробыл во Франции, ограничив свой мир rive gauche[1]. Зато четыре недели в начале 1958 года я был обитателем Шестнадцатого округа, и меня вполне можно было счесть латиноамериканским петиметром, приехавшим в Париж швырять деньгами. В отеле "Наполеон" мне дали номер с балкончиком, откуда открывался вид на Триумфальную арку. Рядом со мной проживала тоже победительница конкурса, но конкурса красоты, ее *наполеоновское* житье входило в премию Мисс Франс 1958. Звали ее Анни Семплон, это была золотоволосая блондинка с осиной талией; управляющий отелем представил меня ей и однажды вечером пригласил нас поужинать и потанцевать в модный ресторан "Элефан блан". Милая Анни Семплон покатала меня по Парижу на своем "дофине", который прилагался к королевской короне, и до сих пор мои уши терзает хохот — весь вечер ее смешил мой французский, — а я-то был уверен, что могу не только читать, но и говорить.

При отеле "Наполеон" был ресторан "Ше Пескаду", элегантность которого приводила меня в такой ужас, что через зал я проходил на цыпочках. Моего французского не хватало, чтобы разгадать изысканные наименования блюд, и я, нервничая от присутствия метрдотеля, стоявшего возле меня, как камергер в придворном мундире, выбирал еду наугад, тыкая в меню пальцем. Однажды за обедом я был совершенно ошеломлен, когда мне принесли сачок. Оказывается, я попросил форель и теперь должен был самолично выловить ее из бассейна тут же, в ресторане. "Вот он, мир Пруста", — обалдело думал я, хотя еще ни разу не раскрыл "В поисках утраченного времени".

На следующее после приезда утро я, едва проснувшись около полудня, побежал на Елисейские поля. Теперь тут было много людей и машин, на застекленных террасах бистро сидели мужчины и женщины, курили и разговаривали. Мне все казалось прекрасным, ни на что не похожим, ослепительным. Я был наглый métèque[2]. Я чувствовал, что это мой город: здесь я буду жить, писать, здесь я пущу корни и останусь навсегда. В то время на центральных улицах арабы спекулировали валютой — неизбежное следствие контроля за валютным курсом, и я никак не мог понять, что предлагают мне эти типы, которые время от времени подходили ко мне с заговорщическим видом. Наконец нашелся среди них один, кое-как изъяснявшийся на смеси испанского и португальского; он-то и объяснил мне, что ему нужно. Я обменял несколько долларов по более выгодному курсу, чем в банке, но совершил одну ошибку — сказал, в каком отеле живу. И он стал мне названивать, предлагая развлечения на любой вкус с "очен красивый дэвушка".

Мсье Пруверель подготовил для меня программу, куда входил и визит в мэрию, где мне вручили диплом в присутствии перуанского атташе по культуре. Этот пожилой господин — через некоторое время он приобрел кратковременную известность, произнеся на генеральной ассамблее ЮНЕСКО речь против Пикассо, причем настаивал при этом, что критикует его "как художник художника", поскольку посвящал свои

1. Левый берег (*франц.*).
2. Пришелец (*франц.*).

дипломатические досуги малеванию пейзажей, — был столь изысканно вежлив (или рассеян), что перецеловал ручки всем привратницам мэрии к полному изумлению мсье Пруверея, который спросил меня, неужели в Перу так принято. Наш атташе жил в Европе целую вечность, и та страна под названием Перу, воспоминания о которой он сохранил, уже давно ушла в небытие, если вообще когда-нибудь существовала. Помню свое удивление, когда за кофе в каком-то бистро в Шатле, куда мы зашли после церемонии в мэрии, он мне сказал: "Ах, как умеют в Лиме бездельничать! По воскресеньям все только и делают, что фланируют по пасео Колон". Когда столичные жители гуляли по этой шумной и суматошной улице? Лет тридцать-сорок назад, не иначе. Правда, и самому кабальеро было не меньше тысячи лет.

Мсье Пруверель устроил мне интервью в "Фигаро" и дал в мою честь коктейль в отеле "Наполеон", где и состоялась презентация номера "Ревю франсез" с моим рассказом. Он называл себя "здравомыслящим националистом", и мой бешеный восторг при виде всего, что меня окружало, моя завороженность французскими писателями и книгами забавляли его и тешили его самолюбие. Он поражался тому, что любые парижские уголки, памятники, улицы вызывали у меня ассоциации с романами и стихами, которые я помнил наизусть.

Я предпринимал самые дерзкие попытки, чтобы добиться встречи с Сартром, но ничего у меня не вышло. Мы дошли до Жана Ко, который в ту пору был его секретарем и выполнял свою работу отлично: он так долго тянул, что мы устали ждать. Альбера Камю мне все-таки удалось повидать, пожать ему руку и обменяться с ним несколькими словами. Мсье Пруверель узнал, что он руководит новой постановкой одной из своих пьес в театре на Больших бульварах, и я, с нахальством, присущим моему возрасту — тогда мне был двадцать один год, — отправился утром в засаду. Немного пришлось подождать, а затем появился Камю вместе с актрисой Марией Касарес. (Я сразу же узнал ее по фильму, который смотрел дважды и который нравился мне настолько же, насколько не нравился Лучо Лоайсе, — "Дети райка" Марселя Карне.) Я подошел, пробормотал на плохом французском, что восхищаюсь им и что хочу вручить ему наш журнал, и он, видя мою растерянность, ответил мне несколькими любезными фразами на хорошем испанском языке (его мать была испанкой из Орана). Он был в знаменитом плаще, как на фотографиях, и с неизменной сигаретой в руке. Они оба, и он и она, сказали что-то о "le Pérou", а в те времена во Франции это слово еще ассоциировалось с богатством ("C'est n'est pas le Pérou!"[1]).

На следующий день после моего приезда мсье Пруверель пригласил меня выпить аперитив в "Румери Мартиникез" в Сен-Жермен и поужинать в "Фиакре", предупредив, что ведет меня туда, поскольку это великолепный ресторан, но бар на втором этаже может меня шокировать. Я считал, что у меня нет никаких предрассудков, но, конечно же, проходя через бар, где сластолюбивые господа весьма солидного возраста сияли самодовольством, нежничая и обнимаясь с юными эфебами на виду у всех, я очень смутился: одно дело читать в книгах, а другое — видеть своими глазами.

А ресторан "Фиакр", напротив, оказался заведением очень чопорным, и там я узнал, что, до того как стать редактором "Ревю франсез", мсье Пруверель был военным. Он снял мундир то ли по политическим,

1. Это вам не Перу! (*франц.*).

то ли по личным причинам — не знаю, но он рассказывал свою историю таким тоном, что я понял: это была настоящая драма, которая перевернула всю его жизнь. В полном изумлении слушал я, как он хорошо отзывается о правительстве Салазара, который якобы положил конец анархии, царившей до него в Португалии. Неприятно пораженный тем, что кто-то может думать, будто диктаторы вроде Салазара или Франко принесли благо своим странам, я поспешил возразить. Он не настаивал и, более того, пообещал назавтра представить меня одной девушке, дочери его друзей, и она покажет мне Париж и поводит по музеям.

Так я познакомился с Женевьевой, которую потом видел каждый день и по многу часов до самого отъезда в Лиму. Благодаря ей я узнал, что в жизни может случиться нечто еще более прекрасное, чем то, что произошло со мной до сих пор: в двадцать один год познакомиться с милой и хорошенькой француженкой, открывающей тебе парижские чудеса.

У Женевьевы была стриженая грива каштановых волос, живые голубые глаза и бледная кожа, которая легко розовела от смеха или от смущения, и тогда лицо ее загоралось весельем и оживлением. Этой идеальной demoiselle de seizième[1] было лет восемнадцать, она была comme il faut: всегда аккуратная, воспитанная, с хорошими манерами. Но кроме того, она была и умной, и веселой, изящно и умно кокетливой, так что, когда я глядел на нее, слушал ее, ощущал ее присутствие, по спине у меня бежали мурашки. Она училась в художественной школе и знала Лувр, Версаль, Оранжери как свои пять пальцев, так что ходить по музеям вместе с ней было двойным удовольствием.

Мы встречались рано утром и начинали поход по церквям, галереям и книжным лавкам в соответствии с тщательно разработанным планом. По вечерам мы ходили в театр или в кино, а потом — иногда — забегали в какой-нибудь cave de la rive gauche[2] послушать музыку и потанцевать. Она жила на углу улицы Виктора Гюго с родителями и старшей сестрой и несколько раз приглашала меня к обеду или к ужину, чего за долгие годы моей жизни во Франции не делали даже самые близкие друзья.

Года через два я вернулся в Париж, поселился там и все время, особенно в самом начале, когда было туго с деньгами, вспоминал как нечто фантастическое тот месяц, когда вместе с красавицей Женевьевой я каждый вечер ходил по театрам и ресторанам, а днем единственным моим занятием были походы по галереям, прогулки по Парижу и покупка книг. Мсье Пруверель достал нам приглашение в "Комеди Франсез" и в Национальный народный театр, которым руководил Жан Вилар, в чьей постановке я видел "Принца Гомбургского" Клейста с Жераром Филипом. Другим памятным для меня спектаклем стала шекспировская пьеса с Пьером Брассёром — за его работами в кино я всегда пристально следил. Видели мы, конечно, "Лысую певицу" и "Урок" Ионеско в маленьком театрике "Юманите" (где спектакль идет до сих пор, почти сорок лет), а после театра мы долго ходили по набережным Сены, и я пытался говорить Женевьеве комплименты, а она исправляла мои ошибки в синтаксисе. Познакомился я и с Синематекой на улице Ульм, где мы однажды, не выходя из зала, посмотрели четыре картины Мак-

1. Девушка из Шестнадцатого округа (*франц.*).
2. Подвальчик на левом берегу (*франц.*).

са Офюльса, в том числе и "Мадам де..." с прекрасной Даниель Дарьё.

Премия предусматривала двухнедельное проживание в отеле "Наполеон", и на две оставшиеся недели я забронировал номер в маленькой гостинице Латинского квартала, которую мне порекомендовал Саласар Бонди. Но когда я пришел прощаться с управляющим "Наполеона" мсье Маковски, он мне сказал, чтобы я оставался и платил столько, сколько предполагал платить в Латинском квартале. Так что видом на Триумфальную арку я наслаждался до самого отъезда из Парижа.

Еще одной парижской радостью оказались для меня букинисты на набережной Сены и лавки Латинского квартала, где продавались подержанные книги. Там я так хорошо запасся ими, что потом не знал, как закрыть чемодан. И еще я нашел недостающие номера журнала "Тан модерн", в том числе и первый, с манифестом Сартра, который помнил почти наизусть.

Годы спустя, когда я уже жил во Франции, как-то ночью я долго говорил о Париже с Хулио Кортасаром — он тоже любил его и однажды заявил, что выбрал Париж, "потому что быть ничем в этом городе, который всё, в тысячу раз лучше, чем наоборот". Я рассказал ему о моей детской еще страсти к легендарному городу, который знал только по литературе и по рассказам, и о том, как, сравнивая придуманный образ с реальностью, я в тот сказочный месяц не только не разочаровался, но влюбился в него еще больше. (Эта любовь продолжалась до 1966 года.)

Он тоже чувствовал, что Париж привнес в его жизнь нечто глубокое и неоценимое, помог почувствовать все лучшее в человеческом опыте и осязаемо ощутить смысл прекрасного. Из мистического сочетания истории, литературного вымысла, технического мастерства, научного знания, мудрой архитектоники и пластики, а также (и в немалой степени) случая вырос этот город, в котором все — долгие прогулки по мостам и набережным Сены, любование в определенные часы дня волютами и горгульями Нотр-Дам, захватывающие путешествия по маленьким площадям и лабирантам мрачных улочек в Марэ — становилось не менее волнующим духовным и эстетическим приключением, чем погружение в великую книгу. "С городами, как с женщинами: ты ее выбираешь, а она или выберет тебя или нет, — говорил Кортасар. — Мы выбрали Париж, и Париж выбрал нас".

Кортасар уже жил во Франции, но тогда, в январе 1958 года, я с ним не познакомился, как, по-моему, ни с кем из множества парижских латиноамериканцев, художников и писателей ("бедняки Парижа" — назовет их позже в сборнике рассказов, ими вдохновленных, Себастиан Саласар Бонди), кроме Леопольдо Чариарсе, перуанского поэта, о котором Абелардо Оскндо рассказывал очень забавные истории (например, однажды тот на людях громогласно заявил, что поэтическое призвание родилось в нем "в день, когда его, маленького мальчика, изнасиловала негритянка"). Позже Чариарсе будет играть на лютне, станет востоковедом, гуру и духовным отцом какой-то секты и возглавит ашрам в Германии, а тогда он был сюрреалистом и имел большой вес в той маленькой группе, к которой свелось движение Бретона. Французские сюрреалисты считали его революционером, преследуемым перуанской диктатурой (в Перу тогда правил смирный Мануэль Прадо), и не подозревали, что Чариарсе был единственным в истории Перу поэтом, ради

которого конгресс принял специальный закон, чтобы дать ему стипендию на поездку в Европу.

Все это я узнал от поэта Бенжамена Пере – я пришел в его скромную квартирку, надеясь, что он расскажет мне хоть немного о Сесаре Моро, так как в то время я собирался написать о нем. Несколько лет Моро принадлежал к французской группе сюрреалистов – сотрудничал в "Сюрреализме на службе революции" и участвовал в сборнике "Виолетт Нозьер", а позже, вместе с Пере и Бретоном, организовал Международную выставку сюрреализма в Мехико. Однако в официальной истории этой группы о нем почти не упоминалось. Пере отвечал мне очень уклончиво, то ли потому что плохо помнил Моро, то ли по какой другой причине, и почти ничего не рассказал о единственном настоящем сюрреалисте, которого дала Перу, а может быть, и вся Латинская Америка. Истинную причину остракизма, которому Бретон и его друзья подвергли Моро, мне открыл Морис Надо. У меня было поручение к нему от Жоржетты Вальехо – получить для нее деньги за стихи Вальехо, опубликованные в "Леттр нувель". Надо, чью "Историю сюрреализма" я читал, познакомил меня с молодым французским романистом, находившимся в этот момент у него, Морисом Бютором, а когда я спросил, почему сюрреалисты, судя по всему, отторгли Моро, он сказал, что, вероятно, из-за гомосексуализма. Бретон терпимо и даже поощрительно относился ко всем "порокам", кроме вышеназванного, поскольку еще в двадцатые годы сюрреалистов начали обвинять в этом грехе. Просто невероятно, что по такой причине Моро был изгнан из движения, мораль и философию которого он воплотил с такой целостностью и подлинным талантом, как не удалось этого сделать большей части тех, кого осеняло имя Бретона.

Тогда, в Париже, я впервые задался вопросом, правда в самой глубине души: не поторопился ли я с женитьбой. И не потому, что мы с Хулией плохо жили: спорили мы не чаще, чем любая другая супружеская пара, и Хулия, конечно же, мне очень помогала в работе и не только не противилась моим литературным планам, но и всячески меня поддерживала. А потому, что первоначальная страсть угасла, ее место занял быт и обязанности, которые я временами воспринимал как рабство. Долго ли продержится наш брак? Время, вместо того чтобы сократить разницу в возрасте, только усугубит ее, а потому сделает наши отношения искусственными. Рано или поздно предсказания родных сбудутся, и наша романтическая связь, возможно, кончится разрывом.

Мрачные мысли эти рождались "от противного" – из-за прогулок по Парижу и флирта с Женевьевой. Она меня просто донимала вопросами о Хулии – женское любопытство оказалось сильнее, чем утонченное воспитание, – и хотела, чтобы я показал ей фотографию. С этой юной девушкой я тоже чувствовал себя молодым и отчасти снова вернулся в свое детство, в Мирафлорес, в те времена, когда я поссорился со спортсменом из-за девочки. С тринадцати или четырнадцати лет я не влюблялся, не терял время так восхитительно, как в этот парижский месяц, гуляя и развлекаясь. В последние дни, когда возвращение неумолимо приближалось, меня охватила ужасная тоска и искушение остаться во Франции, порвать с Перу, с родными и немедленно начать новую жизнь в городе, в стране, где, по всему судя, писателем быть можно, где, как мне казалось, все просто предназначено для этого.

В вечер расставания мы с Женевьевой прощались долго и очень не-

жно. Было совсем поздно, моросило, а мы все стояли на пороге ее дома и никак не могли оторваться друг от друга. Я целовал ей руки, в ее прекрасных глазах блестели слезы. На следующее утро, когда я уже выезжал в аэропорт, мы еще говорили по телефону. Потом мы написали друг другу несколько писем, но больше никогда не виделись. (Тридцать лет спустя, в самый трудный момент избирательной кампании кто-то подсунул мне под дверь ее письмо; я так и не смог узнать, кто это сделал.)

Дорога в Лиму вместо двух дней заняла неделю. Первый перелет, до Лисабона, прошел нормально, и оттуда мы вылетели по расписанию. Но, пролетев немного над Атлантическим океаном, летчик сообщил нам, что один мотор сломался. Мы вернулись в Лисабон и провели там два дня за счет авиакомпании, ожидая другого самолета, что дало мне возможность взглянуть на этот красивый и печальный город. Деньги у меня кончились, и я полностью зависел от купонов, которыми "Авианка" оплачивала наши обеды и ужины, но один колумбиец с нашего же самолета пригласил меня в лисабонский ресторан попробовать треску "à la Гомеш Са". Мой спутник, молодой человек, был членом консервативной партии. Я смотрел на него, как на редкого зверя, — он носил широкополую шляпу, говорил, как принято в Боготе: с манерной правильностью речи, — и постоянно бесил его вопросом: "Как можно быть молодым и в тоже время *консерватором*?"

Только через два дня нас посадили в другой самолет. Мы долетели до Азорских островов, но из-за плохой погоды приземлиться не смогли. Мы направились к какому-то острову, название которого я забыл, и там была опасная посадка, летчик с ней справился, но сломал одно колесо шасси, заставив нас пережить несколько кошмарных минут. В Боготе выяснилось, что мой самолет на Лиму три дня как улетел, и бедная "Авианка" снова понесла убытки, так как ей пришлось оплачивать мне гостиницу и питание в Боготе еще два дня. Как только меня поселили в отеле "Текендама", я пошел побродить по центру. Я стоял и рассматривал витрину книжного магазина, как вдруг увидел, что на меня бежит возбужденная толпа. Я не успел понять, что происходит, но тут услышал выстрелы, заметил полицейских и солдат, колотивших дубинками направо и налево, и тоже бросился бежать, не представляя, куда бегу и зачем, думая при этом, что же это за город такой: только я в него попал, как меня уже хотят убить.

Наконец я оказался в Лиме и был полон энтузиазма и решимости поскорее закончить диплом и сделать все возможное и невозможное, чтобы получить стипендию имени Хавьера Прадо. Хулии, Лучо и Абелардо, дядям и тетям я с нескрываемым восторгом рассказывал о Париже и с наслаждением заново переживал все, что я там делал и видел. Но времени на ностальгию было мало. Я писал диплом о рассказах Рубена Дарио и использовал для этого каждую свободную минуту в библиотеке Национального клуба, между выпусками новостей на "Панамерикане", а по ночам — дома, так что иногда засыпал над пишущей машинкой.

Но внезапная напасть нарушила этот ритм работы. Как-то утром у меня заболело в паху, я, во всяком случае, думал, что болит в паху, а потом оказалось, что это аппендицит. Я отправился к врачу в Сан-Маркос. Он прописал лекарства, но они не принесли мне никакого облегчения, и через некоторое время Хенаро Дельгадо Паркер, увидев, как я хромаю, посадил меня в свою машину и отвез в Международную клини-

ку, с которой у "Панамериканы" был договор. Оперировать пришлось срочно, поскольку положение было угрожающее. Как рассказывал Лучо Лоайса, приходя в себя после анестезии, я непристойно ругался, шокированная мама закрывала мне рот, а Хулия возмущалась: "Дорита, ты же его задушишь!" Хотя радио оплатило половину стоимости операции, но и то, что осталось на мою долю, да еще выплаты по банковской ссуде, полностью подорвало наш бюджет. Непредвиденные расходы пришлось компенсировать писанием дополнительных статей и рецензий в воскресном приложении к "Комерсио", а добрейший редактор журнала "Культура перуана" Хосе Флорес Араос разрешил мне вести две рубрики одновременно и печатать статьи и заметки без подписи.

Еще до первого июля я закончил диплом, которому дал название понаучнее — "Об основах интерпретации Рубена Дарио", и начал терзать своих рецензентов, Аугусто Тамайо Варгаса и Хорхе Пуччинелли, чтобы они побыстрее написали отзывы и я мог бы защититься. Луис Э. Валькарсель, историк, бывший тогда деканом филологического факультета, назначил защиту на июнь или июль 1958 года. Собралась вся моя семья. Замечания и вопросы членов кафедры, которые входили в ученый совет университета, где присуждались степени, были доброжелательны. Диплом получил оценку cum laude[1] и был рекомендован к публикации в факультетском вестнике. Но я тянул с публикацией, потому что думал доработать диплом, чего так и не сделал. Написанный наскоком, в промежутках между заботами о хлебе насущном, диплом мой ничего особенного собой не представлял, и хорошая оценка объясняется доброй волей членов кафедры и общим падением академического уровня в университете Сан-Маркос, а не истинными достоинствами работы. Но зато я внимательно прочитал поэта, обладавшего фантастически богатым языком, чьему вдохновению и мастерству испанский язык обязан одной из самых плодотворных революций за всю свою историю. Испанская и латиноамериканская поэзии стали современными благодаря Рубену Дарио, который проложил дорогу всем будущим новаторам.

К своему заявлению на стипендию имени Хавьера Прадо для подготовки докторской диссертации в университете Комплутенсе в Мадриде я приложил проект, в котором предполагалось, что я буду продолжать свою работу в Архиве Рубена Дарио, незадолго до того открытом Антонио Оливером Белмасом, профессором Мадридского университета. Я был бы счастлив осуществить этот план, если бы позволили обстоятельства, но непреодолимые препятствия помешали мне, и на университетском дипломе закончились мои попытки теоретически осмыслить творчество Дарио, но не моя читательская ему преданность: с тех пор, правда иногда с большими перерывами, я его перечитываю и заново переживаю то же ощущение чуда, какое испытал, читая впервые. (В отличие от романов, жанра, в котором я питаю непобедимую слабость к тому, что называют реализмом, в поэзии я всегда любил роскошь фантазии, особенно если в стихах есть музыка и легкий налет вульгарности.)

Лоайса закончил университет чуть раньше или чуть позже меня и тоже решил ехать в Европу. Чтобы скоординировать наши планы, мы оба ждали присуждения стипендии имени Хавьера Прадо. Утром решающего дня я со страхом входил в университет. Но Росита Корпанчо любила сообщать хорошие новости и, едва увидев меня, вскочила из-за

1. Похвально (*лат.*).

письменного стола: "Стипендия твоя!" Наталкиваясь на стены, я пошел сообщить Хулии, что мы едем в Мадрид. Пока я шел по Кольмене до площади Сан-Мартин, чтобы сесть на автобус, идущий в Мирафлорес, меня так распирало от счастья, что хотелось испустить клич Тарзана.

Мы немедленно стали готовиться в дорогу. Продали мебель, чтобы иметь какие-то деньги, и сложили в ящики и коробки мои книги, пересыпав их нафталиновыми шариками и черным табаком, так как нас уверили, что это наилучшее средство от бумажной моли. Неправда. В 1974 году, когда я переехал обратно в Перу после шестнадцати лет отсутствия — до этого я приезжал только на короткие сроки за единственным исключением: в 1972 году я прожил дома полгода — и открыл ящики и коробки, которые все это время хранились в доме у дедушки с бабушкой, мне представилось ужасное зрелище: в нескольких коробках книги были покрыты толстым слоем зеленой плесени, а через нее видны были отверстия, прогрызенные ненасытной молью. Во многих коробках не было ничего, кроме пыли, бумажной мешанины и личинок, и все это оставалось только выкинуть. Невежественная лимская моль не успела съесть меньше трети моей библиотеки.

Я продолжал работать на всех своих работах, а еще вместе с Лучо и Абелардо мы готовили второй номер "Литературы", где я опубликовал свою статью о Сесаре Моро и где мы воздали хвалу кубинцам, участвовавшим в штурме 26 июля, которые с романтическим героем во главе — таким нам представлялся Фидель Кастро — сражались с диктатурой Батисты. В Лиме жило несколько кубинцев-эмигрантов, и один из них, активный противник режима Батисты, работал на "Радио Панамерикана". Он рассказывал мне о *барбудос*, и я — понятное дело — всей душой был с ними. Но в тот последний год, проведенный в Лиме, я, если не считать внутренней солидарности с противниками Батисты, никакой политической деятельностью не занимался, отдалился от христианско-демократической партии, хотя еще несколько месяцев оставался ее членом, пока совсем уж робкая поддержка, которую оказали демохристиане Фиделю после свержения Батисты, не вынудила меня выйти из партии официально, что я сделал уже из Европы.

Перед отъездом из Лимы все мое время, все силы уходили на работу, чтобы подсобрать денег и подготовиться к жизни в Европе. Теоретически предполагалось, что я проживу там год — срок, на который назначалась стипендия, но я уже решил, что уезжаю совсем. Я найду способ после Испании перебраться во Францию. В Париже я стану писателем, и если и буду бывать в Перу, то только наездами, потому что в Лиме навсегда останусь тем вроде бы писателем, каким уже стал к тому времени. Об этом мы очень серьезно разговаривали с Хулией, и она была согласна порвать с Перу. Ей тоже не давала покоя мечта о нашей жизни в Европе, она была твердо уверена, что я буду настоящим писателем, и обещала мне помогать в этом, жертвуя всем, чем сможет. Слушая ее, я терзался угрызениями совести за то, что в Париже дал волю дурным мыслям. (Я никогда не увлекался широко распространенным спортом супружеских измен, которым занимались практически все в моем окружении; большинство моих друзей предавались ему свободно и естественно, а я всегда влюблялся, и собственная неверность причиняла мне душевную боль и моральные страдания.)

Только дяде Лучо я признался, что не намерен возвращаться в Перу, и он, как всегда, поддержал меня и посоветовал делать то, что пойдет

на пользу моему призванию. Для всех остальных я уезжал учиться в аспирантуру, и Аугусто Тамайо Варгас добился, чтобы за мной оставили право преподавать на филологическом факультете по возвращении из Испании. Поррас Барренечеа устроил мне бесплатный перелет до Рио-де-Жанейро на бразильском почтовом самолете (мы летели три дня, потому что и в Санта-Крусе, и в Кампо-Гранде пришлось ночевать), и нам с Хулией нужно было оплатить только пароходные билеты третьего класса от Рио до Барселоны. Лучо Лоайса доберется до Бразилии за свой счет, а дальше мы отправимся вместе. К сожалению, Абелардо не ехал с нами, но он заверил нас с Лучо, что будет ходатайствовать о стипендии в Италию. Как же мы все изумились, когда через несколько месяцев он действительно объявился в Европе.

Приготовления уже шли полным ходом, и тут Росита Корпанчо с филологического факультета спросила меня, не соблазняет ли меня путешествие по Амазонии. В Перу должен был приехать мексиканский антрополог, испанец по происхождению, Хуан Комас, и в связи с его визитом Летний лингвистический институт и университет Сан-Маркос организовали экспедицию в верховья реки, где живут племена агуаруна и уамбиса, которыми интересовался ученый гость. Я принял предложение и благодаря этой короткой экспедиции познакомился с перуанской сельвой, повидал пейзажи и людей, послушал их рассказы, которые позже послужат материалом по крайней мере для трех моих романов: "Зеленый дом", "Капитан Панталеон" и "Тот, кто говорит".

Никогда в жизни — а я-то уж не сидел на месте — не было у меня такого плодотворного путешествия, которое бы оставило столько воспоминаний и образов и дало столько пищи для придумывания сюжетов. И сейчас, тридцать четыре года спустя, мне иногда припоминаются отдельные моменты и забавные случаи из той экспедиции, которая проходила по землям, в те времена еще девственным, и по отдаленным деревушкам, где шла совсем иная жизнь, чем в известных мне районах Перу, по маленьким поселениям уамбиса, шапра и агуаруна, где жива была еще предыстория человечества, самые древние традиции и где верили в духов. Мне чрезвычайно трудно рассказывать об этом опыте, хотя я так много извлек из него для своей писательской работы, но позднее я вложил в него столько фантазии, что уже с трудом могу отличить ее от реальности. И я уверен — если кто-нибудь возьмет на себя труд сопоставить все мои письменные свидетельства и интервью о первом путешествии в сельву, он обнаружит и маленькие, и большие подмены, которые фантазия и подсознание произвели в моей памяти.

Точно знаю я только одно: я был в восхищении от мощи неприрученной амазонской природы и жестокого, первобытного, непредсказуемого мира, от его свободы, которая и не снилась городским жителям Перу. Затем я увидел незабываемые примеры того, до каких пределов варварства и безнаказанности доходит несправедливость в отношении некоторых перуанцев. И в то же время перед моими глазами предстал мир, где, как в великих романах, жизнь — бесконечное приключение, где есть место самой невероятной отваге, где существовать — значит рисковать и постоянно меняться. И все это — на фоне лесов, рек, лагун, настоящего земного рая. В последующие годы я снова и снова буду видеть те картины перед глазами и черпать вдохновение из этого неиссякаемого источника.

Сначала мы оказались в Яринакоче, возле Пукальпы, на базе Лет-

него лингвистического института и познакомились с его основателем, доктором Таунсендом. Цели перед институтом он поставил и научные, и религиозные: обучить лингвистов — а они одновременно были и протестантскими миссионерами — племенным языкам и диалектам с тем, чтобы они переводили Библию для этих племен. Потом мы отправились к индейцам в верховья Мараньона и побывали в Уракусе, Чикайсе, Санта-Мария-де-Ньеве и в деревнях и поселках, где мы ночевали в гамаках или на циновках и куда иногда добирались сначала гидросамолетом, а потом на утлых каноэ местных плотогонов. В одной такой деревушке племени сапра мы видели пленного из соседнего племени, с которым наши хозяева вели войну, и этот пленный свободно ходил по деревне, зато его собака сидела за решеткой. В Уракусе мы познакомились с касиком по имени Хум. Его недавно пытали солдаты и начальники из Санта-Мария-де-Ньевы, которых мы тоже знали и которых я попытался воскресить в "Зеленом доме". Куда бы мы ни попадали, я узнавал о самых невероятных вещах, знакомился с необычными людьми, и этот край стал для меня неисчерпаемым кладезем литературных заготовок.

Кроме Хуана Комаса, с нами на маленьком гидросамолете путешествовали антрополог Хосе Матос Мар, с которым я с тех пор подружился, Хосе Флорес Араос, редактор журнала "Культура перуана", и антрополог и фольклорист Эфраим Мороте Бест, которого нам приходилось держать на руках, чтобы гидросамолет смог взлететь. Мороте Бест в самых тяжелых условиях героически инспектировал двуязычные школы и ездил по индейским племенам, а потом бомбардировал Лиму докладами о притеснениях и несправедливостях, которым подвергаются индейцы. Индейцы его любили, рассказывали ему о своих проблемах и жаловались. Я решил, что этот чистый, благородный человек полностью идентифицировал себя с жертвами Перу — страны жертв. Мне бы никогда и в голову не пришло, что скромный, мягкий доктор Мороте Бест увлечется маоизмом и, будучи ректором университета в Аякучо, откроет его двери экстремистскому маоизму "Сендеро Луминосо", сделает профессором руководителя этой организации Абимаэля Гусмана и станет чем-то вроде духовного вождя самого кровавого в истории Перу экстремистского движения.

Когда я вернулся в Лиму, у меня не оставалось времени даже на то, чтобы написать обещанный репортаж для Флореса Араоса (я отослал его уже из Рио-де-Жанейро на пути в Европу). Последние дни перед отъездом я прощался с друзьями и родными и отбирал те бумаги и записные книжки, которые собирался взять с собой. Ранним утром, когда я прощался с дедушкой, бабушкой и Мамаэ, я очень горевал, потому что не знал, увижу ли снова трех своих стариков. Дядя Лучо и тетя Ольга опоздали и приехали в аэропорт Корпак, когда мы с Хулией уже сидели в военном бразильском самолете, где вместо кресел были лавки для парашютистов. Мы увидели их в иллюминатор и махали им на прощанье, хотя и понимали, что они нас не видят. Я твердо знал, что с ними-то я обязательно увижусь, и будет это тогда, когда я уже наконец стану писателем.

[256]
ИЛ 1/2000

Сэмюэл Беккет

От составителя

Образ Беккета — вместе с его неповторимым лицом — настолько четко врезан в сознание русскоязычных читателей трех последних поколений, что может показаться, будто мы его вправду хорошо знаем. Увы, это иллюзия. И огорчительная.

Беккетовская драматургия, которая, собственно, и принесла ему мировую славу, издана по-русски примерно наполовину (и то эта давняя инициатива Игоря Борисовича Дюшена со товарищи реализовалась наконец только год назад). Для читающих на русском языке — включая, что не менее важно, большинство на нем пишущих! — пока не существует ни ранней, зародышевой для всего последующего Беккета драмы "Элефтерия", опубликованной, правда, лишь в 1995-м, ни самых поздних, сложных и ответственных опусов, близких (как, скажем, телепьеса начала восьмидесятых "Квадрат") уже к новейшему медиальному искусству. С прозой и того хуже: если из семи, назовем их так, романов переведены все-таки уже пять, то две дюжины повестей, новелл и "текстов просто так", включая, к примеру, автобиографическую "Компанию" или итоговую, труднейшую и, по признанию самого автора, важнейшую для него вещь "Прямиком к наихудшему", еще почти не тронуты. Не прочитаны ранние эссе о Джойсе и Прусте. Неизвестны сопровождавшие Беккета с молодых лет и до самого конца стихи (последняя написанная им вещь — английское стихотворение "Что такое слово?"). Ждет и образцовая тысячестраничная, чуть ли не подневная биография Джеймса Ноулсона (вышла к девяностолетию Беккета в 1996 году, через полтора года появилась во французском переводе), работу над которой благословил сам ее "герой", к концу жизни отчасти смягчившийся к *-логам* и *-ведам*, по крайней мере — из числа близких друзей. А ведь названное выше — свод "первичных" текстов (выход четырехтомника беккетовских писем запланирован только на 2006 год) плюс необходимая биографическая канва — всего лишь обязательный, но подготовительный для дальнейшего понимания минимум миниморум. К истолкованию же Беккета — в форме преимущественно вступлений к разрозненным публикациям —

© Б. Дубин. Составление. Вступление. Перевод, 2000

у нас и вовсе сделаны лишь самые первые шаги... Опять чужое? Нет интереса? Понимательных средств? Контекста? Перспективы?

На Западе ситуация, я бы сказал, обратная. Там прибой разноречивой критики обрушился на сорокапятилетнего автора — уже более двадцати лет публиковавшегося как поэт, эссеист, прозаик и переводчик — вместе с внезапной и оглушительной известностью. Первый вал последовал за изданием в 1951 году романа "Моллой" (и статьей Жоржа Батая "Молчание Моллоя"). Второй накатил после публикации "В ожидании Годо" в 1952-м и постановки этой, может быть, самой известной пьесы XX века в 1953 году Жоржем Бленом. Наконец, третья волна сопровождала вышедший в том же году, завершивший трилогию роман "Безымянный" и увенчалась публикуемым ниже разбором Мориса Бланшо (на эссе Батая и Бланшо выросло следующее поколение беккетианцев, включая Жиля Делеза с развернутым вступлением именно к поздним беккетовским вещам — недавно его "Опустошенный" опубликован и по-русски). Все это уложилось в полтора года. С тех пор новые статьи, сборники, разноязыкие монографии о Беккете появляются что ни день. Повороты исследовательской мысли множатся, и тем не менее интерпретаторы — тут рядом с Беккетом можно поставить разве что Кафку, — кажется, по-прежнему неутолимы. Ниже дается, конечно, лишь самомалейшая часть труднообозримой беккетианы; за невозможностью исчерпать написанное хотелось представить хотя бы несколько отчетливо разнящихся подходов.

Впрочем, сам "объект" этого пристального внимания относился к любым литературно-критическим истолкованиям, мягко говоря, сдержанно (о чем не раз и не два сказано, к примеру, в его печатаемых ниже заметках о живописи братьев ван Вельде). Да и к себе был предельно взыскателен: "Все мои вещи, — говорил он поздней в одном из интервью, — я написал за очень короткий срок, между 1946 и 1950 годами. Потом ничего стоящего, по-моему, уже не было". "Стоящее" тем самым ограничено тремя-четырьмя новеллами ("Изгнанник", "Успокоительное", "Первая любовь"), романной трилогией, драмой о Годо и диалогами о живописи Таль Коата, Андре Массона и Брама ван Вельде.

Понятно, никто не обязывает нас здесь не уступать в безжалостности автору ("Быть художником — значит терпеть крах... и уклоняться от этого провала — дезертирство", — сказано как отрезано в "Трех диалогах"), но сердцевину сделанного им Беккет указал твердо. Это, говоря коротко, "большая" проза, упирающаяся в "то, имени чему нет", попытка выйти из этого замкнутого круга в "малую" прозу и драматургию (позднее — в заведомо неизобразительную радиопьесу), наконец, уход еще дальше, к совсем уж внесловесной живописи: главный мотив "Трех диалогов" — нищета изображения, растворение видимого мира и затихание комментирующего слова. Преодоление беспомощного языка — тема и метод Беккета. Но его англо-французское двуязычие — не предельно осложняемая самому себе набоковская борьба за господство над языком, то есть над собой (и языковое господство над читателем), а, напротив, аскетический отказ от любой предвзятой манеры, любой речевой маски. "Так мне легче писать без стиля", — говорил Беккет о своем французском, стремясь, как он объяснял в 60-е годы Мишелю Лейрису, "притупить язык". Поздние беккетовские пьесы с их математически просчитанной музыкой звуков и пауз, отточенным, на глазах каменеющим балетом телодвижений — постановкой многих из них Беккет скрупулезно руководил сам — почти сотрут разницу между живым, анестезированным и мертвым, здешним и потусторонним, живой сценой и записанным на пленку, между речью, шумом и молчанием. Так же как в поздней, жанрово неопределимой беккетовской прозе понемногу стушуется перед неописуемым и невыразимым уже неизвестно кому принадлежащий, верней — неведомо "кому на этот раз" изменяющий язык (ничейный, буквально деревенеющий во рту!).

Здесь и намечается уникальный, иначе говоря — никаким другим способом не

Сэмюэл Беккет, 1930 г.

разрешимый, но оттого и крайне важный, по-своему образцовый парадокс Беккета-писателя. Казалось бы, он сворачивает всяческий эффект. Отрекается от любого воздействия. Доводит поэтику центростремительного отказа от какой бы то ни было выразительности до последнего мыслимого предела. "Искусство — вовсе не обязательно выражение", — сказано в тех же "Трех диалогах" ("выразительное", "поразительное" — стало быть, означающее нечто другое и задевающее кого-то совсем другого, а потому — внешнее и чуждое, а потому — им еще можно пожертвовать, сбросить его, как покров, соскрести, как налет, срезать до мяса, больше того — до кости, а стало быть — это нужно сделать, неминуемо придется сделать персонажу, автору, адресату). Но вместе с тем в драмах и прозе, втягивающих зрителя, слушателя, читателя в свой водоворот, Беккет приходит (приводит) к такому чувству несомненной, непроницаемой и ощутимой "реальности" слова — а беккетовская проза это всегда *чья-то* речь! — до которой виртуозам выразительности, будь то в речевом портретировании, будь то в предметных описаниях, будь то в психологическом заражении, даже близко не подступиться. Эготическое, глухое, безотсылочное слово предстает у него изначальным и последним, словом как таковым, самим словом. Заплеванной сцене возвращается шекспировский, дантовский, библейский масштаб. А на глазах рассыпающиеся, истрепанные, казалось, до дыр драма и роман начинают походить на римский Форум или миланскую "Тайную вечерю": в них видятся то ли руины древней трагедии, то ли обломки ауто сакраменталь — непривычный, осколочный эпос времени, поспешившего объявить себя безгеройным (не зря Франсуа Мориаку Беккет-драматург напомнил Эсхила, а Чорану монолог Малона представился звуковым финалом всей цивилизации, пережившей глобальную катастрофу, — элиотовским "не взрывом, но всхлипом"?).

Я написал "парадокс"... Странное дело. Клявшийся искусством для искусства записной эзотерик Бодлер мечтал на заре авангарда "создать штамп" и говорил о "героизме повседневной жизни" как характернейшей черте современности. А сделанный едва ли не самым опознаваемым, даже расхожим символом одиночества и абсурдности современного существования, эры человеческой некоммуникабельности и "заката человека" Беккет припомнился Иву Бонфуа в сновиденном поселке на берегу Ирландии при взгляде на висящую в таверне фотографию старого пьянчуги, местного рыбака: "Беккет, говорю я себе, писал так же, как этот старик плавал, — один в целом море. Он так же проводил долгие дни и ночи под здешними тучами, которые сшибаются, громоздят свои замки, утесы, драконов, изрыгающих по краям, из расселин, пламя, и которые вдруг расходятся, пробивается луч, к трем часам пополудни настает просвет, spell of light, — и время бежит навстречу скорому вечеру, и мир — словно золото в мягких ямках морской зыби. Беккет и теперь в своем ялике, порой, кажется, все еще различимом там, где заходящее солнце ерошит океанский гребень. И все сказанное им в книгах доходит до нас сквозь ровный гул валов или пересыпающуюся дробь дождя".

Борис Дубин

Сэмюэл Беккет

Мир и пара брюк

Заказчик. Бог создал мир за шесть дней, а вы не можете сшить мне эту чертову пару брюк за шесть месяцев.

Портной. Но, сударь, вы посмотрите на этот мир и посмотрите на ваши брюки.

...ЖИВОПИСЬ Абрахама и Герардуса ван Вельде[1] (поскольку никакой живописи на свете не существует) известна в Париже мало. А значит — мало известна вообще. Между тем они работают здесь уже двадцать и шестнадцать лет.

Особенно мало известна живопись А. ван Вельде. Его холсты, можно сказать, вообще никогда не выходили из мастерской, если, конечно, не считать выходом проветривание кверху ногами в Салоне у Независимых с регулярностью раз в год. Из столь долгого заточения они появляются сегодня как новенькие — вот если бы их все это время не прекращали превозносить, снисходительно терпеть или втаптывать в грязь, тогда, конечно, дело другое.

Но картины ни одного из братьев ни разу не были собраны в Париже даже на самой скромной выставке.

Зато крупная выставка Г. ван Вельде состоялась в 1938 году в Лондоне, в галерее Гуггенхайма-младшего. Странная игра случая. Многие его полотна остались после этого в Англии.

Братья работали главным образом в Париже и его ближайших окрестностях. Хотя А. ван Вельде живал на Корсике (1929—1931) и Мальорке (1932—1936).

Чуть было не упустил самое главное. А. ван Вельде родился в Гааге в октябре 1895 года. В пору туманов. Г. ван Вельде родился под Лейденом, в апреле 1897 года. В пору тюльпанов.

Дальнейшее — всего лишь словесное искажение, то бишь словесное умерщвление, чувств, которые, я вполне отдаю себе в этом отчет, касаются меня одного. Впрочем, искажение не столько реального воздействия на чувства, сколько смехотворного отпечатка этих чувств в мозгу. Ведь стоит мне задуматься обо всех радостях, которые мне давали и дают полотна А. ван Вельде, и обо всех радостях, которые мне давали и дают полотна Г. ван Вельде, как я чувствую, что те и другие радости гигантским оползнем тут же рушатся в пустоту.

Стало быть, двойное убийство.

Что до формы, в которую вышеупомянутые чувства облекутся, то ей, хочет она того или нет, придется поспевать за галопом следующих далее аподиктических утверждений. Другого способа не выпячивать ее я не знаю.

Важно, прежде всего, не путать произведения обоих художников.

1. С голландскими художниками Брамом (Абрахамом) ван Вельде (1895—1981) и Гером (Герардусом) ван Вельде (1897—1987) Беккет подружился в Париже в 1937 г. и неоднократно писал о них. (*Здесь и далее – прим.перев.*)

Это две абсолютно разные вещи или два разряда вещей. Чем дальше, тем больше они расходятся. Чем дальше, тем больше они будут расходиться. Они напоминают двух путников, вышедших из Шатийонских ворот и направляющихся, плохо представляя себе дорогу и то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух, один на улицу Жаворонково поле, а другой — на Лебединый остров.

Затем, важно не упускать из виду их взаимоотношений. Того, что два этих человека не могут не быть похожи, двигаясь к одному горизонту и поодиночке пробираясь между столькими людьми, которые лежат, сидят или путешествуют компанией.

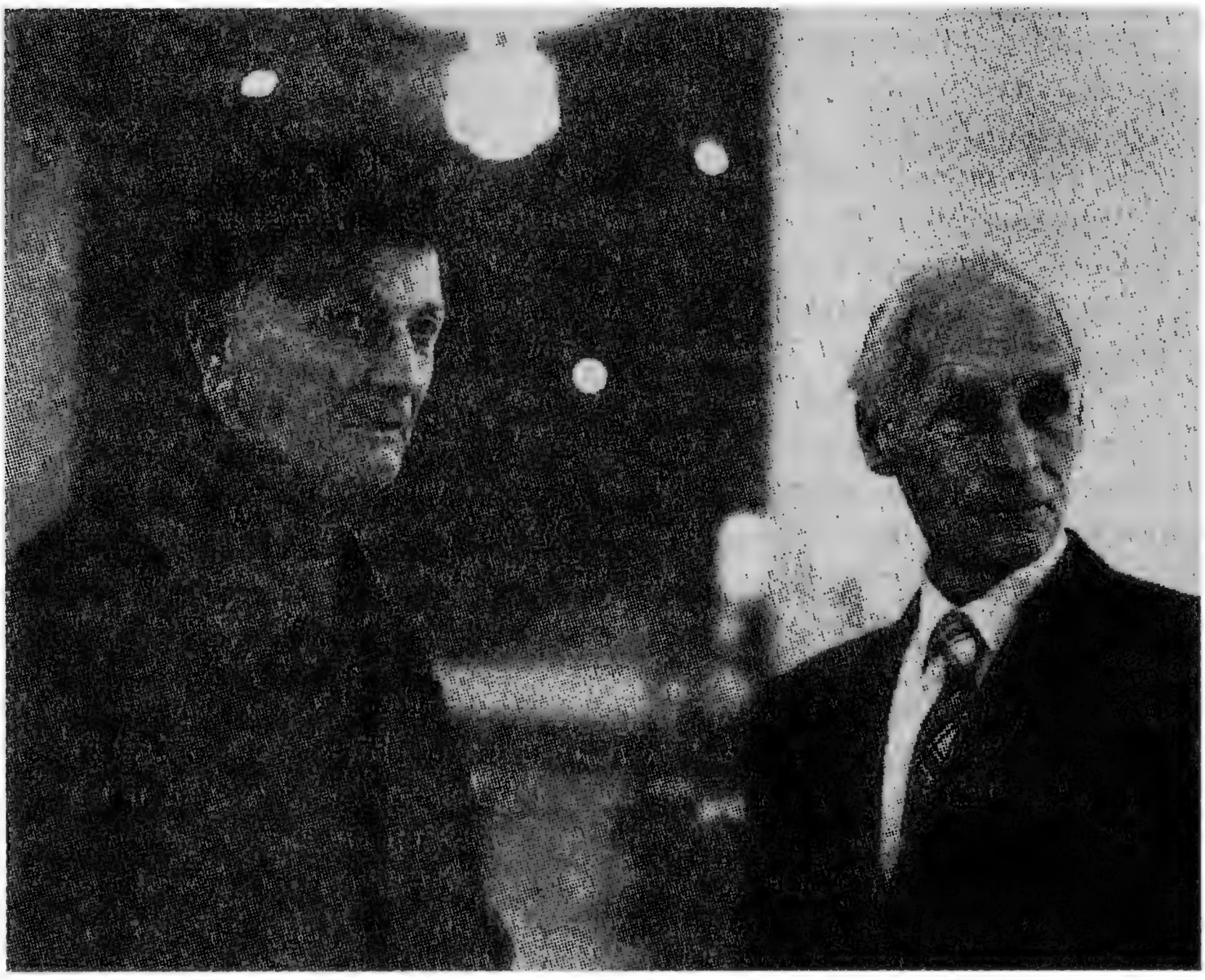
Поговорим сначала о старшем. В сравнении с братом его оригинальность легче заметить, она бросается в глаза. Живопись Г. ван Вельде предельно закрыта: она действует на вас как бы защитным излучением и наделена тем, что астрономы (если не ошибаюсь) называют высокой скоростью удаления. Тогда как живопись А. ван Вельде, кажется, застыла в лунной пустоте. В безвоздушном пространстве.

Я, понятно, преувеличиваю.

Прежде всего я думаю сейчас о последних вещах — тех, которые Г. ван Вельде только что привез с Юга, и тех, которые А. ван Вельде написал в 1940 и 1941 годах (с тех пор он еще ничего не сделал). Десять лет назад разница между братьями чувствовалась меньше. Но и тогда поражала.

Подобное распределение ролей удивляет. По всему, можно было ожидать обратного. И я боюсь, как бы мы не пришли к выводам, которые для всякого ума, сколько-нибудь озабоченного логикой, должны будут действительно перевернуть все с ног на голову.

Откуда это ощущение вещи в пустоте? От манеры письма? Но это



Гер и Брам ван Вельде

все равно что сказать, будто чувство голубизны — от неба. Возьмем шире.

У Абрахама ван Вельде встречаешься с напряженностью восприятия до такой степени — исключительно и беспощадно — живописного, что мы все, не умеющие думать иначе как вслух, его едва переносим. И переносим его, только втянув в своего рода хоровод синтаксиса, поместив во время.

(Отмечу — буквально в скобках — странный эффект, которому не раз был свидетелем: эффект, производимый этими полотнами на непредвзятого зрителя. Даже завзятых охотников комментировать они лишают дара речи. И — если судить по красноречивым заявлениям, которые рано или поздно все равно изливаются, — это отнюдь не молчание потрясенных картиной. Это, я бы сказал, общепринятое молчание: так — сами спрашивая себя почему — умолкают перед немыми.)

Писать о чисто зрительном восприятии — значит писать слова, лишенные смысла. Это общеизвестно. Ведь стоит попытаться утрудить слова настоящей работой по пересадке опыта, стоит заставить их выражать что-то другое, кроме самих слов, как они вытягиваются в ниточку, сводя друг друга на нет. Именно это, понятно, и придает жизни ее прелесть.

Речь не о том, чтобы овладеть собой, а о том, чтобы овладеть зрением, овладеть взглядом — и только. И только! Причем овладеть зрением в том единственном пространстве, которое иногда позволяет просто видеть, которое не принуждает непрерывно познавать и которое, случается, дарит своим избранникам слепоту ко всему, кроме видимости, — иными словами, в пространстве внутри себя.

Пространство и тела в пространстве, завершенные, непоколебимые, вырванные у времени искусным изготовителем времени и находящиеся теперь под защитой времени в мастерской времени (кто пожалеет дня для церкви Сакре-Кер, только бы ее больше не видеть?), — такое стоит всего Барбизона и неба Перуджи. Что ни говори, а это в каком-то смысле вершина.

Птицы в силках, Манто[1] умолкает, Тиресий слеп.

Слепота, молчание, незыблемая лазурь — вот и решение загадки. Окончательное решение.

Как для кого.

Над чем с незапамятных пор билось изобразительное искусство? Силилось остановить время, его изобразив.

Сколько пируэтов, бегов, потоков, арок. Сколько падений и взлетов. Сколько уходящего в небо дыма. Сколько всего, включая (где ты, телец божественного Поттера[2]?) струю мочи, лучший символ быстротечного времени.

За все это нам не расплатиться во веки веков.

Но пришла пора, когда предмет взял и улетучился из так называемого видимого мира.

"Реалист", корпя над водопадом и чертыхаясь на облака, по-прежнему радует наш взгляд. Только пусть не морочит нам голову россказнями про объективность и существующее на самом деле. Изо всего не виданного человеком каскадам этим и впрямь нет равных. И если существует на земле место, где лучше не заикаться про объективность, то именно его наш

1. Манто — дочь и поводырь слепого фиванского прорицателя Тиресия, вслух описывавшая ему видимый мир.
2. Паулюс Поттер (1625—1654) — голландский живописец.

художник сейчас и возделывает, прикрыв голову туристской панамкой.

Живопись Брама ван Вельде — в первую очередь живопись отрешенных вещей. Я бы даже сказал — мертвых, идеально мертвых вещей, не будь за этим словом таких неприятных ассоциаций. Иначе говоря, то, что мы у него видим, — не просто вещь, показанная как бы отрешенной. Нет, она в точности такова и есть. Именно такой она и схвачена. Это вещь как таковая, она отрезана от всего прочего стремлением ее увидеть, стремлением видеть. Вещь, застывшая в пустоте, — вот что мы наконец видим. Чистый предмет. Ничего другого я не вижу.

Все права на эту статью принадлежат черепной коробке.

Именно там время порой замирает, как колесико счетчика, когда в доме погасла последняя лампа.

Именно там, в темноте, наконец начинаешь видеть. В темноте, которой не страшна никакая заря. В темноте, которая сама и заря, и полдень, и вечер, и ночь пустых небес, неподвижной земли. В темноте, озаряющей разум.

Именно там художник спокойно может сморгнуть.

Речь не о пресловутом "праве" живописи создавать свой собственный предмет. Тоже мне смелость для работающих на пленэре.

И не об идиллических сценках некоей сверхреальности.

Не о том, чтобы одолжиться инструментами у великой школы критической живописи — критичной по отношению к своему предмету, к своим средствам, к своим целям, критичной по отношению к собственной критичности, — здесь мы даже до блистательных сиенцев не дошли.

Жил-был человек, которого звали великим Фомой...

Бесполезно искать оригинальность Брама ван Вельде в чем-то еще, кроме этой потрясающей отстраненности, потому что все остальное связано с ней — не в виде ее следствия или эффекта, а в том смысле, что вызвано к жизни тем же главным обстоятельством. Я имею в виду все безрассудное, бесхитростное, неприлаженное, неотесанное, что смотрит на нас с его полотен.

Невозможно систематизировать неповторимое. В систематизаторской живописи каждый мазок — синтез. Каждый тон отобран из тысячи. Каждая линия символична и кончает силлогизмом, вцепившимся в собственный хвост. Это натюрморт с бабочкой. Это швейная машинка на операционном столе. Это лицо, увиденное анфас и в профиль разом. И конечно, это еще и дама с грудью на спине, хотя тут я уже не так уверен в деталях. Подобная живопись отмечена своими вершинами.

Но невозможно стремиться к какому-то иному неведомому, кроме наконец увиденного, чей центр повсюду, а окружность нигде; стремиться к некоей силе, способной положить этому конец; к цели, которая в том и состоит. Потому что речь только об одном: о том, чтобы больше не видеть в этих предметах ничего манящего и пугающего, чтобы вернуться во время, в слепоту, в разымающую тебя тоску перед водоворотами этого кровоточащего мяса, в дрожь под этим тополем. Видимое попросту берут и ставят перед глазами, другого способа я не знаю.

Невозможно упорядочивать простейшее.

Его либо ставят перед глазами, либо нет — и все.

Живопись, ограниченная условным, служит здесь лишь орудием. Его достаточно захватить. Дальше Брам ван Вельде это орудие преобразует. Стирает следы его происхождения. Приспосабливает к потребностям собственной работы. А в ней уже ничего условного нет.

Сэмюэл Беккет, на выставке Брама ван Вельде, 1975 г.

Иные вещи Брака напоминают пластические размышления над средствами, которыми пользовался художник. Отсюда странное чувство какой-то подвешенности, которое от них исходит. Все окончательное опять отложено на завтра. Кажется, это наблюдение верно и для большой — а то и для большей — части того, что вообще называют сегодняшней живописью.

Ничего похожего у Брама ван Вельде. Он утверждает. Нет, даже не так. Он свидетельствует. Его подручные средства — вроде хирургического зеркала: берутся под определенную задачу. Не настолько они его интересуют, чтобы в них сомневаться. Ему интересно другое: что они отражают.

Тут мы касаемся главного и, может быть, позволяющего понять, в силу чего существует вся нынешняя постсезанновская живопись, покончившая со своими предшественниками (сколько времени она потратила, пытаясь восстановить с ними связь!), и в силу чего искусство Брама ван Вельде, в свою очередь, от этой живописи уходит.

Искусство живет скачками.

Перейти от подобной надежности монолита к живописи Г. ван Вельде — все равно что перейти от "Мужчины со шлемом" к "Виду Делфта"[1] или от Сикстинской капеллы к Ватиканским лоджиям (сравниваю отношения, не величины).

Непростой переход.

Что сказать об этих ускользающих планах, об этих вибрирующих контурах, этих телах, как бы вырезанных из тумана, этом равновесии, которое нарушит любой пустяк, которое само рушится и перерождается, стоит на него только глянуть? Как рассказать об этих красках, которые дышат, у которых перехватило дыхание? Об этом кишении застоявшейся крови? Этом мироздании без собственного веса, без поддержки, без тени?

1. Картины, соответственно, Рембрандта и Вермеера.

Все здесь движется, ныряет, скользит, возвращается вспять, рассеивается, перекраивается. Все — беспрерывно — обрывается. Бунт молекул, внутренность камня за миллисекунду до распада.

Ну, это так, литература.

В один и тот же день с двумя этими разными способами видеть и писать лучше не сталкиваться. По крайней мере, если видите их впервые.

Скажем грубо, попросту. Не выставляя себя на посмешище.

А. ван Вельде пишет протяженность.

Г. ван Вельде — последовательность...

Два подхода, которые, кажется, должны перечеркнуть друг друга, но которые, на деле, пересекаются в одной точке, в самом средоточии проблемы, стоящей перед всеми пластическими искусствами: как изобразить изменение?

От обходных путей братья, каждый по-своему, отказываются. Они не музыканты, не литераторы, не причесыватели реальности. Они знают: для художника это задача невыполнимая. И лучшим, что в ней есть, современная живопись чаще всего обязана сознанию этой невыполнимости.

Однако пластическую выгоду из безвыходной пластической ситуации не извлек ни один, ни другой.

Потому что, по сути, живопись их не интересует. Их интересует удел человека. См. выше.

Но если они отказываются изображать изменение, тогда что из доступного изображению им остается? Есть ли, помимо изменения, что-либо, позволяющее себя изобразить?

Одному из них остается то, что претерпевает изменения, что изменяется само; другому — то, что подчиняет себе, что изменения вызывает.

Две эти вещи в их безразличии (у одной — к палачу, у другой — к жертве) им и остается создавать. Правда, это пока не вещи. Вещи — впереди. Мы их еще увидим.

Перед нами — две глубоко несхожие установки. Два эти принципа, в спешке доведенные до антитезы, с незапамятных пор составляют всю отраду психологии... И оба коренятся в одном и том же опыте. Вот что занимательно. Не так ли?

Если анализ расхождений тут мало что объяснит, то, по крайней мере, он поможет четче увидеть отличие братьев друг от друга. А особенно — прояснить стилевой разрыв между ними, в котором их часто обвиняют. Важно понять его глубинный смысл, не впадая в чисто поверхностные противопоставления. Это не лишне подчеркнуть еще и еще раз. Если у старшего его решительное равнодушие к технике, высокомерная небрежность, презрительное использование любых средств независимо от их собственного смысла тем полней передает безотлагательность и первичность внутреннего зрения, то у младшего то же самое ведет к непоправимым ошибкам. Ведь он никогда не имеет дело с вещью как таковой, вещью, обрубившей концы, которые связывали со всем, что делало ее простым образцом утраты, связывали ее, можно сказать, с ней самой, так что для сдвига с мели ей теперь именно и требовалась бы смесь мастерства и равнодушия, — нет, перед ним постоянно предмет куда более сложный. И даже скорее не предмет, а процесс, но пережитый с такой остротой, что в результате ощущается почти физически — как галлюцинация, как озарение. Г. ван Вельде все-

гда имеет дело с предметом разносоставным. И это не природная разносоставность, замкнувшаяся в своих тусклых обыденных переливах, но сами первоэлементы в их непосредственном присутствии. Оказавшись перед такой непроницаемой глыбой, А. ван Вельде разом перескочил через нее, чтобы добраться до того, что искал. Для его брата подобное решение заведомо исключалось.

На самом деле оба подхода нельзя разрывать. Последовательность изобразима только через следующие друг за другом состояния, только если добиться настолько быстрой их смены, что они в конце концов смешаются, я бы сказал, почти замрут в остановленном образе самой последовательности. Довести природную незримость окружающих вещей до того, что она сама станет вещной — станет не просто сознанием границы, а вещью, которую можно увидеть и показать. Причем сделать это не у себя в голове (у художников нет головы, а стало быть, нет и рационального плана, как нет у них и живота там, где его обычно изображают), нет, сделать это на холсте — вот работа дьявольской сложности, требующая мастерства предельно послушной и легкой кисти, мастерства, которое таит больше, чем открывает, и которое утверждает только одно: мимолетную и прихотливую очевидность единственного утверждения на свете, быстротекущего времени.

Так есть ли за пачкотней братьев ван Вельде надежный набор приемов, способных обмануть глаз? Сумеют ли они нарисовать радугу, не прибегая к компасу? Наметить, больше того — наделить выразительностью круп лошади, закусившей удила и понесшей под дождем? Никогда не обращался к ним с подобными вопросами.

У живописи братьев ван Вельде есть и другие секреты, которые, опираясь на сказанное, можно было бы с ходу привести в пример (иначе говоря, к нулю). Но я не собираюсь все испортить.

Понимаю: подобный анализ должен выглядеть произвольным, схематичным и малоподходящим для образов, послуживших ему поводом и пищей. То, что у меня получилось, — всего лишь образы образов. Можно, конечно, с помощью уточнений и оттенков придать им более пристойный, более убедительный вид. Только не стоит труда.

Речь здесь совершенно не о том, что делают, или предполагают, или хотят делать эти художники. А единственно о том, как мне видится то, что они делают.

Еще и еще раз повторяю это, чтобы их часом не приняли за каких-нибудь свинячьих интеллектуалов.

Менее интеллектуальную живопись невозможно себе представить.

Скажем, А. ван Вельде требуется не меньше десятка лет, чтобы разобраться, что он такое написал. Вдумаемся. Он всякий раз знает, *что* делает, наподобие глубоководной рыбы, всегда останавливающейся — сама не ведая почему — в точности на нужной отметке.

Ровно то же — при всех (полагающихся) уточнениях, которых требует его особый подход, — справедливо и для младшего из братьев ван Вельде.

При мысли о них обоих я вспоминаю того художника у Сервантеса, который на вопрос "Что вы пишете?" отвечал: "Что получается"...

Морис Бланшо

Где на этот раз? Кто на этот раз?

КТО говорит в книгах Сэмюэла Беккета? Кто этот неутомимый "я", кажется твердящий всегда одно и то же? К чему он ведет? На что рассчитывает автор, который должен же где-нибудь здесь скрываться? И на что рассчитываем мы, читатели? Или говорящий ступил в круг, где в непроглядности и кружит, идя вслед за бродячим словом, не то чтобы лишенным смыслового веса, но скорей лишенным смыслового центра, — за словом, не имеющим ни начала, ни конца и тем не менее неутолимым, требовательным, ни на минуту не замирающим, ведь нельзя допустить, чтобы оно замерло, иначе неминуемо чудовищное открытие: перестав звучать, оно все еще звучит, а прекратившись, длится, так и не умолкающее, поскольку именно молчание в нем непрестанно и выговаривается?

Опыт без исхода, хотя от книги к книге его продолжение становится все чище, отказываясь даже от тех малых ресурсов, которые позволили бы ему продолжиться.

Собственно, этот процесс первоначально и поражает. Некто пишущий пишет здесь не ради почтенного удовольствия произвести на свет шедевр. Больше того — не под воздействием той дивной силы, которую, кажется, и можно назвать вдохновением: то есть не затем, чтобы передать что-то важное и, по его мнению, необходимое, и не потому, что считает это своим долгом или надеется посредством письма углубиться в неведомое. Так, может быть, он делает это для того, чтобы развязаться? Освободиться в процессе, который увлекает пишущего за собой, внушая мысль, будто это он распоряжается происходящим и раз уж начал говорить, то ничто не мешает ему закончить? Вот только он ли тут говорит? Что за пустота оборачивается словом в открытой потаенности того, кто в ней пропадает? И куда он исчез? *"Где на этот раз? Когда на этот раз? Кто на этот раз?"*[1]

В *области заблуждения*

Он — в борьбе, это очевидно. Иногда эта борьба — тайная, и начинается она с тайны, которую борющийся от нас скрывает, которую он скрывает сам от себя. В его игре есть свои хитрости, включая более глубокую хитрость — обнажение игры. Главная стратегическая уловка — личины и образы, которые отделяют говорящего от слова. "Моллой" еще принадлежит к разряду книг, прибегающих, будто бы ради объяснения, к успокоительной форме истории; однако счастливой эту историю не назовешь, и не только из-за ничтожности сказанного, но и потому, что высказать ничего так и не удается. Видя этого бродягу без малейшей способности бродить (хотя у него есть ноги, есть даже велосипед) снова и снова кружащим вокруг неясной, скрытой, разглашенной и снова скрытой цели, цели, которая как-то связана с его умершей, но опять и

1. Начальные фразы беккетовского романа «Безымянный».

опять умирающей матерью, кружащим вокруг того, что его обрекает — и как раз потому, что он достиг желаемого уже в самом начале книги (*"Я в комнате матери. Теперь здесь живу я"* [1]), — без конца блуждать вокруг, в неизвестности о том, что скрывается и не хочет ему открыться, ясно понимаешь: этот бродяга — жертва глубочайшего заблуждения, а его спотыкающийся путь пролегает через область, где правит безличная, неотвязная мысль. Однако при всей сбивчивости наших впечатлений о Моллое он остается вполне узнаваемым персонажем с надежным именем, которое хранит читателя от более серьезной опасности. И все же в сюжете есть стремление к какому-то беспокоящему распаду. Не удовлетворенное непостоянством бродяги, это стремление требует, чтобы в конце он раздвоился, стал другим, стал полицейским по имени Моран, который будет его безуспешно преследовать и в этой погоне сам ступит на путь бесконечного блуждания-заблуждения. Вопреки себе Моллой становится Мораном, то есть другим, то есть все-таки другим персонажем — метаморфоза, которая еще не покушается на незыблемость рассказываемой истории, вместе с тем вводя в нее аллегорический смысл, может быть как раз и разочаровывающий, поскольку он несоизмерим с глубиной, которая в рассказе таилась.

"Малон умирает" явно идет дальше. Бредущий становится здесь обреченным, а в запасе у пространства, где он приговорен бродить, нет ни города с сотнями улиц, ни открытого горизонта с кромкой леса или моря, которые нам еще даровал "Моллой". Есть лишь комната, кровать, есть палка, с помощью которой умирающий придвигает и отталкивает предметы, расширяя круг своей обездвиженности, а главное — есть карандаш, который этот круг еще больше расширяет, превращая отмеренное пространство неподвижности в бесконечное пространство слов и историй. Малон, как и Моллой, — это имя и образ. Но это еще и череда рассказов, только эти рассказы уже не держатся сами собой. Рассказанные вовсе не для того, чтобы читатель в них поверил, они тут же разоблачают всю свою искусственность надуманных историй: *"Теперь-то я знаю, чем займусь... На сей раз это игра, и я буду играть... Думаю, я сумею рассказать четыре истории, каждая на свою тему"*. Для чего эти ненужные истории? Чтобы хоть чем-нибудь обставить пустоту, куда Малон, как он чувствует, вот-вот сорвется; из страха перед пустым временем, которое грозит перейти для него в бесконечное время смерти; чтобы помешать этому пустому времени высказаться, а единственная возможность принудить его к молчанию — это заставить его рассказывать, рассказывать что угодно, к примеру какую-то историю. Поэтому книга теперь — разновидность открытого надувательства; отсюда скрипучие компромиссы, которые нарушают ее ход, это нагромождение уловок, среди которых теряется опыт, поскольку истории остаются всего лишь историями, и их блеск, их саркастическая сноровка, все, что придает им форму и занимательность, как раз и отделяет их от умирающего Малона, отделяет от времени его смерти, привязывая к обычному времени повествования, которому мы не верим и до которого нам тут и дела нет, поскольку мы ждем события куда более важного.

1. Так начинается роман «Моллой».

"Безымянный"

На самом деле истории пробуют как-то сохраниться и в "Безымянном". У обреченного на смерть есть кровать, комната; Махуд представляет собой обрубок, вставленный в подобие кувшина, который украшает вход в ресторан. Есть еще Ворм, тот, кто так и не родился и живет лишь гнетом этой своей неспособности существовать; кроме того, перед нами сменяются прежние образы, бесплотные призраки, пустые личины, механически кружащие вокруг пустого центра, занятого чьим-то безымянным "я". Но на этот раз все переменилось, и опыт достигает своей подлинной глубины. Теперь и речи нет о персонажах, укрывшихся под успокоительной опекой имени собственного; нет и речи о рассказе, доведенном до бесформенного настоящего хотя бы в виде внутреннего монолога. То, что было рассказом, стало борьбой; то, что принимало облик каких-то существ, пусть в обрывках и осколках, больше не имеет лица. Кто здесь говорит? Кто этот "я", обреченный беспрерывно говорить и говорящий о себе: *"Я обязан говорить. И не замолчу никогда. Никогда"*? Прибегая к успокоительной условности, мы отвечаем: Сэмюэл Беккет. Называя имя, мы пытаемся в него вместить все самое тяжелое в сложившейся ситуации, которая, поскольку она не выдумана, наводит на мысль о подлинной муке реального существования. Слово "опыт" подразумевает то, что испытывают на самом деле. Однако и здесь мы все еще пытаемся вернуться к безопасности имени собственного и поместить "содержание" книги на тот уровень личного, где происходящее происходит под гарантированной опекой чьего-то сознания, в мире, спасающем нас от худшего зла — утратить саму способность говорить "я". Но "Безымянный" — как раз та разновидность опыта, которая переживается под угрозой потерять личность, приблизиться к безличному слову, которое выговаривается само по себе, проходит слушающего насквозь и не подразумевает никакой глубины, исключает любую глубину и которое не принудишь замолчать, поскольку оно беспрерывно, нескончаемо.

Так кто же здесь говорит? Так называемый "автор"? Но что может значить это слово, если пишущий уже в любом случае больше не Беккет, а некая потребность, выводящая его за собственные пределы, отбирающая и отнимающая его у него самого, предающая его внешнему миру, делая существом без имени, Безымянным, несуществующим существом, которое не в силах ни жить, ни умереть, ни кончить, ни начать, — пустым местом, откуда говорит никчемность пустого слова и которое худо-бедно покрывается дырявым и агонизирующим "я".

Вот об этой метаморфозе здесь и сообщается. В глубине этой метаморфозы и блуждает, в этих неподвижных скитаниях, с прежним упорством, за которым — не сила, а проклятие того, кто не в силах сделать перерыв, и ведет свою борьбу последний пережиток речи, темный обломок, не желающий сдаваться.

Следовало бы восхищаться подобной книгой, добровольно отказавшейся от всех ресурсов, согласившейся начать с того, что невозможно продолжить, упрямо, без уверток и хитростей стоя на своем и на протяжении трехсот страниц заставляя слушать ту же неровную поступь, шаги существа, которое не двигается с места. Но такое мог бы позволить себе лишь прежний, отстраненный читатель, спокойно разгляды-

вающий ловкий писательский трюк. Невозможно восхищаться испытанием, которого нельзя избежать, восхищаться фактом, что кто-то замурован и кружит в пространстве, откуда не освободит даже смерть, поскольку попасть в подобное пространство можно, только если уже выпал из жизни. Эстетическим переживаниям здесь места нет. Может быть, перед нами не книга, а больше чем книга: чистейший подступ к тому устремлению, из которого рождаются все книги, изначальная точка, в которой произведение неизбежно исчезает, в которой произведение всегда терпит крах, в которой без конца воспроизводится его никчемность. Но этим устремлением навстречу собственной гибели произведению предстоит проникаться все глубже, иначе оно и вправду окажется ничем. Исчерпать бесконечность — вот на что проклят Безымянный: *"Делать мне ничего не надо, я имею в виду – ничего особенного. Надо только говорить, непонятно о чем. Надо говорить, хотя сказать нечего, ничего, кроме чужих слов, у меня нет. Я не умею говорить, не желаю говорить, а говорить надо. Никто меня не заставляет, тут и нет никого, но так уж случилось, произошло – и все. Ничто и никогда меня от этого не избавит, да тут и нет ничего, не найдешь, сколько ни ищи, и то, что мне остается сказать, никогда не уменьшится, это все равно что выпить море, так что море все-таки есть".*

Жан Жене

Как это произошло? Сартр показал, как литература, выражая глубинное "зло", гнет которого должен был испытывать на себе Жене, малопомалу уступает этому злу верховенство и власть, давая ему силу перейти от пассивности к действию, от бесформенности к образу и даже от робкой поэзии к пышной, уверенной в себе прозе. *"Богоматерь цветов", хоть автор об этом и не догадывается, – дневник очищения, обращения: Жене очищается здесь от самого себя и поворачивается лицом к другому; эта книга – воплощенное очищение: плод кошмара, продукт естества, сгусток снов, эпопея о мастурбации, она строка за строкой прокладывает между смертью и жизнью, сном и явью, безумием и здоровьем проход, размеченный вехами падений"... "Заражая нас своим злом, он сам от него освобождается; любая из его книг – катартический кризис одержимости, психодрама: на первый взгляд каждая последующая лишь повторяет предыдущую, но с помощью каждой этот одержимый еще на чуть-чуть пересиливает беса, которым одержим".*

Перед нами разновидность опыта, которую можно назвать классической; ключ к ней дают слова Гёте "Поэзия — это освобождение" в их традиционной трактовке. Иллюстрацией ее могут быть и "Песни Мальдорора", поскольку, захваченные их метаморфозами, страстью к образам, водоворотом все более неотвязных тем, мы видим, как из глубин ночи и благодаря самой этой ночи перед нами возникает новое существо, которое пытается обрести под ясным светом дня свой реальный облик: у нас на глазах рождается Лотреамон. Но опрометчиво думать, будто литература, даже, казалось бы, выводящая на свет дня, приводит к мирным удовольствиям благоразумной ясности. Страсть к здравому свету дня, которая уже доходит у Лотреамона до опасных восторгов перед банальностью, страсть к здравому смыслу языка, которая разрушает себя, переходя в саркастическую защиту общего места и пародии, толкают его потеряться в безмерности дня, где он только что расцвел. Ровно так же в книге о Жене Сартр прекрасно видит, что, открывая,

казалось бы, перед человеком выход и даря ему удачную возможность стать хозяином положения, литература – и как раз в случае удачи – вдруг обнаруживает отсутствие настоящего выхода или даже раскрывает перед ним полный крах этой удачи и растворяется в ничтожности какой-нибудь академической карьеры. *"Во времена "Богоматери" стихотворение было выходом. А сегодня, владея собой, рассчитывая силы, не тревожась о завтрашнем дне, не зная страха, зачем он будет писать? Чтобы добиться звания литератора? Вот уж этого он меньше всего хотел... Можно предположить, что автор, каждая вещь которого рождалась из глубочайшей потребности, стиль которого был оружием, выкованным для точной цели, каждый образ, каждая мысль которого так убедительно подытоживали всю окружавшую его жизнь, вряд ли найдет в себе силы тут же переключиться на другое... Проигравший выигрывает: добившись звания писателя, одновременно теряешь потребность в творчестве, желание, возможность и способы писать".*

Остается и в самом деле одно: классический способ описывать литературный опыт, представляющий, как писатель безмятежно освобождается от своих темных черт с помощью книги, на страницах которой они чудом преобразуются в безмятежность и ясность самого произведения, а писатель обретает убежище, и даже больше того – полноту своего одинокого "я" в свободном общении с другими. Именно это подразумевал Фрейд, подчеркивая достоинства сублимации и проявляя поразительное, в любых условиях сохраняемое доверие к способностям сознания и выразительным средствам языка. Но не всегда дело обстоит так просто. Существует, стоит заметить, другой уровень опыта, который, как можно убедиться, оборачивается для Микеланджело все большими муками, а для Гойи все большей одержимостью, где ясный и неунывающий Нерваль находит смерть на фонарном столбе, а Гёльдерлин умирает от себя самого, от одержимости собственным разумом, чтобы причаститься непомерной для человека силе, делающей его поэтом.

На *подступах к безличному слову*

Как это происходит? Вот лишь две проблемы, над которыми здесь стоит подумать. Во-первых, для человека, взявшегося писать, его произведение – вовсе не убежище, где он, замкнувшись внутри своего безмятежного и безопасного "я", может укрыться от жизненных трудностей. Если пишущий и вправду чувствует себя при этом защищенным от мира, то, может быть, только для того, чтобы оказаться беззащитным перед другой опасностью, куда большей и куда более опасной, поскольку перед ней-то он совершенно безоружен. Это внешняя опасность, она связана именно с тем, что он все еще держится за внешнее. И от этой опасности не нужно искать защиты; напротив, ей необходимо поддаться. Произведение требует, чтобы пишущий целиком посвятил себя произведению, стал другим. И не просто другим человеком по сравнению с тем, каким был, не просто писателем с его обязанностями, радостями и интересами, а скорее никем, пустым и одушевленным местом, которое эхом отдается на зов произведения.

Но почему произведение требует подобной трансформации? Можно сказать так: поскольку в привычном мире произведению не на что опереться и оно ищет немыслимого, неизведанного, невиданного; но этот ответ, кажется, не затрагивает главного. Тогда можно сказать так: поскольк-

ку произведение отнимает у писателя — живого человека, живущего в своем сообществе, где от него зависит польза дела, где он опирается на сделанное и намеченное и где, сознательно или безотчетно, вносит свой вклад в истину общего замысла, — произведение, говорю я, отнимает у него окружающий мир, даря ему взамен пространство воображения. И отчасти именно этот недуг человека, выпавшего из жизни и в этой своей чужеродности колеблющегося между бытием и небытием, неспособного отныне ни умереть, ни родиться, одержимого призраками, созданными им фигурами, в которые он не верит и которых не понимает, воспроизводит перед нами беккетовский "Безымянный". Однако и это еще не настоящий ответ. Скорей его стоит искать в той устремленности, которая, следуя желанию произведения осуществиться, приводит его в точку, где оно напрямую противостоит невозможности. Там слово уже ни о чем не говорит, оно просто существует, и ничто не берет в нем начало и не находит выражение, но само оно всякий раз начинается сызнова.

Это приближение к истоку каждый раз делает опыт произведения все более опасным — опасным и для того, кто выносит его на себе, и для самого произведения. Но только подобное приближение и превращает искусство в непременный поиск, почему и "Безымянный", позволяющий почувствовать это с предельной остротой, намного важнее для литературы, чем большинство "удач", которыми она сегодня гордится. Попробуем вслушаться в *"этот голос, который говорит, зная, что лжет, и равнодушен к сказанному, который, может быть, слишком стар и слишком ничтожен, чтобы хоть когда-нибудь выговорить наконец слова, которые заставят его замолчать"*. И попробуем спуститься в край безличного, куда, отданный теперь на волю одних слов, углубляется тот, кто ради письма выпал из времени, ступая в такие области, где ему придется умирать смертью, конца которой нет.

Людовик Жанвье

Ключевые слова

Аватары

"*ВЕРЕНИЦА воплощений*"... Того, кто лишен тела, кто ищет места, чтобы произнести слово, цепь аватар с одинаковой беспощадностью ведет от еще неуверенных блужданий Белаквы в "Больше лает, чем кусает" до неподвижных голов или уже одних ртов, говорящих из кувшина в "Пьесе". Безымянный, беспрерывно ищущий в текучем пространстве-времени письма тело, чтобы осуществиться. "*Есть множество форм, где неизменное опьяняется своей бесформенностью*", — говорит Малон. А голос "Безымянного" дает точный рисунок этого движения: "*Доходящее сюда... грудится вокруг меня, как тела, жаждущие остановиться, жаждущие застыть*".

Слово должно исчерпать длинный ряд этих развоплощений, найти

для них жесты, свести эти жесты к минимуму, подобрать им тела, разместить эти тела, с дыханием подняться к губам, искривить эти губы, отлететь от говорящей головы, привинтить эту голову к месту, наконец, долго скитаться в безличном пространстве анонимного повествования, чтобы зазвучал обозленный голосок — и только; чтобы он исполнил свою мелодию на ничейной полоске обостренного слуха.

Эта псевдонимность — в природе творчества... Даже единственное слово лично о себе и от своего имени стало бы самонадеянным забвением себя и с точки зрения диалектики тут же свело на нет все псевдонимы (Кьеркегор).

Аватары, личины, в которых отдается голос отсутствующей личности. Аватары, предисловия к заветному слову о себе. Мерфи, Моллой или Уинни — псевдонимы неназываемого, подставные фигуры безымянного.

См. Воплощения. Личность. Безымянный.

Двуязычие

Вместо одного пространства — два. Вместо одной плаценты — две. Слуга двух господ, которому служат они оба, двуязычный писатель Беккет (как и двуязычный писатель Набоков) наново изобретает, наново придумывает себе звуковое тело — в данном случае французский язык. На этом по собственному вкусу созданном стрельбище у родившегося заново куда больше шансов попасть в десятку — не то что на поле, которое тебя само воспитало и создало. Если для того, чтобы осуществиться, нужно прикончить отца и мать, тогда выбор новых выразительных средств — это решение реализовать себя там, где это сподручней всего: иными словами, *не здесь*. Французский для англоговорящего Беккета — лучшее *алиби* любых языковых новшеств. Как возврат к английскому после верно служившего, а потом предавшего французского — это пауза, передышка, приход в себя. Взаимодействие двух языковых масс кое-что дает: отсюда — особый поворот слова, эллиптичность, показательная игра на согласных и гласных, в которой участвуют оба языка, по значимости тех и других обратно пропорциональные друг другу. Стоит сравнить французскую и английскую версии "Из забытого", "Бинга"[1], "Конца игры", "Уотта" или "Прекрасных дней". Тогда понимаешь, как, практически не выходя из одного и того же звукового пространства, где он на ходу строит из отголосков только что брошенного, писатель может выдумать третий, новый, еще не ороговевший язык, в котором английский и французский и поддерживают, и подрывают друг друга: беккетианский.

См. Противоречие.

М

"*Ненасытная тоска по губным звукам*", — произносит пресмыкающийся персонаж, речь которого звучит со страниц "Как это"[2]. Тоска, которую Моллой и он на секунду унимают, лепя губами слово "мама" и как бы опять сося материнскую грудь. Вот почему от Моллоя можно услышать слова: "*Я отправился к маме. Время от времени я звал маму, просто чтобы*

1. Прозаические тексты Беккета, опубликованные, соответственно, в 1956 и 1966 гг.
2. Роман Беккета (опубликован по-французски в 1961 г., по-английски — в 1964 г.).

приободриться", — и вот почему упомянутый слизняк ничтоже сумняшеся поясняет, что выслеживает в своей речи любое соединение губных, только бы слепить губы, "*миг, когда я, всегда лишенный такой возможности, сумею произнести слова "мама", "мамуля", услышать эти звуки, обмануть свою ненасытную тоску по губным, начав с них, с этих самых слов*". Именно с них его слово — лепет, двугубое чмоканье — и начинается. Ими же, последней буквой в именах его аватар, оно и заканчивается: "*Бем Пем единственный слог "м" на конце остальное неважно*".

Вот из-за этого односложного слова, этого двугубного и в первую — как и в последнюю — очередь различимого звука мы и спрашиваем себя, не акронимы ли большинство фамилий и имен беккетовских персонажей: все эти его Мерфи, Мерсье, Моллой, Маг (мать Моллоя), Моран, Малон, Макман, Махуд, Мэдди (Руни), а также Сэм, Хэмм, Пим, Бем, Бом, а также — если читать W как перевернутое M, требующее, соответственно, и обратного движения губ, — Уотт, Уорм, Уилли, Уинни. М — отправная и конечная точка любого устного сообщения. Пим, Бем, Бом, Сэм, Хэмм даже могли бы легко навести на мысль, что этот короткий вскрик — возвращенное во всей точности эхо имени самого писателя и что последний вывел себя в виде персонажей, которые мучаются здесь в благодарность за полученное фетишистское сходство. Эхо, допустим, не случайность, но при чем тут начальные М, которые вместо того, чтобы запечатать кричащий рот, напротив, приоткрывают его в жесте сосунка, когда губы как бы ласкают друг друга, тем более что и в случае М, и в случае W все имя целиком звучит как сама нежность, сама музыка? Анекдотическая легкость: трудно удержаться от соблазна, к которому подталкивает сам писатель, и не увидеть в этом М зрительную передачу начальной буквы его подписи — S в его имени до того повалилось на строку, что на первый взгляд его можно спутать с М. Отсюда инициалы "героев". И все-таки ненасытную тоску по губным не обманешь. Она и на минуту не удовлетворится подобным объяснением, которое оставляет открытым главный вопрос: почему с помощью этого написанного S, пусть даже склонившегося, но несомненного для него именно как S, писатель изображает то же самое М, произносимое как М?

Ответ напрашивается сам собой. Особенно если произнести два слога, которые ничем не отличаются от простого повторения: "мама". Если услышать в этом "мама" удвоенный инициал, первую букву имени и фамилии, когда в игру вступает сам лепет, само мускульное усилие. Если вспомнить, наконец, еще один пример, приводимый самим Моллоем и к тому же наиболее ясный: назвав свою мать Маг, Моллой говорит, что "г" здесь уничтожает "ма", как бы выхаркивает его наружу, а потом добавляет: "*И в то же время я удовлетворял глубокую и, без сомнения, затаенную потребность, потребность иметь ма – маму – и звать ее вслух. Потому что, говоря Маг, хочешь не хочешь, говорят ма*". Вслух: лепеча в полный голос, говорящий испытывает ненасытную тоску по матери и сообщает об этом. Только не надо видеть здесь элементарную отсылку к психоаналитической редукции (впрочем, Беккет уберег от нее свою вещь, введя эту ложную подсказку в сам текст). Ненасытная тоска по сосанию, упражнению оральных мышц слишком ясна, чтобы не быть многозначной и не превосходить ту обманчивую ясность, знаком которой она тут выступает. Оральное буквально — исполняемое ртом. С языком матери, родным языком — вот с чем в то же время и прежде всего блаженно переговаривается рот говорящего. И в произнесении ника-

ких других звуков, кроме двугубных, губы — то нежно сомкнутые, то слегка раздвинутые — до такой степени не впитывают, не смакуют удовольствие от собственной работы. Вот это успокаивающее удовольствие и поддерживает голосовой аппарат в состоянии жизни, в говорящем состоянии, как бы прилаживая его к самому себе, то есть — к самим словам, соединяющим его с миром. Простейшее движение губ, первое движение новорожденного, оно снова и снова возникает здесь не столько из детской ностальгии по материнской груди, сколько в знак самого скромного, самого прочувствованного, самого непосредственно-телесного участия в словах взрослых. Участия М, меня, говорящего.

См. Мать и рождение. Аватары. Имена.

Письмо

Беккета нужно читать в полный голос — следуя за вдохом и выдохом, которые все точней отмеривает у него полногласная внутренняя речь. Читатель потому и усваивает это писаное слово без разрывов и посредников, напрямую, что оно высвобождается, следуя за артикуляцией, скандированием, запинками, всей *физикой* дыхания. Конечно, любой беккетовский говорящий сначала был пишущим. Ему приходится излагать свою мысль на письме, а потому в ней всегда обнаружишь следы ее писаного прошлого. Так оно у Малона, продленного собственной тетрадкой и последним огрызком карандаша: "*Только что я писал. И кажется, еще сплю и т. д. Надеюсь, я не слишком искажаю свою мысль. Вот добавлю сейчас несколько строк, прежде чем снова с собой расстаться...*" Или — только еще различимее для читателя — у анонима, царапающего "Записи просто так"[1]: "*Краем глаза я вижу руку, выводящую буквы*", и дальше, еще подробней: "*Да, я вижу всю сцену, вижу руку, она медленно возникает из темноты, из моей черепной коробки, и тут же ныряет обратно, это меня уже не касается. Как плоский зверек на лапках, она высовывает наружу маленькое острие, потом убирает его, это надо слышать, я говорю, как слышу*".

Все происходит именно здесь, здесь обретает форму то, что заканчивается на письме. Но совсем не здесь оно начинается: такое письмо существует, только оглядываясь назад, и слово у Беккета — слово произносимое. Чтобы передать это устное, рассчитанное на слух слово, и зовут письмо. Слово *опирается* на письмо. Перечитайте последние слова предыдущей цитаты или одну из ее копий: "*Вот я держу черенок ручки, не понимая, что я слышу, не зная, что пишу*", — и вы на ходу уловите, как в действиях пишущего или, лучше сказать, опережая действия пишущего, здесь действует говорящий и слушающий. Слышат прежде, чем пишут. Голос раньше письма. "*Где-то эта рука, она называет ее рукой, она ее хочет создать, руку, да, хоть что-нибудь, хоть где-то, чтобы она оставляла следы того, что происходит, того, что говорится, самую малость, правда ведь, нет, это из романов, это все еще из романов, есть только голос, раздающийся и оставляющий следы. Следы, вот что она хочет, оставлять следы*". Рука тут — последуем за образом — как бы прислушивается к голосу, чутко слушается его, оставляя на положенном месте следы, которые без нее оказались бы стерты.

1. Серия французских текстов (опубликована в 1955 г.); сам Беккет расценивал ее как попытку выйти из тупика, куда его завел «Безымянный», и попытку неудавшуюся.

Здесь нам не найти свидетеля лучше странного героя, спрятавшегося в герое "Как это", настоящего рисунка на ковре в духе Генри Джеймса[1], или упрятанного — и к тому же целиком — в рассказ еще одного рассказа. Что делает спутник Пима, нагнав, разместив и признав его в этом новом братском пространстве повествования, чтобы заставить нашего героя петь, говорить, чтобы вытягивать из него истории "*там, наверху, на свету*", чтобы выпивать за его синее небо? Он обращается к нему с помощью надписей: "*общий перечень команд первое пой щекотка под мышкой второе говори острием консервного ножа в задницу третье стоп кулаком по черепу четвертое громче рукояткой консервного ножа по почкам*" – вплоть, наконец, до того, что вступает в дело главная надпись: на ногте, даже на спине Пима выцарапывается сообщение или сообщения, которые одиночка хочет до него донести.

О, до чего же я слаб! Но не важно, у меня еще хватит сил поднять ручку и смелости выцарапать свою мысль (Лотреамон).

Нет такой логики, которая объяснила бы эту передачу от исцарапанной спины читающему сознанию какого бы то ни было сообщения, кроме одной: логики, уподобляющей разодранную кожу исписанной странице. Беспощадное письмо, садизм письма, единственная цель и оправдание которого — вызвать *ответное* слово Пима. Зло письменности можно вынести только при условии блага, братского, врачующего слова. На разодранные и раздирающие надписи: "ТВОЯ ЖИЗНЬ НАВЕРХУ НА СВЕТУ", или "ТВОЯ ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ ДО МЕНЯ", или "ТВОЯ ЖИЗНЬ КУСОК ДЕРЬМА НАВЕРХУ КУСОК ДЕРЬМА ЗДЕСЬ КУСОК", или "ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ КУСОК ДЕРЬМА" — Пим, как будто он давным-давно вслушивался в эти подстрекательские письмена, отзывается врачующим словом. Письмо — единственное пространство, предоставленное слову, — словом же и предварено. И тут понимаешь, что изо всех артикулируемых сегодня языков беккетовский, с самого начала письменный, сохраняет все ресурсы живого присутствия говорящего. Это язык, доносимый ото рта к уху с помощью надежной эстафеты письма.

И так на всех уровнях. Существа, поглощенные временем речи и всем обязанные тому неназываемому, из которого вышли. Пишущий (в "Как это" он назван писцом) — то по имени Моллой, то безымянный, — который воплощается в повествование о них. Не присутствующий в этих фигурах писатель, который вслушивается в себя, слушая эту диктуемую внутри его речь и слыша, каким он хочет быть, чтобы вообще быть, чтобы быть лучше. Все писаное держится этим слышимым, этим произносимым.

См. Голос.

Пристанища

"*Это не бегство, это изгнание*". Прежде чем начать жить изгнанием, вслушиваясь в звучащее пространство собственной черепной коробки, странник знал несколько обычных человеческих пристанищ. И если его оттуда не гнали, как это произошло в "Изгнаннике"[2] и, незаметно для него, в "Конце", тогда он со всех ног гнал оттуда сам, путая в уме оба

1. Имеется в виду повесть Генри Джеймса «Рисунок на ковре».
2. Повесть Беккета на французском языке, ее продолжение — повести «Успокоительное» и «Конец» (все опубликованы в 1955 г.).

исхода, обстановку мест, откуда бежал, и мест, оставленных вопреки желанию. "*За время бегства я переменил столько разных укрытий, что уже не отличу пещер от развалин*", – сказано в "Успокоительном".

Одним из любимых мест служила психушка, где Белаква из "Больше лает, чем кусает", по его собственным словам, оставил свое сердце. Мерфи находит среди психотиков и невротиков Приюта Психической Помощи больше, чем сердце, – он находит себя: "*Ни один из обитателей не внушал Мерфи ни малейшего страха. Напротив, самыми непосредственными и однозначными чувствами к ним были уважение и зависть. Ото всех, кроме неприятного ему ипохондрика, исходило впечатление того невозмутимого безразличия к превратностям превратного мира, которое он про себя считал единственным и редко достижимым счастьем*". Спасшись от будней и преследований, от человеческой докуки, Мерфи в оставленной для него мансарде может сколько ему заблагорассудится возвращаться к *"месту, откуда его изгнали"* – собственному разуму. Приют сводится для него к комнате, как в финале "Малон умирает" свелся для занятого собой Макмана, одного из воплощений Малона, к тюремной камере, как свелся для Уотта и его спутника Сэма – если только "павильоны" и "защита" под ними говорят об одном и том же – к относительному покою вдали от мира.

Второе главное пристанище – комната. К тому же для каждого персонажа – своя. Паскалевское место, если передать в двух словах то, что Малон и другие прекрасно умеют назвать по-своему: "*Как бы там ни было, главное – при мне, и оно в том, что, несмотря на все мои истории, я по-прежнему в той же комнате, назовем это комнатой, я тут, спокоен, и времени у меня – сколько нужно*" ("Малон умирает"), – и к чему стремятся как к единственному спокойному уголку: "*Если бы я мог оказаться в комнате, охоте на слова пришел бы конец*".

Я не раз говорил, что все несчастья человека проистекают из одного — его неумения спокойно устроиться в комнате (Паскаль).

И наконец, последнее пристанище, чтобы только примоститься, своего рода мечта о могиле: ящик, вариант внутриутробного укрома, сведенный до минимума, до размеров тела, где мечтают сбросить груз своего веса, отказаться от размеров, окончательно забыть о мешающей длине. Лодка, надежно заякоренная на всех четырех углах написанного, челнок по мерке тела, легкий на волнах. От "Конца" до "Каскандо" – всюду эта скорлупка краха и милосердия, горстка попрошайки и крыло нового взлета, способ последний раз скользнуть по хляби мира, прежде чем навсегда замкнуться в себе.

См. Черепная коробка. Тело. Собеседник.

Театр

Играть жизнь, чтобы хоть как-то существовать. Слышать себя, но издали. Перепоручить слова маскам, которые вылеплены реальным светом, помещены в реальное пространство, и так отдохнуть от высказывания из собственных потемок, со временем ставших адом, – высказывания, взывающего, что ни говори, к некоему надежному собеседнику из потемок, требующих в ответ противостоящего им света. От теней слов – к теням тел. Передышка.

В этом смысле – поставлена в них точка или нет – "Безымянный" и "Записи просто так", с их потребностью слова на что-то опереться, составляют самую суть драматической формы, которая, стоит отметить,

всегда таится в форме романа как внутренний зов, а потому естественнейшим образом переходит через писаные границы в пространство слуха. Драма идет тем же путем, хоть и позже, уже по следам рассказанного — так "Годо" может положиться на "Малон умирает", а "Прекрасные дни" — на "Как это". Драма так же зарывается в землю, так же сводит себя на нет, настолько слух и речь, вопреки игре их взаимных уступок, поглощены здесь единой тягой к безопасному месту — диалог и монолог, обращенные к одному источнику.

См. Противоречие. Свидетель.

Эмиль Мишель Чоран

Беккет

Несколько встреч

ТОТ, кто хочет разгадать такого *инородного* человека, как Беккет, должен почувствовать вес выражения "оставаться в стороне", этого немого девиза каждой беккетовской минуты, — всего таящегося за ним одиночества, всей подспудной одержимости, самой сути этой обособленной жизни, сосредоточенной на труде, безжалостном и бесконечном. От адепта, ищущего просветления, в буддизме требуется упорство "мыши, грызущей гроб". Любой писатель, достойный своего имени, живет таким напряжением. Он — из породы разрушителей, которые *приумножают* существование, наращивают его путем подрыва.

"Отпущенное нам время слишком коротко, чтобы тратить его на других". Слова поэта подойдут каждому, кто отверг внешнее, случайное, *чужое*. Беккет, или неподражаемое искусство быть собой. И при этом ни малейшей спеси, никакого клейма, неразлучного с сознанием избранности. Если бы слова *обходительность* не существовало, его надо было выдумать для Беккета. Факт неимоверный, почти сверхъестественный: он никогда ни о ком не говорит плохо, не дорожит гигиеническими функциями злословия, его лечебными свойствами, ролью отдушины. Я ни разу не слышал, чтобы он перемывал кости друзьям или врагам. Это его превосходство вызывает жалость, бессознательно он должен из-за него страдать. Не будь за плечом злопыхателей, я бы сказал: сколько тревог и невзгод, сколько трудностей он себе готовит!

Он живет не во времени, а *параллельно*. Оттого мне и в голову не приходило хоть раз спросить, что он думает о свежих новостях. Зная его, понимаешь: история — это измерение, без которого человек вполне может обойтись.

Будь Беккет похож на своих героев и ничего не добейся, он остался бы ровно тем же. У него вид человека, который не озабочен самоутверждением и которому одинаково чужда идея что победы, что краха. "До чего трудно его понять! И какого он масштаба!" — говорил я себе вся-

кий раз, думая о нем. Произойди невероятное и не окажись в нем никаких тайн, он и тогда был бы для меня воплощенной Непостижимостью.

Я вырос в закоулке Европы, где выплеск переживаний, расхристанность чувств, разговор по душам, внезапное, непрошеное, панибратское признание — обычная вещь, где про всех все известно, где постоянная жизнь на людях делает любую исповедь публичной, где невозможно сохранить ни один секрет, а словоохотливость доходит до самозабвения.

Надо ли говорить, чем меня не мог не зачаровать этот сверхъестественно сдержанный человек?

Авигдор Арикха. "Сэмюэл Беккет. Двойной профиль", 1971 г.

Обходительность не исключает ранимости. Однажды за ужином у друзей[1], когда одна из приглашенных стала душить Беккета пустыми и замысловатыми расспросами о нем и его творчестве, он спрятался в кокон полной бессловесности и в конце концов чуть не повернулся к собеседнице спиной. Не закончив ужина, он встал и ушел, сосредоточенный и мрачный, как человек перед операцией или перед грозящей опасностью.

Лет пять назад, при случайной встрече на улице Гинме, он спросил меня, что я сейчас делаю, а я сказал, что утратил вкус к работе, не чувствую потребности напоминать о себе, "создавать" и что писание стало для меня сущей мукой... По-моему, он был поражен. Но еще больше поражен был я, слыша, как он — и говоря именно о писании — употребляет слово "радость". Не ослышался ли я? Нет, нисколько. И тогда я вспомнил, как при первой нашей встрече десятью годами раньше, в "Клозри де Лила", он признавался, до чего устал и, кажется, не в силах уже извлечь из слов решительно ничего.

...Но кто еще так любит слова? Они — его спутники, единственная его поддержка. Он не может похвастать уверенностью ни в чем и только среди них еще чувствует себя на твердой почве. Приступы отчаяния приходятся у него как раз на те минуты, когда он перестает доверять словам, думает, что они его предали, бросили. Без них он как без рук, его больше нет. Я жалею, что не отметил и не пересчитал у него все пассажи, где он ссылается на слова, склоняется над словами — "каплями молчания сквозь молчание", как сказано по этому поводу в "Безымянном". Символами хрупкости, ставшими несокрушимой опорой.

Французский текст под титулом "Без"[2] в английском получил название "Lessness" — находка Беккета, как и ее немецкий эквивалент Lösigkeit. Это слово Lessness (неисчерпаемое, как Ungrund[3] Беме) меня

1. Этот ужин у поэта Алена Боске описан Чораном в его «Записных книжках» (5 июня 1966 г.).
2. Новелла, опубликована в 1969 г.
3. Бездна (*нем.*), центральное понятие-метафора в мистическом богословии Я. Беме.

буквально заворожило. Однажды вечером я признался Беккету, что не смогу спать, пока не найду ему достойного французского эквивалента... Мы вместе перебрали все возможные производные от "без" и "наименее". Ни один даже близко не подходил к бездонному Lessness, смеси обездоленности и бесконечности, пустоты, ставшей синонимом предела. Разочарованные, мы расстались. Вернувшись домой, я продолжал вращать и переворачивать в уме бедное "без". И в ту секунду, когда я уже готовился капитулировать, мне вдруг пришло в голову, что искать надо вокруг латинского sine. Утром я написал Беккету, что sinéité, по-моему, то, что нужно. Он ответил, что подумал о том же, вероятно, в одну минуту со мной. Однако наша находка была, надо признать, неудачной. Мы сошлись на том, что нужно прекратить поиски, что во французском языке нет существительного, способного выразить отсутствие само по себе, отсутствие как таковое, и что нам следует удовлетвориться метафизической скудостью предлога.

С писателями, которым нечего сказать и у которых нет своего мира, приходится говорить о литературе. С Беккетом — очень редко, почти никогда. Его занимает — разумеется, в разговоре — любой обыденный предмет (денежные трудности, всевозможные заботы). Чего он совершенно не переносит, это вопросов вроде: как вам кажется, то-то или то-то переживет свое время? тот или этот действительно заслуживают своего нынешнего места? чья известность, икса или игрека, окажется более долговечной, кто из них выше? Любые оценки этого рода его выматывают и угнетают. "Что за охота переливать из пустого в порожнее?" — сказал он мне после одного особенно утомительного званого вечера, где застольный спор напоминал гротескную версию Страшного суда. Сам он от разговоров о своих книгах и пьесах всячески уходит. Он ценит не те препятствия, что уже преодолел, а те, что еще впереди, и целиком поглощен тем, к чему только подступается. Когда его спрашивают про пьесу, он говорит не о сути, замысле, а только о постановке, которую видит в мельчайших деталях, минута за минутой, я хочу сказать — секунда за секундой. Никогда не забуду того жара, с которым он объяснял мне, каким требованиям должна отвечать актриса, если она хочет сыграть "Not I"[1], где прерывающийся голос целиком заполняет и заменяет пространство сцены. Как у него вспыхивали глаза, когда он буквально *видел* перед собой этот слабый и вместе с тем беспредельный, всепоглощающий рот! Как будто он вживе присутствовал при последнем превращении Пифии, при ее торжествующем крахе!

Всю жизнь любя бродить по кладбищам и зная, что Беккет к ним тоже неравнодушен ("Первая любовь"[2], если кто помнит, начинается описанием кладбища, замечу в скобках — гамбургского), прошлой зимой на проспекте Обсерватории я заговорил с ним о недавней прогулке по Пер-Лашез и о своем возмущении из-за того, что в перечне похороненных там "знаменитых людей" не обнаружил Пруста. (Беккета я, между прочим, открыл для себя тридцать лет назад, натолкнувшись в Американской библиотеке на его книжечку о Прусте[3].) Не помню, почему мы перескочили на Свифта, — впрочем, если подумать, то ничего

1. «Не я» (*англ.*) — название пьесы Беккета (опубликована в 1973 г., по-французски — в 1975 г.), в Театр Д'Орсе (1978) главную роль в ней исполнила Мадлен Рено.
2. Новелла Беккета, написана в 1946 г., опубликована в 1970-м.
3. Эссе «Пруст» опубликовано в Париже в 1931 г.

странного тут, учтя его похоронные шутки, не было. Беккет сказал, что как раз перечитывает "Путешествия" и предпочитает "Страну гуигнгнмов", а особенно – ту сцену, где Гулливер выходит из себя от ужаса и омерзения, когда к нему приближается самка йеху. "Джойс, – сообщил он, и это меня крайне удивило, даже разочаровало, – не любил Свифта"[1]. Вопреки всему, что принято думать, добавил он, у Джойса вообще не было ни малейшей склонности к сатире. "Он никогда не был бунтарем, жил наблюдателем, принимал мир как есть. Для него *упавший с дерева листок значил не меньше, чем упавшая бомба...*"

Замечательные слова, тонкостью и вместе с тем какой-то особой вескостью напомнившие мне реплику Армана Робена[2] в ответ на мой вопрос: "Как это вы, переведший стольких поэтов, до сих пор не соблазнились Чжуанцзы, самым глубоким поэтом из всех мудрецов?" – "Я думал о нем много раз, – отозвался он, – но попробуйте перевести книгу, которая напоминает *каменистую равнину на севере Шотландии*".

Познакомившись с Беккетом, я много раз (настойчиво и бессмысленно, признаюсь) спрашивал себя, что его связывает с его персонажами. Что у них общего? Можно ли быть настолько разными? Надо ли так понимать, что не только их, но и его собственная жизнь погружена в тот "свинцовый свет", который сочится в "Малон умирает"? Многие его страницы казались мне монологом *после* космической катастрофы. Ощущение, будто вступаешь в загробный мир, в пределы, которые могли бы привидеться дьяволу, свободному уже от всего, даже от своего проклятия! Эти существа, не знающие, живы они или нет, раздавленные бесконечной усталостью *не от этого мира* (если выражаться языком, чуждым Беккету), созданы воображением человека, который, как догадываешься, очень раним и из застенчивости носит маску неуязвимого, – недавно я вдруг, на секунду, казалось, увидел нить, связывающую их всех с автором, их сообщником... То, что я увидел или, скорее, почувствовал в ту секунду, не передашь общепонятными словами. И тем не менее с тех пор я слышу в каждом слове его героев колебания какого-то одного голоса... Впрочем, спешу добавить, что мгновенное озарение может быть таким же хрупким и таким же обманчивым, как выношенная теория.

С первой нашей встречи я понял, что он – *у самого края*, что, скорей всего, он оттуда и шел: от невозможного, немыслимого, безнадежного. Поразительно, что при этом он *не двигался с места* и, разом упершись в стену, со всегдашним присутствием духа продолжал стоять на своем: предел как *отправная точка*, конец как прибытие! Отсюда это чувство, что его скорченный, агонизирующий мир может длиться до бесконечности, тогда как наш в любую минуту готов исчезнуть.

Я не большой поклонник философии Витгенштейна, но как человек он меня бесконечно привлекает. Все, что я про него читаю, как-то странно трогает. И я не раз находил у них с Беккетом общие черты. Две

1. Беккет познакомился с Джойсом в Париже в 1928 г., писал о его связях с Данте, Джордано Бруно и Джамбаттистой Вико (1929), перевел на французский язык фрагмент из «Поминок по Финнегану», позже помогал ему и его семье в период нацистской оккупации.
2. Арман Робен (1912–1961) – французский поэт, прозаик, драматург, переводчик более чем с 20 языков; в его переводах выходили драмы Шекспира, проза А. Ремизова, стихи О. Хайяма, Дж. Китса, А. Мицкевича, Э. Ади, Дж. Унгаретти, Блока, Маяковского, Есенина, Пастернака.

таинственные фигуры, два явления, тем и притягательных, что сбивают с толку, ставят в тупик. В обоих та же отстраненность от людей и вещей, та же верность себе, та же тяга к молчанию, к окончательному отказу от слова, то же стремление достигнуть во всем неведомого предела. В иную эпоху они бы ушли в пустынники. Теперь-то мы знаем, что Витгенштейн одно время думал затвориться в монастыре. А что до Беккета, то его нетрудно представить несколько веков назад в голой, ничем — даже распятием — не украшенной келье. Я заговариваюсь? А вы вспомните его нездешний, загадочный, "нечеловеческий" взгляд на некоторых фотографиях.

Происхождение значит немало, спору нет. Но решающий шаг навстречу себе мы делаем, когда остаемся без каких бы то ни было *корней*, так что подробностей у нас в биографии не больше, чем у Господа Бога... Беккет — ирландец. Это крайне важно — и абсолютно несущественно. И уж совсем неверно видеть в нем "типичного англосакса". Это совсем не по нему. Может быть, дело в тяжелых воспоминаниях о предвоенном Лондоне[1]? Подозреваю, он находит англичан "вульгарными". С подобным вердиктом, который он никогда не выносил и который, подытоживая вспышки его нерасположенности, а то и неприязни, за него выношу сейчас я, сам я, пожалуй, не могу согласиться. И прежде всего потому, что считаю англичан — вероятно, это иллюзия всех балканцев — самым обескровленным и беззащитным, а стало быть, самым утонченным, самым цивилизованным народом в мире.

Беккет — что поразительно, чувствующий себя во Франции как дома — полностью лишен суховатости, черты исключительно французского, если не парижского, душевного склада. Разве не показательно, что он пробовал переложить Шамфора стихами? Конечно, не всего Шамфора, лишь несколько максим. Затея, сама по себе замечательная и, что ни говори, абсолютно непостижимая (стоит вспомнить о полном отсутствии лирической жизни в оголенной до костяка прозе моралистов), для меня равносильна по меньшей мере интимному признанию, не решусь сказать — исповеданию веры. Рано или поздно затаенный ум выдает свою истинную суть. Характер Беккета настолько неразрывен с поэзией, что она от него просто неотличима.

Для меня его независимость идет рука об руку с самоотверженностью. Даже если будет рушиться мир, он не оторвется от работы и ни запятой в ней не изменит. В главном он совершенно непоколебим. А в остальном, в мелочах, он, вероятно, еще слабей, чем все мы, чем его персонажи... Садясь за эти заметки, я думал перечитать то, что Майстер Экхарт и Ницше — каждый по-своему — писали о "благородном человеке". Сам замысел я не исполнил, но не забывал о нем ни на минуту.

1976

Перевод с французского БОРИСА ДУБИНА

1. В 1933 г., после смерти отца, Беккет поселился в Лондоне, где совершенно одиноким, в крайне стесненных житейских условиях и тяжелом душевном состоянии жил до 1936 г.; потом перебрался в Германию (Гамбург, Берлин, Дрезден, Мюнхен).

Италия

Ловелас страдал от тоски?

Искатель приключений, бонвиван, игрок, бродяга, сердцеед, литератор... Такова многогранная слава человека, поведавшего о себе в мемуарах "История моей жизни". Однако до сих пор это популярное произведение, как и личность его автора, трактовалось слишком поверхностно. Так считает итальянский исследователь Джорджо Фикара, предлагая более глубокое и довольно неожиданное прочтение "Истории" в книге с парадоксальным названием "Казанова и тоска" (издательство "Эйнауди").

Прежде всего исследователь придает особое значение композиции мемуаров: ведь у них нет ни строгой направленности, ни логичного завершения — никакой схемы изложения событий, из которых состояла вся жизнь героя, прошедшая под девизом "удовольствие любой ценой". Уходя от формы, отказываясь от финала, Казанова тем самым заявляет о своем нежелании воспринимать жизнь как заданный отрезок времени между рождением и смертью. Ему гораздо ближе вечное бурное движение: ни один эпизод не стоит того, чтобы задержаться и задуматься. В этом кроется секрет "безответственности" Казановы.

Но если жизнь — вечный праздник, а романтические связи бесконечны, то откуда может взяться тоска? От ностальгии по любви-страсти, до которой не поднимается любовь-удовольствие, отвечает исследователь. Эта тоска гонит Казанову от монахини к проститутке, от великосветской дамы к простолюдинке.

Приводя весомые доводы, Д. Фикара раскрывает более сложный, чем кажется на первый взгляд, мир Казановы, заставляя даже самых строгих критиков судить о нем с большей симпатией и пониманием. Кстати, сам Казанова понимал родственные души без лишних слов. Так, его не удивил случай с одним художником: весь отдавшись работе над картиной с изображением Марии Магдалины, тот никак не мог завершить свой труд, поскольку всякий раз что-то переделывал. "Невозможно предугадать момент, когда руки человека завершат свое творение" — эта истина в искусстве была для Казановы истиной и его жизни, полной радостно-тоскливого непостоянства.

Канада

"Ходячая фабрика по производству слов"

Среди ныне здравствующих деятелей канадской литературы Джону Роберту Коломбо нет равных. Этого известного издателя, редактора и автора неспроста называют "ходячая фабрика по производству слов". Его имя значится на обложке 136 книг: собственные произведения, переводы (в частности, венгерских поэтов), книги, в которых он выступает как редактор и составитель, сборники цитат, путеводители, собрания рассказов о привидениях, НЛО, полтергейсте и тому подобном, его собственные стихи и "вновь обнаруженные" стихи известных авторов... По сравнению с ним бледнеют достижения ныне покойного Джорджа Вудкока, который за 82 года написал или отредактировал 150 книг. Коломбо, которому исполнилось всего 63 года, стабильно выпускает в среднем 4 книги в год, так что при подобных темпах и долгой жизни он, безусловно, обгонит Вудка. По мнению авторов статьи в газете "Глоб энд мейл оф Кэнада", Коломбо делает для канадской беллетристики то же самое, что сделал для советской промышленности Алексей Стаханов! Впрочем, они признают, что их герою пока еще далеко до канадского рекордсмена: автор любовных романов Дэн Росс (1912—1995) ухитрился "накатать" 314 томов — эту цифру Коломбо упоминает с неподдельной завистью. Поскольку издательства слишком медленно выпускали в свет книги Коломбо, он основал собственное издательство "Коломбо энд кампани", которое легко — а главное, быстро — публикует его опусы.

Литературно-издательская карьера Коломбо также была не совсем обычной. В 1959 году, еще студентом Торонтского университета, он организовал литературные вечера в одном кафе. В 1961-м опубликовал небольшой сборник стихов — первую книгу поэтессы, которая тогда подписывалась "М. Э. Этвуд" (ныне это самая известная канадская писательница Маргарет Этвуд). Когда же он выпустил

Джон Роберт Коломбо, "ходячая фабрика по производству слов" [Газета "Глоб энд мейл оф Кэнада"]

"Канадские цитаты Коломбо", то стал лучшим другом тысяч исследователей, журналистов, политиков, авторов речей и докладов, ибо с тех пор любой мог блеснуть цитатой из произведения какого-нибудь знаменитого соотечественника.

Останавливаться на достигнутом Коломбо не хочет и не может. Пять лет назад он опубликовал 51-страничную библиографию своих трудов, но теперь этого оказалось явно недостаточно, и весной 1999 года издательство "Коломбо энд кампани" осчастливило читателей подробным 230-страничным изложением творческого пути своего владельца. В качестве названия этой книги Коломбо использовал слово собственного изобретения "Self-Schrift" ("Самоописание"), переделанное из немецкого слова "Festschrift" — так называют книгу, написанную в честь ученого его коллегами и студентами. Но никто и никогда в истории литературы не писал такого о самом себе.

В конце этого прижизненного памятника автор сетует на то, что еще 19 его книг застряло в различных издательствах; среди них одна книга о Понтии Пилате, другая посвящена снегу, в третьей речь идет о литературных записях на компакт-дисках... Они могли бы неплохо дополнить его предыдущие книги "Песни индейцев", "Великая китайская стена", "Новое направление в канадской поэзии", "Имена и прозвища", "Истории о привидениях провинции Онтарио", "Великое землетрясение и пожар в Сан-Франциско", "Книга чудес Коломбо", "Книга о Канаде Коломбо", "101 канадская достопримечательность Коломбо"... Хотя "ходячая фабрика по производству слов" работает на износ, до окончательного износа, похоже, еще очень далеко...

Швеция

Что вы знаете об Астрид Линдгрен?

Мало кто в нашей стране не читал книг известной шведской писательницы Астрид Линдгрен о Карлсоне или о Пеппи-Длинныйчулок. Но о жизни самой писательницы знают немногие. Недавно в Швеции вышли две биографии знаменитой сказочницы — "Астрид Линдгрен — история жизни" Маргареты Стрёмстедт (изд-во "Рабен и Шёгрен", 1999) и "Астрид из Виммербю" Лены Тёрнквист (изд-во "Эрикссон и Линдгрен", 1998). Наибольший интерес представляет, несомненно, книга М. Стрёмстедт — известной в Швеции писательницы и журналистки, автора детских и юношеских книг. Близкий друг Астрид и ее семьи на протяжении нескольких десятков лет, она получила доступ к частному архиву писательницы, к ее письмам, дневникам и семейному альбому. Автор описывает не только светлую и счастливую пору жизни писательницы, но и более трудные и мрачные периоды. Первые годы самостоятельной жизни молодой конторской служащей Астрид в Стокгольме 20-х годов, отмеченные рождением ее первого, внебрачного, сына, были годами материальных проблем, одиночества и непонимания окружающих. Затем пришло замужество, родилась дочь Карин, и Линдгрен смогла открыто испытать все радости материнства. Семейное счастье было омрачено трудностями военных лет, наложившими отпечаток на будущего автора "Малыша и Карлсона". Читатель узнает, как читающая публика встретила ее первые книги, какую бурную педагогическую дискуссию вызвала повесть "Пеппи-Длинныйчулок".

Большое внимание в книге уделено и роли Линдгрен в формировании общественного мнения в Швеции, ее борьбе за права детей, за гуманное и бережное отношение к животным и к окружающей среде. В настоящее время Линдгрен 90 с лишним лет, но она осталась прежней Астрид, сохранила интерес к жизни, саркастический юмор, мужество, любовь к детям и природе.

Другая книга — "Астрид из Виммербю" Лены Тёрнквист — краткая, сжатая биография знаменитой детской писательницы, богато иллюстрирована множеством фотографий из ее семейного альбома. Л. Тёрнквист пытается проследить, насколько автобиографичны известные книги Астрид Линдгрен. Оказывается, детские впечатления писательницы играют немаловажную роль в ее произведениях. Прообразом дедушки из Виммербю был дед самой Астрид Линдгрен — "самый добрый дедушка на свете", а веселые рождественские праздники и вишневые пиры у тетушки Йенни в книге о Буллербю и об Эмиле из Лённеберги на самом деле происходили у бабушки Астрид — Лувиссы. Дар повествования Астрид унаследовала от бабушки Иды, а также от отца, Самуэля Августа. Неутомимые выдумки и игры юной Астрид с братом и сестрой дали позже материал для книг о детях из Буллербю. А сама деревня с ее тремя расположенными в ряд домами, ставшая в мировой литературе символом счастливого детства, на самом деле не что иное, как доныне существующая деревня Севедсторп неподалеку от городка Виммербю, где прошло детство отца писательницы.

В книге рассказывается, как к Линдгрен пришла мировая известность, как ей в 70-е годы удалось "свергнуть правительство" после того, как публикации критической статьи о налоговой системе в газете "Экспрессен". Описывает Л. Тёрнквист и работу Линдгрен на радио, для театра и кино.

По материалам газет
"Глоб энд мейл оф Кэнада" [Канада],
"Паис" [Испания],
"Стампа-Туттолибри" [Италия].

Авторы номера

Гюнтер Грасс
Günter Grass
[р. 1927]. Немецкий писатель. Лауреат Нобелевской премии [1999]. Лауреат литературной премии Георга Бюхнера.

Автор романов *Жестяной барабан* [*Die Blechtrommel*, 1959; рус. перев. *ИЛ*, 1995, № 11; Книга первая], *Собачьи годы* [*Hundejahre*, 1963; рус. перев. *ИЛ*, 1996, № 5–7], *Из дневника улитки* [*Aus dem Tagebuch einer Schnecke*, 1972] и др. В *ИЛ* публиковались повести *Кошка и мышь* [*Кошки-мышки*, *Katz und Maus*, 1968, № 5] и *Встреча в Тельгте* [*Das Treffen in Telgte*, 1983, № 5], стихи [1983, № 10]. В 1997 г. в харьковском издательстве Фолио вышло собрание сочинений Г. Грасса в 4 томах.

Книга *Мое столетие* [*Mein Jahrhundert*] вышла в Германии в 1999 году. Göttingen, Steidl Verlag.

Каетан Кович
Kajetan Kovič
[р. 1931]. Словенский поэт и прозаик, переводчик, член Академии наук и искусств Словении.

Автор поэтических сборников *Ранний-ранний день* [*Prezgodnji dan*, 1956], *Огневодье* [*Ogenjvoda*, 1965], *Лето* [*Poletje*, 1990] и др., романов *Ни Бог, ни зверь* [*Ne Bog ne zival*, 1965], *Состязание* [*Tekma*, 1970], сборника рассказов *Поиски Катарины* [*Iskanje Katarine*, 1987], книг для детей. На русском языке стихотворения К. Ковича напечатаны в сборнике *Поэзия Словении. XX век* [М., 1989].

Публикуемые стихи взяты из сборника *Сибирский цикл* [*Sibirski ciklus*. Ljubljana, Mihelač, 1992].

Славомир Мрожек
Sławomir Mrożek
[р. 1930]. Польский прозаик, драматург, эссеист.

Автор пьес *Индюк* [*Indyk*, 1960], *В открытом море* [*Na peĭnym morzu*, 1961], *Бойня* [*Rzeźnia*, 1973] и др.; сборников рассказов *Слон* [*Słoń*, 1957], *Свадьба в Атомицах* [*Wesele w Atomicach*, 1959], *Дождь* [*Deszcz*, 1962] и др. В *ИЛ* напечатаны пьеса *Любовь в Крыму* [*Miłość na Krymie*, 1994, № 10] и рассказы [1964, № 5 и 1988, № 5].

Пьеса *Прекрасный вид* [*Piękny Widok*] была опубликована в журнале Dialog, 1999, № 5.

Ален Роб-Грийе
Alain Robbe-Grillet
[р. 1922]. Французский писатель, кинематографист, теоретик школы "нового романа".

Автор романов *Соглядатай* [*Le Voyeur*, 1955], *Зависть* [*La Jalousie*, 1957], *В лабиринте* [*Dans le labyrinthe*, 1959, рус. перев. 1983], *Проект революции в Нью-Йорке* [*Projet pour une révolution à New-York*, 1970, рус. перев. 1996] и др. Автор сценария к фильму А. Рене *В прошлом году в Мариенбаде* [*L'année derniére à Marienbad*, 1961], сценарист и сорежиссер фильмов *Бессмертная* [1963], *Трансъевропейский экспресс* [1966], *Прекрасная пленница* [1983] и др.

Публикуемый фрагмент взят из книги *Анжелика, или Чары* [*Angélique, ou l'enchantement*. Éditions de Minuit, 1987], являющейся второй частью автобиографической трилогии *Романески* [*Romanesques*].

Карсон Маккалерс
Carson McCullers
[1917–1967]. Американская писательница, член Американской академии искусства и литературы. Лауреат нескольких литературных премий.

Автор романов *Сердце – одинокий охотник* [*The Heart Is a Lonely Hunter*, 1940], *Гость на свадьбе* [*The Member of the Wedding*, 1946], *Часы без стрелок* [*Clock Without Hands*, 1961, рус. перев. 1966], повести *Баллада о невеселом кабачке* [*The Ballad of the Sad Café*, 1951].

Рассказ *Кто увидел ветер* [*Who Has Seen the Wind*] взят из книги *Сердце в закладе* [*The Mortgaged Heart*. New York, Penguin Books, 1972].

Марио Варгас Льоса
Mario Vargas Llosa
[р. 1936]. Перуанский писатель, лауреат мно-

Автор романов *Город и псы* [*La ciudad y los perros*, 1963; рус. перев. 1965], *Зеленый дом* [*La casa verde*, 1965; Международная премия им. Ромуло Гальегоса; рус. перев. 1971], *Тетушка Хулия и писака* [*La tía Julia y el escribidor*, 1977; рус. перев. в *ИЛ*, 1979, № 11], *Литума в*

гих литературных премий.

Андах [*Lituma en los Amdes*, 1993; рус. перев. в *ИЛ*, 1997, № 3]; повестей *Щенки* [*Los cachorros*, 1967, рус. перев. 1973], *Кто убил Паломино Молеро?* [*?Quién maty a Palomino Molero?*, рус. перев. Библиотека *ИЛ*, 1989] и др.
В номере публикуются главы из книги *Рыба в воде* [*El pez en el aggua*. Barcelona, Seix Barral, 1990].

Сэмюэл Беккет
Samuel Beckett
[1906 – 1989]. Ирландский писатель, драматург. Лауреат Нобелевской премии [1969].

Автор романов *Мёрфи* [*Murphy*, 1938], *Мерсье и Камье* [*Mercier et Camier*, 1945], трилогии *Моллой* [*Molloy*, 1951], *Мэлоун умирает* [*Malone meurt*, 1951] и др., сборника рассказов *Больше замахов, чем ударов* [*More Pricks Than Kicks*, 1934], эссе о Джойсе и Прусте, пьес *В ожидании Годо* [*En attendant Godot*, 1952; рус. перев. в *ИЛ*, 1966, № 10], *Конец игры* [*Fin de partie*, 1957], *Счастливые дни* [*Happy Days / Oh! les beaux jours*, 1963] и др. На русском языке издан сборник пьес и рассказов *Изгнанник* [Библиотека *ИЛ*, 1989]. В *ИЛ* публиковались пьесы разных лет [1996, № 6].

Эссе *Мир и пара брюк*, впервые опубликованное в парижском журнале *Кайе д'Ар* [№ 20-21, 1945–46], переведено по отдельному изданию: *Le Mond et le Pantalon* [Paris, Minuit, 1989].

Морис Бланшо
Maurice Blanchot
[р. 1907]. Французский писатель, мыслитель, эссеист.

Автор романов *Аминадав* [*Aminadab*, 1942], *Безумие дня* [*La folie du jour*, 1973], работ о литературном авангарде XVIII–XX вв., составивших сборники *Пространство литературы* [*L'espace littéraire*, 1955], *Бесконечный разговор* [*L'entretien infini*, 1969], *Письмена краха* [*L'ecriture du désastre*, 1980]. В русских переводах изданы книги *Последний человек* [Азбука, 1997] и сборник эссе *От Кафки к Кафке* [Логос, 1998]. В *ИЛ* [1993, № 10] публиковались повесть *При смерти* [*L'arret de mort*, 1948], и отдельные эссе [1995, № 1; 1996, № 12; 1997, № 4, 12].

Эссе о романной трилогии Беккета впервые опубликовано в журнале *Нувель ревю франсез* [октябрь 1953], а затем вошло в сборник *Предстоящая книга* [*Le livre a venir*, Gallimard, 1959], по которому здесь и переводится.

Людовик Жанвье
Ludovic Janvier
[р. 1934]. Французский поэт, прозаик, литературный критик, переводчик.

Автор книг стихов *Купальщица* [*La baigneuse*, 1968], *Рождение* [*Naissance*, 1984], *Между рассветом и сном* [*Entre jour et sommeil*, 1992], поэмы *Лицо* [*Face*, 1975] и др. Перевел на французский язык – в соавторстве со своей женой Аньес и при содействии Беккета – беккетовский роман *Уотт* [1968] и другую его прозу, написал о нем несколько книг.

Публикуемые отрывки из монографии *Беккет* [*Beckett*, Seuil, 1969], представляют собой толковый словарик ключевых тем и образов Беккета – своего рода коллекцию символических предметов его романного и сценического мира.

Эмиль Мишель Чоран
Emil Michel Cioran
[1911–1995]. Французский мыслитель, эссеист.

Автор книг *На краю отчаяния* [*Pe culmile desperarii*, 1934], *Слезы и святые* [*Lacrimi şi sfinsti*, 1937], написанных по-румынски и опубликованных в Бухаресте. С 1946 г. писал только по-французски: книги *Уроки распада* [*Précis de décomposition*, 1949], *Соблазн существования* [*La tentation d'éxister*, 1956], *История и утопия* [*Histoire et utopie*, 1960], и др. В *ИЛ* печатались его эссе *Механика утопии* [1996, № 4], *Встречи с Паулем Целаном* [1996, № 12], отрывки из "*Записных книжек*" [1998, № 11].

Заметки о Беккете переведены по изданию: Cioran E.M. Oeuvres. Paris, Gallimard, 1995.

Дубин Борис Владимирович [р. 1946]. Литературовед, переводчик, автор статей по социологии культуры. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛ*люминатор [1994], им. Анатоля Леруа-Больё [1996], им. Мориса Ваксмахера [1998].

Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики Портрет в зеркалах [*ИЛ*, 1995, № 1, 12; 1996, № 8,12; 1997, № 4, 9, 12].

В его переводе публиковались произведения А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Г. Аполлинера, Х. Л. Борхеса [*ИЛ*, 1984, № 3; 1990, № 12] и др.

Переводчики

Фридлянд Софья Львовна. Переводчик с немецкого и скандинавских языков. Лауреат премии им. Жуковского [1998].

В ее переводе издавались романы, рассказы и пьесы К. Гамсуна, С. Цвейга, В. Кёппена, К. Вольф, М. Вальзера, А. Стриндберга, И. Бахман и др. Переводы в *ИЛ*: Г. Бёлль [1956, № 7], М. В. Шульц [1979, № 10], Э. Штриттматтер [совместно с Н. Ман, 1965, № 7—10], Ф. Дюрренматт [1988, № 6; 1996, № 4], Г. Грасс [1995, № 11], Г. де Бройн [1998, № 2] и др.

Горская Натэлла Всеволодовна. Поэт-переводчик.

В ее переводе публиковались стихи А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Х. Л. Пачеко [*ИЛ*, 1972, № 4], Х. А. Гойтисоло [*ИЛ*, 1975, № 11], Р. Богранда [*ИЛ*, 1980, № 4], Ш. Каняди [совместно с Т. Бек, *ИЛ*, 1991, № 6], Фаиза Ахмада Фаиза, Р. Тагора, С. Камали, И. Арифа [*ИЛ*, 1991, № 5], Я. Пилински [*ИЛ*, 1999, № 8].

Бухов Леонард Семенович. [р. 1925]. Переводчик с польского и немецкого языков.

В его переводе публиковались произведения С. Мрожека, И. Иредыньского, Г. Мюллера, Я. Гловацкого. Переводы в *ИЛ*: *Начало, или Прекрасная пани Зайденман* А. Щиперского [1992, № 2], *Любовь в Крыму* С. Мрожека [1994, № 10], *Племянник Вольтера. Мистификация в стиле Дидро* Х.М. Энценсбергера [1998, № 7], рассказы Д. Дёрри [1997, № 11] и др.

Бек Татьяна Александровна. Поэт, литературный критик, переводчик.

Автор сборников стихов *Скворечники* [1974], *Замысел* [1987], *Облака сквозь деревья* [1997] и др.
Переводы в *ИЛ*: из скандинавской поэзии XIX и XX вв. [1984, № 5], с венгерского — Ш. Каняди [совместно с Н. Горской; 1991, № 6], с польского — Г. Гринберг [1991, № 11], с болгарского - М. Башева [1997, №8] и др.

Розенберг Юлия Михайловна. Переводчик с французского.

В ее переводе издавались эссе Л. Буссенара *Охота для всех*, *Письма крестьянина* [1998], К. Фламмариона *Дома с привидениями* [1998], роман Жюля Верна *Путешествие стипендиатов* [1998]. В *ИЛ* печатается впервые.

Кан Мария Иосифовна. Переводчик с английского.

В ее переводе издавались романы *Моряк в седле* И. Стоуна, *Стерегущие дом* Ш. Э. Грау [*ИЛ*, 1969, № 3,4], *Крестный отец* М. Пьюзо и др.; повесть *Полуденное вино* К. Э. Портер [Библиотека *ИЛ*, 1985], рассказы *Опять Вавилон* Ф. С. Фицджеральда [*ИЛ*, 1976, № 7], *Интерес в моей жизни* Г. Пейли [*ИЛ*, 1997, № 7] и др., главы из книги *Сырой материал. Мемуары* Л. Хеллман [*ИЛ*, 1999, №9].

Малыхина Наталья Владимировна. Переводчик с испанского, португальского, английского и французского языков.

В ее переводе изданы романы *Капела дос Оменс* Б. Баррето [1980], *Поднявшиеся с земли* Ж. Сарамаго[совместно с А. Богдановским; 1982], *Это мы называли Берлином* Л. А. Бехар[1984], *Федерико и его мир* [1987] Франсиско Гарсиа Лорки, эссе *Шесть византийских портретов* Д. Оболенского[1999] и др. В *ИЛ* [№ 6, 1999] напечатан перевод очерка П. Вейете *Смерть Франко*.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных
особняков Замоскворечья
разместились

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

«линия-арт»

Среди ведущих
авторов Галереи
известные московские художники,
представители поколений
60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ
ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ
АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
ИГОРЬ КИСЛИЦЫН
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
ОЛЬГА БУЛГАКОВА
СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ
ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО
ОЛЕГ СЛЕПОВ
КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Галерея открыта
для посетителей
по предварительным
заявкам
с 12 до 20 час.

Тел./факс 953-3624
201-2603

ИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА

«Б.С.Г.-ПРЕСС»

✔ **издает серию *«MODERN TALKS»*,**
в которую входят произведения культовых авторов,
представляющих современную отечественную и зарубежную литературу.

в 1999 году вышли:

В.СОРОКИН «Норма»
В.СОРОКИН «Очередь»

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ
книги Г.СТАЙН, Г.МИЛЛЕРА, А.ЖАРРИ, Р.КЕНО,
Е.КОСИНСКОГО и др.

✔ **осуществляет совместное с журналом «Иностранная литература»**
издание новой серии *«ИЛЛЮМИНАТОР»*

✔ **распространяет интеллектуальную литературу**
отечественных и зарубежных авторов,
являясь партнером таких издательств,
как: *«Симпозиум»*, *«Гиперион»*, *«ИНАПРЕСС»*, *«Согласие»*,
«Независимая газета», *«Издатель Захаров»* и *др.*

В ближайшее время «Б.С.Г.-ПРЕСС» намерено выпустить каталог книг, предлагаемых к продаже, и разослать его всем заинтересованным организациям и частным лицам. Желающие получить каталог могут выслать открытку со своим адресом с пометкой «каталог».

Почтовый адрес ООО «Б.С.Г.-ПРЕСС»

129090 Москва, ул.Гиляровского, д.1
тел/факс **(095) 207-53-62**, *e-mail* **bsgpress@mtu-net.ru**

В оформлении обложки
использован фрагмент
картины Сальвадора Дали
Рождение. 1948

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев

Компьютерная верстка
Светлана Бейлезон

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
Тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@adicom.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции,
а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
"Англия" —
Хлебный пер., д.2/3
"Графоман" —
ул. Бахрушина, д.28
"Летний сад" —
ул. Большая Никитская, д.46
"Мир печати" —
ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Подписано в печать 30.12.99.
Формат 70x100 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 28,35.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 2[illegible]94.
Заказ №475.
Тираж 13 500 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов полиграфической
фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

Совместные российско-французские литературные премии

Состоялась ежегодная церемония вручения литературных премий, учрежденных Посольством Франции в Москве и редакцией журнала "Иностранная литература".

Состав Жюри:

Почетный Председатель – Морис Дрюон

Председатель – Посол Франции в России Юбэр Колен де Вердьер

Заместитель Председателя – Алексей Словесный [Россия]

Анн Колдефи-Фокар [Франция]

Вера Мильчина [Россия]

Мишель Окутюрье [Франция]

Юлиана Яхнина [Россия]

За 1998 год присуждены:

Премия им. Мориса Ваксмахера [за лучший перевод произведения французской литературы] – Марку Гринбергу и Борису Дубину за перевод книг Ива Бонфуа [*Невероятное.* Избранные эссе] и Филиппа Жакоте [*Стихи. Проза. Записные книжки*]
Почетный диплом программы "Пушкин" – издательству "МИК"

[2] 2000

В следующем номере:

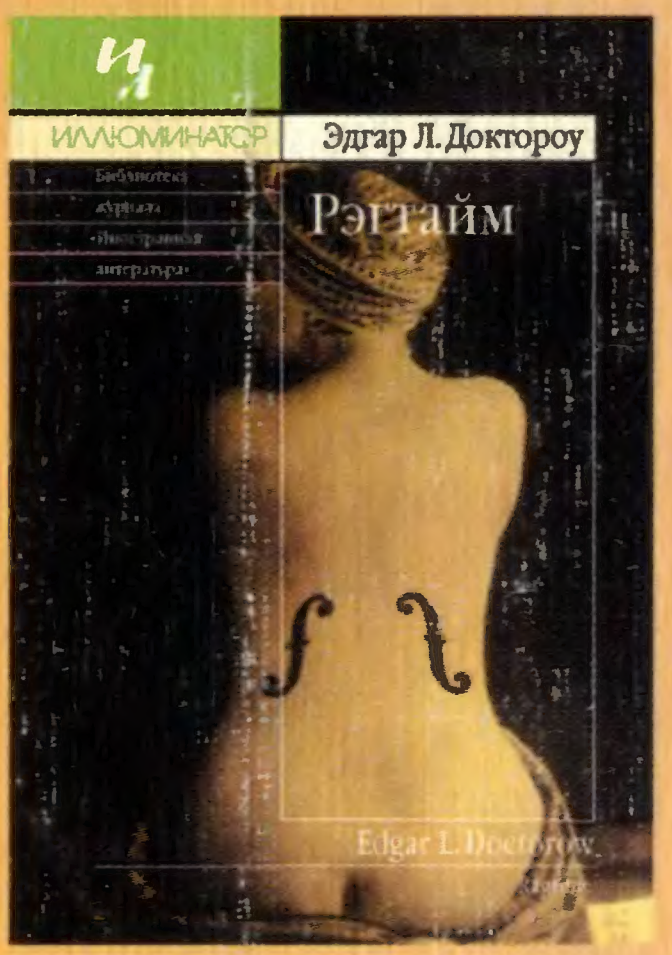
РОМАН ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЕРА "ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ" / РАССКАЗЫ УИЛЬЯМА ТРЕВОРА / "ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ" МАРЕКА ХЛАСКО / ЭССЕ-ИСПОВЕДЬ ГОТФРИДА БЕННА "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" / СТИХИ ИМОНА ГРЕННАНА И АНТЕ ПОПОВСКОГО / НА АНКЕТУ "ИЛ" ОТВЕЧАЮТ ПЕТР ВАЙЛЬ И ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ

ИНДЕКС 70394

Библиотека журнала

“Иностранная литература”

В нашей новой книжной серии “**Иллюминатор**” читайте лучшие произведения мировой литературы в лучших переводах



001. Ромен Гари “Обещание на рассвете”. **002.** Питер Акройд “Процесс Элизабет Кри”. **003.** Милан Кундера “Неспешность. Подлинность”. **004.** Эдгар Л. Доктороу “Рэгтайм”. **005.** Джулиан Барнс “История мира в $10\frac{1}{2}$ главах”

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала “Иностранная литература”

Факс: (095) 953-5061, E-mail: inolit@adicom.ru

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2000, №1, 1-288